This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

UC-NRLF
$B 127 079

Kallash, V. V.

Ocherki po istorii novieshei russkoi literatury

В. В. Каллашъ.

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРІИ

НОВѢЙШЕЙ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Цѣна 1 руб. 10 коп.

МОСКВА.
ИЗДАНІЕ КНИЖНАГО МАГАЗИНА В. В. ДУМНОВА, ПОДЪ ФИРМОЮ „НАСЛѢДНИКИ БР. САЛАЕВЫХЪ".
1911.

V. V. Kallash

В. В. Каллашъ.

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРІИ НОВѢЙШЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Цѣна 1 руб. 10 коп.

МОСКВА.
ИЗДАНІЕ КНИЖНАГО МАГАЗИНА В. В. ДУМНОВА, ПОДЪ ФИРМОЮ „НАСЛѢДНИКИ БР. САЛАЕВЫХЪ".
1911.

LOAN STACK

Типографія Г. Лисснера и Д. Совко.
Москва, Воздвиженка, Крестовоздв. пер., д. 9.

PG3011
K3

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Настоящая книга возникла изъ редакціонной работы надъ новымъ изданіемъ учебника проф. Незеленова «Исторія Русской Словесности». Въ дополненіе къ этому пособію мнѣ пришлось дать сжатые обзоры дѣятельности главнѣйшихъ представителей «новѣйшей» нашей литературы, введенныхъ въ программы послѣдняго времени, и краткія характеристики писателей начала XIX вѣка, которыхъ только по недоразумѣнію игнорируетъ наша средняя школа, хотя ихъ имена постоянно упоминаются, почти всегда безъ какихъ бы то ни было особыхъ поясненій, въ біографіяхъ и характеристикахъ писателей болѣе крупныхъ, и не должны были бы быть даже для средней нашей школы «пустыми звуками».

Дополненій получилось настолько много, что ихъ пришлось выдѣлить въ особый выпускъ. По этому поводу съ двухъ сторонъ, отъ офиціальной критики и литературныхъ друзей, мнѣ пришлось выслушать упреки, можетъ-быть, въ извѣстной мѣрѣ основательные. Офиціальный рецензентъ (проф. Шляпкинъ) довольно сердито упрекнулъ меня за то, что «подъ именемъ «Исторіи Русской Словесности» проф. Незеленова изданіемъ (?) подносится цѣлый томъ, ничего общаго съ его (?) учебникомъ не имѣющій», и поставилъ мнѣ на видъ, что нельзя «снабжать свое сочиненіе именемъ покойнаго автора». Другіе упрекали меня за то, что мой личный трудъ «потонулъ» въ Незеленовскомъ текстѣ.

Всѣ эти недоразумѣнія (отчасти они были разъяснены мною въ отвѣтѣ г. Шляпкину въ «Журналѣ Мин. Нар. Просв.» 1910, № 12) заставляютъ меня отдѣлить свои дополненія отъ учебника Незеленова, потому что они, думается мнѣ, могутъ имѣть и нѣкоторое самостоятельное значеніе, какъ пособіе для самообразованія и старшихъ классовъ средней школы.

Въ первомъ отдѣлѣ Нарѣжный взятъ, какъ представитель ранняго нашего реализма и ближайшій предшественникъ Гоголя, Лажечниковъ — какъ одинъ изъ наиболѣе яркихъ представителей у насъ историческаго романа, Кукольникъ — для характеристики «псевдоромантизма», Полевой и Надеждинъ — какъ предшественники Бѣлинскаго, Чаадаевъ — какъ одинъ изъ оригинальнѣйшихъ нашихъ мыслителей, оказавшій сильное вліяніе на славянофильство. «Пушкинская Плеяда» и Аксаковъ, за послѣднее время, уже нашли себѣ мѣсто въ нѣкоторыхъ изъ программъ.

Къ сожалѣнію, въ текстъ кой-гдѣ вкрались существенныя опечатки. На ихъ перечень въ концѣ книги я прошу читателей обратить ссобое вниманіе.

В. К.

Василій Трофимовичъ НАРѢЖНЫЙ.

Біографическія свѣдѣнія о Василіи Трофимовичѣ Нарѣжномъ очень скудны. О себѣ и о своей жизни онъ не писалъ ничего; до сихъ поръ не напечатано ни одно изъ его писемъ; отъ литературныхъ круговъ онъ всегда держался очень далеко, водился только съ сослуживцами-чиновниками, и ни одинъ изъ современныхъ ему писателей не упомянулъ объ немъ ни въ своихъ воспоминаніяхъ, ни въ своей перепискѣ.

Въ сущности, все, что мы знаемъ о жизни Нарѣжнаго, сводится къ тому, что нашелъ возможнымъ сообщить его сынъ.

«В. Т. Нарѣжный родился 1780 г., Полтавской губерніи, въ Миргородскомъ уѣздѣ. Находясь при своихъ родителяхъ до 11-лѣтняго возраста, онъ обучался подъ руководствомъ своего дяди, Андріевскаго-Нарѣжнаго, который въ 1792 г. помѣстилъ его въ дворянскую гимназію при Московскомъ университетѣ. Въ 1798 г. Нарѣжный произведенъ въ студенты, а въ слѣдующемъ переведенъ въ университетъ. Въ 1801 г. при выпускѣ изъ университета награжденъ серебряной медалью и офицерскимъ чиномъ. Того же 1801 г. поступилъ на службу чиновникомъ по особымъ порученіямъ къ правителю Грузіи, Коваленскому, а потомъ опредѣленъ секретаремъ въ Лорійскую управу, гдѣ и находился до 1804 г. Отсюда онъ поступилъ въ экспедицію Государственнаго хозяйства (по министерству внутреннихъ дѣлъ); произведенный въ 1806 г. въ титулярные совѣтники, назначенъ кабинета Его Величества въ Горную экспедицію помощникомъ экспедитора. Въ 1811 г. получилъ чинъ коллежскаго асессора, а въ 1813 г. вышелъ въ отставку и женился.

Въ это время написалъ онъ романъ: «Россійскій Жилблазъ», котораго первыя три части были напечатаны, а остальныя три — запрещены. Это обстоятельство крайне огорчило Нарѣжнаго и даже было причиною, что онъ почти оставилъ авторство и началъ думать

о поступленіи вновь на службу. Черезъ два года послѣ отставки онъ былъ опредѣленъ, въ 1815 г., въ Инспекторскій департаментъ главнаго штаба Е. И. В.; въ 1816 г., за быстрое приведеніе запущенныхъ дѣлъ въ порядокъ, награжденъ орденомъ св. Анны 3-й степени, съ назначеніемъ исправлять должность начальника отдѣленія; въ 1818 г. произведенъ въ надворные совѣтники. Съ этого времени до 1821 г. онъ утро посвящалъ службѣ, а вечера исключительно литературѣ. Сидячая жизнь при напряженномъ трудѣ оказала гибельное вліяніе на его здоровье и сократила его жизнь. Онъ умеръ въ 1825 г., 45 лѣтъ отроду. Отличительными его свойствами были: простота, непринужденное обращеніе со всѣми, веселый и шутливый нравъ. Онъ чрезвычайно любилъ дружескія бесѣды, которыя оживлялъ чтеніемъ собственныхъ произведеній или юмористическими разсказами. Изъ языковъ онъ зналъ: латинскій, французскій и нѣмецкій».

Послѣдующія изслѣдованія могли прибавить къ этимъ даннымъ немногое: происхожденіе изъ мелкой польской, потомъ омалоруссившейся шляхты, рожденіе въ мѣстечкѣ Устивицахъ (теперяшняго Гадячскаго уѣзда), увольненіе изъ университета до окончанія курса для опредѣленія на службу (10 октября 1801 г.), увольненіе отъ службы въ Грузіи въ 1803 г., назначеніе въ Горную экспедицію въ 1807 г. и смерть отъ водянки 21 іюня 1825 г. Затѣмъ — предположеніе о томъ, что, судя по яркости описанія жизни бурсы (по всей вѣроятности, Черниговской), онъ самъ получилъ въ ней первоначальное образованіе — предположеніе, мало вѣроятное въ виду категорическаго свидѣтельства сына: «находясь при своихъ родителяхъ до 11-лѣтняго возраста» и проч., и два глухихъ извѣстія: передъ смертью «несчастный романистъ былъ подобранъ пьяный въ безчувственномъ состояніи, гдѣ то подъ заборомъ» и «обстоятельства — тяжелая цѣпь, часто гнетущая таланты, остановили и Нарѣжнаго на его поприщѣ» (изъ «Московскаго Телеграфа» 1825 г.), только намекающихъ на какую то тяжелую жизненную драму нашего юмориста-бытописателя.

Ни одно періодическое изданіе того времени не сочло нужнымъ почтить скончавшагося писателя некрологомъ. Повидимому, даже могила его исчезла безъ слѣда.

Вотъ, собственно, все, что мы пока знаемъ о жизни и личности этого типичнаго русскаго неудачника, крупнаго непризнаннаго таланта, задавленнаго «тяжелой цѣпью обстоятельствъ» среди безсильныхъ попытокъ выбиться изъ душныхъ стѣнъ канцеляріи на широкій и свободный путь литературы, искавшаго забвенія въ алко-

голизмѣ и нашедшаго преждевременную смерть «гдѣ то подъ заборомъ...»

Половина лучшаго произведенія Нарѣжнаго была задержана цензурой и до сихъ поръ не удостоилась напечатанія, какъ и его рукописный романъ «Гаркуша»; его большой, очень смѣлый для своего времени романъ «Черный годъ или Горскіе кназья» могъ появиться въ печати только тогда, когда его намеки и аллегоріи потеряли почти все свое значеніе, былъ совершенно непонятенъ и обруганъ критиками; до сихъ поръ мы не имѣемъ полнаго собранія его сочиненій; старыя ихъ изданія давно сдѣлались большою библіографическою рѣдкостью, изъ новыхъ мы имѣемъ пока двѣ плохихъ перепечатки «Бурсака» и «Двухъ Ивановъ». За немногими исключеніями наша критика обыкновенно замалчивала выходъ въ свѣтъ произведеній Нарѣжнаго; если и хвалили ихъ, то слишкомъ общо и неопредѣленно или вносили такія оговорки, которыя въ значительной степени подрывали значеніе этихъ похвалъ. Только теперь начинается болѣе или менѣе безпристрастная оцѣнка, запоздавшая почти на 100 лѣтъ, проникнутая холоднымъ свѣтомъ справедливости къ далекому прошлому.

Причины этого лежатъ какъ въ личности Нарѣжнаго, такъ и въ характерѣ его творчества. Натура своеобразная, богато и разносторонне одаренная, обладавшая рѣдкимъ даромъ «внутренней свободы», онъ никогда не умѣлъ (или не хотѣлъ) попасть въ темпъ литературной жизни. Всегда онъ стоялъ внѣ слагавшихся литературныхъ теченій, господствовавшихъ школъ, задававшихъ всему тонъ кружковъ. Онъ не настолько былъ слабъ, чтобы подчиниться устанавливавшемуся чуждому его природѣ направленію и не настолько силенъ, чтобы создать свое, стать во главѣ новаго теченія, увлечь за собою толпу. Это — вѣчная трагедія культурныхъ и литературныхъ одиночекъ, переходныхъ, слишкомъ упругихъ и неподатливыхъ натуръ, «талантовъ, а не геніевъ», какъ сказалъ бы Бѣлинскій, тяжело, за свой страхъ при общемъ усиленномъ треніи и безъ прочнаго базиса въ самихъ себѣ пробивавшихся по непроторенным тропамъ отъ старыхъ изжитыхъ формъ къ новому и свѣжему содержанію. Въ обветшавшіе мѣха «романа приключеній», запутанной интриги, прямолинейнаго дидактизма Нарѣжный пробуетъ влить новое вино — реальнаго и бытового содержанія, исторической правды, общественной сатиры, смѣлаго обличительнаго юмора — когда одни еще продолжали плакать надъ «Бѣдной Лизой» и восторгаться «Натальей боярской дочерью», для другихъ послѣднимъ словомъ поэзіи была «Людмила», третьи переросли «Недоросля»,

но не доросли до «Горя отъ ума». И кого не отпугивали мѣха своимъ видомъ, тотъ часто не удовлетворялся вкусомъ вина... Въ результатѣ — не удавшаяся литературная карьера съ довольно безотрадною перспективою быть непризнаннымъ современниками, забытымъ близкими потомками, и вынырнуть лѣтъ черезъ сто послѣ смерти подъ увеличительнымъ стекломъ спеціалистовъ въ качествѣ «одного изъ предшественниковъ Гоголя», въ роли назема для генія, по-своему переработавшаго взятые изъ почвы соки...

Нарѣжный началъ печататься рано. Дебютировалъ онъ въ «Пріятномъ и полезномъ препровожденіи времени» (1798 г.) и «Иппокренѣ, или Утѣхахъ Любословія» (1798—1800) переводами, громозвучными стихотвореніями на патріотическія темы, наивными попытками обработки историческихъ сюжетовъ, которыми онъ и тогда уже увлекался. Его «Освобожденная Москва» вызвана одноименнымъ произведеніемъ Хераскова, такъ же псевдо-исторична и полна напряженнаго, искусственнаго героизма. «Кровавая ночь или конечное паденіе дома Кадмова» (1800 г.) носитъ уже печать несомнѣннаго таланта: она отличается выдержанностью тона, искренностью паѳоса, самостоятельностью обработки классическихъ преданій. Авторъ глубоко вникъ въ возвышенную поэзію души Антигоны, своеобразно освѣтилъ ничтожество Этеокла и выдвинулъ Полиника, вопреки установившейся въ старой трагедіи традиціи.

Все это — еще исканіе своего пути, результаты литературнаго ученичества, въ общемъ слабые, но съ несомнѣнными признаками выдающагося дарованія и крупной индивидуальности.

Служба въ Грузіи новыми впечатлѣніями природы и быта сдвинула Нарѣжнаго съ проторенной тропы литературы «временъ Очаковскихъ и покоренья Крыма» и направила его къ новымъ темамъ. Печальныя условія «присоединенія» пробудили въ немъ гражданина и рѣзко измѣнили самый характеръ творчества. Ярко, хотя и въ искривленномъ зеркалѣ аллегоріи отразились они въ его романѣ «Черный годъ или горскіе князья», который могъ появиться въ свѣтъ только въ 1829 г. Въ немъ много силы, мало выдержанности: мѣстами авторъ слишкомъ перетонилъ, затушовывая аллегоріей современность своихъ намековъ; иногда смѣхъ его выходитъ за предѣлы комическаго впечатлѣнія, звучитъ грубо, карикатурно, тонетъ въ шаржѣ; онъ щеголяетъ неистощимостью и свѣжестью своей фантазіи и подавляетъ читателя слишкомъ сложною сѣтью искусно запутанной интриги и артистически нагроможденныхъ приключеній. Передъ нами не только «горскіе князья» съ ихъ наивною переоцѣнкою своихъ правъ, откровеннымъ обираніемъ народа, пародіи на

государственность, церковь, войско, которыя всѣми прикосновенными принимаются серіозно; не только прикрытые дымкой аллегоріи кавказскіе чиновники-хищники, но и темы болѣе широкія, образы болѣе смѣлые. Это — царство общей безсмыслицы, возведенной въ принципъ жизни... И сквозь нее мѣстами пробивается ароматъ грандіозной природы Кавказа, колоритнаго быта его горцевъ.

«Черный годъ» пишется въ Петербургѣ, куда въ 1803 г. Нарѣжный переѣхалъ на службу. Боевое настроеніе его только разгоралось на общемъ фонѣ идейнаго и общественнаго броженія «дней Александровыхъ прекраснаго начала». Переживаемый имъ «Sturm- und Drang-Period» выразился, между прочимъ, и въ неудачной переработкѣ Шиллеровыхъ «Разбойниковъ» въ «Дмитрія Самозванца» (1804 г.). Передъ очами автора носился, но не смогъ воплотиться въ его піесѣ образъ «сверхчеловѣка», ставшаго «по ту сторону добра и зла».

Затѣмъ въ его душѣ зазвучали другія струны. Отъ соціально-политической сатиры и романтическаго протеста онъ переходитъ къ повышенному, но наивному культу «старины и народности». Сказались въ данномъ случаѣ и общія вѣянія «романтической реакціи», и подъемъ патріотическихъ чувствъ въ эпоху борьбы съ Наполеономъ, и запоздавшее увлеченіе поэмами Оссіана въ переводѣ Кострова (1972), и свѣжее вліяніе «Слова о полку Игоревѣ» и сборника былинъ Кирши Данилова. На эти элементы легко разлагается содержаніе «Славенскихъ вечеровъ» Нарѣжнаго (1809) и примыкающихъ къ нему разсказовъ: «Георгій и Елена» и «Анастасія».

Попытка поэтическаго возсозданія русской старины не удалась автору. Онъ то впадаетъ въ сантиментальность, то облекаетъ свой разсказъ въ изветшавшія формы «высокаго штиля». И не спасло его доброе намѣреніе — пропѣть въ мнимо архаическихъ, на самомъ дѣлѣ сильно подновленныхъ формахъ гимнъ въ честь культуры, гуманности и разумнаго патріотизма.

Въ творческомъ развитіи Нарѣжнаго это — второй послѣ «Освобожденной Москвы», «Бреговъ Альты» и «Рогвольда» моментъ исканій новыхъ формъ исторической повѣсти (или поэмы), пока столь же неудачный.

Въ «Россійскомъ Жилблазѣ или похожденіяхъ князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (1814) онъ опять возвращается къ общественной сатирѣ и создаетъ широкую картину нашихъ нравовъ, которая захватила верхи и низы тогдашней Россіи. Въ предисловіи Нарѣжный писалъ: «я вывелъ на показъ русскимъ людямъ русскаго же человѣка, считая, что гораздо сходнѣе принимать участіе въ дѣлахъ

земляка, нежели иноземца. Почему Лесажъ[1]) не могъ того сдѣлать, всякій догадается. За нѣсколько десятковъ лѣтъ и у насъ нельзя бы отважиться описывать безпристрастно наши нравы». Ожиданія автора не оправдались: его «безпристрастное описаніе» оказалось несвоевременнымъ, дальнѣйшее печатаніе романа было прекращено по требованію министра народнаго просвѣщенія гр. Разумовскаго, и его первыя три части не могли быть потомъ перепечатаны.

Если откинуть въ этомъ первомъ нашемъ нравоописательномъ романѣ элементъ традиціи — хитросплетенія интриги и искусственную запутанность приключеній, останется многосторонняя картина русской общественной жизни начала XIX вѣка. Тутъ и господа Головорѣзовы, которые «на досугѣ... сбираютъ слугъ и велятъ имъ бить другъ друга, а сами не могутъ налюбоваться, видя кровь, текущую изъ зубовъ и носовъ, и волосы, летящіе клоками», и старовѣры-шишковисты, цѣпляющіеся за одну внѣшность плохо ими понятой національной старины, и метафизики-мистики, у которыхъ послѣдній умъ зашелъ за разумъ, и самодовольные иноземные проходимцы, одною наглостью пробивающіе себѣ карьеру, и братья Полярные гуси, Козероги, Тельцы и Большіе Псы, «весь скотный дворъ земной, небесный и преисподній», прикрывающій масонскими тайнами грязныя оргіи и беззастѣнчивое обираніе наивныхъ людей. Откупщикъ Куроумовъ «слыхалъ, что знатные отличаются, между прочимъ, отъ другихъ и тѣмъ, что жестоко наказываютъ людей своихъ за маловажныя вины, а часто и невинно, по одной прихоти, чтобъ бѣдняки не забывали, что они имѣютъ господина. «Мы господскіе!» крестьяне многихъ говорятъ съ такимъ лицомъ и такимъ голосомъ, какъ будто хотѣли выразить: «мы — осужденные въ жизни сей на одно страданіе!» Господинъ Куроумовъ хотѣлъ доказать, что онъ помѣщикъ, хотя и недавній, и въ домѣ его раздавались стоны». Гордый вельможа графъ Дубининъ смотритъ на мелкаго канцеляриста «тѣмъ величавымъ видомъ, который говоритъ: «ты — червь; ползай во прахѣ, и считай себя счастливымъ, что я изъ презрѣнія не хочу раздавить тебя!» Стоило «червю» выправить грамматическія ошибки въ письмѣ графа, которое нужно было перебѣлить, и сейчасъ же разразилась катастрофа: «меня учить вздумалъ ты», сказалъ онъ тихимъ и протяжнымъ голосомъ: «мнѣ учитель ненадобенъ!» Съ сими словами изщипалъ онъ письмо съ моею поправкою въ лос-

---

[1]) Французскій писатель XVII в., авторъ „Жильблаза“, давшій въ своемъ романѣ изъ испанской будто бы жизни сатирическую картину французскихъ нравовъ (сдѣлалъ онъ это изъ цензурныхъ соображеній).

кутки, кинулъ мнѣ въ глаза и, отворотясь, проворчалъ: «поди съ глазъ, скотъ, и никогда не являйся!»

Среди этого міра грубаго произвола, сутяжничества, разврата, наивныхъ претензій захудалыхъ князей рѣзко выдѣляется въ положительную сторону даже герой разсказа, несмотря на всю эластичность своихъ понятій о нравственности, еще больше — безусловно положительное лицо[1]), совершенно необычное для тогдашней литературы, шинкарь Янька, глубоко вѣрящій «въ Великое Предопредѣленіе, въ глазахъ Котораго равны и князь, и крестьянинъ, и староста, и жидъ Янька», въ сердцѣ котораго «болѣе любви къ ближнему», чѣмъ у старосты пристрастія «ко взяткамъ и прицѣпкамъ».

Неудача съ «Жилблазомъ» охладила увлеченіе Нарѣжнаго литературой: по свидѣтельству сына въ 1814—1818 гг. онъ «почти оставилъ авторство». Но призваніе сдѣлало свое, и въ 1818—1821 гг. онъ «вечера исключительно посвящаетъ литературѣ». Тогда, по всей вѣроятности, были написаны произведенія, которыя впервые появились въ «Новыхъ Повѣстяхъ» 1824 г.

Среди нихъ и старая сантиментальная тема о трагически кончившейся любви аристократа къ крѣпостной, разработанная въ свѣжихъ и новыхъ бытовыхъ тонахъ («Марія»); и драматизированный фарсъ («Невѣста подъ замкомъ»), и дидактическій разсказъ въ стилѣ «восточныхъ повѣстей» XVIII вѣка съ идеализаціей турецкаго правосудія, молчаливо противополагаемаго нашей неправдѣ («Турецкій Судъ»), и основанная на искусственныхъ qui pro quo комедійка «Заморскій принцъ», осмѣивающая родовыя претензіи «потомка гетмана» и нѣкоторыми деталями (ажитація передъ прибытіемъ мнимаго принца, отношеніе гостей къ его сватовству) напоминающая «Ревизора». «Запорожецъ» даетъ прекрасную картину жизни Сѣчи, отразившуюся въ нѣкоторыхъ подробностяхъ «Тараса Бульбы», въ рамкѣ невѣроятныхъ приключеній Маркиза де Газара, сдѣлавшагося запорожскимъ атаманомъ Авениромъ. Въ «Богатомъ бѣднякѣ» просвѣчиваетъ, повидимому, автобіографическая основа: нищета и

---

[1]) Въ неизданной части романа былъ еще любопытный типъ, повидимому, навѣянный отчасти знаменитымъ малороссійскимъ философомъ-Діогеномъ Сковородой. Это — „доморощенный философъ, вышедшій изъ среды русскаго достаточнаго дворянства, который выработалъ своеобразную теорію, на основаніи евангельскихъ истинъ, изреченій греческихъ мудрецовъ и взглядовъ Руссо. Мудрецъ этотъ называетъ себя Иваномъ; онъ не признаетъ сословныхъ и другихъ отличій; при полномъ отрицаніи имущественной и денежной собственности является врагомъ всякаго насилія и лжи, и настолько чуждъ всѣхъ потребностей цивилизаціи, что считаетъ трудъ излишнимъ и ведетъ нищенскую, созерцательную жизнь среди природы“.

приниженность измельчавшаго шляхетства, романъ сестры героя, «склонившейся на ласки одного проѣзжаго шинкаря, обвѣнчавшейся съ нимъ тайно и бѣжавшей». «Безчинствующій и преступный панъ Аврамій съ безпутнымъ сыномъ своимъ Иваномъ» и панъ Вириладъ, сдѣлавшій карьеру добровольно принятой на себя ролью шута богатыхъ помѣщиковъ — любопытные реалистическіе штрихи этой черезчуръ сантиментальной и, кромѣ того, сильно растянутой повѣсти. Есть они и въ «Маріи»: напр., «супруга графская была хотя не совсѣмъ дурного нрава, но такъ высокомѣрна, такъ напыщена своимъ сіяніемъ, что рѣдко кого-либо изъ подвластныхъ ей людей удостаивала ласковымъ взглядомъ; она считала ихъ за насѣкомыхъ, которыхъ могла душить и топтать по произволу», или «Славный аббатъ Бертольдъ, который воспитывалъ графскаго сына на швейцарскій образецъ, ибо онъ, къ несчастію, думалъ, что изъ россіянина ничего путнаго не выйдетъ, пока онъ предварительно въ нѣдрахъ своего отечества не сдѣлается чужестранцемъ», и потомъ отправится въ «путешествіе по иностраннымъ владѣніямъ не для того, чтобы, все хорошее и все дурное слича съ хорошимъ и дурнымъ отечественнымъ, найти способы — истребивъ послѣднее, придержаться перваго».

Къ этому же періоду усиленной литературной дѣятельности (1818—1821 гг.) относятся, повидимому, и 3 крупныхъ произведенія Нарѣжнаго, вышедшихъ отдѣльными изданіями: «Аристіонъ или Перевоспитаніе, справедливая повѣсть» (1822 г.), «Бурсакъ, малороссійская повѣсть» (1824 г.) и «Два Ивана или страсть къ тяжбамъ» (1825 г.).

Авторъ назвалъ своего «Аристіона» «справедливой повѣстью» и этимъ хотѣлъ подчеркнуть дѣйствительный характеръ его интриги. Между тѣмъ она болѣе чѣмъ невѣроятна: отецъ, перевоспитывающій взрослаго сына, развращеннаго долговременной жизнью въ столицѣ, посредствомъ «благочестиваго обмана» — распространенія слуховъ о своемъ разореніи и смерти и разыгрыванія роли посторонняго благодѣтеля, взявшагося за исправленіе распутнаго молодого человѣка только ради памяти его отца, блестящіе результаты обмана, поддержаннаго всей округой — все это, конечно, плохая выдумка въ духѣ нашихъ старинныхъ нравоучительныхъ романовъ. Но на этой обветшавшей канвѣ вышиты новые и оригинальные узоры: ребромъ поставленъ вопросъ о полной несостоятельности тогдашняго дворянскаго воспитанія, и, для своего времени, хорошо намѣчены основы «перевоспитанія»; среди картины, проникнутой въ общемъ мягкимъ и веселымъ смѣхомъ, мелькаютъ отдѣльные рѣзкіе штрихи иного порядка — типы удручающей дворянской пошлости, которые

какъ будто подготовляютъ насъ къ героямъ «Мертвыхъ Душъ», и гораздо болѣе опредѣленные, чѣмъ у Гоголя, намеки на общественную неправду, разореніе крестьянъ, общее одичаніе.

Въ «Бурсакѣ» Нарѣжный взялся за изображеніе старой бурсацкой и казацкой жизни. Значительная примѣсь фантастическихъ приключеній не слишкомъ бросается въ глаза среди прекраснаго бытового фона, разработаннаго рукою тонкаго знатока и широко использованнаго Гоголемъ въ «Віи» и «Тарасѣ Бульбѣ». Мѣстами въ авторѣ проглядываетъ шляхтичъ: онъ не поддается сложившейся уже тогда въ Малороссіи романтической идеализаціи «гетьманщины» и Сѣчи и не прочь подчеркнуть ихъ отрицательныя стороны; его трезвому уму ясны и моральные недочеты крѣпостной массы. Сѣчь въ его глазахъ — «чудовищная столица свободы, равенства и безчинія всякаго рода». Въ уста одного изъ казаковъ онъ влагаетъ такія слова: «убійственная и даже безчестная жизнь, нами въ Запорожьѣ провождаемая (ниже — «поганая жизнь, которая несравненно хуже цыганской»), мнѣ, наконецъ, надоѣла; да и чего впредь должны ожидать мы, какъ не погибели? Рано или поздно, а которая-нибудь изъ сосѣднихъ державъ обрушится на насъ всѣми силами, и — что изъ Сѣчи останется? Кучи золы и громады череповъ казацкихъ. Не покойнѣе ли, не счастливѣе ли насъ живетъ бѣднѣйшій селянинъ въ Малороссіи?» «Самая благонравная» изъ деревенскихъ дѣвушекъ «показалась бы въ городѣ извергомъ безстыдства».

Авторъ любитъ прерывать разсказъ сентенціями на общія темы — въ защиту человѣческихъ правъ дѣтей, противъ насилія надъ свободою чувства и личностью и т. д. Иногда онѣ влагаются въ уста дѣйствующихъ лицъ — въ ущербъ правдѣ бытовой и исторической и въ цѣляхъ «правды извѣчной». Запорожскій казакъ, напр., временъ Хмельницкаго говоритъ: «въ чертогахъ, гдѣ блистаютъ великолѣпіе и пышность, и бродитъ жалкая принужденность подъ кроткимъ именемъ благопристойности, тамъ нѣтъ свободы, нѣтъ любви, нѣтъ счастія!»

Въ «Двухъ Иванахъ» всего меньше запутанности интриги и всего больше яркихъ бытовыхъ чертъ украинской жизни—самоуправства и сутяжничества пановъ, ярморочной сутолоки, судейскихъ крючковъ. Герои этой повѣсти, кстати тоже Миргородскіе помѣщики, — очень и очень сродни Гоголевскимъ Ивану Ивановичу и Ивану Никифоровичу. «За всякое зло» врага они «отплачиваютъ настоящею пакостью». Въ теченіе тяжбы «погублены: цѣлое стадо гусей, утокъ, множество свиней, овецъ, козъ и барановъ; зато и у пана Харитона убыло: три пары рабочихъ воловъ, двѣ лошади и

нѣсколько коровъ съ теленками. Но это мелочи! Харитонъ сожегъ у меня гумно, а мы выжгли у него цѣлое поле съ созрѣвшимъ хлѣбомъ; онъ подкопалъ у насъ водяную мельницу, а мы сожгли у него двѣ вѣтряныхъ. Но кто исчислитъ всѣ убытки, кои одна сторона другой причинила!»

Прекраснодушный, но въ этомъ случаѣ далекій отъ жизненной правды оптимизмъ автора, въ концѣ концовъ, спасаетъ героевъ — жертвъ самоубійственной борьбы и тяжбы, давъ имъ хорошій урокъ. Однако, отъ этого значеніе нарисованной имъ безотрадной картины мало пострадало — какъ не сглаживаетъ, напр., тяжелаго впечатлѣнія «Доходнаго Мѣста» Островскаго нарочито-оптимистическое заключеніе этой очень знаменательной по своему общественному смыслу комедіи. Нужно, все-таки, учесть при этомъ, что подобный оптимизмъ опредѣляется у Нарѣжнаго не столько его натурою и міровоззрѣніемъ, сколько вліяніемъ устойчивой литературной традиціи и соображеніями цензурнаго характера, съ которыми тогда особенно приходилось считаться, хотя онъ иногда ловко умѣетъ обходить цензурные мели и пороги. Даже очень рискованную по тогдашнему времени тему — гибель молоденькой, неопытной и наивной дѣвушки онъ артистически сумѣлъ прикрыть игривой аллегоріей, полной мягкаго юмора.

Изъ-подъ толстой коры обветшавшей литературной традиціи всегда у Нарѣжнаго бьетъ родникъ свѣжаго юмора, яркаго реализма. На первомъ планѣ у него аллегорія, сказка, нагроможденіе романическихъ и романтическихъ хитросплетеній, а за ними и подъ ними — правда жизни и многогранной человѣческой души, просвѣтленная смѣхомъ или мягкою грустью, окрашенная раздумьемъ или негодованіемъ, то въ намекахъ и бѣглыхъ штрихахъ, то во всей полнотѣ и цѣлостности.

Пушкинская «Плеяда».

20-ые и 30-ые годы XIX вѣка были эпохой расцвѣта русской поэзіи, преобладанія стихотворной формы, которое смѣнилось господствомъ прозаическаго романа, выдвинутаго главнымъ образомъ литературной дѣятельностью Гоголя.

«Властителемъ думъ» былъ Пушкинъ. Около него сгруппировалась блестящая «Плеяда» первостепенныхъ и второстепенныхъ поэтическихъ дарованій, которая подняла нашу поэзію на небывалую высоту. Наиболѣе яркими ея представителями были кн. Вяземскій, Веневитиновъ, Давыдовъ, Баратынскій, Рылѣевъ, Дельвигъ, Козловъ, Языковъ и Тютчевъ.

Князь Петръ Андреевичъ ВЯЗЕМСКІЙ.

«Звѣзда разрозненной Плеяды» (Пушкинской), по выраженію Баратынскаго, литературный критикъ, поэтъ и государственный дѣятель, князь Петръ Андреевичъ Вяземскій родился 12 іюля 1792 г. въ Москвѣ. Воспитывался онъ частью въ Москвѣ, подъ руководствомъ университетскихъ профессоровъ, частью въ Петербургскомъ іезуитскомъ пансіонѣ. Характеръ первоначальнаго воспитанія и знакомство, въ домѣ отца, съ Жуковскимъ и Карамзинымъ, который женился позднѣе на его сестрѣ, рано развили въ немъ страсть къ словеснымъ наукамъ и поэтическому творчеству. 15 лѣтъ онъ былъ опредѣленъ юнкеромъ въ межевую канцелярію. Патріотическое одушевленіе Отечественной войны подхватило и его, и онъ въ 1812 г. поступилъ въ «Московскую военную силу» и участвовалъ въ Бородинскомъ сраженіи, затѣмъ опять былъ причисленъ къ межевой канцеляріи. Съ 1817 по 1821 гг. онъ состоялъ въ Варшавѣ при Новосильцевѣ,

главнымъ образомъ для перевода и редактированія оффиціальныхъ бумагъ. Жизнь въ Варшавѣ познакомила его съ польскимъ языкомъ и польской литературой, благодаря чему онъ и сдѣлался посредникомъ между двумя родственными литературами. Его вліяніе, между прочимъ, подготовило среди русской интеллигенціи 10—20-хъ годовъ почву для польскихъ симпатій.

Недоброжелательство русскихъ властей въ Варшавѣ, вызванное рѣзкими либеральными выходками Вяземскаго и поддержанное откровеннымъ тономъ перехваченныхъ писемъ, а также недоразумѣнія съ непосредственнымъ начальникомъ Новосильцевымъ привели къ удаленію «байронствовавшаго» поэта со службы, которая могла возобновиться только черезъ 10 лѣтъ, въ министерствѣ финансовъ. Назначенный первоначально для редактированія офиціальныхъ бумагъ министра Канкрина, родомъ нѣмца, онъ послѣдовательно занимаетъ мѣста: чиновника особыхъ порученій, члена общаго присутствія и вице-директора департамента внѣшней торговли, управляющаго государственнымъ заемнымъ банкомъ и члена совѣта министерства. Не питая «особаго расположенія къ вычисленіямъ, счетамъ и цифрамъ», онъ рвется со службы и отсутствіе въ своей служебной дѣятельности опасныхъ «обмолвокъ въ прозѣ» объясняетъ только тѣмъ, что «Богъ спасаетъ невинность». Благодаря ходатайству министра народнаго просвѣщенія Норова, Вяземскаго назначили его товарищемъ (1855—1858). Почти все это время въ его непосредственномъ завѣдываніи была цензура, гнетъ которой надъ русской литературой былъ при немъ нѣсколько ослабленъ. Въ 1861 г. Академія Наукъ, членомъ которой онъ состоялъ съ 1839 г., торжественно отпраздновала 50-лѣтній юбилей его литературной дѣятельности. Онъ умеръ въ 1878 г. 10 ноября въ Баденъ-Баденѣ.

«Дитя XVIII вѣка», Вяземскій послѣдовательно прошелъ всѣ ступени развитія, которыя пережила русская литература на порогѣ новаго вѣка. Воспитавшись на французскомъ классицизмѣ, онъ переходитъ къ сантиментализму, отдаетъ дань романтизму, особенно увлекаясь Байрономъ (съ которымъ знакомится около 1820 г.), и, подъ вліяніемъ Пушкина и его «Плеяды», до извѣстной степени усваиваетъ своей поэзіи черты народности и реализма. Обладая неглубокимъ поэтическимъ дарованіемъ, съ трудомъ очищая свою рѣчь отъ галлицизмовъ и излишней книжности, Вяземскій возвышается надъ уровнемъ посредственности только въ немногихъ стихотвореніяхъ («Первый снѣгъ», которымъ такъ восхищался Пушкинъ, «На память о Пушкинѣ», «Пѣснь въ день юбилея Крылова» и проч.), особенно сатирическихъ, какъ знаменитый «Русскій богъ»:

Богъ ухабовъ, богъ мятелей,
Богъ проселочныхъ дорогъ,
Богъ ночлеговъ безъ постелей...
. . . . . .
Богъ пришельцевъ-иноземцевъ,
Перешедшихъ нашъ порогъ,
Богъ въ особенности нѣмцевъ
. . . . . .

и пародіяхъ (напр., превосходныя пародіи на бездарныя и смѣхотворныя басни гр. Хвостова). До сихъ поръ еще часто цитируются его стихи:

Дай Богъ намъ болѣе журналовъ:
Плодятъ читателей они.
Гдѣ есть повѣтріе на чтенье,
Въ чести тамъ грамота, перо;
Гдѣ грамота—тамъ просвѣщенье,
Гдѣ просвѣщенье — тамъ добро...

Въ его остроуміи и философствованіи много напряженности и искусственности, равно какъ и въ языкѣ. Приспособленіе къ дѣйствительности сдѣлало изъ яраго либерала Александровской эпохи упорнаго и послѣдовательнаго консерватора. Вѣрный хранитель не лучшихъ традицій Пушкинскаго кружка, онъ вступаетъ въ страстную, но безсильную борьбу съ новыми вѣяніями, всю жизнь преслѣдуетъ Бѣлинскаго. Важнѣе его историко-литературные труды (особенно изслѣдованіе о Фонвизинѣ, богатое фактами и далеко не потерявшее значенія даже и теперь), критическія статьи, воспоминанія и переписка. «Литературный сыщикъ», по собственному выраженію, онъ имѣетъ темпераментъ журналиста и въ «Московскомъ Телеграфѣ» Полевого играетъ сначала первенствующую роль. Разносторонняя начитанность, находчивость, полная холодность по отношенію къ старымъ литературнымъ авторитетамъ и традиціямъ, недюжинное, хотя часто черезчуръ изысканное остроуміе создали ему первоначально вліятельное положеніе среди тогдашнихъ литературныхъ партій. Онъ пытался, хотя и безуспѣшно, теоретически обосновать романтизмъ, наносилъ сильные удары архаическимъ знаменитостямъ современной литературы и возродившемуся классицизму. Въ его критическихъ и полемическихъ статьяхъ, всегда неровныхъ и невыдержанныхъ, мѣстами много чисто виртуозной тонкости и «галльской соли». Оцѣнка Пушкина и Гоголя, Грибоѣдова и Мицкевича до сихъ поръ еще не потеряла своего значенія. Съ Полевымъ и, позднѣе, Бѣлинскимъ его ссорятъ претензіи на литературный аристократизмъ и мелочная обидчивость за Карамзина и

Дмитріева. Не отличаясь объективностью взглядовъ, будучи страстнымъ и пристрастнымъ полемикомъ, Вяземскій сильно обостряетъ свои литературныя отношенія, рветъ связи какъ съ тріумвиратомъ Греча, Булгарина и Сенковскаго, такъ и съ представителями передовой русской мысли, замыкается въ узкомъ кругу отставшихъ отъ «славной пушкинской стаи» и все болѣе теряетъ чутье дѣйствительности. Особенно его уронили въ общественномъ мнѣніи рѣзкія до неприличія выходки противъ Бѣлинскаго и «нигилистовъ». Его многочисленныя «Старыя записныя книги» содержатъ громадное количество разрозненныхъ фактовъ, очень цѣнныхъ для характеристики прежней общественной и литературной жизни, составлены очень живо и читаются съ неослабѣвающимъ до конца интересомъ. Всѣ лучшія стороны личности Вяземскаго съ особенною силою сказались въ его литературной перепискѣ, въ которой онъ сравнительно мало кокетничалъ и высказывался наиболѣе свободно. Имѣя въ виду ихъ и свои воспоминанія, Вяземскій писалъ:

Годовъ и поколѣній много
Я пережить уже успѣлъ,
И длинною своей дорогой
Событій много подсмотрѣлъ.
Талантовъ нѣтъ во мнѣ излишка,
Не корчу важнаго лица;
Я просто — записная книжка,
Гдѣ жизнь играетъ роль писца.

Его переписка съ А. И. Тургеневымъ, Жуковскимъ и др. — необыкновенно яркая картина нашей умственной жизни за первую половину XIX вѣка — особенно съ первымъ. Она очень характерная для корреспондентовъ, и по ней легко можно прослѣдить, какъ постепенно мѣнялись ихъ роли: не мѣняя своей позиціи, Тургеневъ изъ слишкомъ умѣреннаго дѣлался все болѣе и болѣе крайнимъ въ глазахъ своего пріятеля, сначала неистово байронствовавшаго и протестовавшаго противъ все сильнѣе напиравшей реакціи, а потомъ «припятившагося».

Дмитрій Владиміровичъ ВЕНЕВЕТИНОВЪ.

Поэтъ и философъ, одинъ изъ раннихъ представителей у насъ нѣмецкой идеалистической философіи, Дмитрій Владимировичъ Веневитиновъ родился въ Москвѣ 14 сентября 1805 г. Онъ происходилъ изъ стариннаго, знатнаго и богатаго рода, слагался въ изящной

и интеллигентной обстановкѣ артистическаго и литературнаго салона. Мать его для того времени была исключительнымъ явленіемъ: обладая гибкимъ и глубокимъ умомъ, разностороннимъ образованіемъ, она сдѣлала свой домъ притягательнымъ центромъ для всей культурной Москвы, мѣстныхъ и пріѣзжихъ артистовъ, художниковъ, литераторовъ. Много любви и тонкаго пониманія вложила она въ воспитаніе сына: развивался онъ въ атмосферѣ широкой «нравственной свободы», которую потомъ такъ высоко цѣнилъ, — красоты и высокихъ духовныхъ интересовъ. До 8 лѣтъ онъ воспитывался подъ непосредственнымъ наблюденіемъ матери, которая подыскала ему потомъ образцоваго гувернера, отставного капитана французской службы Дорера, человѣка образованнаго, умнаго и добраго, сердечно привязавшагося къ воспріимчивому, привѣтливому и не по лѣтамъ развитому ребенку. Съ Дореромъ Веневитиновъ изучаетъ римскую и французскую литературу, благодаря греку Байло знакомится съ греческимъ языкомъ и особенно увлекается Софокломъ, Эсхиломъ и Платономъ, въ которомъ потомъ находитъ «столько же поэзіи, сколько глубокомыслія, столько же пищи для чувства, сколько для мысли». Въ античномъ мірѣ соединялись для него, по его собственнымъ словамъ, «мысли и чувства въ одной очаровательной области, заключающей въ себѣ вселенную, гдѣ философія и всѣ искусства, тѣсно связанныя между собою, изъ общаго источника развивали дары свои на смертныхъ». Остальные учителя, которые были приглашены для Д. В., особеннаго вліянія на него не оказали. Съ русскою литературою онъ ознакомился самостоятельно. Наибольшее впечатлѣніе произвела на него «Исторія Государства Россійскаго» Карамзина. Въ этомъ хрупкомъ, утонченно-изящномъ, одухотворенномъ юношѣ были заложены задатки разнообразныхъ талантовъ: рано началъ онъ писать стихи, прекрасно рисовалъ, обладалъ большими музыкальными способностями. 17 лѣтъ Д. В. началъ слушать лекціи въ университетѣ. Его любимцами были профессора Мерзляковъ, Давыдовъ и Павловъ. Съ Мерзляковымъ его сближало увлеченіе античной поэзіей. Краснорѣчивые разборы-импровизаціи знаменитаго профессора ближе познакомили Веневитинова съ нашей старой литературой. Вѣрный послѣдователь — въ теоріи — взглядовъ главныхъ авторитетовъ французскаго классицизма Лагарпа и Баттё, Мерзляковъ — на практикѣ — часто измѣнялъ имъ, увлекался «Кавказскимъ плѣнникомъ» Пушкина, развѣнчивалъ Хераскова и Сумарокова. Эти противорѣчія скоро были подмѣчены даровитымъ ученикомъ, все болѣе и болѣе увлекавшимся нѣмецкой поэзіей и философіей. Свѣжѣе и плодотворнѣе была дѣятельность Давыдова, талантливо проводившаго, не

столько по убѣжденію, сколько слѣдуя модѣ, начала нѣмецкаго философскаго идеализма. Въ лицѣ Павлова Веневитиновъ столкнулся съ глубокимъ знатокомъ нѣмецкой философіи и искреннимъ послѣдователемъ Шеллинга. Наряду съ научными шли и литературныя занятія. На «педагогическихъ бесѣдахъ» у Мерзлякова Д. В. выступаетъ главнымъ застрѣльщикомъ противъ старомодныхъ взглядовъ профессора, развиваетъ свои діалектическія способности, вырабатываетъ себѣ прекрасную прозаическую рѣчь. Онъ настолько уже былъ подготовленъ, что черезъ два года послѣ поступленія въ университетъ могъ легко выдержать экзаменъ, требовавшійся указомъ 1809 г. для поступленія на гражданскую службу. Знатная московская молодежь прикомандировывалась тогда къ московскому Архиву юстиціи и Архиву иностранныхъ дѣлъ для избѣжанія военной службы и для подготовки къ дипломатической службѣ. Въ среду этихъ «архивныхъ юношей» попалъ въ 1825 г. и Д. В. Съ большинствомъ товарищей по службѣ, только номинальной, онъ былъ знакомъ и раньше, по московскому обществу и университету. Вскорѣ около него сложился изъ нихъ тѣсный дружескій кружокъ, сначала литературный, затѣмъ почти исключительно философскій. Давыдовъ, бывшій инспекторомъ Московскаго университетскаго благороднаго пансіона, устраивалъ у себя литературныя собесѣдованія воспитанниковъ для чтенія и разбора ихъ переводовъ и самостоятельныхъ произведеній въ стихахъ и прозѣ. Въ 1823 г. изъ этихъ собраній возникло неофиціальное литературное общество, получившее названіе Раичевскаго, по имени одного изъ пансіонскихъ учителей, поэта и переводчика Раича. Къ нему примкнулъ и Веневитиновъ. Позднѣе изъ Раичевскаго кружка выдѣлилось «общество любомудрія», выработавшее особый уставъ и преимущественно посвятившее себя изученію Шеллинга. Въ него вошли, кромѣ Д. В., кн. В. Ѳ. Одоевскій, братья Киреевскіе, Соболевскій, Кюхельбекеръ, Шевыревъ, Максимовичъ, Погодинъ и др. Въ большинствѣ случаевъ это — богатая и родовитая молодежь, больше всего цѣнившая въ умственной дѣятельности «благородное развлеченіе». Ко многимъ изъ нихъ примѣнимы слова И. Киреевскаго о себѣ: «прожектовъ много, а лѣни еще больше. Не знаю, отчего мнѣ даже некогда и читать то, что хочется; а некогда, вѣроятно, отъ того, что я ничего не дѣлаю». Веневитиновъ выдѣлялся изъ всего кружка серіозностью. Друзья мечтаютъ о журналѣ, какъ средствѣ пропаганды своихъ философскихъ взглядовъ. Въ 1824—1825 гг. они издаютъ 4 томика сборника «Мнемозина» подъ редакціей кн. Одоевскаго и Кюхельбекера. Альманахъ этотъ не пошелъ: философскія статьи были мало интересны

для публики, изъ художественныхъ произведеній выдѣлялись только романтическіе разсказы кн. Одоевскаго; зато Кюхельбекеръ злоупотреблялъ редакторскимъ правомъ и помѣщалъ слишкомъ много своихъ стиховъ, тяжелыхъ и шероховатыхъ. Удачнѣе были его прозаическія статьи — напр., о сущности романтизма.

Въ октябрѣ 1826 г. Веневитиновъ переѣхалъ въ Петербургъ на службу въ канцеляріи иностранной коллегіи. Безнадежная любовь замутила эту ясную и чистую душу, и Д. В. хотѣлось перемѣнить обстановку. Былая веселость и шаловливость смѣнились грустнымъ раздумьемъ, которое почти уже не сходило съ его идеально-прекраснаго лица, такъ рано отмѣченнаго печатью смерти. Совмѣстное путешествіе его съ однимъ французомъ, спутникомъ жены декабриста кн. Трубецкого, навлекло на него подозрѣніе и привело къ кратковременному аресту и заключенію въ крѣпость. Нѣжный организмъ Д. В. былъ потрясенъ неожиданнымъ арестомъ; сырой и грязный казематъ, въ которомъ ему пришлось провести нѣсколько дней, вызвалъ тяжелую болѣзнь, отъ которой онъ съ трудомъ потомъ вылѣчился. Съ 1827 г. кружокъ московскихъ друзей Д. В. началъ издавать «Московскій Вѣстникъ», подъ редацкіей Погодина. Журналъ этотъ выходилъ по программѣ, выработанной Веневитиновымъ, при постоянномъ и любовномъ его участіи. Благодаря ему главнымъ образомъ былъ привлеченъ къ сотрудничеству Пушкинъ; его твердая рука сдерживала и направляла Погодина, всего менѣе подготовленнаго къ роли редактора философско-литературнаго журнала. Знаменательно, что со смертью Веневитинова «Московскій Вѣстникъ» сталъ быстро падать. Несмотря на тѣсную дружбу съ Дельвигомъ и успѣхи въ петербургскомъ свѣтѣ, Веневитиновъ тоскуетъ по Москвѣ, вернуться въ которую ему мѣшаетъ любовь, то хлопочетъ о службѣ въ Персіи, то съ жаромъ набрасывается на изученіе Шеллинга, Окена, Фихте и Платона и все время внимательно слѣдитъ за изданіемъ «Московскаго Вѣстника». Въ разгарѣ оживленной умственной работы слабый и безъ того расшатанный организмъ былъ сломленъ однимъ ударомъ: Веневитинова свела въ могилу случайная простуда послѣ бала, на который онъ отправился легко одѣтымъ. 15 марта 1827 г. его не стало. Потеря эта была встрѣчена общимъ глубокимъ сожалѣніемъ.

Въ Веневитиновѣ погибли для нашей поэзіи и мысли крупныя надежды, большая возможность, которая мало проявилась въ дѣйствіи, но которая такъ ясно чувствуется, при изученіи маленькаго оставшагося послѣ него литературнаго наслѣдія. 22-лѣтній юноша, исполненный проникновеннаго свѣтлаго идеализма, онъ успѣлъ дать

намъ нѣсколько прекрасныхъ прозаическихъ статей съ кованымъ философскимъ языкомъ, богатымъ и гибкимъ, нѣсколько удачныхъ переводовъ (въ особенности изъ Гёте, передъ которымъ онъ преклонялся) и около 40 оригинальныхъ стихотвореній, иногда не отдѣланныхъ, часто безукоризненныхъ по формѣ, глубокихъ по мысли, необыкновенно искреннихъ. Съ особою любовью возвращается онъ къ образу поэта, возникшему изъ романтической идеализаціи искусства и его роли въ міровой жизни. Въ стихотвореніи «Поэтъ и другъ» онъ какъ бы предсказалъ свою участь:

Душа сказала мнѣ давно:
„Ты въ мірѣ молніей промчишься,
Тебѣ все чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься".

Отъ поэта онъ требовалъ согласія ума и чувства. Такъ легко примѣнить къ нему его же слова о поэтѣ:

Какъ я люблю его созданья!
Онъ дышитъ жаромъ красоты,
Въ немъ умъ и сердце согласились,
И мысли полныя носились
На легкихъ крыліяхъ мечты...
Какъ зналъ онъ жизнь, какъ мало жилъ!

Не даромъ послѣднія слова его были вырѣзаны на его могильномъ памятникѣ...

Друзья Веневитинова долго сохраняли трогательный обычай: въ годовщину его смерти собирались они тѣснымъ кружкомъ, вспоминали покойника, для котораго оставлялись пустыми приборъ и стулъ, и за полночь бесѣдовали о томъ, что такъ связывало ихъ съ безвременно угасшимъ поэтомъ-мыслителемъ, что волновало когда то ихъ юныя души. Многіе изъ нихъ и представителей послѣдующихъ литературныхъ поколѣній дали свою оцѣнку Веневитинова, которая должна перейти и въ потомство. И. Киреевскій считалъ своего друга «призваннымъ быть украшеніемъ нашей поэзіи и, быть можетъ, создателемъ нашей философіи; онъ былъ проникнутъ откровеніемъ своего вѣка; глубокій самобытный поэтъ — въ немъ каждое чувство было освѣщено мыслью, каждая мысль согрѣта сердцемъ; въ познаніи самого себя находилъ онъ разрѣшеніе всѣхъ тайнъ искусства и въ собственной душѣ прочелъ начертаніе высшихъ законовъ и созерцалъ красоту созданія. Созвучіе ума и сердца было отличительнымъ характеромъ его духа, и самая фантазія его была болѣе музыкою мыслей и чувства, нежели игрою воображенія».

По словамъ Мельгунова, «его поэтическій даръ развернулся вдругъ подобно тѣмъ роскошнымъ цвѣтамъ, которые цвѣтутъ въ продолженіе одного теплаго утренняго часа. Онъ все затронулъ съ глубокою и самосознательной симпатіей къ сущему». Хомяковъ начиналъ съ него «новую эпоху для русской поэзіи, эпоху, съ которой красота формы уступаетъ первенство красотѣ и возвышенности содержанія». Полемизировавшій съ Д. В. безъ особаго успѣха при жизни Полевой писалъ вскорѣ послѣ его смерти: «въ двадцать лѣтъ онъ былъ уже болѣе, нежели образованнымъ человѣкомъ — онъ былъ художникъ и мыслитель». Даже Булгаринъ счелъ долгомъ заявить: «въ самой цвѣтущей юности онъ умѣлъ понимать жизнь и преждевременно былъ одаренъ совершенною опытностью». Станкевичъ видѣлъ въ немъ «художнически-рефлективное направленіе въ родѣ Гёте». Глубокой симпатіей проникнута и краткая характеристика Бѣлинскаго: «изъ всѣхъ молодыхъ поэтовъ Пушкинскаго періода онъ одинъ обнималъ природу не холоднымъ умомъ, а пламеннымъ сочувствіемъ, и силою любви могъ проникнуть въ ея святилище. Онъ самъ собою составилъ бы школу, еслибъ судьба не пресѣкла безвременно его прекрасной жизни».

Теперь Веневитиновъ почти забытъ. Это — одна изъ самыхъ грубыхъ несправедливостей нашей жизни.

Денисъ Васильевичъ ДАВЫДОВЪ.

Знаменитый партизанъ и поэтъ, способности котораго «крутить стихи» завидовалъ Пушкинъ, Денисъ Васильевичъ Давыдовъ родился въ Москвѣ 16 іюля 1784 г. Происходилъ онъ изъ стариннаго дворянскаго рода. До семи лѣтъ онъ жилъ въ Москвѣ, затѣмъ «подъ солдатской палаткой» съ отцомъ, командиромъ кавалерійскаго полка, въ селѣ Грушовкѣ, Полтавской губерніи. О своемъ дѣтствѣ Д. В. даетъ любопытныя свѣдѣнія въ автобіографіи: «Давыдовъ, какъ всѣ дѣти, съ младенчества своего оказалъ страсть къ маршированію, метанію ружьемъ и проч. Страсть эта получила высшее направленіе въ 1793 г. отъ нечаяннаго вниманія къ нему гр. А. В. Суворова, который при осмотрѣ Полтавскаго легко-коннаго полка, находившагося тогда подъ начальствомъ родителя Давыдова, замѣтилъ рѣзваго ребенка и, благословивъ его, сказалъ: «ты выиграешь три сраженія!» Маленькій повѣса бросилъ Псалтырь, замахалъ саблею, выкололъ глазъ дядькѣ, проткнулъ шлыкъ нянѣ и отрубилъ хвостъ борзой собакѣ, думая тѣмъ исполнить пророчество великаго человѣка. Розга обратила его къ миру и къ ученію. Но какъ тогда учили! Натирали ре-

бятъ наружнымъ блескомъ, готовя ихъ для удовольствій, а не для пользы общества: учили лепетать по-французски, танцовать, рисовать и музыкѣ; тому же учился и Давыдовъ до 13-лѣтняго возраста. Тутъ пора была подумать и о будущности: онъ сѣлъ на коня, захлопалъ арапникомъ, полетѣлъ со стаею гончихъ собакъ по мхамъ и болотамъ — и тѣмъ заключилъ свое воспитаніе».

Живя въ Москвѣ, «между порошами и брызгами», онъ близко сошелся съ нѣкоторыми воспитанниками Благороднаго университетскаго пансіона, которые увлекли его своими живыми литературными интересами. Подъ ихъ вліяніемъ онъ началъ писать стихи — въ модномъ тогда сантиментальномъ направленіи.

Въ 1801 г. его отправили въ Петербургъ и не безъ труда (главнымъ препятствіемъ былъ малый ростъ) опредѣлили въ кавалергардскій полкъ: по словамъ самого Д. В., «наконецъ, привязали недоросля нашего къ огромному палашу, опустили его въ глубокіе ботфорты и покрыли святилище поэтическаго его генія мукóю и треугольною шляпою».

Вліяніе двоюроднаго брата принудило его засѣсть за книги и пополнить пробѣлы своего скуднаго домашняго воспитанія. Преимущественно онъ изучалъ тогда военныя науки, но «не оставлялъ и бесѣды съ музами: онъ призывалъ ихъ во время дежурствъ своихъ въ казармы, въ госпиталь и даже въ экскадронную конюшню. Онъ часто на нарахъ солдатскихъ, на столикѣ больного, на полу порожняго стойла, гдѣ избиралъ свое логовище, писывалъ сатиры и эпиграммы, коими началъ ограниченное словесное поприще свое».

Стихи его въ свое время славились. Въ нихъ много неподдѣльнаго остроумія, широкаго русскаго разгула, искренней и захватывающей удали. Почти всегда они оригинальны и по формѣ и по содержанію; сатира Давыдова мѣтка, зла и свободна; недаромъ нѣкоторыя изъ его произведеній въ свободномъ духѣ упорно приписывались Пушкину.

Сатира и вакхическій эротизмъ не исчерпываютъ всей поэтической дѣятельности Д. В.: въ послѣдній періодъ жизни онъ написалъ рядъ прекрасныхъ стихотвореній въ элегическомъ родѣ, вызванныхъ любовью, и описаній природы.

Въ 1804 г. Д. В. перевелся въ Бѣлорусскій гусарскій полкъ, расквартированный тогда въ Кіевской губерніи. «Молодой ротмистръ закрутилъ усы, покачнулъ киверъ на ухо, затянулся, натянулся и пустился плясать мазурку до упаду. Въ это бѣшеное время онъ писалъ стихи своей красавицѣ, которая ихъ не понимала, потому что была полька, и сочинилъ извѣстный призывъ на пуншъ

Бурцову, который читать не могъ оттого, что самъ писалъ «мыслете».

Черезъ два года его перевели въ Петербургъ въ лейбъ-гусарскій полкъ. Багратіонъ сдѣлалъ его своимъ адъютантомъ. Онъ принималъ участіе въ войнѣ съ французами (1806 г.) и шведами (1808 г.) и быстро выдвинулся благодаря своей безумной храбрости и находчивости.

Во время Отечественной войны, въ чинѣ подполковника Ахтырскаго гусарскаго полка, Давыдовъ организуетъ первые партизанскіе отряды, «раздѣляетъ славу съ гр. Орловымъ-Денисовымъ, Фигнеромъ, и Сеславинымъ подъ Ляховымъ, разбиваетъ непріятеля подъ Бѣланичами и продолжаетъ веселые и залетные свои поиски до береговъ Нѣмана». За отличіе въ сраженіи подъ Бріеномъ его произвели въ генералъ-майоры.

Возвратившись въ 1814 г. изъ заграничнаго похода въ Москву, Д. В. исключительно отдается поэзіи, сочиняетъ нѣсколько элегій и сближается съ московскими литературными кругами. Служба въ рангѣ начальника штаба пѣхотныхъ корпусовъ была прервана въ 1823 г. отставкою, вызванною тяжелыми впечатлѣніями Аракчеевскаго режима. Со вступленіемъ на престолъ Николая I его опять потянуло на дѣйствительную службу. Въ 1827 г. онъ участвуетъ въ войнѣ противъ персовъ, въ 1831 — противъ поляковъ, затѣмъ окончательно выходитъ въ отставку въ чинѣ генералъ-лейтената, поселяется въ своей деревнѣ (Симбирской губерніи), изрѣдка навѣщая Москву. Скончался онъ 22 апрѣля 1839 г.

Свою автобіографію Д. В. закончилъ такими словами: «Давыдовъ не нюхаетъ съ важностью табаку, не смыкаетъ бровей въ задумчивости; голосъ его тонокъ, рѣчь жива и огненна. Онъ представляется намъ сочетателемъ противоположностей, рѣдко сочетающихся. Принадлежала старѣющему уже поколѣнію и лѣтами и службою, онъ свѣжестью чувствъ, веселостью характера, подвижностью тѣлесною и ратоборствомъ въ послѣднихъ войнахъ собратствуетъ, какъ однолѣтокъ, и текущему поколѣнію. Его благословилъ великій Суворовъ; благословеніе это ринуло его въ боевыя случайности на полное тридцатилѣтіе; но, кочуя и сражаясь тридцать лѣтъ съ людьми, посвятившими себя исключительно военному ремеслу, онъ въ то же время занимаетъ не послѣднее мѣсто въ словесности между людьми, посвятившими себя исключительно словесности. Охваченный вѣкомъ Наполеона, изрыгавшимъ всесокрушительными событіями, какъ Везувій лавою, онъ пѣлъ въ пылу ихъ, какъ на кострѣ тампліеръ Моле, объятый пламенемъ. Миръ и спокойствіе — и о Давыдовѣ нѣтъ слуха, его какъ бы нѣтъ на свѣтѣ; но повѣетъ войною — и онъ уже тутъ,

торчитъ среди битвъ, какъ казачья пика. Снова миръ — и Давыдовъ опять въ степяхъ своихъ, опять гражданинъ, семьянинъ, пахарь, ловчій, стихотворецъ, поклонникъ красоты во всѣхъ ея отрасляхъ — въ юной дѣвѣ ли, въ произведеніяхъ художествъ, въ подвигахъ ли военномъ или гражданскомъ, въ словесности: вездѣ слуга ея, вездѣ рабъ ея, поэтъ ея. Вотъ Давыдовъ».

Въ литературныхъ кругахъ онъ пользовался большими симпатіями благодаря живости и открытости своего характера, неувядаемой молодости души, недюжинному остроумію, большому внутреннему такту, который помогалъ ему разбираться въ сложныхъ вопросахъ жизни и литературы, хотя къ рѣшенію ихъ его мало подготовили воспитаніе и характеръ дѣятельности. Многія черты его были художественно воплощены Толстымъ въ «Васькѣ Денисовѣ» романа «Война и миръ». Многія стихотворенія этого «Аполлона подъ доломаномъ» не потеряли своего значенія и до сихъ поръ. «Современная пѣсня» брызжетъ остроуміемъ. И теперь ее часто цитируютъ:

А глядишь: нашъ Мирабо
Стараго Гаврила
За измятое жабо
Хлещетъ въ усъ да въ рыло.
А глядишь: нашъ Лафайетъ,
Брутъ или Фабрицій
Мужика подъ прессъ кладетъ
Вмѣстѣ съ свекловицей...

Хороши его «Вальсъ» («Кипитъ потокъ въ дубравѣ шумной»), «Рѣчка» («Давно ли рѣчка голубая»), «Вечеръ въ іюнѣ».

Пушкинъ говорилъ, что «въ молодости онъ старался подражать Денису Давыдову въ крученіи стиха и усвоилъ его манеру навсегда». На вопросъ, какъ онъ не подчинился въ молодости вліянію Жуковскаго и Батюшкова, великій поэтъ отвѣчалъ: «я этимъ обязанъ Денису Давыдову. Онъ далъ мнѣ почувствовать, что можно быть оригинальнымъ». Языковъ о немъ писалъ:

Не умретъ твой стихъ могучій,
Достопамятно живой,
Упоительный, кипучій
И воинственно-летучій
И разгульно-удалой...

Кромѣ стихотвореній, Давыдову принадлежитъ рядъ прозаическихъ произведеній (Воспоминанія, «О партизанской войнѣ», «Переписка съ Вальтеръ-Скоттомъ» и проч.).

Баронъ Антонъ Антоновичъ ДЕЛЬВИГЪ.

Товарищъ Пушкина по Царскосельскому лицею, его ближайшій другъ, Антонъ Антоновичъ Дельвигъ происходилъ изъ стариннаго рода нѣмецкихъ бароновъ, переселившихся въ XV вѣкѣ въ Прибалтійскій край. Родился онъ въ Москвѣ 6 августа 1798 г. Мать его была русская. Первоначальное воспитаніе шло обычнымъ для того времени путемъ: иностранцы-воспитатели, частный пансіонъ въ Москвѣ, съ 1811 по 1817 гг. Лицей. Подобно Пушкину, Дельвигъ вынесъ изъ лицейскаго преподаванія мало положительныхъ свѣдѣній, но живой интересъ къ литературѣ. Писать стихи и печататься онъ началъ еще въ Лицеѣ. На первыхъ его произведеніяхъ отразилось увлеченіе античною миѳологіей и поэзіей, балладами Жуковскаго и патріотическія чувства эпохи Отечественной войны. Послѣ окончанія Лицея Дельвигъ служитъ въ департаментѣ горныхъ и соляныхъ дѣлъ, министерствѣ финансовъ, публичной библіотекѣ (помощникомъ Крылова, съ которымъ онъ соперничалъ въ лѣни) и департаментѣ иностранныхъ исповѣданій. «Лѣнивый баловень», тучный флегматикъ, онъ былъ плохимъ чиновникомъ и служилъ только вслѣдствіе недостатка средствъ; за добродушіе и открытый характеръ ему прощали многіе служебные грѣхи. Тѣ же свойства создали ему широкую популярность въ литературныхъ кругахъ и сдѣлали издаваемые имъ альманахъ «Сѣверные цвѣты» и «Литературную газету» средоточіемъ лучшихъ писательскихъ силъ. «Газета» была закрыта за помѣщеніе стихотворенія по поводу одного изъ событій іюльской революціи. Объясненія съ шефомъ жандармовъ Бенкендорфомъ настолько потрясли Дельвига, что онъ тяжко заболѣлъ и скончался 14 января 1831 г. Пушкинъ оплакалъ его въ рядѣ стихотвореній и писемъ и до конца своей жизни не могъ примириться съ этою неожиданною утратой. Поэтическое дарованіе Дельвига не было особенно глубокимъ и не отличалось оригинальностью. Въ немъ было больше желанія, чѣмъ умѣнія внести въ русскую поэзію новое содержаніе и новыя формы. Онъ пробуетъ воскресить настоящую, неподдѣльную античную красоту и сблизить русскую литературную пѣсню съ народной, вводитъ греческіе размѣры (съ особеннымъ успѣхомъ гекзаметръ и пентаметръ). Его идиліи проще и жизненнѣе идиллій Гнѣдича и Панаева (напр., «Отставной солдатъ»). Нѣкоторыя изъ его подражаній народнымъ пѣснямъ пользовались широкою популярностью въ свое время и не потеряли своего значенія и до

сихъ поръ («Ахъ ты ночь ли», «Пѣла, пѣла, пташечка», «Соловей мой, соловей»). Благодаря имъ Дельвигъ можетъ быть названъ однимъ изъ ближайшихъ предшественниковъ Кольцова. Въ исторіи освобожденія нашей поэзіи отъ узъ французскаго классицизма, перехода ея къ реализму и народности онъ имѣетъ свое опредѣленное, хотя и небольшое мѣсто.

Иванъ Ивановичъ КОЗЛОВЪ.

Поэтомъ сдѣлало Козлова величайшее несчастье его жизни — потеря зрѣнія. Блестящій гвардейскій офицеръ, позднѣе чиновникъ съ большимъ будущимъ, славившійся своимъ умѣньемъ одѣваться и танцовать, онъ былъ очень далекъ отъ литературныхъ интересовъ въ молодые годы; хорошо зналъ французскій и итальянскій языки, но воспользовался своими знаніями только тогда, когда предъ нимъ, по выраженію Пушкина, «во мглѣ сокрылся міръ земной»:

Пѣвецъ, когда передъ тобой
Во мглѣ сокрылся міръ земной,
Мгновенно твой проснулся геній,
На все минувшее воззрѣлъ,
И въ хорѣ свѣтлыхъ привидѣній
Онъ пѣсни дивныя запѣлъ.
О милый братъ, какіе звуки!
Въ слезахъ восторга внемлю имъ:
Небеснымъ пѣніемъ своимъ
Онъ усыпилъ земныя муки.
Ты въ немъ и видишь и летаешь,
Тебѣ онъ создалъ новый міръ:
И вновь живешь, и обнимаешь
Цвѣтущей юности кумиръ...

Иванъ Ивановичъ Козловъ происходилъ изъ стариннаго дворянскаго рода. Родился онъ 11 апрѣля 1779 г. въ Москвѣ и получилъ только домашнее образованіе. До 1816 г., когда ударъ лишилъ его употребленія ногъ, жизнь его проходила весело и безмятежно. Въ 1821 г. онъ окончательно ослѣпъ. Отъ отчаянія его спасли вѣра и поэзія:

...Поэзія для всѣхъ
Источникъ силы, ободренья,
Животворительныхъ утѣхъ
И сладкаго самозабвенья:
Но для меня лишь въ ней одной
Цвѣтетъ прекрасная природа;

Въ ней міръ разнообразный мой,
Въ ней и веселье и свобода!
Она лишь можетъ разгонять
Души угрюмое ненастье
И сердцу сладко напѣвать
Его утраченное счастье...

По словамъ Бѣлинскаго, «ужасное несчастье заставило Козлова познакомиться съ самимъ собою, заглянуть въ таинственное святилище души своей и открыть тамъ самородный ключъ поэтическаго вдохновенія».

Уже слѣпой, со словъ другихъ, онъ изучаетъ нѣмецкій и англійскій языки, изучаетъ Байрона и Шатобріана, претворяя ихъ міровую скорбь въ «свѣтлую печаль» религіозно настроенной души. Исключительная память помогла ему почти дословно запоминать отрывки изъ Шекспира, Ламартина, Шатобріана, цѣлыя поэмы Байрона и Вальтеръ-Скотта, все Евангеліе. Литературные друзья (Жуковскій, кн. Вяземскій, Гнѣдичъ и др.) всячески старались скрасить грустную жизнь поэта-слѣпца, поддержать его нравственно и матеріально. Средствъ у Козлова не было совсѣмъ, и послѣдніе годы ему пришлось существовать вмѣстѣ съ семьей почти въ полной нищетѣ. Умеръ онъ 30 января 1840 г.

Современники особенно цѣнили переводы Козлова изъ Байрона и Мицкевича, плача Ярославны изъ «Слова о полку Игоревѣ», поэму «Чернецъ» и оригинальныя лирическія стихотворенія. Титанизмъ и демонизмъ Байрона были чужды религіозной, элегически-тихой душѣ Козлова, и онъ передавалъ ихъ въ очень смягченной формѣ. Его «Чернецъ» только «плачетъ да молится». Ближе ему были англійскіе идиллики (Вордсвортъ, Борнсъ), меланхолическая элегія Мура и Мильвуа. Воскрешенныя памятью картины природы дышатъ у него всегда ясною, прозрачною грустью («Вечерній звонъ» изъ Мура и др.). Воспоминаніе несетъ поэту правдивую вѣсть о томъ, что утрачено навѣки, — по его словамъ:

... завѣсу съ очей
Волшебной силою снимаетъ.
Ахъ, удается часто мнѣ
Смотрѣть на Божій свѣтъ во снѣ,
Плѣнять мой жадный взоръ лѣсами,
Рѣкою, нивами, полями
И всей знакомой красотой
Тѣхъ мѣстъ, гдѣ прежнею порой
Я часто ею любовался...

Несчастный слѣпецъ-узникъ, который

въ мрачной тишинѣ
Мечтаетъ о красахъ природы,
О солнцѣ яркомъ, о лунѣ,
О томъ, что видѣлъ въ дни свободы.

Въ стихѣ Козлова нѣтъ мужественной силы. Онъ мелодиченъ, мягокъ и прекрасно гармонируетъ съ основнымъ характеромъ его просвѣтленной несчастьемъ и вѣрою, задумчиво-сосредоточеной, глубоко элегической поэзіи, въ которой нѣтъ ни размаха чувства, ни особаго простора мысли.

Николай Михайловичъ ЯЗЫКОВЪ.

Жизнь Николая Михайловича Языкова не богата внѣшними событіями. Происходилъ онъ изъ стариннаго дворянскаго рода, родился въ Симбирскѣ въ 1803 г. (4 марта); дѣтство провелъ въ имѣніи Языково, откуда вынесъ любовь къ тихой деревенской жизни и крестьянскому быту, гдѣ «младая жизнь дарила ему весенніе цвѣты», и «плѣнительные годы юности катились весело незримою струей». «Властительница русскихъ водъ» Волга рано увлекла его своей красотой и поэтическими преданіями, сыграла видную роль и въ его творчествѣ. Въ поэтическомъ обращеніи «Къ Рейну» Языковъ говорилъ:

Я — волжанинъ: тебѣ привѣты Волги нашей
Принесъ я. Слышалъ ты объ ней?
Великъ, прекрасенъ ты! Но Волга больше, краше,
Великолѣпнѣе, пышнѣй,
И глубже, быстрая, и шире, голубая!...

Стихотвореніе «Разбойники» изображаетъ «буйную станицу своевольныхъ удальцовъ», волжскихъ разбойниковъ, ихъ удалыя пѣсни и дикую вольность.

Послѣ домашняго образованія въ 1814 г. его отдали въ Горный кадетскій корпусъ, низшіе классы котораго носили общеобразовательный характеръ. Языковъ вынесъ изъ него мало, несмотря на хорошую постановку педагогическаго дѣла, потому что былъ неспособенъ къ математикѣ и усидчивымъ занятіямъ вообще. Учитель русскаго языка, Марковъ, привилъ ему любовь къ поэзіи, особенно къ Ломоносову и Державину. Батюшковымъ онъ увлекся самостоятельно, и его вліяніе наложило яркую печать на все раннее творчество молодого поэта. Спеціальные классы корпуса такъ мало удовлетворяли широкой поэтической натурѣ Языкова, что онъ пробылъ

нихъ только годъ. Свободная жизнь въ Петербургѣ сблизила его литературными кругами. Онъ примкнулъ къ «Новостямъ литературы» Воейкова, гдѣ появились (въ 1822 г.) его первыя стихотворенія, тѣмъ сошелся съ Жуковскимъ, Баратынскимъ, Дельвигомъ, Козловымъ и др. Воейковъ убѣдилъ молодого поэта поступить въ Дерптскій университетъ для окончанія образованія. Шестилѣтняя университетская жизнь (1823—1829 гг.) принесла Языкову только «дары свободы, богиню пѣсенъ и друзей». Наука его не увлекла, самый Дерптъ былъ для него только «градомъ профессоровъ и скуки». Размашистая русская натура, лѣнивая и избалованная хорошими матеріальными средствами, нашла для себя больше удовлетворенія въ веселой товарищеской средѣ «буршей», въ студенческихъ кутежахъ и шалостяхъ, въ «удаломъ буйствѣ» вдохновленныхъ «Вакхомъ и Кипридой» стиховъ, восторженно встрѣченныхъ тогдашнею молодежью. Языковъ такъ и не смогъ сдать экзамена, и долженъ былъ распроститься съ университетомъ.

До 1838 г. онъ живетъ то въ Москвѣ, то въ Языковѣ, «блистая удалымъ стихомъ» и «допивая въ кругу друзей остатки вдохновеній студентской юности». Уже въ 1833 г. эта «студентская юность» привела къ полному разстройству здоровья, съ которымъ не могли справиться цѣлые годы лѣченія дома и за границей. Начавшаяся уже тогда тяжелая болѣзнь спинного мозга со всевозможными осложненіями то ослаблялась, то усиливалась, наложила мрачную печать на весь послѣдній періодъ его жизни, измѣнила ладъ его «забубенной», по шутливому выраженію одного изъ современниковъ, музы, обративъ ее отъ жизнерадостной лирики къ элегически-религіознымъ стихотвореніямъ, воинствующему славянофильству и колоритнымъ описаніямъ, а 26 декабря 1846 г. привела къ преждевременной смерти.

«Наслажденіе поэтическою лѣнью», неуравновѣшенная, слишкомъ впечатлительная и увлекающаяся натура, при большихъ художественныхъ задаткахъ, помѣшали Языкову выработаться въ крупнаго поэта. Въ молодости онъ гордился славою «поэта радости и веселья», углубляя и расширяя эпикурейскія настроенія Батюшкова, въ силу сходства темперамента, а не изъ подражанія, — далъ яркіе звучные образчики вакхическаго лиризма; позднѣе перешелъ къ художественнымъ описаніямъ (лучшее изъ нихъ — «Тригорское») и поэтической разработкѣ темъ общаго характера (напр., прекрасныя стихотворенія «Поэту», «Землетрясеніе») и закончилъ бранчивой, страстной и пристрастной полемикой противъ западниковъ, «богоборзкой школы», «заносчиваго и дерзкаго люда». Грановскій для него — «оракулъ юношей-невѣждъ», «легкомысленный сподвижникъ

безпутныхъ мыслей и надеждъ», Чаадаевъ — «всего чужого горд рабъ». Крупные размѣры поэтической индивидуальности Языко доказываются больше всего тѣмъ, что онъ сложился внѣ сферы влія Жуковскаго и Пушкина, обладавшихъ слишкомъ большой сил притяженія, и съ Батюшковымъ совпалъ только въ нѣкоторы общихъ настроеніяхъ. На ней лежитъ печать самобытности, котору больше всего цѣнилъ въ своемъ молодомъ собратѣ Пушкинъ. Съ с знаніемъ собственнаго достоинства отмѣчалъ это свойство сво поэзіи и самъ Языковъ:

... мои стихи
Живитъ неложная свобода,
Имъ не законъ — чужая мода,
Въ нихъ нѣтъ заемной чепухи
И перевода съ перевода;
Въ нихъ неподдѣльная природа,
Свое добро, свои грѣхи!

Ѳедоръ Ивановичъ ТЮТЧЕВЪ.

Даровитѣйшій представитель Пушкинской поэтической Плеяд художникъ-мыслитель, давшій превосходные образцы философск и политической лирики, Ѳедоръ Ивановичъ Тютчевъ происходи изъ стариннаго дворянскаго рода. Родился онъ въ селѣ Овсту (Орловской губерніи, Брянскаго уѣзда) 23 ноября 1803 г. Сем поэта лѣто проводила въ деревнѣ, зиму — въ Москвѣ. Какъ час случалось въ ту пору, приверженность къ Западу и французско языку мирно уживалась въ ней со всѣми особенностями «русска стародворянскаго и православнаго уклада», которыя легли пото въ основу славянофильскаго міровоззрѣнія. Она была «совершен чужда интересамъ литературы и въ особенности русской литературы» Въ нихъ ввелъ Тютчева его воспитатель Раичъ, небезызвѣстны поэтъ-переводчикъ 20-хъ и 30-хъ годовъ. Подъ его вліяніемъ юно глубоко изучаетъ классиковъ и русскую литературу, переводит Горація (за одинъ изъ переводовъ 14-лѣтняго Тютчева избрали чле номъ-сотрудникомъ Общества любителей россійской словесности) поступаетъ въ Московскій университетъ; при его посредствѣ москов скіе профессора сдѣлались постоянными посѣтителями дома роди телей молодого поэта. Окончивъ университетъ въ 1821 г. со степен кандидата, Ѳ. И. опредѣлился въ Петербургѣ въ коллегію ино странныхъ дѣлъ и затѣмъ былъ назначенъ въ русскую миссію въ Мюн хенѣ. Съ небольшими перерывами онъ провелъ за границей 22 года

ь Мюнхенѣ онъ сближается не только съ высшей аристократіей ъ 1826 г. онъ женился на баварской аристократкѣ графинѣ Бот-ѣръ), но и съ наиболѣе видными представителями нѣмецкой поэзіи науки, особенно съ Гейне и философомъ Шеллингомъ. Сходство эстическихъ настроеній сдѣлало Тютчева страстнымъ поклонникомъ прекраснымъ переводчикомъ геніальнаго нѣмецкаго лирика. Отбльныя произведенія Ѳ. И. появляются въ печати еще съ начала)-хъ годовъ, но совершенно случайно и часто помимо воли автора: ь своимъ стихамъ всю жизнь онъ относился болѣе чѣмъ небрежно, бросывалъ и терялъ рукописи, уклонялся отъ записей импровизацій соглашался на напечатаніе только подъ сильнымъ давленіемъ близихъ людей. За границей же пишутся его первыя политическія статьи, е съ большей и большей славянофильской окраской. Назначенный аршимъ секретаремъ нашего посольства въ Туринѣ, Тютчевъ долженъ былъ одно время исправлять обязанности посла. Вмѣсто этого нъ самовольно отлучился въ Швейцарію, впалъ въ немилость, лишился одновременно службы и званія камергера и поселился частымъ человѣкомъ въ Мюнхенѣ, высшее общество котораго цѣнило го оригинальный умъ, тонкое образованіе и изящное остроуміе. Около половины 40-хъ годовъ онъ переселяется въ Петербургъ. Немилость была снята, права и званіе были возвращены безпечному оэту, и онъ сдѣлался чиновникомъ государственной канцеляріи старшимъ цензоромъ при канцеляріи министерства иностранныхъ дѣлъ. Петербургское общество цѣнило его не меньше мюнхенскаго; го остроты, каламбуры, стихотворные à propos подхватывались нарету; меньше вниманія привлекала его публицистическая дѣятельность. Многія стихотворенія Ѳ. И. то отдѣльно, то въ видѣ цѣлыхъ собраній, попадаютъ въ печать, но всегда почти помимо воли и даже вѣдома поэта, который слишкомъ мало цѣнилъ самого себя. Они быстро прочили литературную репутацію Тютчева.

Въ 1857 г. его назначили предсѣдателемъ комитета иностранной цензуры. Эту отвѣтственную и скользкую роль Ѳ. И. проводилъ съ большимъ тактомъ и умѣло отстаивалъ вездѣ, гдѣ могъ, интересы родной литературы. По его собственнымъ словамъ,

Велѣнью высшему покорны,
У мысли стоя на часахъ,
Не очень были мы задорны,
Хоть и со штуцеромъ въ рукахъ.
Мы имъ владѣли неохотно,
Грозили рѣдко, и скорѣй
Не арестантскій, а почетный
Держали караулъ при ней.

Не разъ ему приходилось (и удавалось) доказывать, что «литера тура существуетъ не для гимназистовъ и школьниковъ, и что нельзя ж ей давать дѣтское направленіе». «Просвѣщенное, разумно-либерал ное» предсѣдательство его въ комитетѣ позднѣе было «ограничен въ правахъ», что сильно волновало престарѣлаго поэта. Смерть бли кихъ лицъ настолько потрясла его, что онъ былъ разбитъ параличом и послѣ мучительныхъ страданій скончался 15 іюля 1873 г. Совре менники, безъ различія направленій, высоко цѣнили его какъ ху дожника и личность. Изящный, остроумный, находчивый собесѣд никъ, всегда оригинальный мыслитель, выдающійся поэтъ, онъ всегд отличался большою притягательною силою своей нравственной лич ности, обаятельною простотою и любезностью обращенія, «деликат нымъ человѣчественнымъ вниманіемъ къ личному достоинству кая даго», по выраженію одного изъ сослуживцевъ.

Литературное наслѣдіе его количественно небогато. Качествен оно выдѣляется потому, что даетъ рядъ образцовыхъ произведені философской лирики, глубокомысленныхъ, отточенныхъ, безупреч ныхъ по формѣ. По словамъ Тургенева, его стихи «не придуманы а выросли сами, какъ плодъ на деревѣ», подъ напоромъ непосред ственнаго порыва вдохновенія. Въ нихъ Тютчевъ для себя рѣшал вопросы о стихійныхъ основахъ бытія, «мукахъ слова», трагеди невыразимости наиболѣе интимныхъ оттѣнковъ мысли и чувства ограниченности человѣческаго разума, пантеистическомъ сліяні человѣка съ природой, тайнахъ души, жизни и природы. Его опи санія природы отличаются исключительною даже для нашей поэзіи вообще ими богатой, красотою и силою. Его лирика глубоко захва тила много и другихъ темъ: состраданіе, ограниченность человѣче ской любви, печальныя судьбы родины, ужасы ночи и хаоса, прогля дывающіе сквозь тонкую и призрачную оболочку міра явленій — на все это отозвался онъ вдумчиво и глубоко.

Величайшій изъ нашихъ философовъ Владиміръ Соловьевъ так характеризовалъ поэзію Тютчева: «и самъ Гёте не захватывалъ, быт можетъ, такъ глубоко, какъ нашъ поэтъ, темный корен мірового бытія, не чувствовалъ такъ сильно и не сознавалъ так ясно ту таинственную основу всякой жизни, природной и человѣче ской, — основу, на которой зиждется и смыслъ космическаго про цесса, и судьбы человѣческой души, и вся исторія человѣчества. Здѣсь Тютчевъ дѣйствительно является вполнѣ своеобразнымъ и если не единственнымъ, то, навѣрное, самымъ сильнымъ во всей поэтической литературѣ».

Евгеній Абрамовичъ БАРАТЫНСКІЙ.

Одинъ изъ наиболѣе яркихъ представителей «міровой скорби» въ нашей литературѣ, котораго Пушкинъ мѣтко назвалъ «Гамлетомъ», Евгеній Абрамовичъ Баратынскій родился 19 февраля 1800 года въ тамбовской деревнѣ отца. На восьмомъ году его отдали въ нѣмецкій пансіонъ въ Петербургѣ, откуда онъ перешелъ въ Пажескій корпусъ. Не по лѣтамъ развитой, меланхоликъ по темпераменту, онъ писалъ изъ корпуса матери недѣтскія письма, полныя разлагающей рефлексіи и сосредоточенной грусти. Жизнь скоро оправдала преждевременные горькіе выводы юноши. Товарищеская среда запутала его въ некрасивую шалость, раздутую слишкомъ строгимъ начальствомъ, которое хотѣло жестокимъ наказаніемъ прикрыть свой грѣхъ — недостатокъ въ корпусѣ разумнаго воспитательнаго контроля. Баратынскій былъ исключенъ въ 1815 году безъ права поступленія въ другія заведенія и на службу. Только черезъ три года ему разрѣшили поступить рядовымъ въ егерскій полкъ. Жизнь въ Петербургѣ познакомила и сблизила его съ Пушкинымъ, Жуковскимъ и Дельвигомъ, которые обратили вниманіе на большой поэтическій талантъ несчастнаго молодого человѣка. Они поддержали его нравственно въ самый тяжелый моментъ его жизни, хлопотали объ облегченіи его положенія, ввели его въ лучшіе литературные круги Петербурга. Унтеръ-офицеромъ Нейшлотскаго полка Баратынскій проводитъ четыре года (1820—1824) въ Финляндіи, суровая природа и своеобразный бытъ которой оставили замѣтный слѣдъ въ его творчествѣ. Е. А. тяготился почти полнымъ одиночествомъ и рвался изъ Финляндіи. Офицерскій чинъ далъ ему возможность въ 1825 году выйти въ отставку и частнымъ человѣкомъ поселиться въ Москвѣ. Здѣсь ближе всего онъ стоитъ къ кругамъ, которые къ концу 30-хъ годовъ сложились въ славянофильскую партію. До 1831 года онъ много пишетъ и создаетъ себѣ почетную репутацію въ литературныхъ кругахъ. Широкіе круги общества знали его, какъ поэта, мало. Тридцатые годы прошли почти безслѣдно для его творчества: онъ переживаетъ внутренній кризисъ и пишетъ очень мало. Поселившись съ 1839 года въ деревнѣ, онъ создаетъ «панихиду по самомъ себѣ», сборникъ «Сумерки», проникнутый безпросвѣтнымъ пессимизмомъ. Въ концѣ 1843 года Е. А. отправляется за границу, нѣсколько оживляется благодаря новизнѣ и силѣ впечатлѣній природы Италіи, о которой онъ мечталъ съ дѣтства, и умираетъ скоропостижно отъ разрыва сердца въ Неаполѣ 29 іюня 1844 года.

Главные мотивы творчества Баратынскаго — неудовлетворенность жизнью, трагедія душевнаго разлада, вызываемаго слишкомъ сильнымъ развитіемъ рефлексіи и самоанализа, убивающаго «нѣжные цвѣты счастья и надежды». 16-лѣтній юноша пишетъ матери: «я сознаю въ себѣ пренесносное свойство характера, отчасти отравляющее жизнь мою: во мнѣ есть наклонность слишкомъ издалека предвидѣть все то, что мнѣ можетъ случиться непріятнаго. Иногда человѣкъ посреди всего того, что, повидимому, должно было бы сдѣлать его счастливымъ, носитъ въ душѣ своей сокрытый ядъ, который гложетъ его и дѣлаетъ неспособнымъ къ какому бы то ни было радостному ощущенію». Это и сдѣлало изъ него «пѣвца любви, печали сердечныхъ думъ и сердечныхъ сомнѣній», по выраженію знаменитаго славянофила И. В. Кирѣевскаго: поэта-философа, глубоко заглянувшаго въ мрачныя тайны человѣческой жизни и души, находившаго только краткія минуты душевнаго отдыха въ пантеистическомъ общеніи съ природой

Что съ нею, что съ моей душой?
Съ ручьемъ она ручей
И съ птичкой птичка. Съ нимъ журчитъ,
Летаетъ въ небѣ съ ней.

Оригинальность таланта Баратынскаго сказывается въ томъ фактѣ, что онъ, при всемъ сходствѣ настроеній, не попалъ въ сферу притяженія генія Байрона. «Байронствовавшему» въ молодости великому польскому поэту Мицкевичу онъ писалъ:

Когда тебя, Мицкевичъ вдохновенный,
Я застаю у Байроновыхъ ногъ,
Я думаю: поклонникъ униженный!
Возстань, возстань и вспомни: самъ ты богъ!

Музу поэтовъ-подражателей онъ сравниваетъ съ

нищей, развращенной,
Молящей лепты незаконной,
Съ чужимъ ребенкомъ на рукахъ...

Его философско-поэтическая скорбь глубока и могуча. Она вызывается оскорбительными впечатлѣніями, грубостью и пошлостью обыденной жизни, вѣчными противорѣчіями идеала и дѣйствительности, роковою двойственностью человѣческой природы, слившей въ себѣ исключающіе другъ друга духъ и матерію. Человѣкъ — «недоносокъ», нѣчто недоразвившееся:

Я — изъ племени духовъ,
Но не житель Эмпирея, —
И едва до облаковъ
Возлетѣвъ, паду слабѣя.
Какъ мнѣ быть? Я малъ и плохъ,
Знаю: рай за ихъ волнами, —
Я ношусь, крылатый вздохъ,
Межъ землей и небесами.

Судьба даетъ человѣку на выборъ «надежду и волненіе иль безнадежность и покой», «спасительный хладъ бездѣйственной души». Мысль убиваетъ счастье, приводитъ къ вырожденію человѣчества, рветъ его интимныя связи съ природой. Прозрѣніе строгой, неподкупной истины несетъ въ душу «отрадное безстрастье», «суровый хладъ» и «покой» — безнадежности. И поэтъ доходитъ до гимна смерти:

О дочь верховнаго эѳира,
О свѣтозарная краса!
Въ рукахъ твоихъ олива мира,
А не губящая коса!
. . . . . .
Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба.
. . . . . .
Недоумѣнье, принужденье —
Условье смутныхъ нашихъ дней;
Ты всѣхъ загадокъ разрѣшенье,
Ты разрѣшенье всѣхъ цѣпей!

Баратынскій прекрасно чувствовалъ, что его муза — «для немногихъ»:

... толпы лѣнивый умъ
Изъ усыпленія выводитъ
Гласъ, пошлый гласъ, вѣщатель общихъ думъ,
И звучный отзывъ въ ней находитъ;
Но не найдетъ отзыва тотъ глаголъ,
Что страстное земное перешелъ...

Она никогда не была «вѣщателемъ общихъ думъ» и мало находила, перейдя «страстное земное», себѣ «отзыва». «Сумерки» были встрѣчены холодно, даже смерть самого поэта прошла почти незамѣченной. Судьба какъ бы до конца хотѣла оправдать скорбные выводы Баратынскаго: до сихъ поръ еще онъ не получилъ полнаго признанія, и большинство знаетъ его только какъ автора прекраснаго, но всего менѣе характернаго для него стихотворенія «На смерть Гёте».

Кондратій Өедоровичъ РЫЛѢЕВЪ.

(1795—1826).

Въ блестящемъ созвѣздіи Пушкина и его современниковъ Кондратій Өедоровичъ Рылѣевъ далеко не былъ звѣздой первой величины тѣмъ не менѣе его нельзя обойти молчаніемъ въ исторіи нашей литературы. Творчество Рылѣева, не всегда совершенное по формѣ не отличающееся особыми художественными достоинствами, глубоко интересно по своему содержанію. Впервые въ нашей поэзіи съ такой силой и искренностью зазвучали общественные мотивы, отразились идеалы свободолюбиваго поколѣнія декабристовъ, воспитавшагося подъ впечатлѣніемъ «дней Александровыхъ прекраснаго начала» и поучительныхъ заграничныхъ походовъ. Личность самого Рылѣева проглядываетъ на каждой страницѣ его стиховъ, голосъ пылкаго восторженнаго борца не заглушается иногда черезчуръ цвѣтистыми и даже тяжеловѣсными фразами. Въ посвященіи своей поэмы «Войнаровскій» А. А. Бестужеву К. Ө. такъ опредѣляетъ характеръ своихъ произведеній:

Какъ Аполлоновъ строгій сынъ
Ты не увидишь въ нихъ искусства,
Зато найдешь живыя чувства —
Я не поэтъ, а гражданинъ.

Вѣрнѣе поэтъ-гражданинъ, при чемъ художественная цѣнность его творчества возвышается по мѣрѣ того, какъ неопредѣленно-расплывчатыя стремленія къ свободѣ, постепенно развиваясь, отливались у него въ болѣе осязательную форму и находили себѣ примѣненіе въ дѣйствительной жизни.

Для Рылѣева жизнь — борьба, поэзія — призывъ къ борьбѣ; то и другое неразрывно связаны, а потому говорить о его произведеніяхъ, не говоря о жизни, невозможно.

К. Ө. родился въ 1795 году въ семьѣ небогатаго помѣщика; дѣтство дало ему мало отрадныхъ впечатлѣній, вслѣдствіе черстваго и грубаго характера отца. 12 лѣтъ онъ былъ отданъ въ корпусъ, откуда вышелъ въ 1814 г. артиллерійскимъ прапорщикомъ и принялъ участіе въ послѣднихъ событіяхъ Наполеоновскихъ войнъ. Пребываніе Рылѣева за границей продолжалось всего около полутора года, а затѣмъ онъ попалъ вмѣстѣ со своей бригадой въ глухой уголокъ Воронежской губерніи, гдѣ и женился на дочери помѣщика Тевяшова. Женитьба при неимѣніи средствъ исключала возможность продолженія

военной службы, и Рылѣевъ, выйдя въ отставку, поселился въ деревнѣ. Покойная, беззаботная жизнь и идиллія семейнаго счастья не могли однако его удовлетворить. Изъ деревни перебирается онъ въ Петербургъ и поступаетъ на гражданскую службу. Съ этого времени онъ близко сходится съ литературными кругами и становится однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ участниковъ тайнаго общества будущихъ декабристовъ. Литературная извѣстность Рылѣева создалась послѣ напечатанія имъ оды «Къ временщику», которая представляла изъ себя ѣдкую, смѣлую до дерзости сатиру на всесильнаго тогда Аракчеева. Прямая и честная натура Рылѣева, не останавливавшаяся передъ опасностью, ярко отразилась въ этомъ его стихотвореніи. К. Ѳ. вообще не умѣлъ и не хотѣлъ скрывать своего негодованія противъ совершавшихся кругомъ насилій; открыто и словомъ и дѣломъ велъ онъ свою свободолюбивую проповѣдь, за которую и поплатился жизнью: 16 іюля 1826 г. онъ былъ казненъ, какъ одинъ изъ видныхъ участниковъ и руководителей возстанія 14 декабря 1825 года.

Среди произведеній Рылѣева наибольшей извѣстностью пользуются «Думы» и поэмы; изъ послѣднихъ онъ успѣлъ окончить только одну — «Войнаровскій», другія дошли до насъ въ отрывкахъ. Кромѣ того, ему принадлежитъ довольно значительное количество лирическихъ произведеній, иногда очень изящныхъ по формѣ. Личные мотивы во всѣхъ его произведеніяхъ встрѣчаются сравнительно рѣдко. Это — характерная черта для Рылѣева, который и въ поэзіи, какъ и въ жизни, старался подавить интересы своего «я», выдвигая на первый планъ гражданскія чувства. «Думы» представляютъ изъ себя воспроизведеніе въ поэтической формѣ разсказовъ (иногда легендарныхъ) о наиболѣе замѣчательныхъ лицахъ и событіяхъ нашей исторіи съ древнѣйшихъ временъ. Въ нихъ поэтъ прославляетъ патріотическіе подвиги, мужество и благородство героевъ, клеймитъ тѣхъ, кто не выполнилъ своего гражданскаго долга. Въ художественномъ отношеніи большая часть «Думъ» довольно слаба: герои, жившіе въ XIII, XV и XVI вѣкахъ, говорятъ литературнымъ языкомъ начала XIX вѣка съ сильнымъ привкусомъ романтизма, который проглядываетъ и въ описаніяхъ природы. Поэмы, появившіяся позднѣе «Думъ», отличаются большей обработкой формы и содержанія; въ нихъ, напр., въ «Войнаровскомъ», встрѣчаются отрывки глубоко художественные. Искренностью и свѣжестью «живого чувства» проникнуты всѣ произведенія Рылѣева и, если въ нѣкоторыхъ изъ нихъ ему не удается рельефно и живо нарисовать обликъ какого-нибудь героя, то обликъ самого авторъ выступаетъ съ порази-

тельною яркостью: такъ, напр., въ думѣ «Волынскій», забывая объ изображаемомъ героѣ, мы невольно прислушиваемся къ словамъ самого К. Ѳ.:

„... Но тотъ, кто съ сильными въ борьбѣ,
За край родной иль за свободу,
Забывши вовсе о себѣ,
Готовъ всѣмъ жертвовать народу,
Противъ тирановъ лютыхъ твердъ,
Онъ будетъ и въ цѣпяхъ свободенъ,
Въ часъ казни правотою гордъ
И вѣчно въ чувствахъ благороденъ.

Многіе современники указывали на то, что Рылѣевъ какъ будто предчувствовалъ свой трагическій конецъ и даже говорилъ объ этомъ. Несомнѣнно одно, что какое то странное, безсознательное пророчество встрѣчается въ его произведеніяхъ. Особенно обращаетъ на себя вниманіе въ этомъ отношеніи «Исповѣдь Наливайки»:

... „Извѣстно мнѣ: погибель ждетъ
Того, кто первый возстаетъ
На утѣснителей народа;
Судьба меня ужъ обрекла.
Но гдѣ скажи, когда была
Безъ жертвъ искуплена свобода?
Погибну я за край родной,
Я это чувствую, я знаю
И радостно, отецъ святой,
Свой жребій я благословляю!“

Самому Рылѣеву пришлось сыграть трагическую роль такой «искупительной жертвы».

Иванъ Ивановичъ ЛАЖЕЧНИКОВЪ.

Одинъ изъ крупнѣйшихъ русскихъ послѣдователей Вальтеръ-Скотта, создавшій вмѣстѣ съ Загоскинымъ, гораздо менѣе даровитымъ, нашъ историческій романъ, Иванъ Ивановичъ Лажечниковъ[1]) родился 14 сентября 1792 года въ городѣ Коломнѣ, Московской губерніи.

Его отецъ, богатый купецъ, коммерціи совѣтникъ, занимавшійся хлѣбною торговлей и поставкою соли во всѣ города Московской губерніи изъ Нижняго, пользовался широкою популярностью благо-

[1]) Собственно, „Ложечниковъ“, какъ онъ и писался раньше.

даря своему уму, гостепріимству и необычной для купеческихъ круговъ тѣхъ временъ культурности. Его роскошный домъ въ Коломнѣ, украшенный мраморомъ, штофными обоями съ своей фабрики и паркетными полами изъ краснаго, пальмоваго и чернаго дерева, по выраженію одного изъ біографовъ романиста, былъ поставленъ «на богатую дворянскую ногу». Купленное имъ на имя генерала Обрѣзкова «Красное сельцо», расположенное на живописномъ берегу Москвы-рѣки, «было настоящее Эльдорадо тогдашняго времени». Въ немъ отецъ Лажечникова принималъ своихъ пріятелей изъ мѣстныхъ дворянъ и представителей высшей губернской администраціи.

Благополучіе это было разрушено однимъ ударомъ. По доносу священника, дававшаго уроки дѣтямъ старика Лажечникова, онъ былъ арестованъ при Павлѣ и посаженъ въ Петропавловскую крѣпость за какую то остроту, раздутую мѣстными сплетниками и доносчиками. Его скоро выпустили благодаря хлопотамъ вліятельныхъ лицъ, но внезапный арестъ и заключеніе сильно подорвали торговыя и заводскія дѣла Лажечниковыхъ. Раннее замерзаніе Оки, помѣшавшее своевременно выполнить подрядъ по доставкѣ соли, окончательно разорило ихъ.

И. И. учился грамотѣ у священника. Когда ему минуло 6 лѣтъ, къ нему пригласили французскаго эмигранта Beaulieu. По словамъ Лажечникова, «онъ получилъ образованіе въ Страсбургскомъ университетѣ, зналъ основательно французскій и нѣмецкій языки, на русскомъ изъяснялся чисто, но ученымъ нельзя было его назвать. Къ намъ въ домъ поступилъ онъ, кончивъ воспитаніе дѣтей въ домѣ князей Оболенскихъ, по рекомендаціи знаменитаго подвижника русскаго просвѣщенія въ Россіи Новикова, которому, сколько могу сообразить, былъ братъ по масонству. Всегда неукоризненно одѣтый во французскій кафтанъ коричневаго цвѣта, съ косою и бантомъ за плечами, являлся онъ къ общему столу и ученію. Манеры его были просты, но изобличали въ немъ дворянина до-республиканскихъ временъ, доброту, не доходившую однако жъ до слабости. Старшій братъ мой, учившись у него, любилъ его, какъ второго отца. Память о немъ до сихъ поръ съ глубокою благодарностью сохраняется въ сердцѣ моемъ. Никогда не видалъ я надъ собою розогъ, и все наказаніе учебное ограничивалось у насъ ставленіемъ за обѣдомъ въ уголъ, каковое наказаніе огорчало меня до обильныхъ слезъ».

О своихъ литературныхъ интересахъ того времени романистъ вспоминалъ впослѣдствіи такъ: «выучившись писать по-русски, я съ жадностью бросился на книги и перебралъ всю небольшую библіо-

теку отца моего, въ которой, сколько припомнить могу, нашелъ «Всемірный путешественникъ», сочиненія Ломоносова и все, что издано было по русской литературѣ до того времени. Когда я хорошо ознакомился съ французскимъ языкомъ и порядочно по-нѣмецки, моя литературная жатва была обильнѣе; мало-по-малу съ физическимъ и умственнымъ моимъ ростомъ, я сталъ читать на французскомъ языкѣ сочиненія аббата де Сенъ Пьера, «Эмиля» Руссо, трагедіи Вольтера и Расина, Тацита, Тита Ливія во французскомъ переводѣ, кажется, Лерминье, Шиллера на нѣмецкомъ языкѣ и др.; говорю только о любимыхъ мною писателяхъ. Въ это время, еще будучи 14 лѣтъ, я возымѣлъ сильную любовь къ сочинительству и сдѣлалъ на французскомъ языкѣ описаніе Мячнова кургана, что на дорогѣ изъ Москвы въ Коломну; 15 лѣтъ сочинилъ на томъ же языкѣ стихотвореніе, а 16 лѣтъ написалъ «Мысли въ подражаніе Лабрюйера» и послалъ статью эту въ «Вѣстникъ Европы», издававшійся тогда Каченовскимъ. Редакторъ, не подозрѣвая въ авторѣ мальчика, напечаталъ статью въ своемъ журналѣ, и такъ какъ я громилъ въ одной фразѣ тирановъ, то онъ сдѣлалъ на нее собственноручное замѣчаніе».

Литературные успѣхи юнаго Лажечникова заставили родителей обратить еще большее вниманіе на его образованіе. Къ нему были приглашены лучшіе учителя того времени (напр., Побѣдоносцевъ, отецъ К. П., оберъ-прокурора Синода). Онъ слушалъ также лекціи Мерзлякова. Просвѣтительная французская литература и Шиллеръ, которыми онъ преимущественно увлекался, внушали ему свободолюбивые идеалы. По словамъ Лажечникова, «въ это время душа моя упитывалась пламенными страницами Руссо и дѣяніями великихъ мужей Плутарха, какъ дикій конь, выпущенный изъ загона на широкую степь». Черезъ увлеченіе Руссо и Плутархомъ прошли и многіе изъ будущихъ декабристовъ.

Въ 1802 г. малолѣтняго Лажечникова, благодаря связямъ отца, записали юнкеромъ въ московскій архивъ иностранныхъ дѣлъ («архивные юноши»). Фактическая служба его началась съ 1806 г., когда его произвели въ актуаріусы. Ему пришлось разбирать древніе столбцы и распредѣлять по дѣламъ. Уже тогда въ немъ начала слагаться любовь къ русской старинѣ, и накопился извѣстный запасъ историческихъ свѣдѣній.

Въ 1810 г., по настоянію московскаго губернатора Обрѣзкова, Лажечниковъ переводится на службу въ генералъ-губернаторскую канцелярію. 1812 г., памфлеты и рѣчи Растопчина и пламенныя патріотическія тирады Сергѣя Глинки заставили И. И. «опоясаться мечомъ», чтобы «крупно поговорить съ непріятелемъ». Ему пришлось

для этого ночью бѣжать изъ дому, такъ какъ родители ни за что не соглашались отпустить его добровольно.

Увидя сына уже ополченцемъ, отецъ примирился съ фактомъ и самъ отвезъ его къ московскому губернатору.

Военная карьера Лажечникова была въ общемъ удачна: изъ московскаго ополченія въ 1813 г. онъ былъ переведенъ въ московскій гренадерскій полкъ, получилъ серебряную медаль за кампанію 1812 г., былъ назначенъ адъютантомъ сначала къ генералъ-лейтенанту принцу Мекленбургскому Карлу, затѣмъ къ генералу Полуэктову (въ 1814 г.); въ 1814 г. «за оказанную въ генеральномъ сраженіи подъ стѣнами Парижа храбрость пожалованъ кавалеромъ ордена св. Анны 4-й степени»; въ 1816 г. произведенъ въ подпоручики, въ слѣдующемъ — въ поручики; въ 1818 г. назначенъ адъютантомъ къ генералу графу Остерману-Толстому и затѣмъ переведенъ лейбъ-гвардіи въ Павловскій полкъ.

Съ окончаніемъ Отечественной войны воинственный пылъ Лажечникова значительно упалъ, и въ 1819 г. онъ вышелъ въ отставку, рѣшивъ посвятить себя гражданской службѣ и литературѣ. Въ томъ же году въ «Вѣстникѣ Европы» были напечатаны его «походныя записки русскаго офицера», которыя потомъ вышли отдѣльнымъ изданіемъ. Отъ нихъ въ 1869 г. И. И. отсчитывалъ свой полувѣковой юбилей, хотя въ «Русскомъ Вѣстникѣ», «Аглаѣ» и «Вѣстникѣ Европы» 1808 г. онъ помѣстилъ нѣсколько стихотвореній и разсужденіе «О безпечности», а въ 1817 г. напечаталъ «Первые опыты въ прозѣ и стихахъ», очень слабые, которые впослѣдствіи скупалъ и уничтожалъ.

Заграничныя впечатлѣнія оказали большое вліяніе на Лажечникова. Они, между прочимъ, отразились и въ его «Походныхъ запискахъ»: такъ, онъ возстаетъ въ нихъ противъ крѣпостничества, восхваляетъ заботливость прусскаго правительства о народномъ образованіи и благосостояніи и проч. Это произведеніе ввело Лажечникова въ литературные круги: его выбираютъ членомъ «Общества соревнователей просвѣщенія и благотворительности» и «Общества любителей россійской словесности».

Въ 1820 г. его назначили директоромъ пензенскихъ училищъ. Въ Пензѣ онъ узналъ и полюбилъ Бѣлинскаго и до конца принималъ въ немъ самое живое участіе.

1822—1826 гг. самъ Лажечниковъ называлъ періодомъ «Казанскаго плѣненія». За отличную визитацію саратовскихъ училищъ его назначили директоромъ казанской гимназіи, затѣмъ возложили на него еще обязанности директора казанскихъ училищъ и инспектора казанскаго университета. Совмѣстительство было для него очень

тяжело, и только въ 1826 г. ему удалось отказаться отъ гимназіи и университета, оставивъ за собою народныя училища. Служба съ изувѣромъ Магницкимъ и послѣдовавшія за нею непріятности заставили И. И. въ томъ же году выйти въ отставку. Изъ эпохи «Казанскаго плѣненія» онъ съ удовольствіемъ вспоминалъ только о томъ, что ему принадлежала иниціатива сборовъ на памятникъ Державину.

Онъ поселяется въ Москвѣ и начинаетъ собирать матеріалы для своего перваго историческаго романа «Послѣдній Новикъ» (съ 1826 г.; вышелъ въ 1831—1833 гг.). Для этой цѣли онъ ѣздилъ въ Лифляндію.

«Послѣдній Новикъ» для своего времени былъ крупнымъ литературнымъ явленіемъ. Онъ пользовался большимъ успѣхомъ и благодаря проникавшему его повышенному патріотизму, и благодаря относительной исторической правдивости и реализму, которые были для того времени новинкой.

Хотя онъ появился позднѣе романовъ Загоскина и Полевого, но былъ задуманъ раньше ихъ и рѣзко отличается отъ нихъ почти полнымъ отсутствіемъ сантиментализма и романтическихъ шаблоновъ.

Въ 1831 г. Лажечниковъ опять опредѣлился на службу и былъ назначенъ директоромъ народныхъ училищъ Тверской губерніи. Въ Твери имъ было написано лучшее изъ его произведеній — «Ледяной домъ» (1835 г.), встрѣченное единодушными похвалами и до сихъ поръ не потерявшее своего интереса. Уже современники (напримѣръ, Пушкинъ) подмѣтили въ немъ излишнюю идеализацію Волынскаго. Послѣдующая историческая критика совсѣмъ развѣнчала этого излюбленнаго героя Лажечникова, въ которомъ романистъ увидѣлъ и пылкій патріотизмъ, и способность къ возвышенной, поэтической любви. Зато характеристика личности и двора Анны Іоанновны, дикая затѣя «Ледяного дома», Тредьяковскій, шуты и шутихи — все это обрисовано съ удивительною правдивостью и яркостью, придающими роману глубокій историческій интересъ и неувядающую художественную цѣнность. Эпизодъ любви Волынскаго и Маріорицы мало вѣроятенъ исторически, но психологически проведенъ очень правдиво и написанъ въ тонкихъ, трогательныхъ тонахъ.

Послѣ отставки въ 1837 году И. И. поселяется въ деревнѣ подъ Старицею и работаетъ надъ «Басурманомъ» (вышелъ въ 1838 г.). Слабѣе всѣхъ изображенныхъ въ этомъ романѣ лицъ его главный герой — лѣкарь Антонъ: въ угоду тогдашнимъ литературнымъ вкусамъ авторъ слишкомъ его идеализируетъ, въ результатѣ чего по-

лучился довольно блѣдный образъ. Съ большою для того времени смѣлостью изображенъ Іоаннъ III: Лажечниковъ сумѣлъ отрѣшиться отъ того сантиментально-идеалистическаго флера, которымъ окуталъ этого государя Карамзинъ, и выдвинулъ въ немъ отталкивающія черты грубаго эгоизма, мстительности и жестокости. Правдива и Марѳа-посадница, которой, сравнительно съ образомъ, даннымъ ей въ извѣстной повѣсти Карамзинымъ, приданы очень жизненныя черты.

Въ Твери Лажечниковъ обжился и сдружился съ представителями мѣстнаго интеллигентнаго общества. Въ 1842 г. онъ былъ назначенъ сюда вице-губернаторомъ и ретиво принялся за дѣла. Довѣрчивость И. И. накликала на него бѣду: за его спиною нѣкоторые изъ подчиненныхъ ему чиновниковъ произвели рядъ злоупотребленій и растратъ, и Лажечниковъ былъ перемѣщенъ вице-губернаторомъ въ Витебскъ. Новое мѣсто пришлось ему не по душѣ: онъ недружелюбно относится къ полякамъ и евреямъ и очень отрицательно отзывается о своихъ сослуживцахъ-русскихъ. Его все больше тянетъ въ Тверь, и въ 1854 г. онъ подаетъ въ отставку.

Къ 1856—1858 гг. относится его служба въ петербургскомъ цензурномъ комитетѣ. Несмотря на нѣкоторое ослабленіе цензурнаго гнета, Лажечниковъ тяготится своею новою должностью, выходитъ въ отставку и поселяется въ Москвѣ.

Послѣднія произведенія И. И., кромѣ его воспоминаній о Бѣлинскомъ, Ермоловѣ и Магницкомъ, не представляютъ особеннаго интереса. Его патріотическія драмы, вызванныя впечатлѣніями Севастопольской кампаніи, очень слабы. Въ романѣ «Немного лѣтъ назадъ» наивная идеализація «эпохи великихъ реформъ»; во «Внучкѣ панцырскаго боярина» непріятны слѣды національной нетерпимости — прямо даже ненависти къ полякамъ; «Черненькіе, Бѣленькіе и Сѣренькіе» мало художественны, но интересны въ атобіографическомъ отношеніи.

3 мая 1869 г. былъ торжественно отпразднованъ въ Москвѣ 50-лѣтній литературный юбилей Лажечникова. Самъ романистъ на празднествѣ не могъ быть вслѣдствіе предсмертной болѣзни.

До послѣдняго момента онъ интересовался всѣми явленіями общественной и литературной жизни.

Скончался онъ 25-го іюня.

Лажечниковъ былъ человѣкъ рѣдкой доброты, нравственной чистоты, искренности и правдивости. Всѣ эти черты ярко сказались и въ его романахъ и придали большинству изъ нихъ неувядаемую прелесть.

Во время юбилейныхъ торжествъ 1869 г. Писемскій далъ прекрасную характеристику Лажечникова въ своемъ письменномъ привѣтствіи:

«Вы принадлежите еще къ писателямъ «Пушкинскаго времени», и посреди ихъ вы являетесь лучшимъ русскимъ историческимъ романистомъ: за вами тогда еще было усвоено названіе, что вы нашъ «Вальтеръ-Скоттъ». Успѣхъ вашихъ романовъ былъ всеобщій; вся тогдашняя грамотная Россія прочла ихъ и восхищалась ими. Такую общую симпатію, я полагаю, они возбудили не столько новостью этого рода произведеній и не тѣмъ, что въ нихъ описывались историческія происшествія и историческія лица, сколько другимъ, гораздо болѣе прочнымъ качествомъ — это всюду проникающимъ въ нихъ вашимъ поэтическимъ міровоззрѣніемъ и тѣмъ добрымъ и мягкимъ колоритомъ, который разлитъ во всѣхъ изображаемыхъ вами картинахъ и присущъ даже всѣмъ выводимымъ вами лицамъ. Кто не помнитъ этой кроткой племянницы пастора, ѣдущей въ жаркій день по пустынямъ Финляндіи, и которой потомъ слѣпецъ предсказываетъ высокую будущность русской императрицы! Кто не знаетъ наизусть вашей пѣсенки:

Сладко пѣлъ душа-соловушка
Въ зеленомъ моемъ саду?

Я до сихъ поръ не могу забыть того поэтическаго впечатлѣнія, которое произвела на меня глава «Тѣльникъ» въ вашемъ романѣ «Ледяной домъ», гдѣ пылкая Маріорица посылаетъ съ груди своей крестъ предмету своей преступной страсти. Даже самый Волынскій, не говоря уже объ его 50-лѣтнемъ возрастѣ, какъ бы очищенъ вами и отъ всѣхъ другихъ, гораздо болѣе существенныхъ недостатковъ человѣческихъ: онъ является у васъ молодымъ, благороднымъ и влюбленнымъ!

Но при всей вашей наклонности изображать добрую и хорошую сторону души человѣческой, вы въ лучшихъ вашихъ произведеніяхъ совершенно избавились отъ несвойственной русскому человѣку мечтательности Жуковскаго. Передъ вашими товарищами-романистами вы имѣете огромное преимущество: добродушнаго Загоскина вы превосходили своимъ образованіемъ и ужъ, разумѣется, какъ свѣточъ ничѣмъ незапятнанной честности, горѣли надъ темною дѣятельностью газетчика-Булгарина; въ вашихъ произведеніяхъ никогда не было безстрастныхъ страстей Марлинскаго и его фосфорическаго блеска, который только свѣтилъ, но не грѣлъ; ваша теплота была сообщающаяся и согрѣвающая! Вы ни разу не прозвучали тѣмъ притворнымъ и фабрикованнымъ патріотизмомъ, которымъ запятналъ свое имя Поле-

ой, и никогда не рисовали, подобно Кукольнику, реторическо-одульно-величавыхъ фигуръ. Всѣхъ ихъ, смѣю думать, вы были стиннѣе, искреннѣе, и ближе стояли къ вашему великому современику Пушкину, будя вмѣстѣ съ нимъ въ душѣ русскихъ читателей астоящую и неподдѣльную поэзію».

Несторъ Васильевичъ КУКОЛЬНИКЪ.

Отецъ писателя, Василій Григорьевичъ, родомъ изъ Венгріи, ылъ профессоромъ Петербургскаго педагогическаго института и атѣмъ первымъ директоромъ Нѣжинской гимназіи высшихъ наукъ. Іесторъ Васильевичъ родился 8 сентября 1809 г. въ Петербургѣ. ъ переводомъ отца на службу въ Нѣжинъ туда переѣхала и вся емья Кукольниковъ. Н. В. началъ уже ходить въ гимназію, но ъ 1821 г. отецъ, страдавшій припадками ипохондріи, покончилъ ъ собою; и Кукольники переѣхали въ маленькое жалованное имѣніе ъ Виленской губерніи. Свое обученіе Н. В. продолжалъ въ житоирскомъ уѣздномъ училищѣ. Когда директоромъ Нѣжинской гимазіи былъ назначенъ Орлай, мать Кукольника вернулась въ Нѣкинъ и перевела сына снова въ гимназію. Въ уѣздномъ училищѣ нъ отсталъ отъ гимназическаго курса, и только благодаря большимъ способностямъ ему удалось догнать своихъ прежнихъ товаищей. Живой и рѣзвый мальчикъ, уже тогда много думавшій о себѣ і аффектированный (Гоголь и другіе товарищи иронически называли го «Возвышеннымъ»), Кукольникъ пользовался исключительною своодою благодаря покровительству директора. Еще на школьной жамьѣ онъ увлекается литературой, пишетъ въ модномъ тогда повышенномъ романтическомъ тонѣ, редактируетъ гимназическій журіалъ «Звѣзда» и принимаетъ живое участіе въ ученическихъ спекакляхъ (отличался онъ особенно въ роли Митрофанушки).

Окончивъ въ 1829 г., первымъ, курсъ гимназіи, Н. В. былъ іазначенъ учителемъ русскаго языка и словесности въ Виленскую имназію. Въ Вильнѣ появился его первый печатный трудъ — русская грамматика для юношества (1830). Сначала онъ ретиво приялся за дѣло, но провинціальная жизнь скоро охладила его увлеіеніе, и онъ началъ рваться въ Петербургъ. Въ маѣ 1831 г. онъ былъ ткомандированъ въ столицу ректоромъ виленскаго университета ъ качествѣ «чиновника для письменныхъ дѣлъ». Съ 1833 г. слукилъ въ министерствѣ финансовъ, съ 1837 г. въ капитулѣ орденовъ, ъ 1843 г. — въ канцеляріи военнаго министра. Чиновничья служба

(до 1857 г.) его мало интересовала: онъ ее часто мѣнялъ, временами не служилъ совсѣмъ, все болѣе и болѣе увлекаясь литературными занятіями.

Кукольникъ отличался исключительною писательскою плодовитостью. Его драматическую фантазію «Торквато Тассо» (1833 г.) встрѣтилъ шумный успѣхъ. За нею послѣдовали: «Джакобо Саннаваръ» (1834 г.), «Рука Всевышняго отечество спасла» (1843 г.), «Князь М. В. Скопинъ-Шуйскій» (1835 г.), тоже вызывавшіе восторги «большой публики», находившей, что «Пушкинъ исписался», «Гоголь грязенъ», увлекавшейся стихами Бенедиктова и картинами Брюлова. «Возвышенный» Кукольникъ съ своимъ крикливымъ патріотизмомъ, ходульнымъ псевдо-романтизмомъ, напряженнымъ, искусственнымъ паѳосомъ былъ ей какъ разъ по плечу[1]). Онъ разыгрывалъ изъ себя «безпутнаго генія», иногда грубо ломался, всегда билъ на дешовый эффектъ — костюмомъ, манерами, рѣчью. Безвкусная яркость красокъ и врожденная аффектированность претили немногимъ и мало мѣшали общимъ восторгамъ. Да критика Кукольника была и не безопасна: его высоко цѣнили офиціальныя сферы. За нелестный отзывъ о «Рукѣ Всевышняго» былъ закрытъ «Московскій Телеграфъ» Н. А. Полевого. Опредѣленно отрицательное отношеніе къ Кукольнику Пушкина и Гоголя не получало широкой огласки. Первые удары этой дутой знаменитости нанесъ Бѣлинскій, развѣнчавшій и столь близкаго къ нему по характеру своего творчества Бенедиктова. Великій критикъ признавалъ только нѣкоторое значеніе за его разсказами, которые въ общемъ проще и жизненнѣе его драмъ и романовъ.

Въ своихъ романтическихъ драмахъ (кромѣ названныхъ выше. «Джуліо Мости», 1836 г.; «Доменикино», 1860 г. и пр.) Кукольникъ подражаетъ Шиллеру, Шекспиру и Виктору Гюго. Трескучія изображенія въ нихъ сильныхъ, сверхчеловѣческихъ страстей, неземная добродѣтель и адская злоба его героевъ и героинь только ходульны и теперь вызываютъ лишь комическое впечатлѣніе. Въ рѣдкихъ случаяхъ удается Кукольнику избѣжать фальши и захватить

---

[1]) Гоголь писалъ о немъ одному изъ общихъ своихъ товарищей по Нѣжину: „Возвышенный все тотъ же; трагедіи его все тѣ же. „Тассъ“ его, который онъ написалъ уже въ шестой разъ, необыкновенно толстъ, занимаетъ четверть стопы бумаги. Характеры всѣ необыкновенно благородны, полны самоотверженія, и, вдобавокъ, введенъ на сцену мальчишка 13 лѣтъ, поэтъ и влюбленный въ Тоссѣ по уши. А сравненіями играетъ, какъ мячиками; небо, землю и адъ потрясаетъ, будто перышко. Довольно, что прежнія „губы посинѣли у него цвѣтомъ моря“, или „тростникъ шепчетъ, какъ шепчутъ въ мракѣ цѣпи“—ничто противъ нынѣшнихъ. Пушкина все по-прежнему не любитъ; „Борисъ Годуновъ“ ему не нравится“.

итателя сгущенною яркостью красокъ. Тѣ же недостатки и въ его сторическихъ романахъ и повѣстяхъ: они такъ же холодны, искусственны, риторичны. Объ исторической правдѣ авторъ заботится ало. Разсказъ его построенъ на бьющихъ въ глаза антитезахъ — аще всего непонятаго, измученнаго пошлостью жизни художника-енія и низменной толпы. Поддѣлываясь къ «оффиціальной народ-ости», онъ вноситъ въ свои произведенія ея специфическій духъ, азработываетъ русскую исторію по трафаретамъ итальянскихъ тра-едій и временами доходитъ до изступленнаго патріотизма. Погоня а эффектами свелась въ концѣ концовъ къ однообразному и скучному поупотребленію кинжалами и ядами, гнѣвными или отчаянными осклицаніями: «га»! и т. д.

Въ половинѣ 50-хъ годовъ популярность Кукольника сильно пала. Его совершенно затерла новая плеяда писателей. Только атріотическая драма «Деньщикъ» (1852 г.), совпавшая съ подъемомъ атріотическихъ чувствъ въ эпоху Крымской войны, дала ему нѣ-колько незаслуженныхъ лавровъ.

Выйдя въ отставку въ 1857 г., Н. В. поселился въ Таганрогѣ. Здоровье его было окончательно разстроено петербургскими «геніаль-ными» кутежами. Печатали его неохотно, матеріальное положеніе было незавиднымъ; Кукольникъ пережилъ свою славу, тяготился своимъ одиночествомъ и общимъ забвеніемъ. Умеръ онъ 8 декабря 1868 г.

Въ немъ несомнѣнно была искра таланта, но она погасла въ морѣ холодной реторики, псевдо-романтическаго геніальничанья и наду-таго патріотизма. Онъ считалъ себя родоначальникомъ настоящей романтической школы въ Россіи, когда романтизмъ уже пережилъ себя; ему органически былъ противенъ реализмъ, передъ которымъ уже открылось блистательное будущее. Декоративная звѣзда Ку-кольника поднялась высоко, обманувъ многихъ, но ненадолго: на глазахъ одного поколѣнія она померкла въ лучахъ славы Гоголя, котораго онъ не признавалъ, Тургенева, Гончарова, Писемскаго, Достоевскаго, которыхъ онъ не замѣтилъ. У своихъ западныхъ образ-цовъ онъ бралъ, съ преувеличеніями, ихъ недостатки, заимствовалъ не идеи, а формы, не общій свободный духъ, а приподнятость рѣчи, напряженность страстей, эффекты исключительно внѣшняго характера.

Николай Алексѣевичъ ПОЛЕВОЙ.

Сынъ курскаго, затѣмъ иркутскаго купца, Николай Алексѣе-вичъ Полевой родился 22 іюня 1796 г. Даровитый самоучка, онъ

не получилъ никакого систематическаго образованія. Значительная хотя очень пестрая семейная библіотека рано развила въ немъ любовь къ чтенію, которая поддерживалась и примѣромъ отца.

Рано проснулось въ немъ и стремленіе къ творчеству. Десяти лѣтъ онъ, по собственному свидѣтельству, «писалъ стихи и прозу, самъ не зная, что такое стихи и проза, издавалъ газету «Азіатскія Вѣдомости», въ родѣ «Московскихъ Вѣдомостей», журналъ «Другъ Россіи», въ родѣ «Московскаго Меркурія» (Макарова), отъ котораго былъ въ восторгѣ, написалъ драму «Бракъ царя Алексѣя Михайловича», трагедію «Бланка Бурбонская», интермедію «Петръ Великій въ храмѣ безсмертія», сочинялъ «Путешествіе по всему свѣту» и рѣшился свести воедино «Дѣянія» и «Дополненія Голикова». Отецъ неодобрительно относился къ этимъ авторскимъ попыткамъ, потому что онѣ отрывали мальчика отъ «дѣла»: «начиналась буря», отецъ бранилъ Н. А., «жегъ драмы и журналы, отнималъ книги» — чтобы засѣсть за вновь привезенныя вмѣстѣ съ сыномъ. Благодаря рѣдкой памяти Н. А. скоро сдѣлался «ходячею справочною книгою отца по географіи и исторіи». «Выучить цѣлую трагедію ему ничего не стоило». Въ 1839 г. Полевой подвелъ такіе итоги своего «умственнаго образованія» до 1811 г.: «я прочиталъ тысячу томовъ всякой всячины, помнилъ все, что прочиталъ, отъ стиховъ Карамзина и статей «Вѣстника Европы» до хронологическихъ чиселъ и Библіи, изъ которой могъ пересказывать наизусть цѣлыя главы, но это былъ какой то хаосъ мыслей и словъ, когда самъ я едва начиналъ мыслить. Между тѣмъ, я былъ дѣловымъ человѣкомъ, управлялъ заводами отцовскими (къ своему фаянсовому заводу онъ присоединилъ еще водочный, войдя въ связи съ тогдашними откупщиками), велъ контору, разсчеты, ходилъ и ѣздилъ въ городъ по дѣламъ, и слылъ въ городѣ диковиннымъ мальчикомъ, съ которымъ, какъ съ ученымъ человѣкомъ, разсуждалъ самъ губернаторъ и спорилъ директоръ гимназіи».

Въ 1811 г. Полевые оставляютъ Сибирь. Н. А. отправился по торговымъ дѣламъ въ Москву, но занимался ими мало, увлекся театромъ и университетскими лекціями, на которыя сумѣлъ «пробраться», продолжалъ сочинительствовать. Когда пріѣхавшій въ Москву отецъ спросилъ: «много ли у тебя осталось денегъ?» и «что ты дѣлалъ въ Москвѣ?» Н. А. указалъ на груду книгъ, имъ накупленныхъ, и кипу исписанной бумаги. Относительно «дѣлъ» пришлось безмолвствовать. «Кипа была немедленно предана всесожженію, книги читать строго запрещено, и мы принялись за дѣло», вспоминалъ потомъ Полевой.

Дѣла только было начинали налаживаться, какъ разразилась Отечественная война. Полевымъ съ трудомъ удалось бѣжать изъ оставленной русскими войсками Москвы въ Арзамасъ. Поспѣшное бѣгство принесло имъ много убытковъ, довело почти до полнаго разоренія. Отецъ Полевого пробуетъ поправить дѣла то выработкой сахара и рома изъ арбузовъ на Дону, то продажею донской рыбы, ѣдетъ въ Иркутскъ, возвращается въ Курскъ, но всѣ эти скитанія и метанія изъ стороны въ сторону ни къ чему не привели: положеніе ихъ годъ отъ году дѣлалось хуже и безвыходнѣе. Н. А. пришлось даже поступить въ контору богатаго купца, совсѣмъ почти забросить первое время самообразованіе и засѣсть за чужія торговыя дѣла. Затѣмъ онъ тайкомъ отъ отца и хозяина, чтобы не повредить своей репутаціи «дѣлового человѣка», изучаетъ «русскую грамматику» Соколова, у «пьянаго цырюльника Наполеоновской арміи, итальянца» узнаетъ первыя основы французскаго языка и у «старика музыкальнаго учителя, богемца» — нѣмецкаго. Понемногу онъ вошелъ во вкусъ болѣе систематическаго ученія, учился французскому языку у ссыльнаго поляка и нѣмецкому у пастора. Для занятій пришлось урывать время у сна. Оригинальный, острый умъ юноши показалъ ему «недостатокъ системы и образа обыкновеннаго ученія», пробѣлы своего развитія. «Самъ для себя» онъ пишетъ русскую грамматику и русскую исторію, отказывается отъ легкаго чтенія, не пишетъ ни стиховъ, ни прозы, «нарочно налагаетъ на себя тяжкія работы: выучиваетъ по триста вокабулъ въ вечеръ, выписываетъ всѣ глаголы изъ Геймова словаря, спрягаетъ каждый отдѣльно, составляетъ новыя таблицы русскихъ спряженій». Позднѣе, вспоминая объ этомъ времени напряженнаго уединеннаго труда, опустившійся Полевой загорался былымъ увлеченіемъ: «силы мои казались мнѣ неистощимы; все было такъ легко, такъ подручно, а впереди все такъ свѣтилось и блестѣло».

Въ 1817 г. Полевой рискнулъ отправить въ «Русскій Вѣстникъ» описаніе проѣзда и пребыванія въ Курскѣ Александра I. Статья была принята и напечатана, хотя съ большими поправками редактора. Подъ нею стояла полная подпись автора. Она обратила вниманіе губернатора и мѣстнаго архіерея, придала молодому автору вѣсъ въ курскомъ обществѣ и заставила помириться съ его научно-литературными занятіями и отца, и хозяина. Въ 1818 г. Полевой печатаетъ въ «Вѣстникѣ Европы» двѣ статьи и начинаетъ чувствовать себя уже заправскимъ писателемъ.

Съ 1820 г. начинается второй періодъ жизни Н. А. Отецъ рѣшилъ сдѣлать послѣднее усиліе поправить свое разстроенное состояніе и

завести на послѣднія деньги водочный заводъ въ Москвѣ. Н. А. оставилъ прежнюю свою службу и навсегда покинулъ Курскъ. Въ Москвѣ и Петербургѣ (въ 1821 г.) онъ заводитъ знакомства въ литературномъ мірѣ. Изъ журналистовъ того времени Свиньинъ встрѣтилъ его «съ распростертыми объятіями», Гречъ и Булгаринъ «оказали самое радушное вниманіе»: они почувствовали въ Полевомъ большую умственную и литературную силу.

Со смертью отца (въ 1822 г.) заботы о семьѣ пали на Н. А., какъ на старшаго. Занятія водочнымъ заводомъ, который потомъ такъ часто фигурировалъ въ полемическихъ выходкахъ противъ Полевого, не мѣшаютъ ему отдаваться все болѣе и болѣе литературѣ. Имя его получило извѣстность. Булгаринъ и Гречъ хотѣли перетянуть его въ Петербургъ для «Сѣверной Пчелы», но Н. А. задумалъ уже тогда свой журналъ и съ 1825 г., при содѣйствіи кн. Вяземскаго, началъ издавать знаменитый «Московскій Телеграфъ».

Въ исторіи русской журналистики и просвѣщенія этотъ журналъ сыгралъ крупную роль. У Полевого были недюжинныя способности журналиста и критика. Онъ живо подхватывалъ общественныя настроенія, умѣлъ приспособиться къ тогдашнему малокультурному читателю, пріучить его къ отвлеченному изложенію, поверхностному, но всегда интересному, давалъ ему легкую беллетристику, занимательную критику, популярныя научныя статьи по всѣмъ отдѣламъ, модныя картинки, пеструю мозаику смѣси, остроумную полемику и т. д.

Съ Полевого критика сдѣлалась обязательнымъ отдѣломъ журнала, и въ этомъ заключается одна изъ главныхъ его заслугъ. Полевой никогда не былъ самостоятельнымъ мыслителемъ. Горячо и краснорѣчиво передавалъ онъ своимъ читателямъ то, что вычитывалъ у французскихъ романтиковъ, въ особенности у Виктора Гюго, и что слышалъ во время бесѣдъ съ «любомудрами» — «архивными юношами» кружка Веневитинова. Онъ наноситъ чувствительные удары изжившемуся уже классицизму, горячо отстаиваетъ романтическую теорію, которую понимаетъ, впрочемъ, односторонне, съ восторгомъ встрѣчаетъ раннія романтическія произведенія Пушкина. Гюго для него величайшій литературный авторитетъ, первый послѣ Шекспира и выше Гёте. Къ выходившему уже изъ романтическихъ дебрей реальному направленію онъ относится болѣе чѣмъ холодно, часто съ недоброжелательствомъ и даже полнымъ непониманіемъ: наиболѣе зрѣлыя произведенія Пушкина, съ его точки зрѣнія, — симптомъ упадка таланта; Гоголя онъ вообще ставитъ низко, видя въ немъ только представителя невиннаго малороссійскаго «жарта», Диккенсъ и

Жоржъ-Зандъ для него «внѣ предѣловъ изящной словесности». Вліяніе Полевого, какъ критика и журналиста, было сильнымъ, но кратковременнымъ. Въ своемъ развитіи русская литература скоро обогнала его, и Полевой почувствовалъ себя сдвинутымъ съ позиціи, къ которой уже успѣлъ привыкнуть. Выходки противъ Карамзина и развѣнчиваніе старыхъ авторитетовъ поссорили его съ вліятельными литературными кругами; его самонадѣянность, переимчивость, подхватываніе и популяризація чужихъ идей претили многимъ; съ злорадствомъ вылавливали у него промахи и ошибки, широкія обѣщанія, которыя такъ часто не выполнялись. Понемногу почва уходила изъ-подъ ногъ Полевого. Запрещеніе журнала изъ-за неодобрительной статьи о патріотической драмѣ Кукольника въ 1834 г. ускорило литературное паденіе Полевого. Ему пришлось вступить въ союзъ съ Булгаринымъ и Гречемъ. Полевой пережилъ самого себя, и ему достались на долю безславная старость, разрывъ почти со всѣми прежними единомышленниками и сотрудниками, крайне запутанное и тяжелое матеріальное положеніе, полное литературное одиночество: нравы Булгариныхъ, Гречей и Сенковскихъ, въ компанію которыхъ онъ попалъ, были ему глубоко противны; въ болѣе порядочныхъ литературныхъ кругахъ его считали ренегатомъ. Послѣдніе годы жизни были для него потрясающей агоніей. Онъ скончался 22 февраля 1846 г. въ Петербургѣ.

Литературная дѣятельность Полевого чрезвычайно разнообразна. Важнѣе всего его критическія статьи перваго періода, въ которыхъ онъ далъ хорошую оцѣнку поэзіи Державина, раннихъ произведеній Пушкина и проч. и разрушилъ многія изъ прежнихъ литературныхъ репутацій, главнымъ образомъ нашихъ классиковъ. Гоголя, какъ уже было указано выше, и Лермонтова онъ не понялъ совсѣмъ. Мало удовлетворительна и оцѣнка Грибоѣдова. Какъ романистъ, онъ далъ рядъ трескучихъ произведеній въ ложно-романтическомъ родѣ («Абадонна», «Клятва при гробѣ Господнемъ», «Мечты и дѣйствительность» и т. д.), близкомъ къ манерѣ Кукольника. Еще слабѣе его патріотическія драмы, сблизившія все болѣе и болѣе опускавшагося писателя съ оффиціальными сферами («Дѣдушка русскаго флота», «Параша-сибирячка» и т. д.). Онѣ сценичны, въ свое время даже пользовались успѣхомъ у публики «Александринки», о которой съ такимъ презрѣніемъ говоритъ Бѣлинскій, но въ лучшихъ литературныхъ кругахъ уронили автора окончательно. Пробовалъ онъ продолжать и журнальную дѣятельность. Переѣхавъ въ Петербургъ во второй половинѣ 30-хъ гг., Н. А. дѣлается постояннымъ сотрудникомъ «Библіотеки для Чтенія», редактируетъ

«Живописное Обозрѣніе», «Сынъ Отечества», «Русскій Вѣстникъ», «Литературную Газету», но журналы эти безконечно ниже первыхъ годовъ «Московскаго Телеграфа».

Въ числѣ многаго другого Полевой брался и за историческія работы. Наиболѣе крупная изъ нихъ — «Исторія русскаго народа». Она была разсчитана на полное уничтоженіе «Исторіи Государства Россійскаго» Карамзина. Полевой пытался примѣнить къ русскому историческому матеріалу новыя идеи романтической философіи исторіи и новые пріемы исторической критики, подставить вмѣсто Карамзинской схемы нашего историческаго процесса, отсталой и ненаучной, схему болѣе глубокую и вѣрную, опирающуюся на всемірно-историческую точку зрѣнія. Критика Карамзина оказалась легче творческой работы, и Полевой не выполнилъ почти совсѣмъ своихъ широкихъ обѣщаній. Отъ его труда осталось знаменательное заглавіе, мало оправданное содержаніемъ, нѣсколько удачныхъ соображеній и предвкушеніе поворота въ нашей исторіографіи къ болѣе глубокому освѣщенію фактовъ, для котораго самъ Полевой сдѣлалъ очень мало.

На закатѣ своихъ дней Полевой имѣлъ полное нравственное право сказать о себѣ: «Никто не оспоритъ у меня чести, что первый я сдѣлалъ изъ критики постоянную часть журнала русскаго, первый обратилъ критику на всѣ важнѣйшіе современные предметы. Мои опыты были несовершенны, неполны, скажутъ мнѣ, и послѣдователи мои далеко меня обогнали въ сущности и въ самомъ образѣ воззрѣнія. Пусть такъ, да и стыдно было бы новому поколѣнію не стать выше насъ, поколѣнія уже преходящаго, потому выше, что оно старше насъ, послѣ насъ явилось, продолжаетъ, что мы начинали, и мы должны быть довольны, если наши труды будутъ имѣть для него цѣну историческую».

Уже Бѣлинскій вскорѣ послѣ смерти Н. А. призналъ за Полевымъ эту «историческую цѣну». Тяжелое умираніе и безславная смерть во многомъ и многихъ примирили съ Полевымъ; послѣдній періодъ его жизни яркимъ контрастомъ выдвинулъ заслуги его юности.

Николай Ивановичъ НАДЕЖДИНЪ.

Знаменитый журналистъ, критикъ и этнографъ Николай Ивановичъ Надеждинъ родился въ 1805 г. 6 октября. Онъ происходилъ изъ духовнаго званія. Его отецъ послѣ многихъ лѣтъ причетнической лямки, добился дьяконскаго и въ концѣ концовъ даже священни-

ческаго мѣста. Онъ не получилъ никакого образованія, умѣлъ только читать и писать, но зато, по свидѣтельству сына, «былъ одаренъ отъ природы счастливыми и быстрыми способностями, обширною памятью, наблюдательностью и страстью къ чтенію». На книги «тратилъ онъ послѣднія добываемыя имъ копейки, а иногда собственноручно переписывалъ тѣ, которыя удавалось ему достать гдѣ-нибудь для прочтенія». Библіотека его состояла изъ русскихъ книгъ, главнымъ образомъ «историческихъ и нравоучительныхъ», затѣмъ сочиненій Ломоносова, Хераскова, «Аонидъ» Карамзина.

Подъ вліяніемъ послѣднихъ юный Надеждинъ и самъ началъ писать стихи.

Отецъ послалъ его къ рязанскому архіерею просить причетническаго мѣста. Даровитый мальчикъ произвелъ такое сильное впечатлѣніе на своего собесѣдника, что тотъ, послѣ испытанія, опредѣлилъ его въ высшій классъ духовнаго училища. Онъ учился отлично и окончилъ философскій классъ семинаріи, когда ему не было еще 15 лѣтъ.

Въ качествѣ одного изъ лучшихъ учениковъ его въ 1820 г. послали изъ Рязани въ московскую духовную академію, гдѣ онъ съ особеннымъ увлеченіемъ занимался философіей, критиковалъ Вольфа и штудировалъ «Канта и другихъ новыхъ философовъ нѣмецкихъ». Идея планомѣрнаго развитія, лежавшая въ основѣ философской системы профессора Голубинскаго, оказавшаго особенное вліяніе на молодого студента, заставила Надеждина внимательно заняться исторіей церковной и гражданской.

Послѣ блистательнаго (онъ получилъ степень магистра богословскихъ наукъ) окончанія курса, Н. И. былъ назначенъ въ рязанскую семинарію профессоромъ русской и латинской словесности, но провинціальная жизнь не удовлетворяла его теперешнимъ широкимъ требованіямъ, и онъ рѣшилъ перейти на гражданскую службу. Гувернерство въ семьѣ извѣстныхъ славянофиловъ Самариныхъ дало ему возможность познакомиться съ сочиненіями французскихъ, главнымъ образомъ, историковъ и философовъ и расширило его умственный кругозоръ. Онъ изучаетъ русскую и иностранную изящную словесность и внимательно слѣдитъ за журналистикой Россіи и Запада.

Знакомство и сближеніе съ профессоромъ Каченовскимъ, извѣстнымъ родоначальникомъ скептической школы въ нашей исторіографіи и издателемъ-редакторомъ заскорузлаго въ своихъ литературныхъ мнѣніяхъ «Вѣстника Европы», толкнули его на скользкій путь журналиста, который сыгралъ потомъ въ жизни Надеждина роковую роль.

Онъ пишетъ сначала статью о поселеніяхъ итальянцевъ на берегахъ Чернаго моря, затѣмъ цѣлый рядъ критическихъ статей, напечатанныхъ подъ псевдонимомъ «эксъ — студента Никодима Надоумки».

Широкое литературное образованіе создало Надеждину сильную позицію въ тогдашней борьбѣ романтиковъ и классиковъ. Ему легко было убѣдиться въ томъ, что противники, въ большинствѣ случаевъ, не ясно представляютъ себѣ самый предметъ спора, отличія романтизма и классицизма, смыслъ и задачи искусства и въ частности поэзіи. Ему бросаются въ глаза, такъ сказать, чужеядность романтизма, слишкомъ затянувшееся ученичество нашей литературы, и онъ ополчается противъ нихъ всѣми силами своего крупнаго полемическаго дарованія.

Ближайшій предшественникъ Бѣлинскаго, онъ разоблачаетъ фальшь и тщету многихъ изъ проявленій нашего романтизма и привѣтствуетъ «зачинающуюся эру живой народной словесности». Во имя народности наноситъ онъ особенно чувствительные удары нашему литературному «чужебѣсію». Онъ требуетъ обновленія литературнаго языка стихіею народной рѣчи, въ поэзіи — не только «наружныхъ формъ народности», но ея «смысла и духа».

Романтизмъ логически приводилъ къ культу старины и народности. Занесенный къ намъ съ Запада и поддержанный патріотическими увлеченіями временъ Отечественной войны, онъ незамѣтно приводитъ къ самоотрицанію — противъ иноземныхъ вліяній во имя народныхъ началъ.

Надеждинъ и былъ типичнѣйшимъ и вліятельнѣйшимъ представителемъ этой націоналистической реакціи, въ ранней стадіи ея развитія. Слишкомъ многимъ обязанный западной наукѣ и европейскому просвѣщенію, онъ не рветъ еще съ ними своихъ нравственныхъ связей, хотя часто впадаетъ въ слишкомъ высокую оцѣнку своего и даже въ «приторный патріотизмъ», по выраженію Полевого. Въ немъ бродятъ еще элементы западничества и славянофильства, которые кристаллизируются значительно позднѣе, къ началу 40-хъ гг.

Онъ склоненъ слишкомъ многаго ожидать отъ будущаго Россіи. «Стоитъ только взглянуть на карту земного шара, чтобы исполниться святого благоговѣнія къ судьбамъ, ожидающимъ Россію. Неужели этотъ колоссъ воздвигнутъ напрасно мудрою міродержавною десницею? Нѣтъ! Онъ долженъ имѣть великое всемірное назначеніе. Тучи бродятъ надъ Европою, но на чистомъ небѣ русскомъ загораются тамъ и здѣсь мирныя звѣзды, утѣшительныя вѣстницы утра. Всегда ль должно будетъ ихъ разглядывать въ телескопъ? Придетъ время,

наго. Его дѣдъ, изображенный въ «Семейной хроникѣ» въ лицѣ Степана Михайловича Багрова, переселился изъ своего симбирскаго имѣнія въ Оренбургскій край, гдѣ будущій писатель провелъ ранніе годы своего дѣтства.

С. Т. родился въ Уфѣ 20 сентября 1791 г. Обстановка, въ которой онъ выросъ, представляла изъ себя своеобразное соединеніе двухъ различныхъ началъ: съ одной стороны, вполнѣ интеллигентная и по тогдашнему времени хорошо образованная мать, во многихъ отношеніяхъ передовая женщина, съ другой — атмосфера патріархальныхъ традицій той самой среды, которая строила свое значеніе на полумиѳическихъ родословныхъ, на фамильной гордости древнимъ дворянствомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, оторванная отъ культурныхъ центровъ, утопала въ самодовлѣющемъ невѣжествѣ, неистовствовала надъ крѣпостными душами, ни одной минуты не задумываясь о чрезмѣрности своихъ правъ, простиравшихся въ доброе старое время далеко за предѣлы человѣчности. Впрочемъ, Аксакову сравнительно мало пришлось наблюдать типичный помѣщичій бытъ той эпохи въ полномъ его расцвѣтѣ: онъ меньше видѣлъ, больше слышалъ, изучая его по живымъ лѣтописямъ, правда, достаточно краснорѣчивымъ, въ чемъ мы можемъ убѣдиться, читая «Семейную хронику».

Первые годы жизни болѣзненнаго, нервнаго ребенка проходятъ то въ Уфѣ, то въ Оренбургскомъ Аксаковѣ (Багрово тожъ) съ частыми переѣздами съ мѣста на мѣсто, отъ чего въ дѣтскую память С. Т. живо врѣзались впечатлѣнія дороги, кормежекъ, остановокъ и т. п. Аксаковъ съ раннихъ лѣтъ полюбилъ природу и въ деревнѣ всецѣло наслаждался ею, но зато въ городѣ, гдѣ не было такого приволья, онъ увлекался чтеніемъ дѣтскихъ книгъ и хрестоматій, прочитывая, кромѣ того, многое не по возрасту. Учиться читать онъ началъ очень рано, кажется, около 4 лѣтъ; затѣмъ его отдали въ казанскую гимназію, а когда при ней былъ открытъ въ 1805 г. университетъ, то 14-лѣтній Аксаковъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими товарищами былъ, какъ онъ выражается, «произведенъ въ студенты». Это «производство», впрочемъ, мало измѣнило характеръ его занятій: онъ продолжалъ по-прежнему посѣщать кое-какіе гимназическіе классы, такъ какъ въ новоиспеченномъ университетѣ при недостаткѣ преподавательскихъ силъ (большинство профессоровъ были тѣ же гимназическіе учителя) господствовало смѣшеніе самыхъ разнообразныхъ спеціальностей: анатомія, высшая математика, словесность, географія и статистика, логика и «натуральная» (т.-е. естественная) исторія и многое другое соединялось въ одинъ факультетъ или,

вѣрнѣе, въ какую то пародію на университетскій факультетъ. Въ общемъ будущій писатель вынесъ очень скудныя познанія изъ казанскаго университета и до конца жизни чувствовалъ существенные пробѣлы въ своемъ образованіи. Важнѣе въ этотъ періодъ было вліяніе на него воспитателя И. Карташевскаго, съ другой стороны — гимназическихъ и студенческихъ кружковъ, занимавшихся литературой и театромъ. Благодаря вліянію Карташевскаго, Аксаковъ не сочувствовалъ Карамзинскому направленію, придерживаясь старой классической школы и въ этомъ отношеніи стоялъ особнякомъ отъ товарищей. Впрочемъ, на школьной скамьѣ С. Т. не проявилъ особенныхъ литературныхъ способностей — большіе успѣхи доставляли ему театръ и декламація. Онъ игралъ роль заправилы въ труппѣ казанскихъ студентовъ, именуясь даже ея «директоромъ» и пожиналъ лавры въ любительскихъ спектакляхъ. Страстность, съ которой Аксаковъ предавался театральнымъ увлеченіямъ, ярко проглядываетъ на страницахъ воспоминаній, писанныхъ имъ въ очень преклонномъ, почти дряхломъ возрастѣ. Это увлеченіе сценой продолжаетъ руководить имъ и долгое время спустя, хотя самъ онъ дальше домашнихъ спектаклей не шелъ, ибо по тогдашнимъ понятіямъ выступать на подмосткахъ въ качествѣ актера-профессіонала дворянину было неприлично.

По выходѣ изъ университета онъ поступилъ на службу въ Петербургъ, гдѣ познакомился и близко сошелся съ кружкомъ знаменитаго Шишкова, что значительно способствовало укрѣпленію его литературныхъ вкусовъ въ томъ направленіи, которое приняли они еще въ казанскій періодъ. Въ качествѣ декламатора, по понятіямъ нашихъ классиковъ, очень искуснаго, онъ пользовался симпатіей въ кругу «Бесѣды любителей русскаго слова» и даже заслужилъ благосклонность Державина.

Въ 1816 г. Аксаковъ женился и на нѣкоторое время переѣхалъ въ деревню, гдѣ съ увлеченіемъ предавался своему любимому занятію — охотѣ. Въ 1826 г. онъ поселился въ Москвѣ (гдѣ прежде бывалъ только наѣздами) и снова поступилъ на службу — сначала цензоромъ въ московскій цензурный комитетъ, а затѣмъ въ межевой институтъ, гдѣ впослѣдствіи былъ сдѣланъ директоромъ.

Тяготѣніе къ театру сказалось въ Москвѣ съ особенной силой: Аксаковъ постоянно вращается въ актерскихъ кругахъ, живетъ и дышитъ театральной атмосферой. Это сближеніе съ артистами и драматургами (преимущественно старой школы) толкаетъ его и на соотвѣтствующую литературную дорогу: онъ переводитъ для театра, пишетъ рецензіи и, что называется, почти не выходитъ изъ-за кулисъ.

Впрочемъ, кромѣ переводовъ пьесъ и замѣтокъ онъ пишетъ нѣсколько стихотвореній[1]). Всѣ эти пробы пера очень тяжеловѣсны, неудачны и ничѣмъ не выдѣляются изъ общей массы классическихъ писаній; въ нихъ незамѣтно даже и проблесковъ того простого и образнаго языка, которымъ отличаются «Записки ружейнаго охотника», «Семейная хроника» и другія произведенія, выдвинувшія Аксакова на одно изъ почетныхъ мѣстъ въ исторіи нашей литературы. Приведемъ для примѣра очень характерный для Аксакова того времени отрывокъ изъ переведенной имъ съ французскаго трагедіи Софокла «Филоктетъ»:

... „Животворящій день! о день стократъ блаженъ!
Итакъ, то истинно, что Пирръ великодушный
Не возгнушался мной, и чести лишь послушный,
Противный, гнусный видъ, смрадъ ранъ моихъ презрѣлъ
И съ умирающимъ остаться восхотѣлъ.
Ахилла доблести ты получилъ въ наслѣдье!
О Пирръ! на небесахъ обрящешь ты возмездье:
Повѣрь, поступокъ твой пріятенъ для боговъ!
Но кончимъ... я идти на брегъ уже готовъ,
Сномъ усладительнымъ ядъ лютый усмирился...“

и т. п. А вотъ двѣ строфы изъ его уже оригинальнаго стихотворенія, подъ заглавіемъ «Пѣснь пира»:

... „Истощимъ утѣхи,
Пресытимся всѣмъ;
Радость, игры, смѣхи,
Множьтесь съ каждымъ днемъ.
Насладившись міра,
Такъ съ него уйдемъ,
Какъ съ роскошна пира,
И потомъ заснемъ.

Сближеніе съ Гоголемъ черезъ Погодина и восторженное преклоненіе предъ его геніемъ со стороны старшаго сына С. Т.— Константина Аксакова внесло свѣжую струю въ атмосферу Аксаковскаго дома. До конца жизни не утратившій живой воспріимчивости и впечатлительности, С. Т. не могъ оставаться равнодушнымъ къ блеску расцвѣтающаго дарованія великаго сатирика и подъ его вліяніемъ научился цѣнить настоящую художественную правду и красоту.

Пробужденіе таланта въ Аксаковѣ только и можно объяснить непосредственнымъ вліяніемъ Гоголя и сыновей. Во всякомъ случаѣ

---

[1]) Первый его стихотворный дебютъ относится къ школьнымъ годамъ („Къ Соловью“) и помѣщенъ былъ въ гимназическомъ журналѣ.

все, что было написано Аксаковымъ до того, какъ онъ началъ составлять и обрабатывать свои воспоминанія, и его позднѣйшіе труды ни съ какой стороны не могутъ быть признаны послѣдовательными ступенями развитія его творчества.

Въ 1847 г. вышли «Записки объ уженіи рыбы, въ 1852 г. — «Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи». Успѣхъ этихъ произведеній, неожиданный для автора, послужилъ толчкомъ для дальнѣйшей обработки его воспоминаній, и въ 1856 г. появилась «Семейная хроника«, а черезъ два года — «Дѣтскіе годы Багрова-внука». С. Т., кромѣ того, принялся за повѣсть «Наташа», въ которой изображалась его любимая сестра, но болѣзнь и смерть помѣшали ему закончить это произведеніе.

Благодаря наслѣдству, полученному родителями Аксакова отъ тетки его отца Куроѣдовой (по «Хроникѣ» Куролесовой), С. Т. имѣлъ возможность вести жизнь спокойную и сравнительно обезпеченную. Выйдя въ 1839 г. въ отставку, онъ зажилъ въ Москвѣ по-помѣщичьи патріархально и гостепріимно, привлекая своимъ радушіемъ въ свой домашній кружокъ видныхъ дѣятелей науки и литературы тогдашняго московскаго общества.

По характеру своему чуждый глубокихъ общественныхъ интересовъ, мало способный къ отвлеченному теоретическому мышленію, въ силу природной мягкости чрезвычайно благодушный, онъ въ общемъ довольно безразлично относился къ окружающей дѣйствительности, не давая увлекать себя всецѣло тому или иному общественному теченію. Эти свойства его натуры, а также необыкновенная уступчивость и почти безсознательное тяготѣніе къ старинѣ въ силу привычки создали удобную почву для вліянія со стороны его сыновей-славянофиловъ, и С. Т. сдѣлался ревностнымъ сторонникомъ этого направленія, такъ какъ оно не выбивало его изъ прежней мирной колеи; впрочемъ, и въ этомъ случаѣ первенство оставалось за его дѣтьми, въ особенности за Константиномъ, однимъ изъ самыхъ талантливыхъ представителей славянофильства.

Подъ конецъ жизни С. Т. началъ сильно болѣть и постепенно лишался зрѣнія, но это не помѣшало ему до самой смерти сохранять необыкновенную отзывчивость и ту дѣтскую ясность и чистоту души, которыя всегда были отличительными чертами его, какъ писателя и человѣка.

Скончался онъ въ 1859 г. 30 апрѣля.

Творчество Аксакова и его біографія — нераздѣльны. Одно построено на другомъ и одно питаетъ другое. Всѣ произведенія его — длинная, подробная повѣсть о своей жизни, исторія роста

его личности съ дѣтскихъ лѣтъ до самаго преклоннаго возраста съ небольшими перерывами. Мы имѣемъ передъ собою «чистосердечное признаніе въ дѣлахъ и помышленіяхъ», въ которомъ факты передаются просто и безыскусственно съ глубокой объективной откровенностью, и эти самые факты во многихъ случаяхъ значительнѣе, интереснѣе и красивѣе дѣлаемыхъ авторомъ выводовъ. Какъ было указано выше, послѣдній періодъ литературной дѣятельности Аксакова, начавшійся съ момента выхода въ свѣтъ «Записокъ объ уженіи рыбы», не имѣетъ ничего общаго съ предшествовавшей вереницей претенціозныхъ и слабыхъ классическихъ произведеній, такъ какъ въ одномъ случаѣ мы видимъ тщетное стремленіе сочинительствовать въ извѣстномъ направленіи, въ другомъ — поддаемся обаянію писателя, который, «не мудрствуя лукаво», съ изящной простотой, мѣрно и плавно, какъ древній лѣтописецъ, разсказываетъ о минувшихъ событіяхъ, въ которыхъ каждая, даже мелочная подробность неизяснимо дорога его сердцу; въ разсказѣ о нихъ всякое риторическое отступленіе отзывалось бы ложью, звучало бы фальшивой нотой, оскорбительной для чуткаго уха разсказчика. Одинъ современный критикъ такъ говоритъ объ этомъ: «Въ Сергѣѣ Тимоѳеевичѣ сидѣло два весьма мало похожихъ другъ на друга существа: весьма посредственный литераторъ, выросшій въ очень дурной литературной школѣ, и чрезвычайно замѣчательный человѣкъ, умный, сердечный, впечатлительный. Когда устами Сергѣя Тимоѳеевича говорилъ литераторъ, получалось всегда нѣчто весьма невысокаго полета и весьма мало любопытное. Но стоило только ему забыть о своемъ литераторствѣ и стать самимъ собою, и, точно по мановенію волшебнаго жезла, скучный литераторъ превращался въ первостепеннаго художника».

Среди всѣхъ произведеній Аксакова безусловно первое мѣсто принадлежитъ «Семейной хроникѣ». Въ видѣ отдѣльныхъ отрывковъ передаются въ ней факты изъ жизни отца и дѣда — Аксаковыхъ и ихъ близкихъ родныхъ. Авторъ излагаетъ прошлое по разсказамъ, но описаніе его такъ живо и ярко, какъ будто все, происходившее много десятковъ лѣтъ тому назадъ, непосредственно проходило передъ его глазами: тихо шумитъ Бугурусланъ, весеннее солнце ласково освѣщаетъ незатѣйливыя постройки барской усадьбы, и встаетъ передъ нами могучая фигура «дѣдушки Степана Михайловича», этого типичнаго представителя старой помѣщичьей Руси со всѣми ея темными и свѣтлыми сторонами. Необыкновенное чувство художественной мѣры, цѣльность изображаемыхъ характеровъ, чарующая прелесть пейзажа отличаютъ это произведеніе С. Т.

Изъ скромнаго повѣствованія о семействѣ Багровыхъ, незамѣтно для самого автора, слагается цѣлая картина помѣщичьяго и крѣпостного быта захолустныхъ уголковъ тогдашней Россіи, гдѣ помѣщикъ является полновластнымъ господиномъ надъ своими подданными — не только крестьянами, но и младшими членами семьи, — главнымъ вершителемъ ихъ судебъ, защитникомъ и карателемъ одновременно.

На полномъ просторѣ, безъ всякихъ воспитывающихъ и дисциплинирующихъ началъ, вырастаютъ люди, какъ деревья въ лѣсу; ихъ характеры слагаются при условіяхъ грубой домашней обстановки, въ зависимости отъ самодурства сильныхъ и покладистости слабыхъ. Старикъ Багровъ, бѣшеный звѣрь въ припадкѣ гнѣва и чуткій разсудительный человѣкъ въ добрую минуту, Куролесовъ, наводящій ужасъ своей стихійной жестокостью, достойной стать наравнѣ съ похожденіями знаменитой Салтычихи, робкій, добрый и безличный Алексѣй Степановичъ (отецъ автора) — всѣ они «герои своего времени», дышавшіе одной атмосферой, и тѣ или иныя проявленія ихъ характера зависятъ не отъ внутренняго сознанія, не отъ нравственныхъ сдерживающихъ началъ, а отъ случайныхъ особенностей данной натуры. Аксаковъ живописуетъ ихъ съ полнымъ безпристрастіемъ, воздерживаясь отъ критическихъ сужденій, но все же объективность разсказа не мѣшаетъ намъ замѣтить у автора инстинктивной симпатіи къ старинѣ, почти безсознательнаго тяготѣнія къ прошлому. Останавливая вниманіе читателей на какомъ-нибудь отдѣльномъ происшествіи, глубоко возмутительномъ по существу, Аксаковъ разсматриваетъ его, какъ случайный эпизодъ, зависящій отъ воли и желанія отдѣльныхъ лицъ, и забываетъ о томъ, что причины того или другого факта коренятся не столько въ дѣйствующихъ лицахъ, сколько въ условіяхъ окружающей ихъ жизни. С. Т. всѣми силами своей доброй и мягкой души возстаетъ противъ неистовствъ Куролесова, но ни на минуту не задумывается объ ужасахъ крѣпостного права вообще, даже наивно предполагаетъ, что у добраго, справедливаго Степана Михайловича этимъ крестьянамъ живется достаточно хорошо и привольно.

Эта черта «Семейной хроники», какъ и другого произведенія Аксакова — «Дѣтскіе годы Багрова-внука», непосредственнаго продолженія первой, обусловливается тѣмъ, что авторъ самъ выросъ и воспитался въ атмосферѣ крѣпостного права и не умѣлъ смотрѣть на русскую жизнь подъ инымъ угломъ зрѣнія.

«Дѣтскіе годы Багрова-внука», дополняемые дальнѣйшими воспоминаніями о школьномъ періодѣ жизни въ Казани, передаютъ все, что сохранилось въ свѣжей памяти С. Т. о раннихъ годахъ его дѣт-

тва и юности. Это произведеніе, очень цѣнное въ біографическомъ отношеніи, уже не отличается тѣми художественными достоинствами, которыя мы находимъ въ «Хроникѣ»: мѣстами излишнія, загромождающія подробности, слегка искусственное освѣщеніе лицъ и событій сквозь искусственно и не всегда удачно воскрешенную призму дѣтскаго міропониманія не даютъ чувствовать въ разсказѣ той изящной простоты и свободы изложенія, которыя поражаютъ читателя въ «Семейной хроникѣ».

Произведенія Аксакова стоятъ особнякомъ въ нашей литературѣ: ихъ автора нельзя считать только мемуаристомъ, но въ то же самое время у него нѣтъ и достаточной силы къ самостоятельному творчеству; онъ не создаетъ своихъ образовъ, онъ беретъ типы, созданные самой жизнью, и воспроизводитъ ихъ, какъ первоклассный художникъ-фотографъ, избѣгая излишней ретуши и загромождающаго декоративнаго фона.

Языкъ Аксакова, по своему художественному изяществу и образной простотѣ, можетъ быть поставленъ наряду съ лучшими образцами литературнаго стиля.

Новѣйшая русская литература.

Хронологически новѣйшая русская литература пріурочивается къ періоду отъ 30-хъ годовъ прошлаго вѣка до послѣдняго времени; генетически она, въ своемъ начальномъ моментѣ, тѣсно примыкаетъ къ литературной дѣятельности Пушкина и Гоголя, расширяя и углубляя ихъ поэтическіе и общественные завѣты, отражаясь въ призмѣ критики Бѣлинскаго. Изъ ея матеріала мы беремъ только часть — первый періодъ, 40—60-ые годы, и дѣятельность писателей, уже пробившихъ себѣ дорогу въ нашу среднюю школу.

Пушкинъ и Гоголь сдѣлали нашу литературу самобытной, глубоко-національной, ихъ ближайшіе преемники и ученики — міровой. Западъ изучалъ и изучаетъ Тургенева и Л. Н. Толстого не какъ учениковъ великой плеяды нашихъ писателей 20-хъ и 30-хъ годовъ XIX вѣка, а отъ нихъ идетъ въ глубь литературнаго прошлаго Россіи. Несмотря на значительное количество переводовъ изъ Пушкина и Гоголя, за границей до самаго послѣдняго времени ихъ почти совсѣмъ не знали. Переводили обрусѣвшіе преподаватели иностранныхъ языковъ, русскіе аристократы — отъ нечего дѣлать или изъ искренняго желанія познакомить Западъ съ родной литературой, но ихъ переводы тонули въ массѣ выбрасываемыхъ ежегодно на книж-

ный рынокъ изданій и только въ рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ останавливали на себѣ вниманіе западной критики. Впервые могучій талантъ Герцена-эмигранта, въ концѣ 40-хъ годовъ, заставилъ нашихъ литературныхъ учителей серьезно отнестись къ русскому писателю и русской литературѣ; вслѣдъ за нимъ Тургеневъ занялъ прочное положеніе въ литературныхъ кругахъ Франціи и Германіи, «прорубилъ окно въ Европу» для нашей литературы, расчистилъ дорогу на Западъ для сочиненій Л. Н. Толстого, Достоевскаго, Гоголя и Пушкина. Раньше всего тамъ бросились въ глаза тонкій умъ и широкое литературное образованіе Тургенева; въ обаятельномъ собесѣдникѣ скоро узнали великаго писателя и должны были принять, при всемъ своемъ высокомѣріи законодателей литературной моды для всего міра, его противопоставленіе русской литературы французской: «въ насъ меньше условности, въ насъ больше человѣчности». Флоберъ увидѣлъ въ «этомъ скиѳѣ» «огромнаго малаго». Жоржъ-Зандъ писала объ авторѣ «Записокъ Охотника»: «Я знакома съ Тургеневымъ очень мало, но знаю его наизусть. Какой талантъ! Сколько оригинальности и выдержки! Я нахожу, что иностранцы пишутъ лучше насъ. Они не позируютъ, а мы драпируемся, или валяемся по землѣ». Знаменитый французскій философъ Ренанъ надъ гробомъ Тургенева произнесъ красивую рѣчь, въ которой отразились и благоговѣйное преклоненіе передъ мощнымъ талантомъ умершаго писателя и полное незнаніе его корней въ прошломъ нашей литературы. Между прочимъ онъ сказалъ: «Сознаніе его не было сознаніемъ индивидуума, къ которому судьба отнеслась болѣе или менѣе благосклонно: въ немъ до извѣстной степени воплотилось сознаніе всего его народа. Еще до своего рожденія онъ жилъ уже цѣлыя тысячелѣтія, безконечныя смѣны грёзъ воплотились въ его сердцѣ. Никто еще не являлся, подобно ему, воплощеніемъ цѣлой расы: поколѣнія предковъ, погруженныхъ въ многовѣковый сонъ и лишенныхъ рѣчи, воплотились въ немъ и обрѣли выраженіе». «Лишенные рѣчей предки» — авторы «Слова о полку Игоревѣ» и «повѣсти о горѣ-злочастіи», Фонвизинъ и Державинъ, Радищевъ и Новиковъ, Крыловъ и Грибоѣдовъ, Пушкинъ и Гоголь...

Вслѣдъ за Тургеневымъ, и часто при его непосредственномъ содѣйствіи, предъ недоумѣвающими глазами западныхъ писателей выросли Толстой и Достоевскій. Самъ Тургеневъ настойчиво пропагандировалъ своихъ великихъ учителей; зрѣлость техники, творческая глубина новѣйшихъ русскихъ произведеній сами собою уже заставляли предполагать за ними многовѣковую подготовку. Тургеневъ, Достоевскій и Толстой создали цѣлыя полосы «русскаго влія-

нія» въ западныхъ литературахъ — и даже вызвали въ нѣкоторыхъ писательскихъ кругахъ реакцію противъ слишкомъ быстраго превращенія учителей въ учениковъ; преклоненіе передъ ними вызвало и серьезное, вдумчивое изученіе Пушкина, Гоголя, ихъ предшественниковъ, современной намъ литературной молодежи, которое пошло вширь и вглубь. Міровой геній Толстого привелъ и къ міровому празднованію восьмидесятилѣтія его рожденія; высокій, но минутный взмахъ исключительной популярности Максима Горькаго достигъ даже Японіи. Во многихъ западныхъ университетахъ читаются спеціальные курсы исторіи русской литературы; среди ихъ профессоровъ есть видные спеціалисты по Тургеневу, Толстому, Чехову, даже по писателямъ второстепеннымъ (напр., гр. А. Толстому). Во время Гоголевскихъ торжествъ въ Москвѣ (26 апрѣля 1909 г.) французскій профессоръ Лирондель заявилъ въ своей прекрасной русской рѣчи, что «въ Лильскомъ университетѣ изучаютъ Гоголя по-русски» и что французскія дѣти предпочитаютъ «Тараса Бульбу» «Айвенго» Вальтеръ-Скотта и другимъ подобнымъ произведеніямъ»; міровой талантъ Гоголя окончательно уже усыновленъ Франціей.

Такъ, полное и яркое выраженіе духа своей національности получаетъ значеніе общечеловѣческое...

Наша литература воплотила въ себѣ лучшія особенности русскаго національнаго генія: его страстныя исканія истины и справедливости, кристальную чистоту и простоту его чувства, чуждую условности, позы и фразы, глубокую человѣчность.

Развиваться ей приходилось при тяжелыхъ условіяхъ — въ самую глухую и мрачную эпоху разгара реакціи, правительственной и общественной, пробиваясь сквозь толщу крѣпостническихъ отношеній, организованнаго произвола и самодовлѣющаго насилія. Въ литературу уходили всѣ лучшія силы народнаго генія, потому что почти всѣ остальные пути «были ему заказаны».

Пушкинъ и Гоголь намѣтили широкія перспективы поэтическаго творчества. Дальнѣйшая ихъ разработка неминуемо должна была столкнуться съ забиравшею все большую и большую власть реакціей и временно сузиться, чтобы потомъ развернуться съ новыми силами. Массѣ общества были не по плечу поэтическіе завѣты великихъ писателей: послѣднія произведенія Пушкина, лучшія созданія Гоголя были встрѣчены холодно и даже враждебно. Реакція создавала благопріятную почву для фальшиваго, крикливаго и натянутаго романтизма Кукольника, Николая Полевого и Бенедиктова. Чуткій и вдумчивый Гоголь съ болѣзненною страстностью пробовалъ поставить и рѣшить основныя проблемы своей эпохи — религіозныя,

политическія и соціальныя, но запутался среди разрозненныхъ и несоединимыхъ осколковъ средневѣкового міровоззрѣнія, вынесеннаго изъ домашней обстановки и окрѣпшаго въ сгущенной атмосферѣ реакціи, и новыхъ жизненныхъ запросовъ. Молодое поколѣніе писателей, выступившихъ на литературное поприще около половины 30-хъ годовъ, въ значительной степени было предоставлено своимъ собственнымъ силамъ. Чтобы опомниться отъ разгрома 1825 —1826 гг., чтобы приспособиться къ условіямъ Николаевскаго режима, спасая по возможности «душу живу», ему нужно было уйти въ себя, въ тѣсные товарищескіе кружки, переболѣть повышеннымъ романтизмомъ и отрѣшеннымъ отъ жизни идеализмомъ. Въ маленькихъ ячейкахъ, пока укрытыхъ отъ «всевидящаго глаза» и «всеслышащихъ ушей», шла усиленная работа мысли и чувства: усваивались послѣднія слова нѣмецкаго философскаго идеализма, наиболѣе яркія проявленія западнаго романтизма, которыя скоро смѣнились вліяніемъ французскихъ утопическихъ теорій, соціальной и реальной литературы. Въ этомъ случаѣ сказались неумолимый законъ развитія, властныя требованія жизни, которыя горькимъ опытомъ разбивали грезы и иллюзіи, измѣняли самый составъ общества, ставили все новыя и новыя непреложныя задачи, возвращали къ дѣйствительности. Тогда съ новою силою воскресли завѣты Пушкина и Гоголя, углубленные идейными и литературными вліяніями Запада, и русская литература, переживъ послѣдній періодъ ученичества, бодро двинулась навстрѣчу блистательному будущему и всѣмъ ужасамъ настоящаго.

Въ исторіи поколѣнія «идеалистовъ 30-хъ годовъ» нужно различать, такимъ образомъ, два момента. Первый всего лучше можетъ быть названъ эпохой самобытнаго русскаго романтизма, создававшагося самою жизнью, хотя ему и шли навстрѣчу разнообразныя иноземныя вѣянія, какъ старыя, такъ и новыя.

Судьба декабристовъ и ихъ дѣла для нашей малочисленной интеллигенціи была крупной катастрофой. Пробужденная передъ тѣмъ общественная инициатива уходитъ внутрь, общество запугано и въ значительной степени деморализовано; общественное движеніе «дней Александровыхъ прекраснаго начала» почти замираетъ; общественныя силы уходятъ на кропотливую внутреннюю работу, эстетическіе, отвлеченно-философскіе и археологическіе интересы; общественная самодѣятельность подавлена реакціей и все болѣе и болѣе разрастающимся бюрократизмомъ. Міровоззрѣнія слагаются вдали отъ дневного свѣта и свѣжаго вѣянія жизни, сама жизнь постепенно блекнетъ и тускнѣетъ, въ общественныхъ потемкахъ развивается

болѣзненная нервозность, нарождаются «самоѣды» — Гамлеты Щигровскаго и иныхъ уѣздовъ, Бельтовы, Чулкатурины, Рудины, — съ усиленіемъ анализа и рефлексіи, самоотравленія энергіи, не находящей себѣ свободнаго исхода, падаютъ воля, свѣжесть и непосредственность чувства. У Чацкаго «умъ и сердце не въ ладу»; рѣзкій разладъ между идеаломъ и дѣйствительностью губитъ героевъ «петербургскихъ повѣстей» Гоголя; жизнь переполняется «лишними людьми», и за Онѣгинымъ и Печоринымъ идутъ Тургеневскіе герои и пестрая вереница болѣе позднихъ разновидностей «москвича въ Гарольдовомъ плащѣ»... Кружнымъ путемъ, черезъ романтическое «прекраснодушное» томленіе и эфемерныя грезы метафизики, медленно идетъ это талантливое, но почти сплошь обвѣянное трагедіей поколѣніе къ раціональному самоопредѣленію и сближенію съ дѣйствительностью, оставляя многихъ по пути — въ дебряхъ нѣмецкой метафизики, среди представителей «чистой науки» и политической эмиграціи, среди «филистеровъ» и іезуитовъ, въ канцеляріяхъ и захолустныхъ, медвѣжьихъ углахъ,

И въ буряхъ и въ житейскомъ горѣ.
Въ краю чужомъ, въ пустынномъ морѣ,
И въ мрачныхъ пропастяхъ земли...

Второй моментъ — сравнительный реализмъ взглядовъ, ясное пониманіе жизни и ея задачъ, сознаніе необходимости той или иной борьбы во имя идеаловъ и лучшаго будущаго — доставался не даромъ и часто приходилъ слишкомъ поздно. Надломились могучія силы Грановскаго, много яду и грусти закралось въ свѣтлую душу Тургенева, ушелъ въ іезуиты Печеринъ, добровольно осудилъ себя на «тоску душнаго изгнанья» Герценъ, нравственно палъ Боткинъ, въ непосильной борьбѣ захирѣлъ и погибъ Бѣлинскій...

Для перваго момента особенно характерно увлеченіе нѣмецкой идеалистической философіей, реакціоннымъ романтизмомъ (Тикъ, Гофманъ, Вальтеръ-Скоттъ, раннія произведенія Виктора Гюго) и все болѣе выраждающимися отголосками байронизма, сведеннаго въ концѣ концовъ на грубый и односторонній индивидуализмъ; для второго — увлеченіе «лѣвымъ гегеліанствомъ», «Молодой Германіей», Сенъ-Симономъ и Фурье, Флоберомъ, Бальзакомъ и Жоржъ-Зандъ, пѣснями Беранже, молодыми произведеніями Шиллера. Узкая и односторонняя кружковая жизнь приводитъ къ образованію широкихъ теченій общественной мысли, которыя, путемъ послѣдовательной трансформаціи, переходятъ въ позднѣйшія общественныя движенія. «Ein кружокъ in der Stadt Moskau» создалъ Рудиныхъ, но изъ него же

вышли славянофилы и западники, умѣренные и крайніе, либералы и радикалы.

Прошлая русская жизнь мало способствовала философскимъ исканіямъ. Древняя Русь знала только обрывки богословской византійской метафизики; позднѣе были занесены къ намъ осколки западной схоластики, запоздавшей почти на 5 вѣковъ, перемѣшанные и искаженные; поверхностнымъ, за немногими исключеніями, было и вліяніе вольфіанства, «просвѣщенія»; университетское преподаваніе XVIII вѣка даетъ только слабые слѣды изученій Лейбница, Канта; впервые «любомудры» 20-хъ годовъ съ большею серьезностью ухватились за Шеллинга, имя котораго уже гремѣло на Западѣ, но знали его мало. Какъ люди Александровской эпохи, сверстники декабристовъ, они были почти чужды внутреннихъ исканій и къ философіи шли отъ эстетики, у Шеллинга искали обоснованія для своихъ теорій поэтическаго творчества. 30-ые годы выдвинули другой общественный типъ и были эпохой философскихъ исканій по преимуществу. Внутренняя работа все болѣе захватывала души молодого поколѣнія, все болѣе разрушала уравновѣшенность, жизненность и ясность психологіи декабристовъ, замѣнила ихъ политическія и соціальныя стремленія пламенными мечтами о «лучшемъ мірѣ» и «абстрактнымъ героизмомъ», постановкою вопросовъ объ основныхъ вопросахъ бытія, высшихъ критеріяхъ добра и истины. Это была «Молодая Россія», «колыбель русскаго идеализма», съ тепличнымъ, иногда наивнымъ развитіемъ мысли и чувства, съ мечтами не о частичныхъ реформахъ государственнаго и общественнаго строя, а о полномъ преобразованіи всей жизни. Одинъ изъ ея историковъ мѣтко сказалъ о представителяхъ этого поколѣнія: «они первые искали свою правду жизненно, не въ спокойной работѣ умозрѣнія, а въ практическомъ опытѣ личныхъ паденій и побѣдъ, и самое знаніе, до котораго они были такъ жадны, воспринималось ими нравственно, со всю болью и радостью личныхъ переживаній. Въ этомъ ихъ отличіе отъ предшествовавшихъ имъ поколѣній, и отсюда же ихъ новое отношеніе къ дѣйствительности... Они выставили идеалъ жизни радостной и прекрасной, они первые вывели это солнце на горизонтъ нашей общественности. Съ тѣхъ поръ оно незакатно стоитъ надъ русской интеллигенціей; отъ него заимствовала свой свѣтъ и тепло и получила свои краски наша художественная литература... Тѣ люди не жили вовнѣ — они только думали и чувствовали. Оранжерейное развитіе ихъ мысли не могло не отразиться на ихъ конкретныхъ построеніяхъ, и русское общество, впитавшее ихъ идеологію въ плоть и кровь, еще и теперь не освободилось отъ ея крайностей и ошибокъ». Но они же сами

сознали большинство своихъ «крайностей и ошибокъ» и указали путь для борьбы съ ними.

Пушкинъ, во многихъ отношеніяхъ типичный представитель 20-хъ годовъ, полуиронически освѣтилъ ихъ прообразъ, Владиміра Ленскаго, «поклонника Канта и поэта», «сердцемъ милаго невѣжду»:

Онъ изъ Германіи туманной
Привезъ учености плоды:
Вольнолюбивыя мечты,
Духъ пылкій и довольно странный,
Всегда восторженную рѣчь,
И кудри черныя до плечъ.

Ближе къ истинѣ былъ Герценъ, который писалъ въ своихъ геніальныхъ «Быломъ и Думахъ»: «Тридцать лѣтъ тому назадъ[1]), Россія будущаго существовала исключительно между нѣсколькими мальчиками, только что вышедшими изъ дѣтства, а въ нихъ было наслѣдіе общечеловѣческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, какъ трава, пытающаяся расти на губахъ непростывшаго кратера... Нравственный уровень общества палъ, развитіе было перервано, все передовое, энергическое вычеркнуто изъ жизни. Остальные — испуганные, слабые, потерянные — были мелки, пусты; дрянь александровскаго поколѣнія заняла первое мѣсто; они мало-по-малу превратились въ подобострастныхъ дѣльцовъ, утратили дикую поэзію кутежей и барства и всякую тѣнь самобытнаго достоинства; они упорно служили, они выслуживались, но не становились сановитыми. Время ихъ прошло. Подъ этимъ большимъ свѣтомъ безучастно молчалъ большой міръ народа; для него ничего не перемѣнилось, — ему было скверно, но не сквернѣе прежняго, новые удары сыпались не на его избитую спину. Его время не пришло. Между этой крышей и этой основой, дѣти первые приподняли голову, можетъ, оттого, что они не подозрѣвали, какъ это опасно; но какъ бы то ни было, этими дѣтьми ошеломленная Россія начала приходить въ себя».

Но раньше, чѣмъ разбудить Россію, они сами должны были «прійти въ себя» въ атмосферѣ благороднаго нѣмецкаго идеализма. Крайности философской отвлеченности скоро спали съ нихъ «ветхой чешуей», идеалистическій же закалъ, привычка къ тонкому и глубокому анализу, приматъ совѣсти навсегда остались опредѣляющими моментами ихъ психологіи и жизни.

Кантъ въ 30-ые годы не имѣлъ особенно сильнаго вліянія на нашу

[1]) Писано было въ концѣ 50-хъ годовъ.

молодежь, и объ этомъ можно только пожалѣть: его знали, но имъ мало увлекались. Романтизмъ философскихъ ученій Шеллинга и Фихте больше тогда говорилъ молодымъ сердцамъ, чѣмъ критицизмъ геніальнаго кенигсбергскаго мыслителя.

Кантъ (1724—1804) нанесъ старой метафизикѣ съ ея схоластическими бреднями смертельный ударъ. Метафизика для него — ученіе (или наука) о границахъ и условіяхъ человѣческаго разума; онъ рѣзко противополагаетъ критическій методъ своей философіи догматическому методу старыхъ метафизиковъ, которые слишкомъ смѣло толковали о сверхъ-чувственныхъ и сверхъ-опытныхъ, трансцендентныхъ предметахъ, не входя въ провѣрку своихъ основныхъ положеній. Такія метафизическія изслѣдованія и построенія, по мнѣнію Канта, невозможны безъ предварительнаго анализа самой познавательной способности человѣка, его разума. Онъ и беретъ на себя такую задачу въ «Критикѣ чистаго разума» (1781). Критика расчищаетъ путь для системы, доктрины, догмы, провѣряетъ силы разума, опредѣляетъ степень доступности для нашего разума познанія предметовъ вообще, сверхъопытныхъ въ особенности. Въ этомъ и заключается суть критическаго направленія.

Въ своемъ ученіи Кантъ опирался отчасти на англійскихъ мыслителей Локка и Юма, представителей скептическаго направленія, которые подорвали вѣру въ возможность познанія сверхчувственнаго, хотя и не дали настоящаго изслѣдованія нашей познавательной способности.

Уже со временъ Бэкона (1561—1626) англійская философія вступила въ рѣшительную борьбу съ крайностями метафизики, стала подкапываться подъ идею прирожденности нашихъ общихъ знаній, понятій и законовъ и выдвинула опредѣляющее сферу нашего познанія значеніе индуктивнаго метода. Локкъ (1632—1704) отрицалъ прирожденность и наслѣдственность идей, сводилъ весь внутренній міръ человѣка къ воздѣйствію внѣшнихъ впечатлѣній, допуская, впрочемъ, извѣстные предѣлы и границы внѣшняго воздѣйствія. Въ душѣ нашей не можетъ быть ничего, чего не заключало бы въ себѣ чувственное воспріятіе. Производимыя внѣшнимъ міромъ раздраженія нашей нервной системы отражаются въ видѣ впечатлѣній и ощущеній, составляютъ внѣшній опытъ — первичное явленіе нашей души; ихъ внутренняя переработка, дающая болѣе сложные продукты душевной дѣятельности, — внутренній опытъ, рефлексія — явленіе вторичное. «Какъ весь Гомеръ написанъ 24 буквами, такъ и немногія простыя идеи образуютъ весь матеріалъ нашего знанія». Все это,

конечно, далеко не рѣшаетъ сложнаго вопроса теоріи познанія, но приводитъ къ необходимости его серьезной постановки и изслѣдованія.

Юмъ (1711—1776) направилъ свои главные удары противъ метафизическаго пониманія «принципа причинности», основного условія нашего познанія — стремленія ставить въ причинныя отношенія окружающія явленія. Съ его точки зрѣнія, произведшей сильное впечатлѣніе на Канта, понятіе о причинности не прирождено намъ, а вырабатывается изъ опыта, въ силу постепенно слагающейся привычки группировать и ассоціировать полученныя впечатлѣнія и ощущенія; его нельзя прилагать къ области сверхчувственныхъ явленій.

Кантъ своимъ ученіемъ восполнилъ самый существенный пробѣлъ ученія Локка и Юма и обратился къ изслѣдованію самаго разума, границъ и объема познавательной способности человѣка. Ему пришлось разойтись со своими учителями въ рядѣ существенныхъ пунктовъ. Для него принципъ причинности — основное, до-опытное начало нашего разума, всесильное въ сферѣ опыта, безсильное за его предѣлами; онъ основывается на нашей организаціи, предшествуетъ, какъ способность, всякому опыту, который и возможенъ только при его наличности. Отъ частныхъ вопросовъ, затронутыхъ его предшественниками, Кантъ восходитъ къ широкому и сложному вопросу о возможности апріорныхъ, независимыхъ отъ опыта понятій. Расходясь съ Юмомъ въ пониманіи принципа причинности, онъ углубилъ вторую его мысль — о приложимости нашихъ понятій исключительно къ сферѣ эмпирическихъ (опытныхъ) явленій.

Предметы нашего познанія дѣлятся Кантомъ на чувственные и сверхчувственные (Богъ, міръ, душа). Первые воспринимаются субъективно, такъ, какъ они отражаются въ воспріятіи; нашему опыту и познанію доступны явленія, по существу призрачныя, неточныя и сбивчивыя, а не предметы сами по себѣ, каковы они на самомъ дѣлѣ. Сверхчувственные предметы лежатъ внѣ нашего познанія, «критики чистаго разума», недоступны ни внѣшнимъ, ни внутреннимъ чувствамъ.

«Критика чистаго разума» дѣлится на трансцендентальную (касающуюся условій опыта) эстетику, аналитику и діалектику. Первая разсматриваетъ чувственность, какъ основу познавательной способности, дающую независимыя отъ опыта представленія, вторая — разсудокъ и элементарныя до-опытныя понятія, третья — разумъ, регулирующій понятія и сужденія, но не создающій новыхъ познаній. Эстетика и аналитика опредѣляютъ условія позианія чувственныхъ предметовъ,

діалектика опровергаетъ возможность теоретическаго познанія сверхъ-опытныхъ и сверхчувственныхъ предметовъ.

Чувственность — способность нашихъ чувствъ воспринимать предметы внѣшняго міра; непосредственныя отношенія нашей познавательной способности къ отдѣльнымъ единичнымъ предметамъ начинаются съ чувственнаго созерцанія, дающаго представленія, которыя перерабатываются въ общія и посредственныя понятія. Безъ представленій невозможны понятія. Познаніе начинается съ представленія, опыта, но не все въ немъ сводится къ опыту: нѣкоторые его элементы апріорны; въ условіяхъ созерцанія есть нѣчто независмое отъ опыта.

Явленіе — предметъ всякаго чувственнаго созерцанія. Въ немъ есть содержаніе, соотвѣтствующее ощущенію, и форма, регулирующая ощущенія, дающая душѣ возможность ихъ ощущать. По мнѣнію Канта, содержаніе сводится къ ощущенію, форма же — не ощущеніе, она предшествуетъ опыту, даетъ возможность ему осуществиться; первое — апостеріорно, второе — апріорно, есть «чистое созерцаніе», всеобщее и необходимое, неизмѣнное. Законы нашего созерцанія, формы — пространство и время: все, что мы созерцаемъ, мы созерцаемъ въ пространствѣ и во времени. Пространство и время не могутъ быть выведены изъ опыта, они предшествуютъ созерцанію, являются его необходимыми условіями. Какъ формы созерцанія, пространство и время не могутъ быть прирожденными понятіями, потому что они единичны, потому что понятія вырабатываются изъ представленій, а представленія невозможны безъ предварительно заложенныхъ въ самую организацію нашу формъ созерцанія, основныхъ свойствъ нашей познавательной способности и условій самаго опыта. Таково главное содержаніе эстетики Канта, какъ ученія о чувственномъ воспріятіи.

Въ аналитикѣ онъ разсматриваетъ основныя понятія нашего разсудка. Явленія мы познаемъ благодаря внѣшнимъ чувствамъ въ опредѣленныхъ формахъ пространства и времени, затѣмъ устанавливаемъ связь между явленіями и представленіями, создаемъ понятія, образуемъ сужденія. Непремѣннымъ условіемъ группировки явленій въ опредѣленныя соединенія служитъ единство самосознанія. Все множество понятій и сужденій можетъ быть сведено къ 12 категоріямъ, чистымъ принципамъ мышленія, основнымъ понятіямъ: категорія количества — единство, множество, все; категорія качества — утвержденіе, отрицаніе, ограниченіе; категорія отношеній — субстанція (независимая сущность), причинность, взаимодѣйствіе; категорія модальности — возможность и невозможность, бытіе и

ебытіе, необходимость и случайность. Категоріи соотвѣтствуютъ 2 формамъ сужденій, установленнымъ логикой.

Предметы мы познаемъ въ формахъ чувственности и разсудка. Познаніе это относительно и субъективно, распространяется только а міръ явленій, феноменовъ, а не на міръ нуменовъ, ущностей, вещей въ себѣ (das Ding an sich), недоступный нашимъ увствамъ, нашему разсудку. Приложеніе пріемовъ познанія феноменовъ къ изслѣдованію нуменовъ несостоятельно въ корнѣ; наши редставленія о мірѣ опредѣляются нашими внѣшними чувствами особенностями познавательной способности.

Въ этомъ пунктѣ своего ученія Кантъ несомнѣнно зависѣлъ ть Локка и Юма. Первый считалъ примарными свойствами предмеовъ ихъ неизмѣнныя особенности, представляющія объективную горону познанія — протяженіе, непроницаемость, форму; секундарыми, субъективными будутъ такія свойства, какъ вкусъ, цвѣтъ, апахъ: мы ихъ объективируемъ, приписываемъ предметамъ, хотя ни — только результаты нашего личнаго впечатлѣнія, часто ошиочнаго и случайнаго. Для второго всѣ свойства предметовъ секунарны. Объективнымъ и реальнымъ можетъ быть только нѣчто, чистое ытіе, какое то соединеніе всѣхъ воспринимаемыхъ нами свойствъ редмета. Юмовское нѣчто было прообразомъ Кантовскаго нуена. Понятіе о нуменѣ погранично и только отрицаетъ феноменъ; оно уходитъ за предѣлы опыта и не заключаетъ въ себѣ ничего положительнаго; сверхчувственное непознаваемо. Заканчивая свою аналитику, Кантъ говоритъ: «теперь мы не только объѣхали область чистаго разсудка, не только осмотрительно развѣдали всѣ предѣлы, но и измѣрили ихъ и опредѣлили мѣсто каждому предмету этой области. Но эта страна — только островъ, и самой природой заключена въ неизмѣнныя границы. Это — страна истины (чудное слово!), омываемая обширнымъ и бурнымъ океаномъ, мѣстопребываніемъ призраковъ, на которомъ виднѣющіеся въ туманахъ мели и льды принимаютъ для насъ обманчивыя формы новыхъ береговъ; эти призраки безпрестанно вселяютъ пустыя надежды въ мореплавателя, мечтающаго о новыхъ открытіяхъ, увлекаютъ его въ приключенія, онъ которыхъ онъ не въ силахъ отстать и съ которыми онъ не можетъ покончить».

Діалектика Канта направлена противъ умствованій метафизиковъ, слишкомъ свободно расправлявшихся въ прирожденными идеями и сверхъ-опытнымъ міромъ, доказываетъ невозможность познанія сущностей, разсматриваетъ разумъ и его идеи. Кантъ признаетъ естественными стремленія разума къ общему и безусловному,

къ широкимъ умозаключеніямъ, но нельзя ихъ считать осуществимыми Разумъ — способность регулятивная по отношенію къ нашимъ понятіямъ и сужденіямъ; познавать абсолютное ему недоступно. Мы обычно поддаемся ошибкѣ и безусловное, цѣль стремленій нашего разума, принимаемъ за данное, прилагаемъ къ нему наши субъективныя мѣрки. Съ точки зрѣнія чистаго, теоретическаго разума идеи Бога, души, вселенной и т. п. неопредѣлимы, недоказуемы; теоретическое познаніе за предѣлами опыта невозможно — оно вообще относительно и субъективно.

Одна изъ существенныхъ заслугъ Канта заключалась, такимъ образомъ, въ разрушеніи основъ стараго метафизическаго міровоззрѣнія. Но онъ съ нимъ далеко не покончилъ: въ самой формѣ его трудовъ, малодоступной для широкихъ круговъ читателей, въ ученіи о категоріяхъ, которое мѣстами схоластично, нельзя не видѣть отголосковъ старой философской манеры. Метафизическая закваска сказалась и въ противорѣчіи, которое лежитъ въ основѣ всей системы Канта, въ незаполненной пропасти, которая лежитъ между его «чистымъ» и «практическимъ разумомъ». «Критика практическаго разума» — искусственная надстройка надъ «Критикой чистаго разума» великаго нѣмецкаго философа. Какъ натура религіозная и возвышенно-нравственная, Кантъ вернулъ въ жизнь и философію всѣхъ прежнихъ боговъ, но подъ другимъ знаменемъ. Вѣра въ Бога, безсмертіе души, свободу воли недоступна чистому разуму, но является необходимымъ условіемъ разума практическаго: она — постулатъ, непререкаемое велѣніе нашей воли, нашего нравственнаго чувства; безъ нея невозможны жизнь, практическая дѣятельность; она основывается на апріорныхъ, прирожденныхъ требованіяхъ нашего нравственнаго чувства, опредѣляется доминирующей идеей долга. Чистый разумъ подсказываетъ идею всеобщей необходимости, несвободы воли, детерминизма; практическій разумъ требуетъ свободы воли: безъ нея нѣтъ нравственности — слѣдовательно, она должна существовать. Въ сферѣ перваго человѣкъ подчиненъ закону необходимости, второго — свободенъ. Онъ — гражданинъ двухъ міровъ, вращается въ двухъ разныхъ плоскостяхъ. Эмпирическій характеръ подчиняется необходимости, умопостигаемый — относится къ міру непознаваемой свободы. Поясняетъ это самое сознаніе человѣка: поступки наши мы сознаемъ, какъ результатъ необходимости, какъ звено въ причинной цѣпи, и въ то же время, какъ результатъ свободнаго выбора, что доказывается раскаяніемъ, самою борьбою мотивовъ, самою мыслью о возможности другого дѣйствія.

Въ ученіи Канта была извѣстная двойственность, которая не

могла удовлетворить его ближайшихъ преемниковъ, слагавшихся въ атмосферѣ реакціоннаго романтизма. Нѣмецкая общественность того времени, забитая и политически-обезпложенная, способствовала возрожденію ослабившихся было метафизическихъ стремленій. Опираясь въ извѣстной степени на Канта, его преемники пошли по существу противъ основной идеи его системы: въ поискахъ единства міровоззрѣнія они вернулись къ метафизической идеѣ абсолюта и метафизическимъ пріемамъ мышленія. Большую роль сыгралъ при этомъ пантеизмъ Спинозы (1632—1677), стройнымъ и красивымъ ученіемъ котораго тогда сильно увлекались нѣмецкіе романтики. Въ основѣ его лежитъ идея единой и абсолютно безконечной субстанціи, независимой и неограниченной. Она все производитъ, все обусловливаетъ; она — главное бытіе, первоначало, первопричина. Она — Богъ, не отличный отъ міра Духъ, а Сущность всѣхъ вещей. Богъ не творитъ вещи изъ Себя: онѣ вытекаютъ изъ самой Его природы съ такою же необходимостью, съ какою изъ природы треугольника вытекаетъ равенство его угловъ двумъ прямымъ. Кромѣ Бога, нѣтъ ничего; вещи въ Богѣ, и Богъ въ вещахъ; Богъ есть внутренняя, пребывающая причина вещей, свободная, самозаконная.

Конечные предметы — только модификаціи субстанціи; они сами, объективность, самостоятельность ихъ существованія — иллюзорны. Есть только одна субстанція, въ которой — все и которая — все; она равно Богу, равна природѣ.

Субстанцію Спинозы, подъ разными названіями, мы встрѣтимъ у всѣхъ главныхъ преемниковъ Канта. Она дала единство, въ общемъ призрачное, ихъ ученіямъ.

Первый изъ нихъ былъ Фихте Старшій (1762—1814).

Въ жизни Фихте своеобразно переплелись самый абстрактный, абсолютный идеализмъ съ пылкой проповѣдью національнаго пророка и яраго патріота-агитатора. На его философскомъ и общественномъ развитіи отразились броженіе мысли, вызванное Кантомъ, романтическое движеніе, острыя чувства оскорбленнаго національнаго чувства и взрывъ патріотизма въ эпоху Наполеоновскихъ войнъ. Онъ — борецъ по природѣ.

Самоотверженный защитникъ національныхъ и народныхъ правъ, возведенныхъ на высоту религіи, одинъ изъ крупнѣйшихъ вождей всколыхнувшагося общественнаго сознанія, онъ ставитъ въ центрѣ своей философской системы абсолютный субъектъ, всесильное «я» — чистое сознаніе, освобожденное отъ индивидуальной окраски и власти внѣшняго міра, сначала единичное, потомъ абсолютное, пантеистически даже понимаемое. Оно примиряетъ противопоста-

вленные Кантомъ законы познанія и нормы нравственности. «Я» дл него — единственная реальность, исходная точка нашего мышленія которое должно для самопознанія противопоставить ему «не-я» внѣшній міръ. Внѣшній міръ — только совокупность этого законо дательнаго «я», объективація субъективныхъ представленій; онъ — пустой призракъ, и наше «я» создаетъ его безъ конца для упражненіі въ добродѣтели, для проявленій своей независимости и творчества Въ безконечности времени оно воплотится въ полной, чистой формѣ и міръ чувственный превратится въ міръ нравственный.

«Я» безусловно свободно; его силы и цѣли не подчиняются н внѣшнимъ условіямъ, ни законамъ. Внѣшній міръ создается ег внутренней дѣятельностью (Грибоѣдовъ говоритъ въ стихотворені «Душа»: «раждало міръ мое велѣнье») и получаетъ свои цѣли, сво смыслъ у него же, въ соотвѣтствіи его волѣ. Прогрессъ внѣшняг міра — только осуществленіе и проявленіе нравственной свободы на шего «я». На практикѣ это должно было приводить къ отрицанію внѣш няго авторитета и традицій, проповѣди безусловной свободы личности глубокой и восторженной вѣрѣ въ творческія силы духа, разума і его идей, ихъ могучаго вліянія на дѣйствительность, строй поли тической и общественной жизни, самый ходъ исторіи.

Для Фихте природа — иллюзія, творческая игра «я». Считая ее продуктомъ нашего духа, тѣмъ самымъ онъ подсказалъ своимъ преемникамъ идею искать въ нихъ единства. Философскія стремленія свести природу и духъ къ однимъ общимъ законамъ совпали съ подъемомъ естествознанія, которое отъ отдѣльныхъ изслѣдованій и накопленія матеріала тогда смѣло двинулось къ широкимъ обобщеніямъ.

Всего сильнѣе это движеніе отразилось на философской дѣятельности Шеллинга (1775—1854), типичнаго романтика по настроенію, родоначальника «натурфилософіи», апріорнымъ методомъ искавшей сущности природы и эмпирическими данными иллюстрировавшей свои апріорныя построенія. Генетически шеллингіанство связано съ фихтіанствомъ.

Впрочемъ, если Шеллингъ началъ съ Фихте, то и Фихте воспользовался нѣкоторыми результатами шеллингіанства и ввелъ ихъ въ свою видоизмѣненную систему, хотя и не любилъ въ этомъ сознаваться.

Типическій шеллингіанецъ Галичъ, лицейскій учитель Пушкина, такъ опредѣлилъ значеніе философіи Шеллинга: «объять вселенную дѣйствіемъ умственнаго созерцанія, не тѣсниться въ кругу ограниченнаго, мелочнаго «я», а познать *все* сущее, природу и духъ, *въ общемъ* ихъ началѣ, — вотъ и главная цѣль его, и блистательная заслуга!»

Въ основѣ первой стадіи шеллингіанства, «философіи тождества», лежитъ та мысль, что человѣкъ можетъ познавать только подобное себѣ, подчиненное тѣмъ же общимъ законамъ, которые руководятъ и его жизнью: «подобное познается подобнымъ; посредствомъ сознанія можно познавать только сознаніе же». Міръ можно познавать только въ сознаніи, самъ онъ — только видоизмѣненное сознаніе. Реальный и идеальный міръ, бытіе и мысль, познающее и познаваемое тождественны. По словамъ шеллингіанца Давыдова, «если все, въ видимости находящееся, должно быть познаваемо въ духѣ, а сіе возможно тогда токмо, когда законы познающаго духа согласны съ законами бытія явленій, явствуетъ, что формы знанія согласны съ формами бытія и могутъ служить однѣ другимъ взаимнымъ объясненіемъ». Богъ, какъ основа и душа міра, тождественъ міру. Внѣшній, реальный міръ съ его явленіями — низшая ступень развитія духа или духъ, еще не сознавшій себя. Постепенное развитіе въ немъ самосознанія и составляетъ его исторію. Въ неорганическомъ мірѣ этого сознанія меньше всего, затѣмъ оно постепенно растетъ въ мірѣ органическомъ и достигаетъ своего апогея въ человѣкѣ: въ немъ природа сознаетъ себя и свое тождество съ Богомъ, душою міра. Всѣ функціи жизни суть частныя проявленія одного общаго принципа, и всѣ живыя существа суть лишь индивидуальныя воплощенія единой общей жизни, которая есть міровая душа. Міровая душа постепенно проявляется и обнаруживается въ мірѣ. Въ этомъ неуловимомъ процессѣ мірового развитія человѣку предоставлено первое мѣсто.

До его появленія природа, этотъ великій организмъ, единая великая жизненная связь, «преобразованіе безконечнаго въ конечное», — творила безсознательно, затѣмъ она начала творить чрезъ посредство человѣческаго духа — духовные, а не матеріальные продукты. Какъ бы для того, чтобы открыть человѣку пріемы собственнаго безсознательнаго творчества, природа надѣлила его способностью, аналогичною съ ея собственною и составляющею переходъ отъ безсознательнаго творчества къ сознательному. Фантазія и художественная дѣятельность человѣка вводятъ его въ самые тайники зиждительнаго процесса природы. Эстетическая способность представляется особымъ органомъ познанія. Она наиболѣе приближаетъ человѣка къ познанію истины; самое совершенное познаніе достигается тѣмъ же процессомъ, какимъ художникъ творитъ произведенія искусства. Искусство — высшая схема для представленія мірового процесса; наиболѣе совершенная философія превращается въ созданіе искусства, перестаетъ быть доступною для всякаго, общеобяза-

тельною формой знанія. Истинное философствованіе есть дѣло генія который только и отличается талантомъ «интеллектуальнаго воз зрѣнія».

Поэтическое созерцаніе, живое, непосредственное чувство помо гало примирить мучительное для романтиковъ противорѣчіе идеаль наго и реальнаго. Наслажденіе творчествомъ и благодаря творчеств было возведено въ законъ; идеаломъ человѣка сдѣлался геніальны художникъ, который слилъ въ нѣдрахъ своего творческаго духа — реальное и идеальное, объективное и субъективное, — которы объединилъ въ творческомъ процессѣ разъединенное и враждующее высшую истину, красоту, добро и справедливость. Такъ въ поэти чески-философскомъ сумракѣ сливалось все — мораль, искусство наука, жизнь, природа...

Искусство поглотило въ себѣ всѣ отрасли знанія, и эстетическо воззрѣніе на міръ было признано единственно полнымъ и всеобъемлю щимъ. Вдохновеніе художника было особымъ небеснымъ даромъ который открываетъ всѣ тайны міра.

Для романтиковъ съ ихъ внутреннимъ раздвоеніемъ ученіе Шел линга было манной небесною: оно выводило ихъ изъ тягостнаго столк новенія съ дѣйствительностью, изъ тяжелаго разлада между нем и мечтой — въ прекрасный поэтическій міръ.

Если раціонализмъ XVIII вѣка приводилъ къ исключительному господству разсудка и обычной логики, то Шеллингъ будетъ стараться расширить принципъ познаванія въ сферу чувства, освободить человѣческій духъ отъ подчиненія сухимъ логическимъ схемамъ и тѣмъ раздвинуть границы человѣческаго вѣдѣнія.

Онъ является въ данномъ случаѣ типическимъ представителемъ того направленія, которое негодовало противъ жизненной сухости и пошлой трезвости просвѣтительной философіи XVIII вѣка, завидовало поэтической непосредственности и цѣльности среднихъ вѣковъ, боролось съ шаблонными условностями классицизма и высоко цѣнило личную геніальность художника.

Еще находясь подъ вліяніемъ Фихте, Шеллингъ выдѣлялъ особую способность интеллектуальнаго воззрѣнія, непосредственнаго и цѣльнаго, не подчиненнаго обычнымъ условіямъ образованія знанія изъ опыта; ей соотвѣтствуетъ творческій актъ художника, который также не подчиненъ логическимъ правиламъ и мѣркамъ, а между тѣмъ имѣетъ непосредственную убѣдительную силу. Въ этомъ актѣ слиты отгадывающее познаніе дѣйствительности и ея творческая переработка, сливаются начала необходимости общихъ законовъ, которымъ удовлетворяетъ художественное произведеніе, — и сво-

боды въ условіяхъ его созданія изъ индивидуальнаго духа. Такъ ученіе Шеллинга замѣняло разсудокъ фантазіей, логику — чувствомъ, общеобязательные законы мышленія — геніальнымъ произволомъ.

Самъ Шеллингъ, этотъ яркій представитель романтики, запутался въ собственныхъ продуктахъ такого геніальнаго произвола и крайняго субъективизма. Разрывъ съ общепринятою логикой привелъ естественно къ исканію другихъ точекъ опоры, авторитета. Ихъ нашелъ Шеллингъ въ религіи.

Запутавшись въ дебряхъ романтики, плодовитый сначала Шеллингъ надолго замолчалъ. Затѣмъ прокатились черезъ него волны гегеліанскихъ увлеченій и почти смыли его популярность. Смерть Гегеля вызвала Шеллинга снова къ дѣятельности — на этотъ разъ мало вліятельной и не очень славной. Онъ считалъ гегеліанство чисто отрицательнымъ ученіемъ и хотѣлъ противопоставить ему свое положительное, туманное и мистическое. Эта «философія миѳологіи и откровенія», которая имѣла въ виду содержаніе, а не форму, искала его въ общеніи души съ міромъ безконечнаго и вмѣсто гегеліанскихъ абстракцій ставила конкретные образы философствующей поэтической мечты. Культъ чувства вообще и религіознаго чувства въ особенности достигъ здѣсь своего апогея...

Въ этомъ отношеніи гегеліанство дѣйствительно является «отрицательнымъ ученіемъ»...

По словамъ Вл. С. Соловьева, «Гегель можетъ быть названъ философомъ по преимуществу, ибо изо всѣхъ философовъ только для него одного философія была все. У другихъ мыслителей она есть стараніе постигнуть смыслъ сущаго; у Гегеля, напротивъ, само сущее старается стать философіей, превратиться въ чистое мышленіе. Прочіе философы подчиняли свое умозрѣніе независимому отъ него объекту: для однихъ этотъ объектъ былъ Богъ, для другихъ — природа. Для Гегеля, напротивъ, Самъ Богъ былъ лишь философствующій умъ, который только въ совершенной философіи достигаетъ и своего собственнаго абсолютнаго совершенства; на природу же въ ея эмпирическихъ явленіяхъ Гегель смотрѣлъ, какъ на чешую, которую сбрасываетъ въ своемъ движеніи змѣя абсолютной діалектики».

Изъ шеллингіанства Гегель (1770 — 1831) воспользовался немногимъ. Изъ тождества духа и міра логически вытекаетъ тождество законовъ развитія міра и духа. Развитіе мысли совершается въ логическихъ формахъ и проходитъ 3 ступени: утвержденіе, отрицаніе и отрицаніе отрицанія, примиреніе крайностей (теза, антитеза, син-

тезъ). Діалектическій методъ Гегеля каждому понятію противополагаетъ другое, которое хотя и сходствуетъ съ первымъ, но уже гораздо богаче и глубже.

Эти же три момента можно прослѣдить и въ развитіи міра, процессѣ обнаруженія въ немъ міровой души. То, что у Шеллинга было облечено въ яркіе поэтическіе образы, заперто было у Гегеля въ узкія логическія рамки («панлогизмъ»), уложено въ правильный, но неподвижный рядъ ступеней логической лѣстницы идей и явленій, вмѣщающей все сущее. Міръ явленій долженъ совпадать съ міромъ логически мыслимаго и разумнаго; все существующее разумно, оно оправдываетъ свое существованіе самымъ фактомъ существованія, логически-неибѣжно; идеи и факты совпадаютъ, взаимно покрываютъ другъ друга, не могутъ существовать отдѣльно, сами по себѣ. Они — проявленія одного и того же всемірнаго духа, постепенно восходящаго на высокія ступени сознанія въ высшихъ проявленіяхъ индивидуальной и національной жизни. Слагается любопытная теорія смѣны передовыхъ національностей въ ступенеобразномъ развитіи всемірной исторіи и всемірнаго духа. Въ каждомъ моментѣ этого развитія заключается историческая эпоха; отдѣльные народы являются носителями, полными выразителями этого момента, который можетъ обнаруживаться въ каждомъ народѣ только одинъ разъ.

Однимъ изъ первыхъ формулировалъ Гегель идеи универсальнаго *процесса* и *развитія*, какъ общей, всепроникающей связи частныхъ явленій, — опредѣлилъ историческій процессъ, какъ послѣдовательное осуществленіе идеальнаго содержанія. «Характерное для гегеліанства требованіе отъ идеи, чтобы она оправдывала свою истинность осуществленіемъ въ дѣйствительности, и, съ другой стороны, требованіе отъ дѣйствительности, чтобы она была осмысленною, т.-е. проникнутою идеальнымъ содержаніемъ — это двойное требованіе могло, конечно, оказывать лишь самое благотворное нравственное вліяніе на подчинявшееся ему сознаніе» (В. С. Соловьевъ). Свои умозрительныя идеи Гегель очень часто выражалъ языкомъ положительнаго богословія, а богословскіе догматы излагалъ языкомъ своей философіи. Двусмысленность его философской терминологіи привела къ расколу между его послѣдователями и, между прочимъ, къ появленію праваго, лѣваго и крайняго лѣваго гегеліанства.

Правая признавала личнаго Бога, безсмертіе души и индивидуальнаго Богочеловѣка — стала на точку зрѣнія христіанскаго теизма; лѣвая стала ближе къ мысли Гегеля и настаивала на пантеизмѣ; крайняя лѣвая пришла къ послѣдовательному матеріализму,

отрицала Бога и признавала только природу и ея высшее проявленіе — человѣка.

1848 годъ отвлекъ вниманіе общества отъ гегеліанскихъ увлеченій, хотя ихъ дальнѣйшее движеніе не прекратилось. Довольно рано получили они и политическую окраску.

Основная идея гегеліанства могла быть истолкована двояко. Признавъ неразрывность связи идеи съ фактомъ, нужно было объяснить ихъ взаимное отношеніе. Вопросъ сводился къ тому, создается ли фактъ идеей, или идея влечется за фактомъ. Если каждый существующій фактъ уже потому, что существуетъ, можетъ быть оправданъ идеей, то мы приходимъ практически къ философіи, полной неподвижности и застоя. Если, напротивъ, идея необходимо создаетъ фактъ, тогда въ философіи Гегеля заключается лучшее ручательство за осуществленіе всякаго, хотя бы самаго утопическаго общественнаго идеала. При первомъ пониманіи философія Гегеля будетъ реакціонною въ своемъ практическомъ примѣненіи; при второмъ — она превращается въ революціонную. Изъ-подъ одного философскаго знамени вышли консерваторы, ретрограды и радикалы, стойкіе защитники ортодоксіи и крайніе матеріалисты.

У насъ гегеліанство сыграло крупную роль въ интереснѣйшемъ процессѣ выдѣленія изъ идейной безформенности 30-хъ годовъ западниковъ, славянофиловъ и радикаловъ. Имъ увлекались Герценъ, Станкевичъ, Бѣлинскій, Бакунинъ, Рѣдкинъ; К. Аксаковъ возстановлялъ русскую исторію и русскую грамматику по формуламъ гегеліанской діалектики; славянофиламъ оно дало ожиданіе всемірно-исторической роли Россіи, представленіе о неизмѣнности народной личности, какъ шеллингіанство — культъ чувства и религіи; Хомяковъ ставилъ и рѣшалъ вопросъ о православіи при помощи тройственной формулы Гегеля: положеніе — моментъ разсудочнаго единства — католицизмъ, отрицаніе — моментъ отрицательной свободы — протестанство, примиреніе крайностей и углубленіе идеи — единство въ свободѣ и свобода въ единствѣ — православіе...

Изъ лѣвыхъ гегеліанцевъ наибольшимъ значеніемъ у насъ пользовался Фейербахъ (1804—1872). Особенно интересовались его трудами по исторіи религій.

Религія для Фейербаха — продуктъ созданія человѣческой мысли и духа; сознаніе божества — сознаніе рода, изъ рамокъ котораго нельзя выйти. Религія — антропоморфна и иною быть не можетъ. Человѣкъ можетъ мыслить и чувствовать только человѣка, по образу и подобію своему творитъ божество, проектируетъ къ небу свои идеалы, которые растутъ и измѣняются. Исторія религій —

исторія человѣческихъ идеаловъ. «Богъ — зеркало человѣка», «homo homini deus est» (человѣкъ человѣку богъ); «религія — представленіе о сущности міра и человѣка, тождественное съ сущностью человѣка», она — наука о человѣкѣ, — «антропологія».

Онъ — послѣдовательный матеріалистъ. Истина, дѣйствительность и чувственность для него тождественны. Сомнѣніямъ и спорамъ нѣтъ мѣста тамъ, гдѣ имѣетъ силу чувственность; только чувственное очевидно; единственные органы познанія — чувства. Гносеологія (ученіе о познаніи) мало интересуетъ Фейербаха, и по отношенію къ ней онъ довольствуется дешовымъ матеріализмомъ. На первомъ планѣ для него — вопросы религіи и этики.

Міровое развитіе непрерывно и закономѣрно, исключаетъ чудо; надъ миѳами и аллегоріями религій свободно и гордо высится человѣческій разумъ, духовное творчество человѣчества въ цѣломъ; человѣкъ и его разумъ — мѣра вещей. Для молодого Герцена сочиненіе Фейербаха было «книгой Истины и Любви».

За мечтами нѣмецкихъ идеалистовъ и романтиковъ наши идеалисты отдыхали отъ ужасовъ окружавшей ихъ жизни. Тѣ и другія вліянія пока не встрѣчали себѣ препятствій — потому что въ нихъ пока не видѣли опасности. Но мысль, окрѣпшая въ сферѣ высшихъ вопросовъ духа, не могла долго стоять въ сторонѣ отъ жизни; когда она попробовала вмѣшаться въ нее, начались усиленныя тренія, философія подпала подозрѣніямъ, философскія каѳедры въ университетахъ были уничтожены. Это не помѣшало движеніямъ идейнымъ превратиться въ движенія общественныя. Къ интеллигенціи дворянской, болѣе склонной къ романтическому и философскому «прекраснодушію», все болѣе примыкаетъ интеллигенція разночинческая, которая уже не растворяется въ ея составѣ, а начинаетъ налагать свою печать на все движеніе, несетъ съ собою больше трезвости мысли и практичности дѣйствій. На смѣну увлеченія реакціоннымъ романтизмомъ Тика, Новалиса, Шатобріана, обезцвѣченнымъ и суженнымъ байронизмомъ, философіей Шеллинга и Гегеля идетъ глубокое вліяніе «Молодой Германіи», задорной пѣсенки Беранже, бурнаго романтизма Гюго, глубокаго юмора Диккенса, реальныхъ и соціальныхъ произведеній Жоржъ-Зандъ, Флобера, Бальзака, Ауэрбаха, французскихъ утопическихъ теорій; ушедшая было подъ спудъ политическая закваска временъ декабристовъ опять выходитъ на свѣтъ и даетъ окраску отдѣльнымъ волнамъ теченій; изъ нѣдръ московской кружковщины раждается русская общественность, которая скоро почувствовала на себѣ тяжелую руку Николаевскаго режима.

Вліяніе западныхъ литературъ у насъ въ 30-ые и 40-ые годы не было однороднымъ: въ немъ было много пестроты и даже противорѣчій. Нѣкоторыя его стороны шли навстрѣчу пробуждавшемуся вновь политическому и соціальному сознанію русской интеллигенціи, которую всколыхнули впечатлѣнія іюльской революціи, польскаго мятежа — и натолкнулись скорѣе и сильнѣе, чѣмъ нѣмецкій идеализмъ, на внѣшнія препятствія: на нихъ обрушились главные удары цензуры и власти. Движеніе все же пошло вширь и вглубь, наложило свою печать на цѣлое поколѣніе, обогатило литературу новыми мотивами и подготовило дѣятелей слѣдующей эпохи — «эпохи великихъ реформъ».

Нѣмецкая и французская литературы шли тогда отъ мрачнаго затишья Реставраціи и Священнаго Союза, изъ дебрей реакціоннаго романтизма къ свободному и свѣтлому реализму.

Второю родиною всѣхъ не мертвыхъ душъ Европы была тогда Франція, Парижъ въ особенности: событія 1830 года доказали призрачность и слабость порядка, который, казалось, свинцовою тучею придавилъ всю жизнь; задавленное движеніе съ новою силою вспыхнуло тамъ, гдѣ его менѣе всего, казалось, можно было ожидать. За перипетіями іюльской революціи европейская молодежь слѣдила съ радостнымъ, лихорадочнымъ возбужденіемъ. «Молодая Германія» молилась на Парижъ; разрозненные и ослабленные лучи возрождающейся Франціи проникали и на сѣверъ — ими согрѣвалась отъ нашихъ крещенскихъ холодовъ «Молодая Россія», кружокъ Герцена и Огарева. Это была пора исключительнаго интернаціональнаго единенія: никогда еще живыя сердца не бились такъ дружно, въ унисонъ — въ предверіи великихъ болевыхъ разочарованій 1848 года, наканунѣ конечнаго соціальнаго раскола и жестокой побѣды европейскаго мѣщанства.

Ярко вспыхнула тогда звѣзда поэзіи Беранже (1780—1857), съ глубокою классичностью, отчетливостью и трезвостью ея формъ, идей, чисто гальскимъ остроуміемъ, повышенной общественностью ея основного содержанія. Полная движенія, то шаловливая, то патетическая, его пѣсенка жестоко высмѣивала мистику Священнаго Союза, реакціонные конгрессы, культъ среднихъ вѣковъ, католицизма и феодализма, іезуитовъ, — всѣ наивныя противорѣчія эпохи Реставраціи. Современной гнили онъ противопоставляетъ идею великой и свободной Франціи, хранительницы палладіума равенства и братства для всего человѣчества. Съ именемъ дорогой, прекрасной Франціи на устахъ и умеръ поэтъ. Въ поразительномъ по силѣ и искренности чувства предсмертномъ стихотвореніи «Прости!» онъ писалъ:

О, Франція! мой часъ насталъ, я умираю...
Возлюбленная мать, прощай! Покину свѣтъ,
Но имя я твое послѣднимъ повторяю.
Любилъ ли кто тебя сильнѣй меня? О, нѣтъ!
Я пѣлъ тебя, еще читать не наученный,
И въ часъ, какъ смерть ударъ готова нанести,
Еще поетъ тебя мой голосъ утомленный...
Почти любовь мою одной слезой... Прости!
Когда цари пришли [1]) и гордой колесницей
Тебя растоптанной оставили въ пыли,
Я кровь твою унять умѣлъ ихъ багряницей,
И слезы у меня цѣлебныя текли.
Богъ посѣтилъ тебя грозою благотворной —
Благословеніямъ грядущаго внимай;
Осѣменила міръ ты мыслью плодотворной
И равенство пожнетъ плоды ея. Прощай!..[2])

Беранже — не политикъ и мало разбирается въ оттѣнкахъ политическихъ теченій. Настоящая, не фальсифицированная реакціонерами Франція и свобода — для него синонимы. Интересно, что культъ Франціи часто сливается у него съ культомъ Наполеона, выросшимъ на почвѣ романтической идеализаціи героевъ, титаническихъ, геніальныхъ личностей и травли реакціонными кругами памяти покойнаго императора. Консульство и императорство Бонапарта вырыло цѣлую бездну между нимъ и тѣмъ революціоннымъ движеніемъ, которое вынесло его наверхъ и которое онъ предалъ. Пропасть эта была сглажена въ эпоху Реставраціи, для которой Наполеонъ былъ исчадіемъ революціи, наглымъ узурпаторомъ божественныхъ правъ монархіи, вожакомъ и вдохновителемъ революціонной демократической арміи. Понемногу и оппозиціонные круги измѣнили свой взглядъ на Наполеона, поняли, что между нимъ и революціей было больше внутренней связи, чѣмъ между Бурбонами съ ихъ приспѣшниками — и республиканцами. Народъ и старая гвардія хранили благодарную память о міровой славѣ Франціи при «великомъ корсиканцѣ»; образъ Наполеона все болѣе окутывался легендой, Наполеонъ сдѣлался національнымъ богатыремъ, а Беранже — его пламеннымъ пѣвцомъ.

Съ пѣснями Беранже у насъ познакомились еще въ 10—20-хъ гг. прошлаго вѣка. Ими увлекался В. Л. Пушкинъ, ихъ высоко цѣнилъ А. С. Пушкинъ; вліяніе ихъ сказывается на Лермонтовѣ (въ стихотвореніяхъ о Наполеонѣ) и другихъ нашихъ писателяхъ 30-хъ годовъ; въ 60-ые годы ихъ удивительно художественно переводилъ Курочкинъ, который окончательно сроднилъ Беранже съ русской поэзіей.

---

[1]) Въ 1814 г.

[2]) Переводъ Фета.

Слова Беранже о Франціи: «осѣменила міръ ты мыслью плодотворной» не были пустою фразой: для ряда поколѣній она была обѣтованной землей свободы, символомъ освобожденія.

Такую роль она особенно сыграла въ жизни «Молодой Германіи» и нашихъ идеалистовъ 30-хъ годовъ. Нѣмецкая общественность 20-хъ годовъ отличалась жалкимъ характеромъ; среди политическихъ потемокъ, романтическаго культа старины и метафизическаго оправданія дѣйствительнаго, какъ разумнаго, еле занимался свѣтъ новой жизни, находившій мало поддержки въ обществѣ и встрѣчавшій постоянныя преслѣдованія въ правительственныхъ кругахъ. Главнымъ источникомъ этого свѣта, въ особенности съ 1830 года, была тогда Франція. Нѣмецкая поэзія отъ заоблачныхъ мечтаній переходитъ къ вдумчивому изученію дѣйствительности, острой постановкѣ политическихъ вопросовъ, рѣзкой критикѣ современныхъ порядковъ; искусство сближается съ жизнью, возвращается къ лучшимъ преданіямъ и идеямъ эпохи «просвѣщенія», ищетъ для себя точки опоры въ міровоззрѣніи французскихъ радикаловъ и утопистовъ. Для «Молодой Германіи» (Гейне, Гуцковъ, Лаубе, Винбаргъ, Мундтъ, Бёрне) Парижъ былъ Меккой, Бальзакъ, Жоржъ-Зандъ и Сенъ-Симонъ — пророками. Остроумныя насмѣшки надъ отупѣвшей и захирѣвшей въ болотѣ реакціи Германіей чередовались у нея съ восторженнымъ гимномъ великой и свободной Франціи; нѣмецкіе радикалы издаютъ французско-нѣмецкіе органы; Гейне и Бёрне значительную часть своей жизни проводятъ въ Парижѣ и усердно участвуютъ во французскихъ журналахъ, открыто подчеркивая превосходство французовъ передъ нѣмцами. Общность настроеній и впечатлѣній родной жизни сближала «Молодую Россію» съ «Молодой Германіей», подготовляла у насъ почву, съ 30-хъ годовъ, для вліянія произведеній Гейне и Бёрне. Популяризаторами творчества Гейне у насъ были Лермонтовъ и Тютчевъ, позднѣе — Михайловъ и Вейнбергъ; Бёрне и его политическіе памфлеты пользовались у насъ особенною славою въ 60-хъ годахъ.

Фанатикъ политическаго освобожденія, узкій и односторонній, Бёрне (1786 — 1837) холодно относился къ вопросамъ соціальнымъ, философскимъ и религіознымъ. Всю остроту и силу своего недюжиннаго полемическаго дарованія онъ истратилъ на борьбу за политическую свободу Германіи. Еврей по происхожденію, онъ пламенно любилъ свою неблагодарную родину, жилъ ея интересами, горями и радостями даже въ Парижѣ. Въ его ненависти — много любви, въ его отчаяніи — много благородной вѣры въ лучшее будущее. На травлю за происхожденіе, на грубыя антисемитическія выходки

онъ отвѣчалъ такими возвышенными, гуманными словами: «бѣдный нѣмецкій народъ! Принужденный жить въ самыхъ нижнихъ этажахъ, подъ гнетомъ семи этажей высшихъ классовъ, онъ чувствуетъ нѣкоторое облегченіе, когда можетъ говорить о народѣ, живущемъ еще ниже его, въ подвалахъ. То, что они — не евреи, утѣшаетъ нѣмцевъ въ томъ, что они — не тайные совѣтники. Нѣтъ, то обстоятельство, что я рожденъ евреемъ, никогда не раздражало меня противъ нѣмцевъ, никогда не ослѣпляло моего разума; я былъ бы недостоинъ наслаждаться солнечнымъ свѣтомъ, еслибы заплатилъ Богу, сдѣлавшему меня одновременно и нѣмцемъ и евреевъ, низкимъ ропотомъ за насмѣшки, которыя я всегда презиралъ, и за страданія, которыя я давно забылъ. Нѣтъ, я умѣю цѣнить незаслуженное счастье быть одновременно и нѣмцемъ и евреемъ, имѣть возможность соперничать съ нѣмцами во всѣхъ ихъ добродѣтеляхъ, не раздѣляя ихъ недостатковъ. Да, я люблю свободу болѣе, чѣмъ вы, потому что я былъ рожденъ рабомъ; да, я жажду отечества сильнѣе, чѣмъ вы, потому что я родился безъ отечества. Такъ какъ мѣстомъ моего рожденія, было гетто[1]), а все, что лежало за городскими воротами, уже было для меня чужою страной, то я не удовлетворяюсь теперь не только городомъ, но даже округомъ и провинціей; мнѣ нужно теперь все обширное отечество до тѣхъ предѣловъ, до которыхъ достигаетъ его языкъ. Еслибы у меня была власть, я не потерпѣлъ бы, чтобы хоть какое-нибудь нѣмецкое племя было отдѣлено отъ другого полосой земли шириною даже въ мою ладонь; если бы у меня была власть, я не потерпѣлъ бы, чтобы хотя одно нѣмецкое слово, сошедшее съ нѣмецкихъ устъ, доходило до моихъ ушей съ другой стороны границы. Именно потому, что я пересталъ быть рабомъ гражданъ моего города, я не хочу быть дольше рабомъ какого-нибудь принца, я долженъ быть совершенно свободенъ. Я прошу васъ не смотрѣть на моихъ евреевъ сверху внизъ. Еслибы только вы походили на нихъ, вы были бы лучше; если бы ихъ было столько же, сколько васъ, они были бы лучше васъ. Васъ, нѣмцевъ, тридцать милліоновъ, а васъ считаютъ за тридцать человѣкъ; дайте намъ тридцать милліоновъ евреевъ, и тогда весь міръ ничего не значилъ бы по сравненію съ ними. Вы отняли у евреевъ воздухъ, и это предохранило ихъ отъ гніенія; вы посыпали ихъ сердца солью ненависти, и это сохранило ихъ свѣжесть; вы заперли ихъ на всю долгую зиму въ глубокій погребъ и замазали всѣ дверныя щели грязью, а сами, выставленные на холодный воздухъ, почти замерзли. Когда придетъ весна, мы увидимъ, кто первый пуститъ ростки, еврей или христіанинъ».

---

[1]) Еврейскій кварталъ.

Силы Бёрне ушли на отрицаніе, на борьбу — съ принципами Священнаго Союза, Меттерниха, романтиками-реакціонерами, національною нетерпимостью; положительное его міровоззрѣніе сбивчиво и блѣдно. Ему казалось, что введеніе политической свободы, конституція сразу уничтожитъ всѣ противорѣчія и ужасы; дѣйствительность скоро и жестоко опровергла этотъ оптимимзъ. Сила Бёрне — въ страстной, фанатической, часто слѣпой любви къ демократіи, въ ненависти къ деспотизму, торжествующему мѣщанству, бюрократизму и милитаризму. Съ этой стороны его произведенія могутъ захватывать и до сихъ поръ. Не безъ основанія ему ставили въ упрекъ поверхностность его блестящаго остроумія, но Бёрне былъ правъ, когда отвѣчалъ на эти нападки: «вы называете мои сочиненія фейерверкомъ? Пусть это будетъ фейерверкъ, лишь бы только вы видѣли, благодаря ему, что живете въ темнотѣ».

Гуцковъ (1811—1878), авторъ популярной и до сихъ поръ трагедіи «Уріэль Акоста» (апоѳеозъ личности въ ея роковой борьбѣ съ общественной тьмой), — одинъ изъ наиболѣе крупныхъ талантовъ очень одаренной вообще «Молодой Германіи». Въ его творчествѣ ярко отразилось все умственное броженіе эпохи. Онъ энергично борется противъ романтическаго удаленія отъ жизни и идеалистическихъ витаній, требуетъ возстановленія единства искусства и жизни, съ негодованіемъ и болью вскрываетъ всю мертвенность современной ему нѣмецкой дѣйствительности. Его драмы сблизили сцену съ реальными жизненными интересами; его романы расчистили путь для соціально-политическаго нѣмецкаго романа и подготовили почву для Фридриха Шпильгагена.

Самой яркой звѣздой «Молодой Германіи» былъ Генрихъ Гейне (1799—1856), «романтикъ-разстрига». Вся жизнь его, вся литературная дѣятельность были сплошнымъ парадоксомъ, капризнымъ зигзагомъ. Еврей, онъ принялъ христіанство, которое въ глубинѣ души презиралъ; геніальный лирикъ, тонкая художественная организація, ко всему прилагавшая эстетическую мѣрку, онъ съ головою окунулся въ политическую борьбу, которая внутренно отталкивала его своею односторонностью и узостью; воспитанный на романтизмѣ и философскомъ идеализмѣ, насквозь пропитанный ими, онъ наносилъ имъ потомъ самые страшные удары своимъ безпощаднымъ смѣхомъ — во имя реализма и освобожденія личности; онъ чувствовалъ себя нѣмцемъ, любилъ свою обездоленную и неблагодарную родину — и часто стыдился ея, съ ядовитымъ остроуміемъ высмѣивалъ всѣ прорѣхи ея жизни. Отсюда въ его творчествѣ — постоянные перебои чувствъ и настроеній, капризный, безгранич-

ный субъективизмъ. Вопросы религіи, морали, философіи, науки, политики, соціальныхъ отношеній воспринимаются имъ только сквозь призму эстетики; во имя красоты и полноты личной жизни онъ борется съ христіанской догматикой, суровымъ духомъ юдаизма, средними вѣками, прозой протестантизма, грубою прямолинейностью революціи. Догма, программа, партійность были глубоко противны его обостренно-индивидуалистической натурѣ. Ему душно было и въ сферѣ строгой логики, и въ тискахъ опредѣленной политической теоріи. На упреки Бёрне въ непослѣдовательности онъ могъ отвѣтить съ усмѣшкой: «для того, чтобы себѣ не противорѣчить, любезнѣйшій, всякій разъ, какъ я берусь за перо, я имѣю обыкновеніе перечитывать политическія теоріи въ моихъ прежнихъ произведеніяхъ». Искренность отдѣльныхъ моментовъ въ общей картинѣ даетъ крайнюю пестроту, неисходныя противорѣчія. Онъ то чувствовалъ себя «храбрымъ солдатомъ въ войнѣ за человѣческое освобожденіе», писалъ при первыхъ вѣстяхъ объ Іюльской революціи: «прочь, моя жажда спокойствія — я опять знаю, чего хочу, къ чему я обязанъ, что я сдѣлаю. Сынъ революціи, я берусь опять за оружіе, благословенное волшебницею-матерью. Цвѣтовъ, цвѣтовъ! Я хочу надѣть вѣнокъ для боя на смерть. И лиру дайте мнѣ — я спою пѣснь борьбы. Слова, подобныя огненнымъ звѣздамъ, которыя сожгутъ замки и освѣтятъ хижины! Слова, подобныя пламеннымъ копьямъ, которыя долетятъ до блаженствующихъ на седьмомъ небѣ. Я весь — радость и пѣсня, весь — оружіе и пламя», — то бравировалъ невѣроятнымъ сопоставленіемъ: «въ то время предметомъ моей пѣсни были яблочные торты, теперь — любовь, истина, свобода и раковый супъ». Пока атеизмъ казался ему аристократическимъ и красивымъ, онъ былъ его горячимъ проповѣдникомъ. По собственному признанію Гейне, его поворотъ къ религіи былъ вызванъ особою причиной: «когда я замѣтилъ, что грубая чернь стала также обсуждать эти темы за своей грязной трапезой, при свѣтѣ сальныхъ свѣчей и вонючихъ лампъ, вмѣсто нашихъ жирандолей, когда я увидѣлъ, что черномазые подмастерья — портные и сапожники — на своемъ неуклюжемъ кабацкомъ жаргонѣ дерзали отрицать бытіе Божіе, когда атеизмъ завонялъ сыромъ, сивухой и махоркой, тогда открылись у меня глаза, и то, что я не уразумѣлъ разсудкомъ, то я понялъ теперь обоняніемъ, брезгливостью, отвращеніемъ, и моему атеизму — слава Богу — пришелъ конецъ». Неустойчивость взглядовъ, переходившая часто въ полную безпринципность, отражалась и на поэтической техникѣ Гейне, неуловимой, капризной, богатой все-

возможными неожиданностями. Изъ своей и чужихъ душъ онъ любилъ извлекать всѣ гаммы чувства, часто не задаваясь никакою цѣлью, руководясь только капризами вдохновенія. Его поэзія — тонкое, воздушное кружево, въ которомъ переплелось все: культъ Франціи и Наполеона, безпощадная критика нѣмецкой жизни, романтическая закваска и ея отрицаніе, свобода, равенство и безграничный индивидуализмъ, острое чувство одиночества, мрачное отчаяніе и заражающій смѣхъ, нѣжность и мстительность, искренняя сантиментальность и болѣзненная рефлексія. Вся она — художественный диссонансъ, геніальный капризъ, яркое воплощеніе глубокаго внутренняго разлада. Самъ Гейне далъ удивительную формулу этого разлада: «Дорогой читатель, если ты хочешь сѣтовать на разладъ, то сѣтуй на то, что міръ самъ разорвался посрединѣ на-двое. Вѣдь сердце поэта — центръ міра, поэтому оно съ воплемъ должно было разбиться въ настоящее время. Кто чванится, что его сердце осталось цѣльнымъ, тотъ сознается, что у него прозаическое, обособленное сердце. Черезъ мое же сердце прошла великая міровая трещина, и потому я знаю, что великіе боги щедро одарили меня милостями передъ другими людьми и удостоили меня мученическаго вѣнца поэта. Міръ былъ цѣльнымъ въ древности и въ средніе вѣка. Тогда были и поэты съ цѣльной душой. Но всякое подражаніе имъ въ наше время есть ложь, которая ясна всякому здоровому глазу и которая не можетъ поэтому уйти отъ насмѣшки». Вѣчныя противорѣчія жизни должны были особенно сильно чувствоваться впечатлительнымъ поэтомъ переходной эпохи, эпохи крушенія старыхъ идеаловъ и иллюзій, нарушенной гармоніи, рѣзкаго столкновенія между старою вѣрою и только забирающею еще силу критикой. Разладъ вызывалъ скорбь — и смѣхъ. Къ Гейне такъ легко можно примѣнить слова, сказанныя имъ о Стернѣ: «онъ былъ любимымъ дитятей блѣдной, трагической музы. Однажды въ порывѣ страстной нѣжности она поцѣловала его такъ сильно, такъ любовно, такъ страстно, что сердце его начало истекать кровью, внезапно поняло всѣ страданія этого міра и переполнилось безконечнымъ состраданіемъ. Бѣдное, юное сердце поэта! Но младшая дочь Мнемозины, розовая богиня шутки, быстро подбѣжала, схватила страдающаго мальчика въ свои объятія, стараясь развеселить его смѣхомъ и пѣснями, давала ему въ качествѣ игрушекъ комическую маску и примирительно поцѣловала его въ губы; этимъ поцѣлуемъ она привила ему все свое легкомысліе, свою капризную веселость, свою остроумную шаловливость. И съ тѣхъ поръ начался странный разладъ

между его сердцемъ и губами: когда его сердце настроено траги чески, и онъ хочетъ высказать самыя сокровенныя чувства, къ край нему его удивленію, изъ его устъ вылетаютъ самыя забавныя слова».

«Молодая Германія» налагаетъ свою печать на всю нѣмецкую литературу 30-хъ и 40-хъ годовъ прошлаго вѣка. О бокъ съ нею развивается особое теченіе, которое вырастаетъ на почвѣ демо кратизаціи нѣмецкаго общества и въ своей основѣ является воз вращеніемъ къ нѣкоторымъ традиціямъ т. н. «сантиментальнаго натурализма». Это — литература «деревенскихъ разсказовъ», идеа лизаціи деревни и мужика. Въ «Эльзасскихъ сельскихъ разсказахъ» Вейля (1841) попадаются и черты здороваго реализма; Ауэрбахъ (1812—1882) въ своихъ «Шварцвальдскихъ сельскихъ разсказахъ» (1843) достигъ высокой художественности. Деревенская жизнь ри суется имъ на фонѣ политическаго и соціальнаго положенія всего нѣмецкаго общества; повѣсть «На высотѣ» даетъ одновременно картину и сельской, и придворной жизни. Ауэрбахъ — тонкій на блюдатель, но герои его разсказовъ сильно идеализованы. Его манера напоминаетъ, по общему своему складу, ранніе разсказы «Записокъ Охотника» Тургенева и повѣсти Григоровича — не да ромъ они въ началѣ своей литературной дѣятельности такъ сильно увлекались произведеніями моднаго тогда нѣмецкаго писателя.

Подобно нѣмецкой, и англійская литература двигалась тогда отъ «міровой скорби» Байрона и культа среднихъ вѣковъ у Вальтеръ-Скотта къ соціальному роману, общественной критикѣ и реализму, къ освѣжающему творчеству Диккенса и Тэккерея, къ страстной защитѣ интересовъ низшихъ классовъ у Элліота и Томаса Гуда. Имена всѣхъ этихъ писателей, въ особенности первыхъ двухъ, были очень популярны у насъ въ сороковые годы: почти ни одинъ номеръ журнала за эти годы не обходился безъ перевода изъ Диккенса. Особенно славою пользовались прекрасные переводы Иринарха Введенскаго.

«Пѣсни о хлѣбныхъ законахъ» Элліота (1781—1849) рисовали потрясающія картины нищеты и общественной неправды; Томасъ Гудъ (1798—1848) своею геніальною, до сихъ поръ еще пользующеюся исключительною популярностью, «Пѣснью о рубашкѣ», своимъ «Сномъ лэди» взывалъ къ совѣсти счастливыхъ и богатыхъ, напоминалъ имъ объ ихъ долгѣ передъ обездоленными людьми, каторжнымъ трудомъ которыхъ они живутъ.

Чарльзъ Диккенсъ (1812—1870) — одинъ изъ величайшихъ представителей мірового юмора и реальнаго, соціально-психологическаго романа. На личномъ опытѣ онъ узналъ весь ужасъ нищеты

и непосильнаго труда, и на всю жизнь сдѣлался вѣрнымъ защитникомъ обездоленныхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ, неумолимымъ врагомъ жестокаго и себялюбиваго буржуазнаго общества, безпощаднымъ обличителемъ всѣхъ неправдъ жизни. Уже знаменитый, болѣе чѣмъ обезпеченный матеріально писатель, онъ часто вспоминалъ свое мрачное дѣтство, разореніе отца, поступленіе десятилѣтнимъ ребенкомъ на фабрику, гдѣ приходилось до потери силъ и соображенія заниматься мертвой механической работой — завязываніемъ банокъ съ ваксой. Въ разгарѣ своей литературной славы онъ писалъ: «я такъ глубоко сохранилъ въ своемъ сердцѣ воспоминаніе о своей заброшенности и своемъ безсиліи, все существо мое было до такой степени проникнуто сознаніемъ унизительныхъ воспоминаній несправедливостей, которыхъ жертвой я былъ въ эту эпоху, что даже теперь этотъ ненавистный призракъ постыднаго дѣтства продолжаетъ посѣщать меня и повергать въ дрожь». Тягостныя впечатлѣнія торгашества и беззастѣнчивой эксплоатаціи отравили юную душу Диккенса и навсегда опредѣлили основной характеръ его творчества.

Богатый личный жизненный опытъ не удовлетворялъ Диккенса: почти для каждаго своего романа онъ производитъ многостороннія изслѣдованія, тщательно собираетъ «человѣческіе документы», чтобъ тѣмъ вѣрнѣе нанести ударъ. Стоило ему узнать о безобразіяхъ постановки школьнаго дѣла въ Іоркширѣ, и Диккенсъ отправляется сейчасъ же туда, провѣряетъ слухи на мѣстѣ, собираетъ вопіющіе факты безчеловѣчья. Его романъ «Николай Никльби» произвелъ потрясающее впечатлѣніе своими разоблаченіями, вызвалъ полную реформу іоркширскихъ школъ — и осушилъ много дѣтскихъ слезъ. Туда, гдѣ льются слезы, всегда обращается мягкое, любящее сердце писателя, какъ магнитъ къ полюсу. На свои плечи онъ взвалилъ горе дѣтей и рабочихъ, ирландцевъ, всѣхъ парій тогдашняго общественнаго строя Англіи.

Сатира Диккенса не однообразна: въ ней и негодованіе, и горечь, и смѣхъ сквозь слезы, и улыбка. Онъ слишкомъ любитъ жизнь, чтобы вынести ей безповоротный обвинительный приговоръ, — вѣритъ въ ея творческія, пластическія силы. Оптимистъ и «постепеновецъ», онъ не предъявляетъ къ ней слишкомъ большихъ требованій, думаетъ, что частичными улучшеніями и реформами можно понемногу измѣнить всю ея жестокую основу. Потрясающія картины безмѣрной человѣческой подлости, всей глубины человѣческаго лицемѣрія часто обрываются у него мало оправданнымъ психологически оптимистическимъ концомъ — неожиданнымъ раская-

ніемъ злодѣевъ, слишкомъ счастливымъ спасеніемъ жертвъ; добродѣтель его иногда сантиментальна, возбужденіе состраданія у читателей слишкомъ нарочито; изображенная писателемъ жизнь часто шире и глубже тѣхъ выводовъ, которые онъ, иногда настойчиво, подсказываетъ. Всѣ эти недостатки, однако, меркнутъ передъ неувядаемымъ достоинствомъ произведеній великаго англійскаго романиста, который навсегда ужъ сдѣлался «современникомъ вѣковъ и гражданиномъ вселенной». Надъ свѣжею могилою Диккенса были произнесены вѣщія слова: «Чарльза Диккенса нѣтъ болѣе. Нѣтъ его — добраго, кроткаго, сильнаго, покровителя всѣхъ покинутыхъ, утѣшителя всѣхъ печалей, защитника всѣхъ угнетенныхъ, друга всѣхъ страждущихъ! Его нѣтъ... и намъ кажется, что погасъ яркій свѣтъ, здоровый и радостный, и что въ мірѣ вдругъ стало темнѣе». Свѣтъ чистой, проникновенной гуманности его души не погасъ, — и до сихъ поръ льется со страницъ лучшихъ его произведеній на зрячихъ сердцемъ и умомъ, на тѣхъ, кому вообще доступна поэзія труда, горя и страданія.

По основному тону и содержанію своихъ произведеній Тэккерей (1811—1863) близокъ къ Диккенсу, съ тою разницею, что въ его произведеніяхъ больше жесткой и суровой сатиры, чѣмъ свѣтлаго юмора, значительно меньше оптимизма и сантиментальности. Сатирикъ и моралистъ, онъ безпощадно казнитъ лицемѣріе, пошлость и грубый эгоизмъ англійскаго общества и глубоко вѣритъ въ очистительную силу своей проповѣди. Подобно Диккенсу, и у Теккерея нѣтъ соотвѣтствія между картинами жизни и выводами автора, черезчуръ даже настойчиво проводимыми: и онъ слишкомъ многаго ждетъ отъ воздѣйствія творческаго слова на грубую прозу жизни, отъ обращенія къ каменнымъ сердцамъ и мертвымъ душамъ тѣхъ, которыхъ онъ самъ изобразилъ съ такою силою отрицанія.

Такой же соціальный утопизмъ властвовалъ тогда и надъ лучшими умами Франціи. Жизнь рано выдвинула тамъ, вслѣдъ за политическимъ, и соціальный вопросъ. Общественный расколъ, раздѣленіе оппозиціи феодальному строю на два враждующихъ, непримиримыхъ лагеря — представителей труда и капитала — были уже близки. Предчувствіе ихъ, пока еще смутное, отражается въ ученіяхъ Сенъ-Симона и Фурье, которыя такъ глубоко захватили нѣкоторыхъ изъ нашихъ декабристовъ, кружки Герцена и «Петрашевцевъ», угасавшаго Бѣлинскаго и только выступившаго на литературное поприще Достоевскаго.

Послѣ героической борьбы съ Реставраціей буржуазный либерализмъ въ 1830 году сдѣлался господиномъ положенія во Франціи

и рѣзко повернулъ фронтъ, въ угоду создавшему и выдвинувшему его мѣщанству, противъ народа. Его воинствующая роль вызвала реакцію — въ ростѣ сенсимонизма и зарожденіи фурьеризма, которые пытались внести «елей примиренія» въ обострившуюся борьбу труда и капитала, перестроить всю жизнь на основахъ прекраснодушной утопіи.

Отъ ученія самого Сенъ-Симона (1760—1825) нужно отличать сенсимонизмъ, какъ школу и теченіе общественной мысли. Геніальный фантастъ, Сенъ-Симонъ бросилъ рядъ поразительныхъ мыслей, часто безсвязныхъ и противорѣчивыхъ, иногда мало вразумительныхъ, всегда блестящихъ. Ученики развили и дополнили только часть ихъ — и скоро раскололись на два лагеря, вскрывъ такимъ образомъ основное противорѣчіе исходной точки. Но всѣхъ связываетъ одна общая мысль: «всѣ соціальныя учрежденія должны имѣть своею цѣлью нравственное, умственное и физическое улучшеніе наиболѣе многочисленнаго класса общества», трудящагося большинства.

За эту задачу бралась церковь; къ ней подошла наука. Сенъ-Симонъ пробуетъ помирить ихъ. Общественное переустройство должно быть дѣломъ философовъ и ученыхъ, руководящихся точнымъ экспериментальнымъ методомъ, который, однако, не исключаетъ и широкихъ апріорныхъ построеній. Аристократы ума и таланта не должны подчиняться авторитетамъ — они сами должны быть авторитетомъ для невѣжественныхъ массъ, должны создать для нихъ новую религію путемъ естественно-научныхъ изысканій и философскихъ построеній. «Религія есть совокупность примѣненій общей науки, при посредствѣ которыхъ просвѣщенные люди управляютъ невѣжественными». Во главѣ церкви и общества должны стать папа и духовенство — изъ натуралистовъ и философовъ, потому что «процессъ общественнаго развитія идетъ по неуклоннымъ законамъ, подъ давленіемъ безошибочно цѣлящихъ естественныхъ факторовъ», которые имъ ближе всего знать.

Уже въ этомъ заключается возможность будущаго раскола при дальнѣйшемъ развитіи ученія: одни (Анфонтэнъ) ухватятся за его мистическую сторону, будутъ разрабатывать ритуалъ новой церкви, создавать догму и культъ новой религіи, другіе (Базаръ) будутъ всѣми силами защищать права и интересы обездоленнаго большинства.

Во время жизни Сенъ-Симона интересы общественныхъ классовъ не разошлись еще рѣзко. Накопленіе богатствъ онъ считаетъ первымъ признакомъ благосостоянія общества и интересы народа,

труда склоненъ отождествлять съ интересами капитала. Но къ этому накопленію долженъ прилагаться прежде всего личный трудъ — рабочаго, фабриканта, купца, прикащика. Вреденъ безусловно и долженъ подвергнутъся полному уничтоженію паразитизмъ, безпечальная и праздная жизнь за чужой счетъ. Нужно прекратить, въ будущемъ, привилегіи, связанныя съ рожденіемъ, право наслѣдованія; изъять изъ частнаго владѣнія машины, земли, капиталы и затѣмъ передать ихъ государству, единственному регулятору общественныхъ отношеній. Сенсимонизмъ не проповѣдуетъ равенства собственности: «Каждому — соотвѣтственно его способностямъ, каждой способности — соотвѣтственно ея труду». Болѣе одаренные получаютъ больше, руководятъ производствомъ; государство вноситъ начала справедливости, гарантируетъ работу, содержитъ неспособныхъ къ ней, всѣмъ обезпечиваетъ возможно болѣе полное развитіе всѣхъ ихъ способностей. Сенъ-Симонъ не признавалъ и соціальнаго равенства: во главѣ общества должны стать техники-спеціалисты и фабриканты, купцы и банкиры, люди опыта и иниціативы; онъ заставляетъ рабочихъ обратиться къ нимъ съ такими словами: «вы богаты, а мы бѣдны; вы работаете головою, а мы руками; изъ этого основного различія слѣдуетъ, что мы должны вамъ подчиниться».

Все это давало основаніе опираться на Сенъ-Симона и буржуазному либерализму, и классовымъ пролетарскимъ теоріямъ.

Сенсимонизмъ во главу ставилъ матеріальное довольство человѣка и тѣмъ рѣзко столкнулся съ идеями христіанскаго аскетизма. Противъ него была выдвинута теорія «реабилитаціи плоти», защиты правъ тѣла, физическаго труда и матеріальнаго наслажденія, земныхъ страстей и полноты человѣческой жизни. Этою теоріей увлеклись Гейне и Герценъ; въ міровоззрѣніи передовыхъ круговъ Германіи, Франціи и Россіи 30-хъ годовъ она вообще сыграла очень большую роль. Поставилъ онъ и «женскій вопросъ», выдвинутый освободительнымъ движеніемъ эпохи Великой французской революціи. Сенсимонизмъ требовалъ освобожденія женщины, признанія ея человѣческихъ правъ, прекращенія ея эксплоатаціи мужчиной. «Новое соціальное устройство призываетъ женщину къ новой жизни. Впередъ она должна открыть намъ, что чувствуетъ, чего требуетъ, чего желаетъ: законы наши останутся неполными безъ этого откровенія». Проповѣдь эта захватила Жоржъ-Зандъ и наложила сильную печать на все ея раннее творчество; отразилась она и на русскихъ послѣдователяхъ великой французской романистики (Зинада Р-ва — Ганъ, Дружининъ и пр.).

Вторымъ представителемъ французскихъ утопическихъ теорій, столь же наивныхъ, сколько благородныхъ и гуманныхъ, былъ Фурье (1772—1837). Нищета для него — главная причина физическаго и нравственнаго вырожденія, страданій и униженій человѣческой личности. Свобода и свѣтлая жизнь обезпечиваются прежде всего матеріальной независимостью. Главный недостатокъ современной общественной организаціи заключается въ томъ, что много человѣческой энергіи растрачивается по-пустому, что человѣчество далеко не производитъ всѣхъ тѣхъ богатствъ, которыя оно могло бы произвести и которыя могли бы дать всеобщее счастье. Праздность, паразитизмъ и преступность — главные яды, выдѣляемые нашею извращенною жизнью. Одни ничего не дѣлаютъ, другіе вызываютъ непроизводительную затрату энергіи на суды, тюрьмы и проч. Трудъ у подавляющаго большинства — подневольный, тяжелый, неблагодарный и потому малопроизводительный; на конкуренцію, обособленныя и враждебныя другъ другу предпріятія уходитъ слишкомъ много силъ. Съ точки зрѣнія Фурье, всѣ эти недостатки очень легко уничтожить — стоитъ только хорошенько продумать и прочувствовать всѣ ужасы современной жизни, и она въ ближайшемъ будущемъ измѣнится. Создастся идеальная община — коммуна, фаланга. Собственники, сохраняя за собою права, передадутъ общинѣ всѣ орудія производства; обособленности предпріятій и конкуренціи больше не будетъ — настанетъ золотой вѣкъ дружнаго, свѣтлаго труда, полной экономіи человѣческой энергіи. При общинномъ способѣ эксплоатаціи доходовъ будетъ больше, чѣмъ при частномъ, потому что меньше будетъ затратъ — собственники только выиграютъ. Наемный трудъ исчезнетъ, каждый будетъ заинтересованъ результатами своей работы, получая часть добытаго и сдѣланнаго соотвѣтственно мѣрѣ своего участія въ трудѣ. Единая власть руководитъ работами, направляетъ ихъ. Поводы къ преступленіямъ исчезнутъ. Личность и личная свобода не будутъ подавлены, потому что, внѣ обязательной для всѣхъ работы, каждый можетъ устроить свою жизнь, какъ угодно. Сознаніе выгоды заставитъ, однако, широко пользоваться удобствами коммунальной жизни — общей кухней и пр. Въ однѣхъ рукахъ соединятся и производство, и потребленіе; матеріальныя блага будутъ расти съ поразительной быстротой. $^5/_{12}$ всѣхъ продуктовъ коммунальнаго труда должно идти представителямъ труда, $^5/_3$ — капитала и $^1/_4$ — таланта. И всѣ получатъ больше, чѣмъ получали раньше, благодаря уничтоженію лишнихъ затратъ. Фаланга будетъ жить въ роскошномъ дворцѣ — фаланстерѣ. Стоитъ завести одну фаланстеру, и

люди поймутъ, какую дурную и безсмысленную жизнь они вели раньше, и все человѣчество раздѣлится на фаланги, а земля покроется свѣтлыми, радостными фаланстерами. Исчезнутъ страданія, соціальныя болѣзни, преступленія; на пропитанной потомъ, кровью и слезами землѣ наступитъ царство Божіе... Фурье и его послѣдователи глубоко вѣрили въ убѣдительность, заражающую силу своей проповѣди. Идеалистическій энтузіазмъ этого ученія съ особенною силою сказался у насъ, въ кружкѣ «Петрашевцевъ», съ которымъ были отчасти связаны Бѣлинскій и Салтыковъ-Щедринъ, къ которому принадлежали Буташевичъ-Петрашевскій, Достоевскій, поэтъ Плещеевъ и др.

Въ движеніи декабристовъ принимали главное участіе высшее дворянство и гвардія. Судя по мелкимъ политическимъ процессамъ конца 20-хъ и 30-хъ гг., оппозиціонныя идеи стали все болѣе и болѣе демократизироваться, проникать въ глубь общества, захватывать его средніе и даже низшіе слои. Уже декабристъ Штейнгель въ своемъ письмѣ къ императору Николаю (1826 года) имѣлъ основанія писать: «Россія такъ уже просвѣщена, что лавочные сидѣльцы читаютъ уже газеты; а въ газетахъ пишутъ, что говорятъ въ палатѣ депутатовъ въ Парижѣ. Не первая ли мысль, почему мы не можемъ разсуждать о нашихъ правахъ и собственности, родится въ головѣ каждаго? Большая часть профессоровъ, литераторовъ, журналистовъ должны душевно принадлежать къ желателямъ конституціоннаго правленія, ибо свобода тисненія сопряжена съ личною ихъ выгодою. Книгопродавцы тоже, купцы тоже. Наконецъ, всѣ тѣ, кои бывали въ иностранныхъ государствахъ, а иные образовались тамъ; всѣ тѣ, кои служили въ гвардіи и теперь служатъ, не того ли же образа мыслей?... Можетъ быть, въ числѣ тѣхъ, кои имѣютъ счастіе окружать особу вашу, есть таковые... Чтобы истребить корень свободомыслія, нѣтъ другого средства, какъ истребить цѣлое поколѣніе людей, кои родились и образовались въ послѣднее царствованіе. Но если сіе невозможно, то останется — препобѣдить сердца милосердіемъ и увлечь умы рѣшительными и явными пріемами къ будущему благоденствію государства».

Но послѣдовали только жестокія репрессіи, а заботы о благоденствіи свелись на реакціонную политику. Движеніе пошло вширь и вглубь, выражалось больше отдѣльными вспышками, не находя себѣ общаго русла въ условіяхъ жизни, — больше «въ за-

говорѣ идей», чѣмъ въ опредѣленныхъ дѣйствіяхъ. Мы пока мало знаемъ о мелкихъ политическихъ процессахъ Николаевской эпохи, но всѣ данныя за то, что между движеніями декабристовъ и «Петрашевцевъ» была непрерывная связь развитія.

Въ своемъ дневникѣ одинъ изъ крупнѣйшихъ дѣятелей Николаевской эпохи отмѣтилъ наиболѣе рѣзкую черту, отдѣлявшую Петрашевцевъ отъ декабристовъ: тамъ были люди извѣстнѣйшихъ фамилій и виднаго общественнаго положенія, здѣсь — учителя, чиновники, неслужащіе представители средняго дворянства, разночинцы — «ни одного значащаго имени, ни одного лица съ извѣстностью въ какомъ-нибудь родѣ» (авторъ дѣлаетъ оговорку только относительно Достоевскаго), «молодые люди большею частью маловѣдомыхъ фамилій». Рядъ другихъ фактовъ позволяетъ обобщить эту особенность кружка Петрашевцевъ.

Демократизмъ нашего общественнаго движенія тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ идетъ объ руку съ неопредѣленностью политическихъ программъ и вообще большою разногласицей въ основныхъ точкахъ зрѣнія. Несомнѣнно, сказывался недостатокъ политическаго воспитанія, и самыя условія жизни мало способствовали проясненію политическаго сознанія. Передъ нами не тайныя общества, а дружескіе кружки, не заговоръ съ опредѣленной программой и тактикой, а мечты и теоретическіе споры, которые не стремились перейти въ дѣйствія или парализовались при первыхъ попыткахъ практическаго осуществленія. Движеніе опускалось ниже и глубже, не выигрывая пока отъ этого въ своей опредѣленности.

Бывшій декабристъ, членъ Южнаго общества Липранди, желая отличиться и заставить забыть о своихъ некрасивыхъ продѣлкахъ, старался придать дѣлу Петрашевцевъ характеръ заговора и тайнаго общества, охватившго своими сѣтями всю Россію. Это ему не удалось: власти должны были признаться, что это «заговоръ идей», которыя «не осуществились еще никакимъ проявленіемъ, никакимъ переходомъ въ дѣйствіе». Но сдѣлано было все, чтобы раздуть этотъ процессъ. На Петрашевцевъ были наложены тяжелыя кары; въ движеніи увидѣли симптомъ общественнаго настроенія, и рѣшили расправиться съ нимъ энергично.

Большинство Петрашевцевъ, «апрѣлистовъ» или, какъ они сами себя называли, «соціалистовъ 1849 года», было объединено только крайнимъ увлеченіемъ идеями теоретическаго фурьеризма. Мечты о переустройствѣ міра на новыхъ началахъ, о замѣнѣ «неволи душныхъ городовъ» фаланстерами носили ультраидеалистическій характеръ. Въ общемъ онѣ были настолько невинны, что нѣко-

торые изъ Петрашевцевъ собирались даже убѣдить Николаевское правительство дать средства на учрежденіе первой фаланстеры. Большинство не шло далѣе изученія книгъ Фурье, теоретическаго отрицанія собственности, современныхъ формъ семьи и религіи. Мечтая объ осуществленіи теоріи Фурье въ болѣе или менѣе далекомъ будущемъ, большинство Петрашевцевъ, впрочемъ, обращаясь къ русской дѣйствительности, выставляло и нѣсколько болѣе близкія къ жизни требованія: они говорили объ уничтоженіи крѣпостного права, о введеніи гласнаго судопроизводства и дарованіи свободы слова. Переустройства жизни они думаютъ добиться послѣдовательной пропагандой въ разныхъ, въ особенности въ среднихъ и низшихъ слояхъ населенія. Лучшимъ средствомъ для нея считалось занятіе единомышленниками учительскихъ мѣстъ.

Высокій подъемъ идеалистическихъ настроеній въ этихъ кружкахъ, ихъ благородная наивность особенно сказались на обѣдѣ въ честь Фурье, въ день его рожденія.

Въ одной изъ рѣчей говорилось: «Жизнь, какъ она теперь,— тяжела, гадка; мы всѣ несчастны, и можно ли быть счастливымъ въ этомъ обществѣ, въ которомъ мы живемъ? И такъ какъ порядокъ установленный противорѣчитъ главному, основному назначенію нашей человѣческой жизни, какъ и всякой другой, то онъ непремѣнно рано или поздно прекратится, и вмѣсто него будетъ новый, новый и новый. Когда?—вотъ это важный вопросъ, и мы можемъ только отвѣчать, что скоро. Уже тотъ фактъ, что мы сознаемъ недостатки, ошибки въ устройствѣ нашей жизни, и уже представляется намъ въ общихъ чертахъ новая жизнь, этотъ самый фактъ доказываетъ, что началось время его разрушенія. И рухнетъ, и развалится все это дряхлое, громадное вѣковое зданіе, и многихъ задавитъ оно при разрушеніи и изъ насъ, но жизнь оживетъ, и люди будутъ жить богато, раздольно и весело.—Мы въ столицѣ безобразной, громадной, въ чудовищномъ скопищѣ людей, томящихся въ однообразныхъ работахъ, испачканныхъ грязнымъ трудомъ, пораженныхъ болѣзнями, развратомъ, въ скопищѣ, разрозненномъ семействами, которыя, вредя другъ другу, теряютъ время и силу и обѣдняются въ безполезныхъ трудахъ. И тамъ, за столицею, ползутъ города; единственная цѣль, высочайшее счастіе для нихъ—сдѣлаться многолюднымъ, развратнымъ, больнымъ, чудовищнымъ, какъ столица!—Въ эти дни, въ этомъ самомъ обществѣ, мы собрались не для жалобъ, но, напротивъ, полны надеждой, торжествомъ... Мы даемъ обѣдъ и празднуемъ

грядущее искупленіе человѣчества, — сегодня, именно сегодня, въ день рожденія Фурье, чтимъ его память, потому что онъ указалъ намъ путь, по которому идти, открылъ источникъ богатства, счастья. Сегодня — первый обѣдъ фурьеристовъ въ Россіи, и всѣ они здѣсь: десять человѣкъ, немногимъ болѣе. Все начинается съ малаго и растетъ до великаго. Разрушить столицы, города и всѣ матеріалы ихъ употребить для другихъ зданій, и всю эту жизнь мученій, бѣдствій, нищеты, стыда, срама превратить въ жизнь роскошную, стройную, веселья, богатства, счастья, и всю землю нищую покрыть дворцами, плодами и разукрасить въ цвѣтахъ — вотъ цѣль наша. Мы здѣсь, въ нашей странѣ, начнемъ преобразованіе, а кончитъ его вся земля. Скоро избавленъ будетъ родъ человѣческій отъ невыносимыхъ страданій».

Участники оставили намъ нѣсколько живыхъ описаній собраній Петрашевцевъ. Они устраивались настолько откровенно, что, напримѣръ, о пятницахъ Петрашевскаго зналъ почти весь Петербургъ, и проникнуть на нихъ было оченъ легко.

Въ своемъ «Дневникѣ писателя» Достоевскій такъ характеризуетъ настроеніе свое и своихъ единомышленниковъ: «зараждавшійся соціализмъ сравнивался тогда, даже нѣкоторыми изъ коноводовъ его, съ христіанствомъ и принимался лишь за поправку и улучшеніе послѣдняго, сообразно вѣку и цивилизаціи. Всѣ эти тогдашнія новыя идеи намъ въ Петербургѣ ужасно нравились, казались въ высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловѣческими, будущимъ закономъ всего безъ исключенія человѣчества. Мы еще задолго до парижской революціи 48-го года были охвачены обаятельнымъ вліяніемъ этихъ идей. Я уже въ 46-мъ году былъ посвященъ во всю правду этого грядущаго «обновленнаго міра» и во всю святость бодущаго коммунистическаго общества еще Бѣлинскимъ. Всѣ эти убѣжденія о безнравственности самыхъ основаній современнаго общества...; всѣ эти идеи объ уничтоженіи національностей во имя всеобщаго братства людей, о презрѣніи къ отечеству, какъ къ тормазу во всеобщемъ развитіи и пр. и пр. — все это были такія вліянія, которыхъ мы преодолѣть не могли, и которыя захватывали, напротивъ, наши сердца и умы во имя какого то великодушія. Во всякомъ случаѣ тема казалась величавою и стоявшею далеко выше уровня тогдашнихъ господствовавшихъ понятій — а это то и соблазняло».

Другой посѣтитель собраній даетъ такое ихъ описаніе: «по совѣсти можно было сказать, что бесѣды на этихъ вечерахъ были небезынтересны для каждаго изъ присутствовавшихъ. Да и могло ли

быть иначе, когда тутъ собирался народъ молодой, образованный, читающій, мыслящій; впечатлѣнія принимались живо; всякая несправедливость, злоупотребленія, стѣсненія, самоуправство глубоко возмущали душу каждаго; напротивъ, всякое стремленіе къ благу общественному или частному вызывало сочувствіе, въ какой бы формѣ стремленіе это ни высказывалось. Цензура, убившая въ то время всякую здравую мысль, не только не допускала гласнаго обсужденія печатно предметовъ общаго интереса, но воспрещала даже малѣйшій намекъ на то, что могло бы быть лучше, еслибы было иначе; а въ это именно время самоуправство всѣхъ и каждаго изъ второстепенныхъ агентовъ дошло до высшей степени: злоупотребленія, лихоимство не имѣли границъ, то нѣтъ ничего естественнѣе, что вездѣ, гдѣ бывали люди разбора выше опредѣленнаго, они прямо высказывали свои убѣжденія, совершенно противоположныя грустному положенію дѣлъ; когда же собиралось ихъ по нѣскольку человѣкъ, напримѣръ, по пятницамъ у Петрашевскаго, то они, какъ люди одинаковаго направленія, свободно размѣнивались идеями, новостями, доходившими до каждаго въ литературѣ, политикѣ, происшествіяхъ столичныхъ и провинціальныхъ; съ какимъ интересомъ слѣдили за происшествіями на Западѣ! Припомнимъ, что пятое десятилѣтіе нашего вѣка отличалось направленіемъ къ соціальнымъ реформамъ; такое повсемѣстное направленіе высказалось, наконецъ, въ февральской революціи, объявшей всю западную Европу. Съ такою любознательностью выслушивались на вечерахъ у Петрашевскаго изложенія сочиненій новѣйшихъ реформаторовъ; но какъ всѣ эти трогательныя описанія блаженствующихъ фаланстеровъ и иныхъ ассоціацій были только увлекательныя, но непримѣнимыя къ осуществленію теоріи, намъ же, живущимъ въ средѣ міра дѣйствительнаго, необходимо было знакомиться ближе съ тѣмъ, что существуетъ на нашей матушкѣ Руси, — то съ общаго согласія принято было предложеніе раздѣлить вечера наши такимъ образомъ, что до ужина одинъ изъ присутствующихъ будетъ излагать какой-либо общественный вопросъ, въ какомъ видѣ осуществляется онъ нынѣ въ Россіи, удобства или неудобства, осязаемыя отъ такого, а не иного положенія дѣла, и, наконецъ, изысканія и, если возможно, то указанія средствъ къ замѣненію неудобныхъ порядковъ удобнѣйшими; а послѣ ужина могло бы продолжаться изложеніе соціальныхъ теорій».

По словамъ третьяго участника, «то, что въ 1849 году вмѣнялось намъ въ вину и за что, послѣ восьмимѣсячнаго одиночнаго заключенія, полевымъ уголовнымъ судомъ мы были приговорены

съ смертной казни разстрѣляніемъ, — въ настоящее время показаюсь бы маловажнымъ и не заслуживающимъ никакого преслѣдованія: у насъ не было никакого организованнаго общества, никакихъ общихъ плановъ дѣйствія, но разъ въ недѣлю у Петрашевскаго бывали собранія, на которыхъ вовсе не бывали постоянно все одни и тѣ же люди: иные бывали часто на этихъ вечерахъ, другіе приходили рѣдко, и всегда можно было видѣть новыхъ людей. Это былъ интересный калейдоскопъ разнообразнѣйшихъ мнѣній о современныхъ событіяхъ, распоряженіяхъ правительства, о произведеніяхъ новѣйшей литературы по различнымъ отраслямъ знанія; приносились городскія новости, говорилось громко обо всемъ, безъ всякаго стѣсненія. Иногда кѣмъ-либо изъ спеціалистовъ дѣлалось сообщеніе въ родѣ лекціи... Въ одномъ изъ собраній читалось Достоевскимъ письмо Бѣлинскаго къ Гоголю, по случаю выхода его «Писемъ къ друзьямъ». Бѣлинскаго избавила только болѣзнь и преждевременная смерть отъ общей съ нами участи. Для порядка и предупрежденія шума отъ одновременныхъ разговоровъ и споровъ многихъ лицъ Петрашевскій поручалъ кому-либо изъ гостей наблюдать за порядкомъ въ качествѣ предсѣдателя. На собраніяхъ этихъ не вырабатывались никогда никакіе опредѣленные проекты или заговоры, но были высказываемы осужденія существующаго порядка, насмѣшки, сожалѣнія о настоящемъ нашемъ положеніи. Что было бы впослѣдствіи — конечно, неизвѣстно... Нашъ кружокъ, выражавшій собою современныя общечеловѣческія стремленія, былъ однимъ изъ естественныхъ передовыхъ явленій въ жизни народа и несомнѣнно оставилъ по себѣ нѣкоторые слѣды. Число арестованныхъ, явно прикосновенныхъ къ этому дѣлу, казалось незначительнымъ — оно доходило до 100, можетъ быть, и превышало это число — но мы не были какими-либо выродками, происшедшими самопроизвольно и внезапно, мы были произведеніе образованнаго класса земли русской — эндотическія растенія страны, въ которой мы рождены, а потому и оставшихся на свободѣ людей одинаковаго съ нами образа мыслей, намъ сочувствовавшихъ, безъ сомнѣнія, надо было считать не сотнями, а тысячами. Нашъ маленькій кружокъ, сосредоточившійся вокругъ Петрашевскаго въ концѣ 40-хъ гг., носилъ въ себѣ зерно всѣхъ реформъ 60-хъ гг.».

Не считая своихъ взглядовъ и дѣятельности зловредными, Петрашевцы всего менѣе могли ожидать ареста и суда. Все же имъ былъ вынесенъ суровый приговоръ, впослѣдствіи смягченный, хотя приговоренные узнали объ этомъ очень поздно, въ самый послѣдній моментъ.

Достоевскій говоритъ въ «Дневникѣ писателя», что почти в его товарищи были увѣрены, что приговоръ «будетъ исполнен и вынесли, по крайней мѣрѣ, десять ужасныхъ, безмѣрно стра ныхъ минутъ ожиданія смерти»[1]).

«Мы, петрашевцы, стояли на эшафотѣ и выслушивали на приговоръ безъ малѣйшаго раскаянія... Большинство изъ на почло бы за безчестіе отречься отъ своихъ убѣжденій». Почти в подтвердили это своею послѣдующею жизнью.

Петрашевскій велъ себя смѣло и даже рѣзко во время д проса и суда. Въ одномъ изъ его писемъ вырвалась горделив и знаменательная фраза: «Знайте, — развѣется ли прахъ мой четыре конца свѣта, вылетитъ ли изъ груди моей слабый вздо среди тишины подземнаго заточенія, его услышитъ тотъ, ко услышать слѣдуетъ: упадетъ капля крови моей на землю — вы стетъ зорюшка... мальчикъ сдѣлаетъ дудочку... дудочка заиграет придетъ дѣвушка, и повторится та же исторія, только въ друго видѣ. Законъ судьбы или необходимости вѣченъ; но тогда, в роятно, ни васъ, ни меня не будетъ». Пророчество это сбыло въ 60-хъ годахъ. Петрашевцы, при всѣхъ анормальностяхъ сво психологіи, созданныхъ тяжелымъ складомъ тогдашней жизни — св зующее звено между идеалистами 40-хъ годовъ и реалистами 60-х

Удивительную характеристику Петрашевцевъ, по поводу бли каго къ нимъ Энгельсона, даетъ Герценъ въ 2-мъ томѣ «Было и Думъ»:

«Типъ, къ которому принадлежалъ Энгельсонъ, былъ тог для меня довольно новъ. Въ началѣ сороковыхъ годовъ я в дѣлъ только его зачатки. Онъ развился въ Петербургѣ подъ к нецъ карьеры Бѣлинскаго и сложился послѣ меня, до появлені Чернышевскаго. Это — типъ Петрашевцевъ и ихъ друзей. Кру этотъ составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умн и чрезвычайно образованные, но нервные, болѣзненные и пол манные. Въ ихъ числѣ не было ни кричащихъ бездарностей, пишущихъ безграмотностей, — это явленія совсѣмъ другого времен но въ нихъ было что то испорчено, повреждено. Петрашевцы р нулись горячо и смѣло на дѣятельность и удивили всю Росс «Словаремъ иностранныхъ словъ». Наслѣдники сильно возбужде ной умственной дѣятельности сороковыхъ годовъ, они прямо из нѣмецкой философіи шли въ фалангу Фурье, въ послѣдовате Конта. Окруженные дрянными и мелкими людьми, гордые вним

---

[1]) Тѣ же впечатлѣнія отразились и въ „Идіотѣ“ Достоевскаго (часть I, главы II и V

ніемъ полиціи и сознаніемъ своего превосходства, при самомъ выходѣ изъ школы, они слишкомъ дорого оцѣнили свой отрицательный подвигъ, или, лучше, свой подвигъ въ возможности. Отсюда безмѣрное самолюбіе. Не то здоровое, молодое самолюбіе, идущее вновь, мечтающему о великой будущности, идущее мужу въ полной силѣ и въ полной дѣятельности, не то, которое въ былыя времена заставляло людей совершать чудеса отваги, выносить цѣпи и смерть изъ желанія славы, но, напротивъ, самолюбіе болѣзненное, мѣшающее всякому дѣлу огромностью притязаній, раздражительное, обидчивое, самонадѣянное до дерзости и въ то же время неувѣренное въ себѣ. Между ихъ запросомъ и оцѣнкой ближнихъ несоразмѣрность была велика. Общество не принимаетъ векселей на будущее, а требуетъ готовую работу за свое наличное признаніе. Труда и выдержки у нихъ было мало, того и другого хватило только для пониманья, для усвоенья разработаннаго другими. Они хотѣли жатвы за намѣреніе сѣять и вѣнковъ за то, что у нихъ закромы были полны. «Обидное непризнаніе общества» ихъ мучило и доводило до несправедливости къ другимъ, до отчаянія и Fratzenhaftigkeit (гриммасничанья). На Энгельсонѣ я изучилъ разницу этого поколѣнія съ нашимъ. Впослѣдствіи я встрѣчалъ много людей не столько талантливыхъ, не столько развитыхъ, но съ тѣмъ же видовымъ болѣзненнымъ надломомъ по всѣмъ суставамъ. Дивиться надобно, какъ молодыя силы, сломившись, все же уцѣлѣли. Кто не знаетъ знаменитую инструкцію учителямъ кадетскихъ корпусовъ? Вся система казеннаго воспитанія состояла во внушеніи религіи слѣпого повиновенія, ведущей къ власти, какъ къ своей наградѣ. Молодыя чувства, лучистыя по натурѣ, были грубо оттѣсняемы внутрь, замѣняемы честолюбіемъ и ревнивымъ, завистливымъ соревнованіемъ. Что не погибло, вышло больное, сумасшедшее... Вмѣстѣ съ жгучимъ самолюбіемъ прививалась какая то обезкураженность, сознаніе безсилія, усталь передъ работой. Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми, не имѣя двадцати лѣтъ отъ роду. Они всѣ были заражены страстью самонаблюденія, самоизслѣдованія, самообвиненія; они тщательно провѣряли свои психическія явленія и любили безконечныя исповѣди и разсказы о нервныхъ событіяхъ своей жизни. Мнѣ, впослѣдствіи, случалось часто имѣть на духу не только мужчинъ, но и женщинъ, принадлежавшихъ къ той же категоріи. Вглядываясь съ участіемъ въ ихъ покаянія, въ ихъ психическія себябичеванія, доходившія до клеветы на себя, я, наконецъ, убѣдился потомъ, что все это одна изъ формъ того же самолюбія. Стоило

вмѣсто возраженья и состраданья согласиться съ кающимся, чтобъ увидѣть, какъ легко уязвляемы и какъ безпощадно мстительны эти магдалины обоихъ половъ. Вы передъ ними, какъ христіанскій священникъ передъ сильными міра сего, имѣете право только торжественно отпускать грѣхи и молчать. У этихъ нервныхъ людей, чрезвычайно обидчивыхъ, содрогавшихся, какъ мимоза, при всякомъ чуть неловкомъ соприкосновеніи, была, съ своей стороны, непостижимая жестокость слова. Вообще, когда дѣло шло объ отместкѣ, выраженія не мѣрились, — странный эстетическій недостатокъ, выражающій глубокое презрѣніе къ лицу и оскорбительную снисходительность къ себѣ. Необузданность эта идетъ у насъ изъ помѣщичьихъ домовъ, канцелярій и казармъ, но какъ же она уцѣлѣла, развилась у новаго поколѣнія, перескакивая черезъ наше? Это — психологическая задача. Въ прежнихъ студенческихъ кружкахъ бранились громко, спорили запальчиво и грубо, но въ самой пущей брани кой-что оставалось внѣ битвы... Для нашихъ нервныхъ людей — энгельсоновскаго поколѣнія — этого завѣтнаго мѣста не существовало, они не считали нужнымъ себя сдерживать; для пустой и мимолетной мести, одержанія верха въ спорѣ не щадили ничего, и я часто съ ужасомъ и удивленіемъ видѣлъ, какъ они, начиная съ самого Энгельсона, бросали безъ малѣйшей жалости драгоцѣннѣйшія жемчужины въ ѣдкій растворъ и плакали потомъ. Съ перемѣной нервнаго тока начинаются раскаянія, вымаливаніе прощенія у поруганнаго кумира. Небрезгливые, они выливали нечистоты въ тотъ же сосудъ, изъ котораго пили. Раскаянія ихъ бывали искренни, но не предупреждали повтореній. Какая то пружина, умѣряющая дѣйствіе колесъ и направляющая ихъ, у нихъ сломана; колеса вертятся съ удесятеренной быстротой, ничего не производя, но ломая машину; гармоническое сочетаніе нарушено, эстетическая мѣра потеряна — съ ними жить нельзя, имъ самимъ съ этимъ жить нельзя. Счастья для нихъ не существовало, они не умѣли его беречь. При малѣйшемъ поводѣ они давали безчеловѣчный отпоръ и обращались грубо со всѣмъ близкимъ. Ироніей они не меньше губили и портили въ жизни, чѣмъ нѣмцы приторной сантиментальностью. Странно: люди эти жадно хотятъ быть любимыми, ищутъ наслажденія и, когда подносятъ ко рту чашу, какой то злой духъ толкаетъ ихъ подъ руку, вино льется на-земь, и съ запальчивостью отброшенная чаша валяется въ грязи».

Наивныя мечты двухъ этихъ поколѣній нашихъ 30-хъ и 40-хъ годовъ были развѣяны суровою жизнью, идеалистическій же закалъ,

овышенный общественный интересъ остались навсегда и наложили вою печать на послѣдующее литературное развитіе — идеалистическое по духу и реалистическое по пріемамъ.

Сенсимонизмъ и фурьеризмъ сыграли большую роль въ литературномъ развитіи и своей родины. Вызванное ими и все болѣе сложнявшейся политической борьбой броженіе мысли отразилось а переломѣ отъ романизма къ реализму, съ особенною силою ыразилось въ произведеніяхъ Жоржъ-Зандъ, въ значительной стеени переродило Гюго и Бальзака.

Жизнь и творчество Виктора Гюго (1802 — 1885) — превосходый барометръ для учета всѣхъ колебаній литературы и общетвенности Франціи за всю первую половину прошлаго вѣка. Убѣжденный роялистъ, нетерпимый консерваторъ, поклонникъ — ъ ранніе годы жизни — классицизма, онъ дѣлается либераломъ, поздѣе — ярымъ республиканцемъ въ политикѣ и буйнымъ, задорнымъ астрѣльщикомъ воинствующаго романтизма въ литературѣ. При томъ республиканство мирилось у него съ культомъ Наполеона, боевой романтизмъ — съ отрицаніемъ крайностей художественаго субъективизма и отстаиваніемъ необходимости для поэзіи «законовъ». Блѣднымъ тѣнямъ и безкровнымъ страстямъ классицизма, его оэтическому деспотизму онъ противопоставилъ жизненную, иногда преувеличенную, яркость красокъ, индивидуализацію героевъ, строго ыдержанный бытовой и историческій колоритъ, глубокій анализъ итаническихъ страстей, чудовищныя антитезы и антиноміи жизни, повышенный интересъ къ необычному и уродливому, проповѣдь свободы искусства (въ предѣлахъ, далеко выходящихъ за рамки классицизма). Чудовищные образы Гана Исландца, урода — негра, Квазимодо и др. набросаны имъ на прекрасномъ бытовомъ фонѣ, отъ котораго вѣетъ здоровымъ реализмомъ. Романтическая закваска остается у него навсегда, но сквозь нее все чаще прорывается кивое чутье дѣйствительности, и творчество окрашивается политической и соціальной борьбой. Предисловіе къ драмѣ «Кромвель» 1827) было страстнымъ манифестомъ романтизма, какъ литературнаго явленія; въ предисловіи къ драмѣ «Эрнани» (1830) освободительное движеніе въ литературѣ сливается съ задачами освобожденія общественнаго, и романтизмъ дѣлается «либерализмомъ въ литературѣ». Для одного изъ современниковъ Гюго захватившій его романтизмъ — «искусство творить такого рода произведенія, которыя въ данный моментъ, при извѣстныхъ условіяхъ быта и понятій, могутъ доставить наибольшее наслажденіе»: полное сближеніе искусства и жизни. Демократизируясь, идя навстрѣчу жизни,

Гюго умѣлъ оставаться собою, мирить вѣчное и временное, задачи текущаго историческаго момента и абсолютное, выдерживать при повышенномъ романтическомъ стилѣ реализмъ и соціальный характеръ содержанія.

Творчество его — капризная, своеобразная, исключительная смѣсь мало примиримыхъ элементовъ, производящая все же цѣлостное и сильное впечатлѣніе: романтическая поэтизація и идеализація прошлаго при чисто археологическомъ интересѣ ко всѣмъ его мелочамъ и подробностямъ, органическая связь съ дѣйствительностью при фейерверочномъ ея освѣщеніи, любовь къ контрастамъ и парадоксамъ при глубокомъ чутьѣ велѣній жизни, гуманитарный морализмъ, публицистическая тенденціозность при высокомъ пониманіи свободы искусства, роли его надъ жизнью. Въ протестахъ противъ общественной неправды, эксплоатаціи, смертной казни онъ достигалъ поразительнаго впечатлѣнія при всей своей стилистической «безмѣрности». Самъ Гюго писалъ про себя: «Если моя голова — горнило, въ которомъ мой умъ воспламеняется — бросаетъ мѣдный стихъ, кипящій и дымящійся, въ глубь стихотворнаго размѣра, таинственной формы, откуда выходитъ строфа, направляющая свои крылья къ небесамъ, — это значитъ, что любовь, могила, слава и жизнь, волна бѣгущая и немедленно смѣняющаяся другою волною, всякое дыханіе, каждый лучъ, благопріятный или роковой, заставляютъ свѣтиться и трепетать мою хрустальную душу, мою тысячеголосую душу, которую Богъ, обожаемый мною, помѣстилъ въ центрѣ всего, какъ звонкое эхо».

Романтическій историзмъ, его пристрастіе къ воскрешенію колорита эпохи вызвали лучшій изъ романовъ Гюго — «Соборъ Парижской Богоматери» (1831). Для автора, «если онъ и имѣетъ цѣнность, то какъ продуктъ воображенія, каприза и фантазіи». Въ основѣ романа — идея романтическаго универсализма. Соборъ для него — «симфонія, сложенная изъ камней», «созданіе человѣка и народа, единое и сложное въ одно и то же время», могучее и плодовитое, божественное соединеніе разнообразія и вѣчности, живой гигантъ, у подножія котораго встрѣчаются вѣка и поколѣнія; въ немъ «время является архитекторомъ, а народъ — каменщикомъ»; его куполъ — символъ вѣчности. Съ соборомъ прихотливо переплетается человѣческая трагедія, сотканная изъ страданія и счастья, физическаго уродства и духовной красоты, звѣриной жестокости и небеснаго самоотверженія, ужаса и страсти. Поэтизированная исторія давала просторъ романтической фантазіи и кружнымъ путемъ возвращала къ дѣйствительности — пока удаленной вѣками и

опущенной сквозь призму идеализаціи. Въ своемъ «Кромвелѣ» ъ пробуетъ создать новую драму, далекую отъ лжи и омертвѣ-ихъ традицій прежней условной трагедіи, выдуманныхъ героевъ мѣнить живыми людьми, отточенныя тирады и эффектные стихи — ободною рѣчью, слить героическое съ обыденнымъ, высокое съ изкимъ. Драма должна быть свободной. «Нѣтъ больше правилъ и бразцовъ! Или, вѣрнѣе, нѣтъ иныхъ законовъ, кромѣ общихъ зако-овъ природы, царящихъ надъ всѣмъ искусствомъ, и спеціальныхъ аконовъ для каждаго произведенія, вытекающихъ изъ спеціаль-ыхъ особенностей сюжета». «Поэтъ долженъ руководиться только рирородой, истиной и своимъ вдохновеніемъ», возсоздавать пеструю кань жизни во всей ея полнотѣ, безъ тисковъ «единствъ», съ со-люденіемъ колорита времени и мѣста. Но правда въ искусствѣ е можетъ быть копированіемъ дѣйствительности, простымъ ея траженіемъ. Драма — концентрирующее зеркало; искусство воскре-аетъ прошлое и творчески перерабатываетъ настоящее, чтобы цѣлать ихъ вѣчнымъ, но вездѣ ищетъ характернаго, даже ъ «grotesque» (все исключительное, причудливое, анормальное). Реа-истическія требованія сливаются у Гюго съ отвращеніемъ къ изби-ому (commun), съ преклоненіемъ передъ пластическою силою стиха, ъ романтическимъ культомъ всего выпукло-индивидуальнаго и гротескнаго». Въ «Несчастныхъ» (1862) Гюго осложняетъ роман-измъ пріемовъ, фантастичность основной интриги глубокими со-іальными мотивами, яркимъ протестомъ противъ тѣхъ обществен-ныхъ условій, которыя съ неумолимою послѣдовательностью ве-ютъ къ преступленію и пороку. Гуманитарную тенденціозность своего романа онъ самъ подчеркивалъ. «До тѣхъ поръ, пока, въ силу законовъ и обычаевъ, будетъ существовать соціальное проклятіе, искусственно создающее адъ среди полнаго развитія цивилизаціи, осложняющее божественное предопредѣленіе роковымъ человѣческимъ предопредѣленіемъ, пока не будутъ разрѣшены три проблемы нашего времени: униженіе человѣка пролетаріатомъ, па-деніе женщины вслѣдствіе голода, атрофія дѣтей, пока возможно въ нѣкоторыхъ странахъ соціальное удушье, — словомъ, пока воз-можны нищета и невѣжество, — книги такого рода небезполезны». «Если идеальное радикально, да, я радикалъ... Я желаю разрушить созданное людьми роковое предопредѣленіе. Я осуждаю рабство, преслѣдую нищету, поучаю невѣжество, изслѣдую болѣзнь, освѣщаю ночь, ненавижу ненависть». Романъ «Несчастные» — «книга, основой которой — братство, а цѣль — прогрессъ».

«Братство и прогрессъ» — девизъ всей жизни и литературной дѣятельности великаго французскаго писателя.

Стилю его подражали у насъ въ 30-хъ годахъ Кукольникъ и Марлинскій; на благородной гуманности его лучшихъ произведеній воспитывалась вся плеяда молодыхъ писателей, ставшихъ во главѣ новѣйшаго періода нашей литературы.

Бальзакъ (1799—1850), подобно Гюго, — тоже переходный типъ отъ романтизма къ реализму. На обвиненіе въ выборѣ безнравственныхъ темъ онъ съ полнымъ убѣжденіемъ отвѣчалъ: «знайте, что авторъ отъ своего имени никогда не изрекаетъ сужденія: онъ видитъ предметъ и описываетъ его; онъ замѣчаетъ чувство и передаетъ его; онъ беретъ факты, какъ они въ самомъ дѣлѣ существуютъ, группируетъ ихъ и вводитъ въ общій планъ, не слушая разнорѣчивыхъ обвиненій». Поэтъ фактовъ, соціальный физіологъ, онъ пытливо вглядывается въ жизнь, изучаетъ ее научнымъ методомъ, со всѣми ея ужасами и уродствами, мѣщанскою пошлостью и всеотравляющимъ культомъ золота, — разлагаетъ современную дѣйствительность на составные элементы. Съ особеннымъ интересомъ разрабатываетъ онъ психологію женщины.

Онъ весь какъ будто. бы погрузился въ анализъ грязи и мрака современной жизни, пропитанной мѣщанствомъ и общественной неправдой, и все же подчасъ отдается порывамъ разнузданной фантазіи: пошлое сливаетъ съ мистическимъ, живые типы съ призраками, въ изображеніи общественныхъ пороковъ и соціальныхъ болѣзней выходитъ за предѣлы возможнаго — отголосокъ романтизма молодости.

Соціальная физіологія Бальзака, смѣшеніе реалистическихъ и романтическихъ тоновъ въ его произведеніяхъ отразились на нашей «натуральной школѣ», въ особенности на раннихъ произведеніяхъ Григоровича и Некрасова.

Его непосредственнымъ преемникомъ былъ Флоберъ (1821—1880), другъ Тургенева, пользовавшійся большою популярностью у насъ въ 50-хъ годахъ. Самъ онъ называлъ себя романтикомъ, былъ страстнымъ поклонникомъ Гюго, свирѣпо толковалъ о своей ненависти къ мѣщанству, любилъ только чудовищное, причудливое и экзотическое; его конькомъ была выработка поэтической техники, и на нее онъ тратилъ много незаурядной энергіи, достигая часто поразительныхъ результатовъ. Но онъ боролся со своимъ воображеніемъ и методически изучалъ дѣйствительность. Его роману изъ карѳагенской жизни «Саламбо» (1862), предшествовала колоссальная, чисто ученая работа. Онъ тщательно затиралъ въ своихъ произведеніяхъ слѣды своей личности, стараясь придать имъ характеръ строгой объективности. Въ «Мадамъ Бовари» (1857) онъ

съ рѣдкою силою и убѣдительностью вскрылъ всю психологическую и жизненную опасность романтизма. Все его творчество обвѣяно грустью романтической души, отрекающейся отъ себя и затравленной пошлостью жизни. Отъ современности онъ любилъ переноситься въ глубь исторіи и легенды, «примѣняя къ древности пріемы современнаго романа».

«Легенда о св. Юліанѣ Милостивомъ» и «Иродіада» Флобера были превосходно переведены Тургеневымъ.

Наиболѣе сильнымъ и глубокимъ у насъ въ 40-хъ годахъ было вліяніе Жоржъ-Зандъ (1804—1876). Увлеченіе идеями и произведеніями знаменитой французской писательницы было тогда главнымъ признакомъ развитого и передового человѣка. Даже болѣе чѣмъ умѣренный цензоръ—профессоръ Никитенко писалъ въ 1842 г.: «Жоржъ-Зандъ это безспорно первая поэтическая слава современнаго міра». Безпринципный Сенковскій, высмѣивая новѣйшую французскую литературу, беззастѣнчиво подражалъ наиболѣе осмѣиваемой имъ Жоржъ-Зандъ; на подражаніяхъ ей создали себя литературную карьеру «Зенеида Р-ва» (Ганъ) и Дружининъ; увлеченіе ею сыграло крупную роль въ развитіи Тургенева, Бѣлинскаго и Григоровича. Самый рѣзкій изъ нашихъ сатириковъ Салтыковъ-Щедринъ на закатѣ своей жизни вспоминалъ про свою молодость (40-е годы): «я въ то время только что оставилъ школьную скамью и, воспитанный на статьяхъ Бѣлинскаго, естественно примкнулъ къ западникамъ. Но не къ большинству западниковъ (единственно авторитетному тогда въ литературѣ), которое занималось популяризированіемъ положеній нѣмецкой философіи, а къ тому безвѣстному кружку[1]), который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. Разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабэ, Фурье, Луи-Блана и въ особенности Жоржъ-Зандъ. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что «золотой вѣкъ» находится не позади, а впереди насъ... Словомъ сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное — все это оттуда». Раннія произведенія Салтыкова въ значительной степени созданы подъ вліяніемъ французской романистки; оно сказывается въ «Запискахъ Охотника» (Пасіансъ изъ «Мопра», напр., отразился на «Касьянѣ съ Красивой Мечи»), повѣстяхъ Григоровича, даже «Рудинѣ» («Орасъ» Жоржъ-Зандъ). Отзывы Тургенева и Достоевскаго о Жоржъ-Зандъ всегда были полны восторженнаго удивленія: «Жоржъ-Зандъ — одна изъ нашихъ

[1]) Петрашевцевъ.

святыхъ»; «я думаю, я не ошибусь, если скажу, что Жоржъ-Зандъ по крайней мѣрѣ, по моимъ воспоминаніямъ судя, заняла у насъ сразу чуть не самое первое мѣсто въ ряду цѣлой плеяды новыхъ писателей, тогда вдругъ проявившихся и прогремѣвшихъ по всей Европѣ». Послѣдній отзывъ Достоевскій сопровождаетъ замѣчаніемъ что, прочтя повѣсть Зандъ «Ускокъ», онъ «былъ потомъ въ лихорадкѣ всю ночь».

Узнавъ о смерти любимой романистки, онъ же писалъ: «это — одна изъ нашихъ (т.-е. нашихъ) современницъ, вполнѣ идеалистка 30 и 40-хъ годовъ. Это — одно изъ тѣхъ именъ нашего могучаго, самонадѣяннаго и въ то же время больного столѣтія полнаго самыхъ невыясненныхъ идеаловъ и самыхъ неразрѣшимыхъ желаній, — именъ, которыя, возникнувъ тамъ, у себя, въ «странѣ святыхъ чудесъ», переманили отъ насъ, изъ нашей вѣчно создающейся Россіи слишкомъ много думъ, любви, святой и благородной силы порыва, живой жизни и дорогихъ убѣжденій... Все то, что въ явленіи этого поэта составляло «новое слово», все, что было «всечеловѣческаго» — все это тотчасъ же въ свое время отозвалось у насъ, въ нашей Россіи, сильнымъ и глубокимъ впечатлѣніемъ, не миновало насъ и тѣмъ доказало, что всякій поэтъ-новаторъ Европы, всякій прошедшій тамъ съ новою мыслью и новою силой, не можетъ миновать русской мысли, не стать почти русскою силой».

Неудачи семейной жизни и феминистская проповѣдь сенсимонизма наложили яркую печать на раннее творчество Жоржъ-Зандъ. Въ «Индіанѣ» (1832) она съ поразительною силою и искренностью выразила протестъ противъ безправія женщины, тираніи мужей, семейнаго деспотизма и взяла на себя пылкую защиту свободы чувства. «Валентина», «Лелія» и «Жакъ», слѣдовавшіе за «Индіаной», развивали и углубляли тѣ же темы, протестъ живого чувства противъ мертвящей жестокой традиціи, трагедію женской жизни и души, полную анормальность современныхъ семейныхъ отношеній. Герои ея идеализованы. Авторъ писалъ о нихъ: «не слѣдуетъ унижать героя, отдавая его на произволъ житейскихъ случайностей; пусть онъ гибнетъ или торжествуетъ; нечего бояться давать ему исключительное положеніе, сообщать ему силы, выступающія изъ ряда обыкновенныхъ, обставлять его чарами и страданіями, которыя выходятъ за предѣлы обычнаго и вѣроятнаго». Положительные герои обрисованы въ повышенномъ тонѣ, отрицательные — проще и жизненнѣе.

Жизнь героевъ и интересы молодой романистки сводятся только къ любви, и въ изображеніи ея перипетій Жоржъ-Зандъ дости-

гаетъ часто виртуозности, глубины и разнообразія оттѣнковъ. Освобожденіе женщины она начинала съ разрушенія ея рабства въ сферѣ любви и семьи.

Съ конца 30-хъ годовъ творчество Жоржъ-Зандъ значительно измѣняетъ свой характеръ, подъ вліяніемъ роста политическаго и соціальнаго броженія. Она сближается съ романтиками-республиканцами. Одинъ изъ нихъ (Мишель) протестовалъ противъ узости ея міровоззрѣнія («любовь — страсть эгоистическая») и настойчиво совѣтовалъ «распространить это пламенное чувство на все страдающее человѣчество». Женскій вопросъ — только часть общаго соціальнаго вопроса; обособленное его рѣшеніе невозможно. Ставъ на эту точку зрѣнія, Жоржъ-Зандъ сближается съ соціальными мечтателями Ламменэ и Пьеромъ Леру, заражается ихъ мистическимъ энтузіазмомъ, ихъ «религіей человѣчества», въ которой переплелись метафизическія бредни и благородные гуманные порывы. Изъ пѣвца личной страсти, женскихъ и семейныхъ драмъ она дѣлается пророкомъ новой соціальной религіи. Новыя ея произведенія («Прегрѣшеніе г. Антуана» и др.) — широкія общественныя картины. Всѣ симпатіи автора на сторонѣ обездоленнаго народа. Для идеализаціи его Жоржъ-Зандъ не жалѣетъ красокъ. Дѣлаетъ это она вполнѣ сознательно: «меня упрекали въ утрировкѣ, въ желаніи разукрасить народъ. Что за бѣда? Вѣдь мнѣ позволяли идеализировать представителей другихъ общественныхъ слоевъ. Отчего же въ данномъ случаѣ я не могу нарисовать образъ плебея, самый привлекательный, самый почтенный, такъ чтобъ всѣ смышленые рабочіе пожелали бы ему подражать». Болѣе всего ненавидитъ Жоржъ-Зандъ торжествующее мѣщанство и преслѣдуетъ его всѣми силами и средствами своего могучаго таланта. Мѣщанство было смертельнымъ врагомъ и народа, жертвы эксплуаціи, и вымиравшихъ, все болѣе терявшихъ свое общественное положеніе остатковъ феодальной аристократіи, къ которымъ авторъ питаетъ извѣстное сочувствіе: общность врага сближало два соціальныхъ полюса.

Рѣзкая критика современныхъ общественныхъ отношеній у Жоржъ-Зандъ идетъ объ руку съ туманностью ея положительной программы. Проникшись мистическимъ «гуманитаризмомъ» Леру, она только вѣритъ, что современная жизнь сама собою разрушится въ силу своей полной несостоятельности, и въ ближайшемъ будущемъ человѣчество проложитъ себѣ новые пути къ счастью, братству и равенству. Устами своей героини она говоритъ: «возникаетъ святая ассоціація, нѣчто въ родѣ новой церкви, куда

нѣсколько вдохновенныхъ вѣрующихъ призовутъ братьевъ своихъ для того, чтобъ жить въ общемъ союзѣ подъ сѣнью такой религіи и такой морали, которыя соотвѣтствуютъ благороднымъ потребностямъ духа и законамъ истиннаго равенства. Не спрашивайте у меня, каковъ будетъ на самомъ дѣлѣ этотъ уставъ. Я не предназначена составить его, и Богъ не далъ мнѣ силу открыть это новое ученіе. Я имѣю притязаніе только понять его, когда оно будетъ возвѣщено откровеніемъ, и мои благіе инстинкты вынуждаютъ меня отринуть всѣ современныя системы, которыя гордо красуются подъ различными именами. Я не нахожу ни одной теоріи, которая относилась бы съ подобающимъ уваженіемъ къ современной свободѣ и въ которой бы не прокрадывался атеизмъ и страсть къ господству». Идеальный общественный строй рисуется ей въ видѣ церкви, основанной на мистической религіи.

Главнымъ образомъ подъ вліяніемъ Жоржъ-Зандъ соціальный романъ въ 40-хъ годахъ дѣлается излюбленной литературной формою.

Сама великая писательница, въ концѣ своей жизни, уклонилась отъ этого намѣченнаго ею же русла. Разочарованія въ близости наступленія новой жизни, тяжелыя впечатлѣнія 1848 года повернули ея творчество къ природѣ и деревнѣ, дальше отъ общественной борьбы. Ея произведенія, ея герои пріобрѣтаютъ все болѣе идеальныя очертанія. Автору хочется вернуть себѣ и другимъ «покой невинности и грезъ». Жоржъ-Зандъ писала: «въ тѣ дни, когда зло приходитъ вслѣдствіе взаимнаго непониманія и ненависти между людьми, призваніе художника состоитъ въ томъ, чтобы прославлять кротость, взаимное довѣріе, дружбу и напоминать людямъ, зачерствѣлымъ или павшимъ духомъ, о томъ, что чистота нравовъ, нѣжность чувствъ и первобытная откровенность все еще живутъ или могутъ жить на свѣтѣ. Не въ прямыхъ намекахъ на совершающіяся бѣдствія, не въ призывѣ и безъ того волнующихся страстей заключается путь къ спасенію: нѣжная пѣснь, звукъ деревенской свирѣли, сказка, убаюкивающая ребятъ безъ страха и страданія, будутъ болѣе дѣйствительны, чѣмъ изображеніе дѣйствительныхъ золъ, раскрашенное густыми красками преувеличеннаго вымысла».

Уходя отъ жизни, она оставила въ ней крупный слѣдъ. Ея творчество не рѣшало соціальнаго вопроса, но будило общество, направляло его вниманіе въ эту сторону. Романтизмъ, исчерпавъ себя, распадался; реакція вызывала реакцію, какъ обратный токъ и возвращеніе къ старымъ кумирамъ; гроза подымавшагося соціальнаго вопроса окрасила реализмъ и придала ему сгущенный

соціальный оттѣнокъ. Переходная эпоха кончилась, и литература надолго, съ небольшими отклоненіями, потекла по одному руслу. Такъ создался и главный форватеръ нашей новѣйшей литературы. На западныхъ, главнымъ образомъ философскихъ, литературныхъ и утопическихъ вліяніяхъ, росъ, крѣпъ и закалялся нашъ идеализмъ, въ постоянныхъ стычкахъ и треніяхъ съ тяжелыми, неприглядными, часто трагическими условіями тогдашней русской жизни.

Наши «идеалисты 30-хъ годовъ» въ общемъ сильно отличаются отъ поколѣнія декабристовъ, гвардейской либеральной молодежи начала XIX в., которая, по словамъ Пушкина, устанавливала моду на «строгость правилъ и политическую экономію», являлась «на балъ, не снимая шпаги», такъ какъ «неприлично было танцовать, и некогда заниматься дамами».

Они не служатъ въ военной службѣ; большинство прямо изъ деревенскаго родительскаго дома попадаетъ прямо въ университетъ или университетскій благородный пансіонъ. Съ собой они привозятъ висѣвшее тогда въ воздухѣ романтическое томленіе, возбужденный умственный интересъ — и усвоенныя съ дѣтства предразсудки, традиціи и предубѣжденія. Дворянская культура, помѣщичья идеологія были еще тогда крѣпки, нерушимы; онѣ отличались страшною притягательною силою и для разночинцевъ, вслѣдствіе образованія и благопріятнаго стеченія обстоятельствъ всплывавшихъ на общественную поверхность (Никитенко, Погодинъ, Гончаровъ и другіе). Ихъ отрицательныя стороны (барственная изнѣженность, мечтательная нежизнеспособность, неуваженіе къ труду и представителямъ другихъ классовъ) поддерживались вліяніемъ семей и только въ отдѣльныхъ случаяхъ парализовались мощными вліяніями западной мысли, перерабатывались въ горнилѣ идеализма. «Плебей» Бѣлинскій, отличавшійся большою упругостью личности, не поддался давленію окружавшей его среды почти совсѣмъ; Тургенева въ значительной степени спасъ отъ этого давившій его дѣтство и молодость семейный деспотизмъ, Герцена — незаконнорожденность, Некрасова — жизнь въ «петербургскихъ углахъ», голодъ и холодъ его юности. Изъ нижнихъ и среднихъ слоевъ поднимается все больше интеллигентныхъ элементовъ; выраждавшаяся дворянская культура не могла уже ихъ ассимилировать, и интелигенція наша все больше и больше демократизируется; декабристы, идеалисты 30-хъ годовъ, петрашевцы, «кающіеся дворяне», «реалисты» и «нигилисты» — вотъ

главные этапы, черезъ которые прошло развитіе нашей общественности мысли до 70-хъ годовъ прошлаго вѣка.

Въ 30-хъ годахъ отрѣшенный отъ жизни идеализмъ былъ господствующимъ явленіемъ. Только часть столичной, главнымъ образомъ, молодежи въ извѣстной мѣрѣ была затронута отголосками движенія декабристовъ и свободолюбивымъ идеализмомъ Шиллера (московскіе кружки съ радикальнымъ оттѣнкомъ Сунгурова, Герцена и Огарева). Остальные — всецѣло были во власти нѣмецкой философіи.

Молодыя отзывчивыя души страстно усвоивали несшееся съ каѳедръ Московскаго университета туманное, но красивое и поэтическое ученіе Шеллинга. Позднѣе большинству ихъ пришлось свести какъ-нибудь это ученіе съ вынесеннымъ изъ родныхъ «дворянскихъ гнѣздъ» привычнымъ міровоззрѣніемъ. Славянофильство и было одной изъ такихъ попытокъ, опредѣлившейся послѣ долгихъ метафизическихъ скитаній.

Опредѣленное и стройное міровоззрѣніе, котораго искали, долго не давалось. Въ воздухѣ носились западническія и славянофильскія идеи (вѣрнѣе — ихъ зародыши), сталкиваясь и перекрещиваясь; онѣ мелькаютъ безъ особой послѣдовательности и часто въ неорганическомъ смѣшеніи еще у Карамзина и Грибоѣдова, нѣкоторыхъ декабристовъ, у Гоголя, въ поэзіи Лермонтова и «Литературныхъ мечтаніяхъ» Бѣлинскаго.

Изъ этого хаоса выдѣляется потомъ два далекихъ другъ отъ друга ученія. Такому выдѣленію сильно помогла кружковая жизнь — замѣна общественной жизни, атмосфера осмѣяннаго позднѣе въ «Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда» (и «Рудинѣ») «eines кружка in der Stadt Moskau». Товарищескіе кружки, задававшіеся цѣлями самообразованія, филантропіи, выработки литературнаго вкуса, издательства, зналъ Московскій университетъ и раньше, еще съ половины XVIII в. Теперь они получили большее, общественное значеніе.

Первый кружокъ, состоявшій главнымъ образомъ изъ провинціальной молодежи, очень романтическій по настроенію, — кружокъ Станкевича. Его душой и совѣстью была обаятельная, кристально-чистая личность типичнѣйшаго изъ нашихъ идеалистовъ. Станкевичъ былъ священнымъ знаменемъ для своихъ друзей на всю ихъ жизнь. Съ его отъѣздомъ за границу, въ особенности послѣ его преждевременной смерти, руководящая роль въ кружкѣ переходитъ къ Бакунину, отчасти — къ Бѣлинскому. Члены этого кружка слыхали кое-что о Кантѣ и Фихте, но больше всего увлекаются шеллингіанствомъ, хотя самого Шеллинга знаютъ пока еще до-

вольно плохо. Они глубоко вѣрятъ въ высокое предназначеніе человѣка, связываютъ его судьбу съ міровою жизнью, носятся съ мистическими тайнами музыки и поэзіи и видятъ въ нихъ средство общенія между міромъ реальнымъ и міромъ идеальнымъ, въ который открытъ путь только фантазіи. Они занимаются копаньемъ въ собственной душѣ, анализомъ малѣйшихъ колебаній чувства, движеній ума и воли, говорятъ жарґономъ нѣмецкой идеалистической философіи, сыплютъ цитатами изъ Шиллера и «Фауста» Гёте.

Къ нимъ больше всего приложимы характеристики Герцена и Тургенева, положимъ, окрашенныя позднѣйшими настроеніями и не вездѣ выдерживающія историческую перспективу: романтизмъ били во имя смѣнившаго его реализма, въ идеалистахъ 30-хъ годовъ казнили славянофиловъ 40-хъ.

«Былое и Думы» Герцена даютъ такую картину. Члены кружка гегеліанцевъ «требовали безусловнаго принятія феноменологіи и логики Гегеля, и притомъ по ихъ толкованію. Толковали же они объ нихъ безпрестанно; нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ логики, въ двухъ эстетики, энциклопедіи и пр., который бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи «перехватывающаго духа», принимали за обиды мнѣнія объ «абсолютной личности» и ея «по-себѣ бытіи». Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нѣсколько дней... Молодые философы приняли какой то условный языкъ, они не переводили на русское, а перекладывали цѣликомъ, да еще для большей легкости оставляя всѣ латинскія слова in crudo, давая имъ православныя окончанія и семь русскихъ падежей. Я имѣю право это сказать, потому что, увлеченный тогдашнимъ потокомъ, я самъ писалъ точно такъ же, да еще удивлялся, что извѣстный остротами Перевощиковъ называлъ это «птичьимъ языкомъ». Никто въ тѣ времена не отрекся бы отъ подобной фразы: «конкресцированіе абстрактныхъ идей въ сферѣ пластики представляетъ ту фазу самоищующаго духа, въ которой онъ, опредѣляясь отъ себя, потенцируется изъ естественной имманентности въ гармоническую сферу образнаго сознанія въ красотѣ». Замѣчательно, что тутъ русскія слова... звучатъ иностраннѣе латинскихъ... Рядомъ съ испорченнымъ языкомъ шла другая ошибка, болѣе глубокая. Молодые философы наши испортили себѣ не однѣ фразы, но и пониманье;

отношеніе къ жизни, къ дѣйствительности сдѣлалось школьное книжное; это было то ученое пониманье простыхъ вещей, надъ которымъ такъ геніально смѣялся Гёте въ своемъ разговорѣ Мефистофеля со студентомъ. Все въ самомъ дѣлѣ непосредственное всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной, алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобъ отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмелькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, а опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ «гемюту» или къ «трагическому въ сердцѣ»... Всѣ эти недостатки «кружковщины» еще сильнѣе (и несправедливѣе) подчеркиваютъ желчныя рѣчи «Гамлета Щигровскаго уѣзда» и первые отзывы Лежнева о роли Рудина въ университетскихъ кружкахъ. Они нисколько не умаляютъ ея глубокаго историческаго значенія.

Главою другого кружка, съ политическою окраскою, былъ Герценъ. Тамъ не умирала память декабристовъ, бродили западныя политическія и утопическія идеи. Самъ Герценъ впослѣдствіи такъ характеризовалъ раннее настроеніе своего кружка: «идеи были смутны. Мы проповѣдывали декабристовъ и французскую революцію, потомъ проповѣдывали сенсимонизмъ и ту же революцію, мы проповѣдывали конституцію и республику, чтеніе политическихъ книгъ и сосредоточеніе силъ въ одномъ обществѣ. Но пуще всего проповѣдывали ненависть ко всякому произволу». Кружки не особенно ладили другъ съ другомъ: по словамъ Герцена, «имъ не нравилось наше исключительное политическое направленіе, намъ не нравилось ихъ исключительно умозрительное; они насъ считали фрондерами и французами, мы ихъ считали сантименталистами и нѣмцами».

Судьба затѣмъ всюду разбросала, во вторую половину 30-хъ годовъ, эту молодежь: кто попалъ въ ссылку, кто уѣхалъ за границу, уже нѣсколько тронутый гегеліанствомъ.

Для Германіи того времени господство шеллингіанства было уже фактомъ прошлаго. На смѣну ему побѣдоносно явилось гегеліанство, которое быстро раскололось на три теченія; возвратившійся на каѳедру Шеллингъ безъ особаго успѣха пытался противопоста-

вить ему свое «положительное» ученіе. Москвичъ-гегеліанецъ 2-ой половины 30-хъ годовъ попадалъ въ водоворотъ мнѣній. Для него гегеліанство было еще новинкой; въ Германіи его власть надъ умами уже сильно поколебалась, подъ напоромъ реализма и соціальнаго движенія. Все было въ броженіи, носило переходный характеръ. Приходилось за собственный страхъ вырабатывать себѣ систему взглядовъ, потому что уже сложилась привычка къ цѣльности міровоззрѣнія. И. Кирѣевскій, впослѣдствіи одинъ изъ столповъ славянофильства, говорилъ про эту промежуточную эпоху: «было время, и не очень давно, когда для мыслящаго человѣка возможно было составить себѣ твердое и опредѣленное мнѣніе единственно изъ сочувствія съ явленіями иностранныхъ словесностей. Были полныя, цѣлыя, законченныя системы. Теперь ихъ нѣтъ, — по крайней мѣрѣ, нѣтъ общепринятыхъ, безусловно господствующихъ. Чтобы построить изъ противорѣчащихъ мыслей свое полное воззрѣніе, надобно выбирать, составлять самому, искать, сомнѣваться, восходить до самаго источника, изъ котораго истекаетъ убѣжденіе, т.-е. или навсегда остаться съ колеблющимися мнѣніями, или напередъ принести съ собою уже готовое, не изъ литературы почерпнутое убѣжденіе. Составить убѣжденіе изъ различныхъ системъ нельзя, какъ вообще нельзя составить ничего живого. Живое раждается только изъ жизни». Убѣжденія и черпались будущими славянофилами изъ традиціонныхъ взглядовъ «дворянскихъ гнѣздъ», пропущенныхъ сквозь призму нѣмецкой идеалистической философіи.

Большая часть этой молодежи воспиталась въ старыхъ помѣщичьихъ усадьбахъ. Когда она заговорила позднѣе о До-петровскомъ идеалѣ жизни, то ей легко можно было доказать, что ничего подобнаго не было въ До-петровской Руси, что живой и конкретный источникъ ихъ міровоззрѣнія — въ ихъ «семейной хроникѣ» и «дѣтскихъ годахъ».

Не ослабленное наукой и впечатлѣніями западной жизни, впитывая въ себя обрывки разныхъ философскихъ системъ, это «убѣжденіе» и выросло къ началу 40-хъ годовъ въ славянофильское ученіе.

Въ концѣ 30-хъ годовъ молодежь, набравшаяся новыхъ свѣдѣній объ умственныхъ движеніяхъ Запада, отъ усвоенія чужихъ взглядовъ перешла къ самостоятельнымъ теоретическимъ построеніямъ, кристаллизаціи назрѣвшей мысли, разграниченію мнѣній.

Члены кружковъ опять собрались въ Москвѣ и на время сошлись за изученіемъ Гегеля и разработкой его философіи. Будущіе славянофилы пробовали примирить ее съ усвоеннымъ уже ран-

нимъ и позднимъ шеллингіанствомъ; имъ было больше по душѣ правое гегеліанство. Будущіе западники все болѣе склонялись къ лѣвому гегеліанству, накопляя различія, которыя къ половинѣ 40-хъ годовъ привели ихъ къ раздѣленію на правое и лѣвое крыло. При оживленныхъ спорахъ таившіяся противорѣчія темпераментовъ, взглядовъ, настроеній, сдерживаемыя первоначально дружбой, вскрывались все болѣе и болѣе. Кружокъ гегеліанцевъ, объединившій на время друзей Станкевича и Герцена, началъ распадаться, и изъ него выдѣлились славянофилы и западники (правые и лѣвые).

Въ славянофильскомъ ученіи слились — основная патріотически-консервативная закваска и философскіе взгляды Фихте, Шеллинга (философія тождества и положительная) и Гегеля. Оно выдвинуло чувство и религію, рѣзко противоположило западный и восточной міръ — не въ пользу перваго, обѣщало Россіи великую всемірно-историческую роль объединенія и примиренія, вдохнуло новую жизнь въ оффиціальную формулу: «православіе, самодержавіе и народность», своеобразно слило идею національности съ идеей ея всемірно-историческаго назначенія. Отсюда культъ народа и древней Руси, ненависть къ Петру Великому, какъ врагу національной самобытности, виновнику раскола между народомъ и высшими классами, отравителю Россіи ядомъ европейской культуры, «гнилого Запада». Нѣмецкій источникъ нѣкоторыхъ идей славянофильства не смущалъ его послѣдователей. И. Кирѣевскій писалъ: «философія нѣмецкая въ совокупности съ тѣмъ развитіемъ, которое она получила въ послѣдней системѣ Шеллинга, можетъ служить у насъ самою удобною ступенью мышленія отъ заимствованныхъ системъ къ любомудрію самостоятельному, соотвѣтствующему основнымъ началамъ древне-русской образованности и могущему подчинить раздвоенную образованность Запада цѣльному сознанію вѣрующаго разума».

На немъ отражается, посредственно и непосредственно, многія явленія старой и новой русской жизни: вѣковая дворянская психологія, «оффиціальная народность» съ ея «славой, купленной кровью» и «полнымъ гордаго довѣрія покоемъ» Россіи, культъ Москвы («третьяго Рима» древней Руси), отголоски впечатлѣній Отечественной войны, русскія отраженія кризиса западной мысли, сдвинувшейся съ прежнихъ путей и искавшей новыхъ, идеи романтизма о національной самобытности, броженіе философской мысли, воспитанной на идеализмѣ, патріотическія традиціи, часто носившія отпечатокъ шовинизма, просыпавшаяся вѣра общества въ свои силы.

Гордому и дерзкому разуму оно противопоставило чувство, религію, какъ основу душевной жизни и человѣческой цивилизаціи; у Чаадаева взяло его идею полной незасоренности русской психики. Россія, славянство — особый культурный типъ, діаметрально противоположный западному, сухому, разсудочному, эгоистическому, пошло-практическому.

Тютчевъ писалъ:

Умомъ Россіи не понять,
Аршиномъ общимъ не измѣрить:
У ней особенная стать, —
Въ Россію можно только вѣрить.

Для Константина Аксакова Россія — «земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на европейскія государства и страны». Слѣдовательно, вся ея исторія должна складываться своеобразно, и всѣ попытки сдвинуть ее на европейскіе рельсы — преступленіе противъ народа. У насъ нѣтъ западныхъ «недостатка внутренней правды», внѣшней законности, принудительной государственности; на Западѣ все — насиліе, завоеваніе, точныя юридическія нормы, взаимное недовѣріе, борьба, фраза; у насъ — любовь, «міръ», артель, третейскій судъ, любовь, «соборы», простота и искренность. Царю — вся сила власти, народу — вся сила мнѣнія.

Широки натуры русскія;
Нашей правды идеалъ
Не влѣзаетъ въ формы узкія
Юридическихъ началъ.

Наша исторія «можетъ читаться, какъ житія святыхъ». Послѣ ея уклоненія къ Западу «пора домой», къ обновленію землей и народной жизнью.

Построенія славянофильства часто красивы, иногда остроумны, но исторической критики они не выдерживаютъ. Послѣдующая наука легко расшатала ихъ устои, доказала ихъ несостоятельность, призрачность антитезы Запада и Востока, ошибочность взглядовъ на Петра, задачи и характеръ славянства, разрушила неоправдываемую фактами идеализацію славянскихъ началъ.

Россія — въ Европѣ и часть Европы; европейская культура — культура общечеловѣческая, слѣдовательно, обязательная и для Россіи, въ извѣстной мѣрѣ.

Наибольшую цѣльность и стройность, хотя и въ смягченной формѣ, славянофильское ученіе получило въ формулировкѣ Ивана Кирѣевскаго. Она сводится къ слѣдующимъ положеніямъ: 1) разнообразныя историческія причины придали мышленію, наукѣ и даже

жизни на Западѣ односторонне-раціоналистическое направленіе; 2) односторонняя логическая мысль Запада, достигнувъ апогея своего развитія, пришла къ сознанію своей несостоятельности, общей неудовлетворенности, заставляющей лучшіе умы искать новыхъ путей, высшихъ началъ; 3) православіе сохранило и развило это высшее начало въ русскомъ народѣ, потому что оно всегда выдвигало на первый планъ внутреннюю цѣльность человѣка и придало такой цѣлостный характеръ всей русской жизни до конца XV в.; 4) образованное наше общество, увлекшееся раціонализмомъ Запада, утратило эту цѣльность и тѣмъ вырыло пропасть между собою и народомъ, въ душѣ котораго до сихъ поръ хранится высшее начало, хотя и затемненное, искаженное, въ видѣ зародышей и намековъ; 5) Россія должна вернуться къ этому началу, не отказываясь отъ западной образованности и не мечтая о воскрешеніи отжившаго и умершаго, отрѣшившись отъ узости и исключительности западнаго просвѣщенія и сознавая, что западная и русская жизнь дополняютъ другъ друга: намъ нечего отказываться отъ завоеваній западной мысли, но мы должны ихъ и всю нашу жизнь подчинить высшему началу, дремлющему въ нашемъ народѣ и съ наибольшею полнотой воплощенному въ православіи.

Такъ примиряетъ Кирѣевскій Западъ и Востокъ. Другіе шли значительно дальше его и всячески старались откреститься отъ «гнилого Запада».

Даже сильному уму И. Кирѣевскаго не удалось уничтожить коренного противорѣчія, которое лежитъ въ основѣ славянофильскаго ученія и которое, будучи мало замѣтно вначалѣ, должно было вскрыться впослѣдствіи, при дальнѣйшемъ развитіи этого ученія. Славянофильство строилось на двухъ идеяхъ — національности и ея всемірно-историческаго предназначенія.

Исходя изъ однѣхъ и тѣхъ же философскихъ предпосылокъ, славянофильство и западничество разошлось по разнымъ путямъ: первое выводило изъ нихъ и на основаніи ихъ свои понятія о самобытныхъ свойствахъ русскаго народа и объясняло посредствомъ ихъ русское прошлое, второе — выводило изъ нихъ же общечеловѣческіе законы мірового развитія и строило на нихъ свои идеалы русскаго будущаго. Метафизическая основа скоро была разрушена послѣдующимъ движеніемъ мысли; славянофильство и западничество пытались перестроить свое міровоззрѣніе на новыхъ началахъ, найти для себя точку опоры въ условіяхъ дѣйствительной жизни, и первое переродилось въ народничество, второе — въ демократическій либерализмъ, давая иногда очень сложныя соединенія и

новообразованія. Разложеніе и перерожденіе славянофильства сопровождались раздѣленіемъ его на двѣ вѣтви—правую и лѣвую, которыя далеко разошлись другъ отъ друга. Каждая изъ нихъ взяла на себя дальнѣйшее развитіе одной изъ основныхъ идей первоначальнаго ученія. Идея національности привела къ крайностямъ «охранительнаго» направленія и окончательно стерла грань, отдѣлявшую старое славянофильство отъ «оффиціальной народности»; идея русскаго мессіанизма достигла высшаго выраженія въ системѣ Вл. Серг. Соловьева и славянофильствующей мистикѣ Достоевскаго.

Старые славянофилы, какъ гегеліанцы, считали всемірную исторію постепеннымъ развитіемъ и обнаруженіемъ въ мірѣ Абсолютнаго, Россіи и славянству предсказывали заключительную роль въ этомъ процессѣ—замѣны сухой логики чувствомъ, мертваго матеріализма и эгоизма—живымъ духовнымъ началомъ, любовью, разсудочнаго католицизма и протестантизма—мистическимъ православіемъ, борьбы интересовъ, развитія юридическихъ нормъ—общиной, «міромъ», артелью, основанными на любви. Основныя свойства русскаго народнаго духа должны опредѣлить и всемірно-историческую задачу Россіи. Національный и всемірно-историческій элементы были одинаково дороги старому славянофильству, и трудно сказать, цѣнило ли оно православіе и общину, только какъ основныя особенности русской народности, или такъ высоко ставило русскій народъ только потому, что онъ былъ хранителемъ универсальныхъ началъ православія и общины. Но скоро должно было обнаружиться, что идея всемірно-историческая и идея народности не покрываютъ другъ друга: не всѣ народы и не все въ отдѣльномъ народѣ можетъ быть подведено подъ этапы развитія Абсолютнаго духа; народы, сыгравшіе всемірно-историческую роль, не могли существовать только для этой временной роли—иначе ихъ дальнѣйшее существованіе являлось безсмысленнымъ. Явились попытки дополненій и поправокъ къ старымъ теоріямъ (Н. Данилевскаго, К. Леонтьева), которыя выродили славянофильскую идею народности въ теорію національной исключительности, реакціоннаго обскурантизма, узкой, мертвящей государственности. Такъ создалось правое крыло славянофильства, слившееся съ общимъ потокомъ реакціи.

Другое движеніе пошло отъ идеи мірового значенія православія. Для Ивана Аксакова русская народность—«залогъ новыхъ началъ, полнѣйшаго жизненнаго выраженія общечеловѣческой истины». Его бывшій единомышленникъ Кошелевъ возражалъ ему:

«безъ православія наша народность — дрянь. Съ православіемъ имѣетъ міровое значеніе». Для Достоевскаго «стать настоящимъ русскимъ, стать вполнѣ русскимъ... значитъ только стать братомъ всѣхъ людей, всечеловѣкомъ». Въ знаменитой своей рѣчи во время Пушкинскихъ торжествъ 1880 г. онъ говорилъ: «впослѣдствіи — я вѣрю въ это — мы, т.-е., конечно, не мы, а будущіе, грядущіе русскіе люди поймутъ уже всѣ до единаго, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно значить — внести примиреніе въ европейскія противорѣчія уже окончательно, указать исходъ европейской точкѣ въ своей русской душѣ всечеловѣчной и всесоединяющей, вмѣстить въ нее съ братскою любовью всѣхъ нашихъ братьевъ, а въ концѣ концовъ, можетъ быть, и изречь окончательное слово великой общей гармоніи, братскаго окончательнаго согласія всѣхъ племенъ по Христову евангельскому закону».

Такимъ образомъ, славянофильская идея религіозной всемірно-исторической роли русскаго народа привела къ новому построенію: цѣль историческаго процесса — братское единеніе христіанъ во всемірной церкви, средство — всеобъемлющія, всечеловѣческія свойства русской души. Въ соединеніи съ основными идеями ученія Чаадаева это построеніе дало своеобразную систему Вл. С. Соловьева.

Въ основѣ міра, училъ этотъ философъ, лежитъ Божественное начало, отличное отъ міра и троичное: въ Божественной природѣ три проявленія — бытіе, дѣйствіе и сознаніе. Полнота единой Божественной природы заключаетъ въ себѣ и извѣстный противобожественный элементъ множественности, безформеннаго, безобразнаго и безпорядочнаго хаоса, сдерживаемаго однако Божіимъ всемогуществомъ. Божество не можетъ ограничиться однимъ подавленіемъ хаоса. Чтобы «имѣть право окончательно побѣдить хаосъ и свести его къ вѣчному небытію», Оно должно показать, кромѣ силы, и Свою правоту и благость, — перестаетъ подавлять въ Себѣ хаосъ — возникаетъ міръ, какъ нѣчто Ему противоположное. Цѣль созданія міра — уничтожить противоположность міра и Бога. До его появленія Богъ былъ всѣмъ; въ концѣ мірового развитія все должно сдѣлаться Богомъ. Исторія міра состоитъ въ постепенномъ проникновеніи его Божественнымъ троичнымъ началомъ, во введеніи въ него механическаго единства — всемірнаго тяготѣнія, динамическаго единства — невѣсомыхъ физическихъ силъ, органическаго единства — жизненной силы. Хаосъ сталъ Космосомъ, міромъ устроеннымъ. Въ человѣкѣ твореніе свободно и взаимно, совершеннымъ образомъ, соединяется съ Божествомъ: «посредникъ между

небомъ и землей, человѣкъ предназначается быть всемірнымъ Мессіей, который спасетъ міръ отъ хаоса, соединивъ его съ Богомъ». Троичность воплощается и въ человѣчествѣ — мужчинѣ, женщинѣ и обществѣ. Настоящее человѣчество есть только прообразъ, зародышъ будущаго Богочеловѣчества. «Естественное человѣчество» постепенно проникается Божественнымъ началомъ во всемірной исторіи; явились Богочеловѣкъ, Богоматерь, Церковь. Послѣ Христа задачу полнаго осуществленія идеи Богочеловѣчества взяла на себя Церковь. Для этого она должна перестроить мірское общество на христіанскихъ началахъ, при содѣйствіи государства, ей подчиненнаго. Христіанство уже осуществило подчиненіе государства Церкви — въ папствѣ: папство и должно быть средоточіемъ всемірной Церкви. «Историческое предназначеніе Россіи состоитъ въ томъ, чтобы дать всемірной церкви политическую власть, необходимую ей для спасенія и возрожденія Европы и міра». Осуществленіе принципа Богочеловѣчества на землѣ, выполненіе всемірно-исторической миссіи русскаго народа можетъ дать только союзъ русскаго царя и римскаго папы.

Какъ правые эпигоны славянофильства пожертвовали народностью — государственности, такъ лѣвые православіемъ — всечеловѣчеству. Отъ стараго славянофильства ничего, собственно, не осталось, и его обломки погибли въ волнахъ реакціи и дебряхъ мистики.

При самомъ возникновеніи славянофильству съ трудомъ приходилось отграничиваться отъ опаснаго сосѣдства — «офиціальной народности», съ которою оно совпадало во внѣшнихъ признакахъ, въ девизѣ, различно понимаемомъ. У обоихъ было на знамени: «православіе, самодержавіе и народность», но за этими понятіями у славянофиловъ и представителей «офиціальной народности» (Уваровъ, Погодинъ, Шевыревъ) было діаметрально противоположное содержаніе. Первые видѣли въ православіи свободное религіозное самоопредѣленіе, вторые — оправданіе и скрѣпу сложившагося общественнаго порядка вплоть до крѣпостного права и мертваго бюрократизма; для первыхъ власть должна было основываться на любви и народномъ мнѣніи, для вторыхъ — на подавленіи всякой самодѣятельности, свободной мысли, независимаго чувства; первые хотѣли расширить народность до міра, вторые — міръ затиснуть въ колодки бюрократизма и крѣпостничества, будто бы непосредственныхъ результатовъ самаго склада русской народности, чуждой «движенія впередъ», патріархальной и «смиренной». Славянофилы не подписались бы подъ горделивой фразой гр. Бенкендорфа: «про-

шедшее Россіи прекрасно, настоящее ея болѣе, чѣмъ великолѣпно, что касается будущаго, то оно выше всего, что можетъ себѣ представить самое пылкое воображеніе». Они знали о «неправдѣ черной» судовъ, печальномъ положеніи народа, разлагающемъ вліяніи бюрократизма — о всемъ томъ, что привело къ разгрому Крымской кампаніи. Они часто поднимали голосъ за свободу мнѣнія, мысли и слова — не даромъ тогдашнія власти преслѣдовали ихъ сильнѣе, чѣмъ западниковъ: общность терминологіи какъ будто сильнѣе подчеркивала предполагаемую измѣну основному содержанію терминовъ и дѣлала самое движеніе болѣе опаснымъ.

Преслѣдованія приводили къ сближенію; когда они ослабѣли, съ началомъ новаго царствованія, процессъ разъединенія, распадъ пошелъ ускореннымъ темпомъ, и славянофильство быстро исчерпало самого себя, расчистивъ дорогу для новыхъ общественныхъ движеній.

Приблизительно та же судьба постигла и западничество.

Какъ среднее по существу міровоззрѣніе, оно не имѣло строго опредѣленныхъ точекъ зрѣнія: между западничествомъ Герцена и Грановскаго, Тургенева и Бакунина не такъ уже много точекъ соприкосновенія. Западная культура была слишкомъ сложна, «общечеловѣческіе законы» — растяжимы. Герцена и Бѣлинскаго тянетъ къ лѣвому гегеліанству, матеріализму, французскому утопизму, Бакунина — къ федералистической анархіи, Тургеневъ, съ нѣкоторыми колебаніями, — «постепеновецъ» и «либералъ въ англійскомъ, династическомъ смыслѣ слова»; у Грановскаго новые философскіе и политическіе взгляды довольно мирно уживаются съ традиціонными религіозными воззрѣніями. Почти одновременно съ зарожденіемъ западничества въ немъ назрѣваетъ внутренній расколъ; около половины 40-хъ годовъ расходятся Герценъ и Грановскій, сохраняя уваженіе другъ къ другу, и все болѣе теряя общую почву міровоззрѣнія; Тургеневу претитъ Бакунинъ не только, какъ личность, но и какъ дѣятель, мыслитель, и многія его черты онъ воплотилъ въ Рудинѣ первой половины романа; позднѣе онъ принципіально разойдется съ Герценомъ и Огаревымъ. Среди славянофиловъ было больше силы внутренняго сцѣпленія, и ни одинъ изъ нихъ не дошелъ до такого полнаго отказа отъ взглядовъ своей молодости, какъ это сдѣлалъ западникъ Катковъ. Разочарованія 1848 года сдѣлали западника Герцена своеобразнымъ славянофиломъ: въ русскомъ народѣ съ его общиной, «міромъ», артелью онъ увидѣлъ грядущее освобожденіе Европы, міра отъ всепоглощающаго мѣщанства, сдѣлался родоначальникомъ «революціоннаго народни-

чества». Наиболѣе характерныя особенности западничества, взятаго въ массѣ, — нѣсколько расплывчатое и отвлеченное, общее гуманитарное настроеніе, идея личности и ея правъ, европейской цивилизаціи, какъ общечеловѣческой. Имъ недоставало опредѣленной, жизненной практической программы, которая все же была у славянофиловъ, — непосредственной связи съ землей, народомъ: не даромъ Герценъ предсказывалъ, что «западная либеральная партія только тогда получитъ силу и народную поддержку, когда овладѣетъ знаменемъ славянофильства». Позднѣе такъ и случилось, хотя, произнося эти слова, Герценъ еще не предчувствовалъ, что самъ онъ въ извѣстной степени примкнетъ къ славянофильству.

Воюя съ славянофилами въ началѣ 40-хъ годовъ, правые и лѣвые западники, либералы и радикалы, все болѣе и болѣе расходились другъ съ другомъ и на политической, и на религіозно-философской почвѣ.

Грановскій, религіозный безъ фанатизма и безъ ортодоксальности, стоявшій на сторонѣ развитія общественнаго строя въ смыслѣ большей свободы личности, но въ предѣлахъ практически осуществимаго въ ближайшемъ будущемъ, не удовлетворявшій многихъ своею умѣренностью, — не могъ простить Герцену его политическаго и религіозно-нравственнаго радикализма. Сила молодой дружбы, личный характеръ и нравственное обаяніе Грановскаго нѣсколько лѣтъ задерживали и сглаживали разладъ, но затѣмъ накопилось слишкомъ много недоразумѣній, и въ 1846—1847 гг. произошелъ тягостный для обѣихъ сторонъ разрывъ, доставившій имъ много душевной боли. Нелегко было старымъ друзьямъ по кружку Станкевича разойтись во враждебные славянофильскій и западническій лагерь; еще тяжелѣе и больнѣе было отдѣленіе праваго западничества отъ лѣваго — наканунѣ его перерожденія въ новыя формы общественной мысли, радикализмъ и либерализмъ новѣйшей формаціи, безъ метафизической и утопической окраски.

И всѣ они, славянофилы и западники, правые и лѣвые, вернули нашу литературу въ соціальное русло, отъ котораго ее отклонила реакція — русло, углубленное «раціоналистическимъ Западомъ» и «религіознымъ Востокомъ». Никогда еще доселѣ наше общество не достигало такой ясности и глубины соціальнаго сознанія, наша литература — такого широкаго общественнаго значенія: въ литературѣ, какъ въ фокусѣ, соединились разсѣянные лучи русскаго генія — его исканія правды, его гуманность, высота нравственныхъ требованій, простота изящества и изящество простоты, честность слова и мысли. И она сдѣлалась самымъ дорогимъ на-

шимъ національнымъ достояніемъ, заставляла уваж
и тогда, когда за другое уважать насъ не приход
щій, затравленный жизнью, озлобленный Салтыков
сыну одинъ предсмертный завѣтъ: «паче всего лю
ратуру».

Изнемогая отъ физическихъ мученій, одиноче
и болѣе печальныхъ вѣстей изъ Россіи, на предс
Тургеневъ пишетъ свой удивительный гимнъ русс
ликому орудію великой литературы: «во дни со
тягостныхъ раздумій о судьбахъ моей родины, —
поддержка и опора, о великій, могучій, правдив
русскій языкъ! Не будь тебя — какъ не впасть в
видѣ всего, что совершается дома? — Но нельзя
такой языкъ не былъ данъ великому народу!»

Виссаріонъ Григорьевичъ БѢЛИНСКІЙ.

Бѣлинскій — центральная фигура перваго пер
вѣйшей литературы: въ немъ, какъ въ фокусѣ, скр
главные лучи настроеній и стремленій его эпохи.
жались въ общественномъ сознаніи втеченіе долгаго
исключительно сквозь призму его взглядовъ; формул
поэтическіе завѣты Пушкина и Гоголя легли въ
послѣдующаго развитія нашей литературы. Съ поразительною чуткостью, почти никогда его не обманывавшею, онъ уловлялъ и опредѣлялъ молодыя дарованія, по первымъ произведеніямъ схватывалъ ихъ индивидуальный отпечатокъ, — со всею страстностью своей пламенной натуры (друзья недаромъ называли его «неистовымъ Виссаріономъ», «Orlando furioso») разрушалъ обветшавшіе или эфемерные авторитеты нашего «Парнасса». Онъ былъ «крестнымъ отцомъ» въ литературѣ Тургенева и Григоровича, Достоевскаго и Гончарова, Некрасова и Майкова, Герцена и Огарева. Промаховъ въ этомъ отношеніи можно указать, при самой большей придирчивости, немного: слишкомъ высокую оцѣнку произведеній Вельтмана, Даля, Красова и Буткова, несправедливо рѣзкій отзывъ о великомъ украинскомъ поэтѣ Шевченкѣ. Они съ избыткомъ окупаются ниспроверженіемъ такихъ дутыхъ знаменитостей, отравлявшихъ своимъ псевдо-романтизмомъ литературные вкусы читателей, какъ Бенедиктовъ, Кукольникъ, Н. А. Полевой послѣдняго періода, Марлинскій-Бестужевъ

Хоккей. Правила игры. М.-Л.: «Физкультура и спорт». Тип. МПП вост. р-йонов в Мск., 1947. 31 с. 2 черт. (Библ. физ. культуры и спорта при Совете Министров СССР). 50.000 экз. 20 к.
1. СССР. Ком. по делам физ. культуры и спорта. — I. Хоккей.
№ 050 (49-10-53) 53

петербургскаго практицизма, но порицаніе и отрицаніе ихъ понятны. И если вамъ нужно честнаго человѣка, способнаго сострадать болѣзнямъ и несчастіямъ угнетенныхъ, честнаго доктора честнаго слѣдователя, который полѣзъ бы на борьбу,—ищите таковыхъ въ провинціи между послѣдователями Бѣлинскаго».

Такъ высоко, хотя бы и съ оговорками, вызванными принципіальною рознью, оцѣнилъ общественное значеніе Бѣлинскаго честный врагъ.

Какъ онъ вліялъ на молодежь, можно видѣть изъ яркаго разсказа Тургенева.

«Стихотворенія Бенедиктова появились въ 1836 году, маленькой книжечкой, съ неизбѣжной виньеткой на заглавномъ листѣ — какъ теперь ее вижу — и привела въ восхищеніе все общество, всѣхъ литераторовъ, критиковъ — всю молодежь. И я, не хуже другихъ, упивался этими стихотвореніями, зналъ многія наизусть, восторгался «Утесомъ», «Горами» и даже «Матильдой» на жеребцѣ, гордившейся «усѣстомъ красивымъ и плотнымъ». Вотъ, въ одно утро зашелъ ко мнѣ студентъ-товарищъ и съ негодованіемъ сообщилъ мнѣ, что въ кондитерской Беранжэ [1]) появился № «Телескопа» [2]) съ статьей Бѣлинскаго, въ которой этотъ «критиканъ» осмѣливался заносить руку на нашъ общій идолъ, на Бенедиктова. Я немедленно отправился къ Беранжэ, прочелъ всю статью отъ доски до доски — и, разумѣется, также воспылалъ негодованіемъ. Но — странное дѣло! — и во время чтенія, и послѣ, къ собственному моему изумленію и даже досадѣ, что то во мнѣ невольно соглашалось съ «критиканомъ», находило его доводы убѣдительными... неотразимыми. Я стыдился этого, уже точно неожиданнаго впечатлѣнія, я старался заглушить въ себѣ этотъ внутренній голосъ; въ кругу пріятелей я съ бо́льшей еще рѣзкостью отзывался о самомъ Бѣлинскомъ и объ его статьѣ... Но въ глубинѣ души что то продолжало шептать мнѣ, что онъ былъ правъ... Прошло нѣсколько времени — и я уже не читалъ Бенедиктова. Кому же не извѣстно теперь, что мнѣнія, высказанныя тогда Бѣлинскимъ, мнѣнія, казавшіяся дерзкой новизною, — стали всѣми принятыми, общимъ мѣстомъ — «a truism», какъ выражаются англичане? Подъ этотъ приговоръ подписалось потомство, какъ и подъ многіе другіе, произнесенные тѣмъ же судьей». Такъ было потому, что «Бѣлинскій былъ, что у насъ рѣдко, дѣйствительно страстный

---

[1]) Петербургскіе студенты читали въ ней вновь выходившія книжки журналовъ.

[2]) Журналъ Надеждина, въ которомъ сотрудничалъ Бѣлинскій.

и дѣйствительно искренній человѣкъ, способный къ увлеченію беззавѣтному, но исключительно преданный правдѣ, раздражительный, но не самолюбивый, умѣвшій любить и ненавидѣть безкорыстно»... «Бѣлинскій, безспорно, обладалъ главнымъ качествомъ великаго критика; и если въ дѣлѣ науки, знанія ему приходилось заимствовать у товарищей, принимать ихъ слова на вѣру — въ дѣлѣ критики ему не у кого было спрашиваться; напротивъ, другіе слушались его, починъ оставался постоянно за нимъ. Эстетическое чутье было въ немъ почти непогрѣшительно; взглядъ его проникалъ глубоко и никогда не становился туманнымъ. Бѣлинскій не обманывался внѣшностью, обстановкой — не подчинялся никакимъ вліяніямъ и вѣяніямъ; онъ сразу узнавалъ прекрасное и безобразное, истинное и ложное, и съ безтрепетной смѣлостью высказывалъ свой приговоръ — высказывалъ его вполнѣ, безъ урѣзокъ, горячо и сильно, со всей стремительной увѣренностью убѣжденія», «съ алчной жадностью», «стремительнымъ домогательствомъ истины». «Въ немъ была та мощь, которая дается честной и непреклонной мысли». «Бѣлинскій былъ именно тѣмъ, что мы бы рѣшились назвать центральной натурой, т.-е. онъ всѣми своими качествами и недостатками стоялъ близко къ центру, къ самой сути своего народа, а потому самые его недостатки, какъ, напр., его малый запасъ познаній, его неусидчивость и неохота къ медленнымъ трудамъ, получали характеръ какъ бы необходимости, имѣли значеніе историческое».

Такъ же высока и оцѣнка Герцена, рѣзко разошедшагося съ Бѣлинскимъ въ эпоху его увлеченія правымъ гегеліанствомъ и затѣмъ окончательно съ нимъ сблизившагося.

«Я считаю Б-аго однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ лицъ николаевскаго періода. Послѣ либерализма, кой-какъ пережившаго 1825 г. въ Полевомъ, послѣ мрачной статьи Чаадаева, является выстраданное, желчное отрицаніе и страстное вмѣшательство во всѣ вопросы Бѣлинскаго. Въ рядѣ критическихъ статей онъ кстати и не кстати касается всего, вездѣ вѣрный своей ненависти къ авторитетамъ, часто подымаясь до поэтическаго одушевленія. Разбираемая книга служила ему по большей части матеріальной точкой отправленія, на полдорогѣ онъ бросалъ ее и впивался въ какой-нибудь вопросъ. Ему достаточенъ стихъ: «родные люди вотъ какіе» въ «Онѣгинѣ», чтобъ вызвать къ суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношенія родства. Кто не помнитъ его статьи о «Тарантасѣ»[1]) о «Парашѣ» Тургенева, о Державинѣ, о Моча-

[1]) Гр. В. А. Сологуба.

ловѣ и Гамлетѣ? Какая вѣрность своимъ началамъ, какая неустрашимая послѣдовательность, ловкость въ плаваніи между цензурными отмелями и какая смѣлость въ нападкахъ на литературную аристократію, на писателей первыхъ трехъ классовъ, на статсъ-секретарей литературы, готовыхъ всегда взять противника не мытьемъ, такъ катаньемъ, не антикритикой, такъ доносомъ! Бѣлинскій стегалъ ихъ безпощадно, терзая мелкое самолюбіе чопорныхъ, ограниченныхъ творцовъ эклогъ, любителей образованія, благотворительности и нѣжности; онъ отдавалъ на посмѣяніе ихъ дорогія задушевныя мысли, ихъ поэтическія мечтанія, цвѣтущія подъ сѣдинами, ихъ наивность, прикрытую аннинской лентой. Какъ же они за то его и ненавидѣли!... «Статьи Бѣлинскаго судорожно ожидались молодежью въ Москвѣ и Петербургѣ, съ 25 числа каждаго мѣсяца». «Пять разъ хаживали студенты въ кофейныя спрашивать, получены ли «Отечественныя Записки»[1]); тяжелый номеръ рвали изъ рукъ въ руки: «Есть Бѣлинскаго статья?»—«Есть», и она поглощалась съ лихорадочнымъ сочувствіемъ, со смѣхомъ, со спорами... и трехъ-четырехъ вѣрованій, уваженій какъ не бывало... Въ этомъ застѣнчивомъ человѣкѣ, въ этомъ хиломъ тѣлѣ обитала мощная, гладіаторская натура! Да, это былъ сильный боецъ: онъ не умѣлъ проповѣдывать, поучать, ему надобенъ былъ споръ. Безъ возраженій, безъ раздраженія, онъ не хорошо говорилъ, но когда онъ чувствовалъ себя уязвленнымъ, когда касались до его дорогихъ убѣжденій, когда у него начинали дрожать мышцы щекъ и голосъ прерываться, тутъ надобно было его видѣть: онъ бросался на противника барсомъ, онъ рвалъ его на части, дѣлалъ его смѣшнымъ, дѣлалъ его жалкимъ, и по дорогѣ съ необычайной силой, съ необычайной поэзіей развивалъ свою мысль. Споръ оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась изъ горла. Блѣдный, задыхающійся, съ глазами, остановленными на томъ, съ кѣмъ говорилъ, онъ дрожащей рукой поднималъ платокъ ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Какъ я любилъ и какъ жалѣлъ я его въ эти минуты!»

Даже для умѣреннаго и уравновѣшеннаго Гончарова Бѣлинскій—«не критикъ, не публицистъ, не литераторъ только, а трибунъ». «Публичная его трибуна — въ журналѣ; другая, необходимая ему, дополнявшая первую, совершенно свободная, гдѣ онъ былъ нараспашку, это — домашняя трибуна, гдѣ онъ не только

---

[1]) Бѣлинскій перешелъ въ нихъ въ концѣ 30-хъ годовъ.

зналъ, но, такъ сказать, видѣлъ свою силу, повѣрялъ, измѣрялъ ее, любовался ею самъ, глядя, какъ наслаждаются ею другіе».

Самою природою было заложено въ его душу чутье жизни, которое въ бурной романтической окраскѣ выразилось въ его юношеской драмѣ, даже въ правомъ гегеліанствѣ, которое съ высотъ отвлеченнаго идеализма сводило къ дѣйствительности, и особенно въ его позднѣйшей публицистической критикѣ. Съ другой стороны, отдавшись въ концѣ жизни общественной борьбѣ, онъ не отказывался отъ эстетическаго мѣрила, не прощалъ бездарности произведенію изъ-за его симпатичной тенденціи, цѣнилъ Гончарова и Майкова, упругія дарованія которыхъ не хотѣли влиться въ соціальное русло тогдашней русской литературы. Тотъ и другой писатели оставили очень характерныя въ этомъ отношеніи воспоминанія.

Майковъ разсказываетъ: «какъ то на вечерѣ... играли въ карты Бѣлинскій, Гончаровъ, Панаевъ и еще кто то изъ тогдашнихъ литераторовъ. Бѣлинскій и за картами, со свойственнымъ ему жаромъ, проповѣдывалъ свою любимую идею того времени, что искусство есть ложь, праздная и безполезная забава и такъ далѣе». Случайно увидѣвъ смущенное лицо Майкова, «быстрымъ движеніемъ швырнулъ Бѣлинскій свою трубку на полъ, схватилъ обѣими руками за плечи молодого поэта, сильно потрясъ его, какъ бы желая стряхнуть съ него все имъ навѣянное впечатлѣніе, и съ жаромъ вскричалъ: «а вы, Майковъ, вы не слушайте, что я говорю! Вамъ это... избави Богъ!» Въ своихъ «замѣткахъ о личности Бѣлинскаго» Гончаровъ вспоминаетъ: «на меня онъ иногда какъ будто накидывался за то, что у меня не было злости, раздраженія, субъективности. — «Вамъ все равно, попадется мерзавецъ, дуракъ, уродъ, или порядочная, добрая натура, — всѣхъ одинаково рисуете: ни любви, не ненависти ни къ кому!» И это скажетъ (и не разъ говорилъ) съ какою то доброю злостью, а однажды положилъ ласково послѣ этого мнѣ руки на плечи и прибавилъ почти шопотомъ: «а это хорошо, это и нужно, это признакъ художника!» — какъ будто боялся, что его услышатъ и обвинятъ за сочувствіе къ безтенденціозному писателю. Онъ, конечно, отдался бы современному, реальному и утилитарному направленію, но отнюдь не весь и не во всемъ. Искусство, во всей его широтѣ и силѣ, не потеряло бы своей власти надъ нимъ, — и онъ отстоялъ бы его отъ тѣхъ черезчуръ утилитарныхъ условій, въ которыя такъ тѣсно и узко хотятъ вогнать его нѣкоторые слишкомъ исключительные ревнители утилитаризма».

Эстетика Бѣлинскаго, если взять ее въ цѣломъ, не может быть признана цѣльнымъ и опредѣленнымъ ученіемъ. Великій критикъ не чуждъ былъ крайностей и увлеченій, рѣзкихъ колебаній; сливалъ иногда «новыя слова» съ отзвуками уже покинутой системы. Освѣщая, въ общемъ, вѣрно и глубоко лирику и эпос Пушкина, онъ не совсѣмъ правильно истолковалъ его «Борис Годунова», много погрѣшилъ и въ оцѣнкѣ «Горя отъ ума»; увле каясь до самозабвенія Гоголемъ, далъ несправедливо рѣзкій отзыв объ его «Арабескахъ», въ которомъ потомъ каялся передъ авторомъ «съ особенною любовью хочется мнѣ потолковать о милыхъ мнѣ «Арабескахъ», тѣмъ болѣе что я виноватъ передъ ними: во врем оно я съ жестокою запальчивостью изрыгнулъ хулу на ваши в «Арабескахъ» статьи ученаго содержанія, не понимая, что тѣм изрыгаю хулу на духа. Онѣ были тогда для меня слишком просты, а потому и неприступно высоки; притомъ же на мутномъ днѣ самолюбія безсознательно шевелилось желаніе блеснуть безпристрастіемъ».

Западничество, борьба съ славянофилами помѣшали ему проще и глубже подойти къ вопросамъ «старины и народности». Вообще историческій элементъ былъ слабо развитъ въ поколѣніи Бѣлинскаго. Недостаткомъ историческаго чутья грѣшили почти всѣ славянофилы и большинство западниковъ. Эту ошибку поколѣнія въ извѣстной мѣрѣ раздѣлялъ и Бѣлинскій. Въ его взглядахъ на литературу часто проглядывалъ эстетическій аристократизмъ, вызвавшій нѣсколько пренебрежительное отношеніе къ старинной нашей литературѣ и даже народной поэзіи, почти полное невниманіе къ переходнымъ эпохамъ, характернымъ, но слабымъ въ эстетическомъ отношеніи писателямъ, произведеніямъ и пр. Но если захватывавшая Бѣлинскаго идея особенно полно воплощалась въ сочиненіи, онъ могъ дать ему преувеличенную оцѣнку, превознести чрезъ мѣру: такъ было, напр., съ «Бѣдными людьми» Достоевскаго, «Обыкновенной исторіей» Гончарова, «Деревней» и «Антономъ Горемыкой» Григоровича, «Кто виноватъ?» Герцена. Глубокая правдивость Бѣлинскаго подсказывала ему возраженія и ограниченія, которыя не всегда вязались съ общимъ повышеннымъ характеромъ оцѣнки.

Сначала Бѣлинскаго увлекаютъ красота, отрѣшенный отъ жизни идеализмъ, «воплощеніе міровой идеи», позднѣе жизненная правда и гуманная идейность, не переходящая въ грубую тенденціозность, разумный, широкій и свободный дидактизмъ, соціальная закваска литературныхъ произведеній; послѣднія увлеченія не

исключали, однако, возвращенія къ прежнимъ, исключительно эстетическимъ точкамъ зрѣнія, въ результатѣ чего появлялись иногда внутреннія противорѣчія.

Родоначальникомъ исторіи нашей литературы Бѣлинскаго (такъ его часто называютъ) можно было бы назвать только съ большими оговорками. Взаимодѣйствія среды и личности, традиціонныхъ и творческихъ элементовъ въ литературѣ, сравнительно-историческая точка зрѣнія на литературные факты и пр., т.-е. все то, что составляетъ главную основу научной исторіи литературы, были почти совершенно чужды и неизвѣстны всему поколѣнію Бѣлинскаго, вырабатывались или усваивались позднѣйшимъ научнымъ движеніемъ. Въ 50-хъ и 60-хъ годахъ прошлаго вѣка сторонникамъ реальнаго, сравнительно-историческаго метода разработки исторіи литературы пришлось упорно бороться съ отраженіями взглядовъ Бѣлинскаго на «старину и народность» въ учебной и ученой литературѣ.

Такимъ образомъ чисто литературное вліяніе Бѣлинскаго не было цѣльнымъ, не во всѣхъ отношеніяхъ было и положительнымъ. Глубже и цѣльнѣе было его общественное значеніе.

Бѣлинскій не только не затерялся среди талантливаго на рѣдкость поколѣнія, но безъ особаго образованія, безъ знанія иностранныхъ языковъ, которые имѣли тогда очень большое значеніе, занялъ въ немъ одно изъ первыхъ мѣстъ, сдѣлался выразителемъ и проповѣдникомъ его наиболѣе дорогихъ идей, сильно вліялъ на его нравственное воспитаніе, облагораживалъ все, что попадало въ сферу его духовнаго притяженія.

Онъ сдѣлался громкимъ, вліятельнымъ голосомъ поколѣнія Станкевича и Грановскаго, Тургенева и Герцена, Боткина и Огарева, яркимъ выразителемъ всего, что вырабатывалось мыслью нашихъ идеалистическихъ кружковъ. Боткинъ на вопросъ о литературной помощи, которую онъ оказывалъ Бѣлинскому, скромно отвѣчалъ: «то время было то, что нѣмцы называютъ Sturm und Drang Periode. Все въ насъ кипѣло, и все требовало отвѣта и разъясненія; всякій клалъ свою посильную лепту въ общую сокровищницу, которою была критика Бѣлинскаго. Одинъ меньше, другой больше, но какъ теперь разберешь?» По словамъ Гончарова, «Бѣлинскій былъ образованнѣе всѣхъ своихъ сотоварищей (не ученѣе, а именно образованнѣе), за исключеніемъ развѣ одного Герцена, правильная подготовка котораго возводила его образованность на степень учености»; средства Бѣлинскаго были скудныя, пути образованія почти случайные... Знанія, пріобрѣтаемыя въ универси-

тетской аудиторіи, дополнялись въ кругу товарищей, при совмѣстномъ чтеніи и взаимномъ объясненіи оригиналовъ или переводовъ съ иностранныхъ языковъ, наконецъ, среди преній, разборовъ въ юныхъ кружкахъ, въ добываніи съ трудомъ и взаимной передачѣ книгъ... Онъ жилъ, непрерывно учась за перомъ, въ живыхъ бесѣдахъ съ друзьями и почитателями, и роясь въ безднѣ книгъ, проходившихъ черезъ его руки: и такъ до конца жизни!»

Еще важнѣе свидѣтельство ближе стоявшаго къ Бѣлинскому Тургенева: «Не будучи знакомъ ни съ однимъ изъ иностранныхъ языковъ (онъ даже по-французски читалъ съ великимъ трудомъ)[1]) и не находя въ русскихъ книгахъ ничего, что могло бы удовлетворить его пытливость, Бѣлинскій поневолѣ долженъ былъ прибѣгать къ разговорамъ съ друзьями, къ продолжительнымъ толкамъ, сужденіямъ и разспросамъ; и онъ отдавался имъ со всѣмъ лихорадочнымъ жаромъ своей жаждавшей правды души... Изъ кружка своихъ московскихъ друзей онъ вынесъ почти всѣ свои познанія, знакомство съ результатами науки; онъ многимъ былъ имъ обязанъ, они дали ему въ руки орудіе, но никто не могъ сказать ему, какъ дѣйствовать, противъ кого сражаться; онъ какъ будто проводилъ ихъ идеи, исполнялъ ихъ замыслы, — но ни одинъ изъ его товарищей-наставниковъ не былъ въ состояніи замѣнить его, дѣлать его дѣло, потому что онъ превосходилъ ихъ всѣхъ безъ исключенія силой и тонкостью эстетическаго пониманія, почти непогрѣшительнымъ вкусомъ».

Главная сила Бѣлинскаго — въ этой «тонкости пониманія», живомъ чутьѣ дѣйствительности, которое помогло ему раньше многихъ друзей выбраться изъ «плѣнной мыслей раздраженья» — романтизма и утопическаго идеализма, въ цѣльности и кристальной чистотѣ его натуры, въ общемъ облагораживающемъ впечатлѣніи и нравственномъ просвѣтленіи, создаваемыхъ вдумчивымъ изученіемъ его личности и творчества. Исторія личнаго развитія и дѣятельности Бѣлинскаго въ ея цѣломъ — высшее его оправданіе и крупный воспитательный факторъ даже и для современныхъ поколѣній — при всей разницѣ жизненныхъ условій. Ея отдѣльныя звенья не могутъ, конечно, имѣть абсолютнаго значенія. Самъ Бѣлинскій, доходившій въ каждомъ увлеченіи и въ каждой вновь усвоенной теоріи до самыхъ крайнихъ выводовъ, умѣлъ благородно отказы-

---

[1]) Съ большой затратой времени и силъ онъ переводилъ, однако, пользуясь словарями, довольно крупныя вещи съ французскаго, и переводилъ въ общемъ недурно. Нѣмецкаго и англійскаго языковъ Бѣлинскій не зналъ совсѣмъ.

заться отъ своихъ ошибокъ и не боялся упрековъ въ непослѣдовательности, если она была вызвана искренней перемѣной въ убѣжденіяхъ. Онъ писалъ: «что касается до вопроса, сообразна ли со способностью страстнаго, глубокаго убѣжденья способность измѣнять его, онъ давно рѣшенъ для всѣхъ, кто любитъ истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать своимъ самолюбіемъ, откровенно признаваясь, что онъ, какъ и другіе, можетъ ошибаться и заблуждаться. Для того же, чтобы судить, легко ли отдѣлывался такой человѣкъ отъ убѣжденій, которыя уже не удовлетворяли его, или это всегда было для него болѣзненнымъ процессомъ, стоило иму горькихъ разочарованій, тяжелыхъ сомнѣній; для того, чтобы судить объ этомъ — прежде всего надо быть увѣреннымъ въ своемъ безпристрастіи и добросовѣстности».

У Бѣлинскаго доставало мужества не только гласно отказаться отъ своихъ убѣжденій, которыя онъ переросъ, но и открыто казнить себя за нихъ. Герценъ передаетъ одинъ, въ этомъ отношеніи особенно знаменательный фактъ. Онъ разстался съ Бѣлинскимъ въ Москвѣ враждебно изъ-за его увлеченія правымъ гегеліанствомъ. Затѣмъ они свидѣлись въ Петербургѣ, куда В. Г. переѣхалъ для работы въ «Отечественныхъ Запискахъ». «Наша встрѣча,—говоритъ Герценъ,—сначала была холодна, непріятна, натянута, но ни Бѣлинскій, ни я, мы не были большіе дипломаты, — въ продолженіе ничтожнаго разговора я помянулъ статью о Бородинской годовщинѣ[1]). Бѣлинскій вскочилъ съ своего мѣста и, вспыхнувъ въ лицѣ, пренаивно сказалъ мнѣ: «ну, слава Богу, договорились же, а то я съ моимъ глупымъ нравомъ не зналъ, какъ начать... Ваша взяла: три-четыре мѣсяца въ Петербургѣ меня лучше убѣдили, чѣмъ всѣ доводы. Забудемте этотъ вздоръ. Довольно вамъ сказать, что на дняхъ я обѣдалъ у одного знакомаго; тамъ былъ инженерный офицеръ; хозяинъ спросилъ его, хочетъ ли онъ со мной познакомиться. —«Это авторъ статьи о Бородинской годовщинѣ?» спросилъ его на ухо офицеръ. — Да. — «Нѣтъ, покорно благодарю!» сухо отвѣтилъ онъ. «Я слышалъ все это и не могъ вытерпѣть: я горячо пожалъ руку офицеру, и сказалъ ему: вы благородный человѣкъ, я васъ уважаю... Чего же вамъ больше?» Съ этой минуты и до кончины Бѣлинскаго мы шли съ нимъ рука въ руку. Бѣлинскій, какъ слѣдовало ожидать, опрокинулся со всей язвительностью своей рѣчи, со всей неистощимой энергіей на свое прежнее воззрѣніе».

---

[1]) Въ ней особенно отразилось правое гегеліанство Бѣлинскаго.

Идейные переломы всегда переживались Бѣлинскимъ остро и болѣзненно. По словамъ Тургенева, «сомнѣнія его именно мучили его, лишали его сна, пищи, неотступно грызли и жгли его; онъ не позволялъ себѣ забыться и не зналъ усталости; онъ денно и нощно бился надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, которые самъ задавалъ себѣ! Бывало, какъ только я приду къ нему, онъ, исхудалый, больной (съ нимъ сдѣлалось тогда воспаленіе въ легкихъ и чуть не унесло его въ могилу), тотчасъ встанетъ съ дивана и едва слышнымъ голосомъ, безпрестанно кашляя, съ пульсомъ, бившимъ сто разъ въ минуту, съ неровнымъ румянцемъ на щекахъ, начнетъ прерванную наканунѣ бесѣду. Искренность его дѣйствовала на меня, его огонь сообщался и мнѣ, важность предмета меня увлекала; но, поговоривъ часа два, три, я ослабѣвалъ, легкомысліе молодости брало свое, мнѣ хотѣлось отдохнуть, я думалъ о прогулкѣ, объ обѣдѣ; сама жена Бѣлинскаго умоляла и мужа, и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти пренія, напоминала ему предписаніе врача... Но съ Бѣлинскимъ ладить было не легко. — «Мы не рѣшили еще вопроса о существованіи Бога, — сказалъ онъ мнѣ однажды съ горькимъ упрекомъ, — а вы хотите ѣсть!»... Сознаюсь, что, написавъ эти слова, я чуть не вычеркнулъ ихъ при мысли, что они могутъ возбудить улыбку на лицахъ иныхъ изъ моихъ читателей... Но не пришло бы въ голову смѣяться тому, кто самъ бы слышалъ, какъ Бѣлинскій произнесъ эти слова; и если, при воспоминаніи объ этой небоязни смѣшного, улыбка можетъ придти на умъ, то развѣ — улыбка умиленія и удивленія»...

Натура Бѣлинскаго отражалась въ стремительномъ лиризмѣ его статей, который захватывалъ и нравственно подымалъ читателей. Его потокъ то разбѣгался мелкими ручейками, то сжимался въ одну бурную струю. Отвлекаясь отъ исходнаго вопроса, онъ несъ съ собою все то, чѣмъ въ данную минуту жилъ Бѣлинскій, выработавшій особую сноровку умѣло обходить всѣ цензурные пороги и мели, говорить между строкъ. Лиризмъ всегда соединяется у него съ неумолимою послѣдовательностью логическаго развитія главной мысли, которая красною нитью проходитъ черезъ всѣ отступленія и даетъ въ концѣ концовъ цѣлостное впечатлѣніе статьѣ. Эти главныя мысли послѣдняго періода дѣятельности Бѣлинскаго складывались, въ общемъ, въ стройное общественное воззрѣніе.

По словамъ Гончарова, Бѣлинскому, «какъ какому то апостолу отрицанія, пришлось разыграть въ сферѣ критики и публицистики

то же самое, что другимъ способомъ и пріемами, разыгралъ въ искусствѣ Гоголь, и что, иначе уже, конечно, продолжало потомъ и продолжаетъ разыгрываться или доигрываться почти всѣми литературными дѣятелями до сихъ поръ. На подобную начинательную литературную роль нужна была именно такая горячая натура, какъ его, и такіе способы и пріемы, какіе съ успѣхомъ были употреблены имъ: другіе, болѣе мягкіе, покойные, строго обдуманные, не дали бы ему сдѣлать и половины того, что сдѣлалъ онъ, образуя собой, вмѣстѣ съ Гоголемъ, почти всю литературу: надо было разрабатывать едва початую общественную почву. Снаружи казалось все такъ прибрано, казисто; общество выдѣляло изъ себя замѣчательныхъ, даже блестящихъ единицъ въ разныхъ сферахъ дѣятельности, на вершинахъ его лежалъ очень тонкій слой общеевропейской культуры. Но масса общества покоилась въ дремотѣ, жила рутиной и преданіями и не готовилась еще идти навстрѣчу тѣмъ реформамъ, мысль о которыхъ уже зрѣла въ высшихъ правительственныхъ сферахъ и приближеніе которыхъ чуяли и предсказывали нѣкоторые умы, въ томъ числѣ и Бѣлинскаго. Онъ сталъ — или талантъ и вся его натура поставили его во главѣ новаго литературнаго движенія. Беллетристы, изображавшіе въ повѣстяхъ и очеркахъ черты крѣпостного права, были, конечно, этимъ своимъ направленіемъ болѣе всего обязаны его горячей — и словесной, и печатной проповѣди. Понятно, что, соединяя въ себѣ роли публициста, эстетическаго критика и трибуна, провозвѣстника новыхъ грядущихъ началъ общественной жизни, онъ неизбѣжно долженъ былъ впадать въ рѣзкости, иногда крайности, въ лихорадку торопливости, увлеченій, разочарованій, раздраженій, эфемерныхъ симпатій, несправедливыхъ антипатій и недомолвокъ — словомъ, непрерывной борьбы, безъ оглядки назадъ и безъ остановокъ! Кто не оправдаетъ его, вспомня, съ какой умственной и нравственной тьмой надо было бороться, въ какомъ застоѣ покоилась масса, передъ которой онъ проповѣдывалъ! Крѣпостное право лежало не на однихъ крестьянахъ, и ему приходилось еще оспаривать право начальниковъ — распоряжаться по своему произволу участью своихъ подчиненныхъ, родителей — считать дѣтей своей вещественной собственностью и т. д. — и тутъ же рядомъ объяснять тонкость и прелесть Пушкинской и Лермонтовской поэзіи. Безъ него, смѣло можно сказать, и Гоголь не былъ бы въ глазахъ большинства той колоссальной фигурой, въ какую онъ, освѣщенный критикой Бѣлинскаго, сразу сталъ передъ публикой». «Вся сила ударовъ его была направлена не на то, чтобы отстоять прошлое

и существующее, а чтобы завоевать новое, не охранить, а разрушить, чтобы добыть какую-нибудь новую, или расширить уже существующую свободу».

Въ этихъ отзывахъ современниковъ, разныхъ направленій и партій, личность Бѣлинскаго, значеніе его дѣятельности выступаютъ выпуклѣе и ярче, чѣмъ въ самомъ искусномъ анализѣ позднѣйшихъ изслѣдователей, отдѣленныхъ отъ великаго критика временемъ, разницею жизненныхъ условій и общественной психологіи.

Родъ Бѣлинскихъ (собственно, Бѣлынскихъ) — духовнаго происхожденія. Отецъ В. Г., Григорій Никифоровичъ, получилъ фамилію Бѣлинскаго въ семинаріи, отъ названія села Бѣлынь (Пензенской губерніи), въ которомъ священствовалъ его отецъ. Изъ семинаріи онъ перешелъ въ Медико-хирургическую академію и поступилъ затѣмъ врачомъ во флотъ въ Кронштадтѣ, гдѣ и женился на дочери офицера-моряка, изъ бѣдныхъ дворянъ.

Виссаріонъ Григорьевичъ родился 30 мая 1811 г. въ Свеаборгѣ. Пяти лѣтъ его перевезли въ г. Чембаръ (Пензенской губерніи), гдѣ отецъ, оставивъ морскую службу, получилъ должность уѣзднаго лѣкаря.

Болѣзненному, впечатлительному, не по лѣтамъ развитому мальчику досталась нелегкая жизнь. Дѣтство и отрочество познакомили его преждевременно съ горемъ и нуждой, провинціальной жизненной тиной, всевозможными видами насилія и произвола. Въ душѣ его нарастаетъ жгучее чувство протеста, страстное стремленіе къ свѣту и негодованіе на окружающую его со всѣхъ сторонъ пошлость.

Отецъ его безцѣльно и безсильно фрондировалъ противъ окружающаго провинціальнаго общества, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе расходился съ нимъ, терялъ практику, опускался, пилъ, тяжелымъ кошмаромъ висѣлъ надъ всею семьей. Неглупый по натурѣ, онъ пугалъ чембарцевъ идеями Вольтера, которыя умудрялся какъ то мирить съ мистикой Эккартсгаузена и Юнга-Штиллинга, мучилъ домашнихъ своими капризами, недовѣрчивостью и подозрительностью, чванился своимъ новоиспеченнымъ дворянствомъ, полученнымъ за чинъ штабъ-лѣкаря. Близко знавшій окружавшую юнаго Бѣлинскаго обстановку Лажечниковъ даетъ уничтожающую картину жизни чембарскаго Ляпкина-Тяпкина: «общество, которое дитя (В. Г. Бѣлинскій) встрѣчало у отца, были городскіе чиновники, большею частью чины полиціи, съ которыми уѣздный лѣкарь имѣлъ дѣло по своей должности (отъ которой ничего не наживалъ).

Общество это видѣлъ онъ нараспашку, часто за ерофеичемъ и пуншемъ, слышалъ рѣчи, вращавшіяся болѣе всего около частныхъ интересовъ, приправленныхъ цинизмомъ взяточничества и мерзкихъ продѣлокъ, видѣлъ во-очію неправду и черноту, не замаскированныя боязнью гласности, не закрашенныя лоскомъ образованности, видѣлъ купленное за ведерко крестное цѣлованіе понятыхъ и свидѣтельствованіе разнаго рода побоевъ и пр., и пр. Душа его, въ которую пала съ малолѣтства искра Божія, не могла не возмущаться при слушаніи этихъ рѣчей, при видѣ разнаго рода отвратительныхъ сценъ. Съ раннихъ лѣтъ накопилось въ ней ненависть къ обскурантизму, ко всякой неправдѣ, ко всему ложному, въ чемъ бы они ни проявлялись, въ обществѣ или литературѣ. Оттого то его убѣжденія перешли въ его плоть и кровь, слились съ его жизнью. Только съ жизнью онъ покинулъ ихъ. Прибавьте къ безотрадному зрѣлищу гнилого общества, которое окружало его въ малолѣтствѣ, домашнее горе, бѣдность, нужды, вѣчно его преслѣдовавшія, вѣчную борьбу съ ними, и вы поймете, отчего произведенія его иногда переполняются желчью, отчего, въ откровенной бесѣдѣ съ нимъ, изъ наболѣвшей груди его вырывались грозно-обличительныя рѣчи, которыя, казалось, душили его».

Мать его до конца своей жизни сохраняла всѣ пошлыя привычки мелкой офицерской среды: ссорилась постоянно съ мужемъ, попрекала его происхожденіемъ, заводила самыя низменныя дрязги; дѣтей она по-своему любила, но любовь главнымъ образомъ выражалась въ чрезмѣрномъ пичканіи ихъ всякой ѣдой.

Въ Бѣлинскомъ всегда была сильна жажда любви и ласки. Въ родной обстановкѣ удовлетворенія себѣ онъ получить не могъ. Матери онъ не любилъ, отцу многое прощалъ, но духовной связи съ нимъ никогда не чувствовалъ. Изъ университета В. Г. писалъ брату объ отцѣ: «если онъ страдалъ и теперь страдаетъ, это отъ самого себя; онъ есть лютѣйшій врагъ, мучитель и тиранъ самого себя; не люди, а самъ онъ виноватъ въ своихъ несчастіяхъ». Въ воспоминаніяхъ его о раннемъ періодѣ жизни остались только «горестныя обстоятельства ихъ несчастнаго семейства», при которыхъ почти всѣ были мучителями—и жертвами. Мать, «охотница рыскать по кумушкамъ», постоянно бросала его, и нянька, чтобъ ребенокъ «не безпокоилъ ее своими криками», «душила и била» его. Одному товарищу по московскимъ кружкамъ В. Г. признавался: «отецъ меня терпѣть не могъ: ругалъ, унижалъ, придирался, билъ нещадно и площадно—вѣчная ему память. Я въ семействѣ былъ чужой. Можетъ быть—въ этомъ разгадка дикаго явленія: я просто

боюсь людей, общество ужасаетъ меня». «Имѣть отца и мать для того, чтобы смерть ихъ считать моимъ освобожденіемъ, слѣдовательно, не утратою, а скорѣе пріобрѣтеніемъ, хотя и горестнымъ; имѣть брата и сестру, чтобы не понимать, почему и для чего они мнѣ братъ и сестра, и еще брата, чтобы быть привязаннымъ къ нему какимъ то чувствомъ состраданія — все это не слишкомъ утѣшительно».

Одно воспоминаніе только могло выдѣлиться свѣтлымъ пятномъ на этомъ общемъ мрачномъ фонѣ — образъ дѣда-священника, подъ старость сдѣлавшагося аскетомъ и славившагося своею праведною жизнью. При разницѣ содержанія психическія формы внука и дѣда были, повидимому, очень близки другъ другу.

В. Г., послѣ небольшой домашней подготовки (грамотѣ его обучала дочь одного чембарскаго чиновника, латыни — отецъ). поступилъ въ Чембарское уѣздное училище. Ему даровитый юноша былъ обязанъ не многимъ. Хорошія воспоминанія могъ оставить только смотритель. Учителя отличались полною патріархальностью, бросали занятія изъ-за попоекъ и предоставляли ученикамъ полную свободу, въ антрактахъ драли ихъ безпощадно; только тѣ изъ учениковъ выносили что-нибудь изъ школы, кто умѣлъ и хотѣлъ заниматься самостоятельно. В. Г. много читалъ, перечелъ все, что могъ достать изъ русскихъ произведеній XVIII и начала XIX вв., накопилъ большой запасъ литературныхъ свѣдѣній, которыя такъ пригодились ему потомъ. Рано начались и попытки литературнаго творчества. Позднѣе, въ одной изъ своихъ статей, Бѣлинскій не безъ ироніи вспоминалъ: «еще будучи мальчикомъ и ученикомъ уѣзднаго училища, я въ огромныя кипы тетрадей неутомимо, денно и нощно, и безъ всякаго разбора, списывалъ стихотворенія Карамзина, Дмитріева, Сумарокова, Державина, Хераскова, Петрова, Станевича, Богдановича, Максима Невзорова, Крылова и другихъ; я плакалъ, читая «Бѣдную Лизу» и «Марьину Рощу», и вмѣнялъ себѣ въ священную обязанность бродить по полямъ при ночномъ свѣтѣ луны съ понурымъ лицомъ à la Эрастъ Чертополоховъ. Природа мнѣ дала самое чувствительное сердце и сдѣлала меня поэтомъ, ибо, еще будучи ученикомъ уѣзднаго училища, я писалъ баллады и думалъ, что онѣ не хуже балладъ Жуковскаго, не хуже «Раисы» Карамзина, отъ которой я тогда сходилъ съ ума».

Отъ назойливо грубыхъ впечатлѣній дѣйствительности мальчикъ пытается укрыться въ привлекательный міръ сантиментальной грусти и романтической грезы, которыми сильно была проникнута

вся тогдашняя литература. Пока это еще — «болѣзнь вѣка», расплывчатыя, неопредѣленныя, безформенныя чаянія и предвкушенія. Вліяніе Шеллинга (черезъ Надеждина, Павлова и кружокъ Станкевича) позднѣе углубило это «прекраснодушное томленіе», пока еще далекое отъ «полной и высокой жизни духа» — идеалистически-романтическаго міровоззрѣнія.

Лажечниковъ даетъ прекрасный портретъ Бѣлинскаго-мальчика, котораго онъ узналъ во время ревизіи Чембарскаго училища въ 1823 г. Уже тогда онъ производилъ впечатлѣніе исключительное. «Во время дѣлаемаго мною экзамена, — вспоминаетъ Лажечниковъ, «выступилъ передо мною, между прочими учениками, мальчикъ лѣтъ 12, котораго наружность съ перваго взгляда привлекла мое вниманіе. Лобъ его былъ прекрасно развитъ, въ глазахъ свѣтился разумъ не по лѣтамъ; худенькій, маленькій, онъ, между тѣмъ, на лицо казался старѣе, чѣмъ показывалъ его ростъ. Смотрѣлъ онъ серьезно. Такимъ вообразилъ бы я себѣ ученаго доктора между позднѣйшими нашими потомками, когда, по предсказаніямъ науки, измельчаетъ родъ человѣческій. На всѣ дѣлаемые ему вопросы онъ отвѣчалъ такъ скоро, легко, съ такою увѣренностію, будто налеталъ на нихъ, какъ ястребъ на добычу (отчего я тутъ же прозвалъ его ястребенкомъ), и отвѣчалъ, большею частію, своими словами, или прибавляя то, чего не было даже въ казенномъ руководствѣ, — доказательство, что онъ читалъ и книги, не положенныя въ классахъ. Я особенно занялся имъ, бросался съ нимъ отъ одного предмета къ другому, связывая ихъ непрерывною цѣпью, и, признаюсь, старался сбить его. Мальчикъ вышелъ изъ труднаго испытанія съ торжествомъ. Это меня пріятно изумило». Когда Лажечниковъ подарилъ Бѣлинскому послѣ экзамена книжку, съ надписью, тотъ «принялъ книгу безъ особеннаго радостнаго увлеченія, какъ должную себѣ дань, безъ низкихъ поклоновъ, которымъ учатъ бѣдняковъ съ малолѣтства».

Въ 1825 г. В. Г. поступилъ въ Пензенскую гимназію, которую съ трудомъ пытался облагообразить Лажечниковъ. Онъ учился неравномѣрно, занимался больше чтеніемъ и бесѣдами съ прекраснымъ учителемъ естественной исторіи Поповымъ, который давалъ ему новѣйшія книги по литературѣ, журнальныя статьи Полевого и Надеждина (по словамъ Попова ихъ духъ онъ «жадно впитывалъ въ себя») и оказалъ на него сильное вліяніе. За непосѣщеніе классовъ Бѣлинскаго вычеркнули изъ списковъ учащихся, но довѣріе къ его знаніямъ и способностямъ было настолько велико, что ему одно время поручили преподаваніе русскаго языка въ младшемъ классѣ.

Жилось ему въ Пензѣ въ матеріальномъ отношеніи плохо. По воспоминаніямъ современниковъ, онъ «видимо былъ безъ женскаго призора, носилъ платье кое-какое, съ непочиненными прорѣхами», «жилъ въ большой бѣдности, зимой ходилъ въ нагольномъ тулупѣ, на квартирѣ жилъ въ самой дурной части города, вмѣстѣ съ семинаристами; мебель имъ замѣняли квасные боченки». Родителямъ Бѣлинскій писалъ позднѣе: «вы сами знаете, какъ сладки были лѣта моего младенчества... Учась въ гимназіи, я жилъ въ бѣдности, скитался по сквернымъ квартиришкамъ, находился въ кругу людей презрѣнныхъ».

Въ 1829 г. В. Г. отправился въ Москву для поступленія въ университетъ, съ горячею жаждою научнаго образованія, съ разбитою иллюзіей поэтической славы. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ отъѣзда въ Москву Поповъ и Лажечниковъ просили его прислать стихи для затѣяннаго ими альманаха, и Бѣлинскій со свойственной ему прямотой отвѣчалъ: «я увидѣлъ, что не рожденъ быть стихотворцемъ и, не хотя идти наперекоръ природѣ, давно уже оставилъ стихи. Въ сердцѣ моемъ часто происходятъ движенія необыкновенныя, душа часто полна чувствами и впечатлѣніями сильными, въ душѣ рождаются мысли высокія, благородныя — хочу ихъ выразить стихами, и не могу! Тщетно трудясь, съ досадою бросаю перо. Имѣю пламенную, страстную любовь ко всему изящному, высокому, имѣю душу пылкую и, при всемъ томъ, не имѣю таланта выражать свои чувства и мысли легкими, гармоническими стихами. Риѳма мнѣ не дается и, не покоряясь, смѣется надъ моими усиліями; выраженія не уламываются въ стопы».

Университетское преподаваніе тѣхъ временъ не могло удовлетворить Бѣлинскаго. Старозавѣтные профессора, составлявшіе большинство, не пользовались никакимъ авторитетомъ, убивали всякую охоту учиться и были только мишенью остротъ и злыхъ шутокъ. Кое-что могъ дать «декоративный» Давыдовъ, изъ моды игравшій въ шеллингіанство; захватывалъ вначалѣ, ненадолго, Надеждинъ, талантливый и образованный, но безпринципный и холодный духомъ профессоръ; больше всего значенія имѣлъ профессоръ физики, минералогіи и сельскаго хозяйства Павловъ, который пользовался неизмѣнными симпатіями аудиторіи. Подъ флагомъ «минералогіи и сельскаго хозяйства» онъ проводилъ запретную тогда идеалистическую нѣмецкую философію и оказалъ большое вліяніе на подъемъ философскихъ интересовъ у студентовъ. Герценъ вспоминаетъ о немъ съ большою любовью и благодарностью: «Павловъ излагалъ ученіе Шеллинга и Окена

съ такой пластической ясностью, которую никогда не имѣлъ ни одинъ натуръ-философъ. Физикѣ было мудрено научиться на его лекціяхъ, сельскому хозяйству—невозможно; но его курсы были чрезвычайно полезны. Павловъ стоялъ въ дверяхъ физико-математическаго отдѣленія и останавливалъ студента вопросомъ: «ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?»—Это чрезвычайно важно; наша молодежь, вступающая въ университетъ, совершенно лишена философскаго подготовленія, одни семинаристы имѣютъ понятіе о философіи, совершенно превратное». На лекціи Павлова собирались и студенты другихъ отдѣленій, въ томъ числѣ словеснаго, къ которому принадлежалъ Бѣлинскій.

Всего этого было мало для молодежи. И она почти цѣликомъ ушла въ кружковую жизнь—для самообразованія, идейной шлифовки, скрытаго духовнаго роста, для будущей общественной дѣятельности.

Бѣлинскій послѣ кружка казеннокоштныхъ студентовъ (онъ жилъ на казенномъ коштѣ, которымъ сильно увлекся послѣ пензенскихъ голодовокъ, чтобы потомъ разочароваться тѣмъ сильнѣе) попалъ въ болѣе важный для его развитія кружокъ Станкевича.

Исторія давно уже выяснила положительныя и отрицательныя стороны знаменательныхъ въ исторіи нашего общественнаго развитія кружковъ московской молодежи 30-хъ годовъ.

Они вносятъ въ свои умственныя занятія опьяненіе молодости. Будучи не особенно многочисленны, они легко поддерживали общеніе другъ съ другомъ: тѣмъ легче было возбудить и разогрѣть ихъ. По словамъ біографа Кирѣевскаго, «голосъ съ каѳедры и слово журналиста раздавались звучнѣе въ небольшомъ помѣщеніи, отведенномъ для самостоятельной дѣятельности тогдашняго общества; даже словесные споры и бесѣды становились важнымъ факторомъ распространенія мыслей. Всѣ дѣятели были на виду и на счету, не приходилось бороться съ подавляющимъ вліяніемъ массы и съ разнообразіемъ занятій и интересовъ. Наконецъ, нельзя не отмѣтить аристократической постановки этой культуры—она была по существу дворянская, принадлежность людей досужихъ и обезпеченныхъ, опиравшихся на фамильную преемственность образованія и воспитанности, людей съ утонченными вкусами, широкими запросами и значительными средствами. Позднѣйшая культура «разночинцевъ» имѣетъ болѣе грубый, ремесленный, но и болѣе дѣловой характеръ. Они выдвинули въ нашей исторіи своего рода гуманизмъ, литературный и философскій, который, не

задерживаясь частностями и мелочами, заботился прежде всего объ установленіи общаго міровоззрѣнія. И въ этомъ отношеніи сдѣлано было такъ много, что мы и до сихъ поръ въ значительной степени принуждены считаться съ законоположительными взглядами этого времени».

Бѣлинскому все-таки далеко не сладко жилось въ этомъ кругу: ему часто приходилось страдать отъ барственныхъ и некультурныхъ привычекъ нѣкоторыхъ изъ своихъ пріятелей (въ особенности Бакунина и Кетчера).

Ему пришлось вращаться въ обществѣ, въ которомъ не было мѣста для безпріютнаго бѣдняка, принужденнаго биться изъ-за куска хлѣба,—«неблаговоспитаннаго плебея», лишеннаго всего, что считалось тогда необходимыми признаками хорошаго образованія и хорошаго тона—знанія иностранныхъ языковъ, свѣтскихъ манеръ. Конечно, молодые товарищи, заключившіе между собою союзъ дружбы во имя общихъ имъ всѣмъ идеаловъ, не могли дать ему почувствовать раздѣлявшаго ихъ разстоянія. Но за друзьями стояли ихъ семьи, въ которыхъ косились на дружбу съ Бѣлинскимъ; друзья оставались, при всемъ своемъ идеализмѣ, членами того же общества, въ которое Бѣлинскому не было доступа; помимо ихъ воли и сознанія, ихъ продолжало отдѣлять отъ Бѣлинскаго все, чѣмъ сдѣлало ихъ домашнее воспитаніе,—все, чего требовали отъ нихъ понятія и привычки ихъ круга. Когда онъ влюбился въ сестру Бакунина, это произвело не на одного «Мишеля» шокирующее впечатлѣніе. Ихъ юношескій идеализмъ носилъ оттѣнокъ аристократизма, свойственный ихъ соціальной средѣ. Борьба съ настоящею нуждой здѣсь была неизвѣстна; занятія литературой, какъ средство къ жизни, вызывали презрѣніе; наука, литература и искусство были для нихъ только орудіемъ саморазвитія, а не предметомъ пропаганды; и менѣе всего кружокъ склоненъ былъ признать выразителемъ своихъ мнѣній товарища, усвоившаго эти мнѣнія съ чужого голоса и немедленно пустившагося кричать о нихъ на весь міръ и зарабатывать этимъ путемъ жалкіе «гривенники». Успѣхъ въ «толпѣ» могъ только раздражать людей, презиравшихъ толпу и брезговавшихъ «дешевыми средствами», въ употребленіи которыхъ они видѣли весь секретъ этого успѣха. Недовольство журнальною дѣятельностью Бѣлинскаго (ею для заработка Бѣлинскій началъ заниматься очень рано) дошло до того, что однажды друзья объявили Бѣлинскому свое коллективное мнѣніе, что онъ не имѣетъ права печататься, и что онъ «лишенъ эстетическаго чувства». Бѣлинскій, чрезвычайно скром-

ный въ своемъ мнѣніи о себѣ, преклонялся передъ друзьями и склоненъ былъ думать, что «хуже его не было никого у Бога». Многаго стоилъ ему «бунтъ» противъ пріятелей! Съ болью въ сердцѣ соглашался онъ съ тѣмъ, что далеко ему до «высшей жизни духа», «абсолютной жизни», «жизни въ духѣ» или «состоянія благодати»; онъ отрѣшился отъ «мнимой» и пошлой дѣйствительности, но не дошелъ до «истинной» и находился въ состояніи «прекраснодушія», на низшей ступени духовной жизни.

Сердце было растерзано, зато идея торжествовала, и, «утирая кулакомъ кровавыя слезы», Бѣлинскій повторялъ съ друзьями, что «жизнь — блаженство», и что ему вмѣстѣ съ другими «чудо какъ хорошо жить» въ фантастическомъ мірѣ, который признавался друзьями за истинную дѣйствительность. Нужны были тяжелыя разочарованія въ любви и дружбѣ, нужно было Бѣлинскому перенести цѣлый рядъ «оскорбленій въ самыхъ законныхъ и святыхъ стремленіяхъ и желаніяхъ», чтобы разрушилось это очарованіе кружка, и чтобы Бѣлинскій получилъ возможность взглянуть на жизнь своими собственными глазами.

Въ немъ развивается между тѣмъ сильное броженіе мысли. Мелькаютъ элементы западничества и славянофильства, пока еще не оформившихся; онъ лучше друзей знаетъ дѣйствительность, и все болѣе и болѣе тянется къ ней. Съ высотъ шеллингіанства и фихтіанства—изъ прекраснаго романтическаго «далека» онъ постепенно спускается на землю.

Сначала, въ пору наибольшаго увлеченія нѣмецкими идеалистическими системами, его интересовала не столько сама жизнь, сколько ея идеальное отраженіе въ творчествѣ, и въ этотъ міръ поэтической мечты онъ хочетъ уйти отъ жизни, найти примиреніе съ нею за ея порогомъ.

Бѣлинскаго обманула надежда на такое примиреніе. Ему съ дѣтства приходилось убѣждаться, что «дѣйствительность есть чудовище, вооруженное желѣзными когтями и желѣзными челюстями», что она «мститъ за себя насмѣшливо, ядовито» всѣмъ, кто не хочетъ съ нею считаться. Для него «нѣтъ ужаснѣе мысли, какъ остаться у жизни въ дуракахъ». Пусть она бьетъ его, но онъ будетъ знать, кто и что она, и на удары будетъ отвѣчать проклятіями: «это лучше, чѣмъ позволить ей спеленать себя и убаюкивать, какъ ребенка».

Пока живешь, надо жить, надо двигаться въ живой дѣйствительности; ощущенія, волнованія жизни—это главное, а тамъ можно пофилософствовать. И съ ненасытнымъ любопытствомъ Бѣлинскій

началъ вглядываться въ эту дѣйствительность, прежде столь презираемую кружкомъ. Въ этотъ самый моментъ подоспѣло гегеліанство со своею всеобъемлющею формулой о разумности всего существующаго [1]), и Бѣлинскій «взревѣлъ отъ радости». Въ знаменитой формулѣ онъ, наконецъ, нашелъ желанную разгадку. Для кружка вся окружающая дѣйствительность была «пошла» и «призрачна», для него она будетъ теперь вся сплошь «разумна»: «ничего изъ нея нельзя выкинуть и ничего въ ней нельзя похулить и отвергнуть». Съ этою разгадкой все становилось понятно и просто; весь міръ, поставленный въ кружкѣ вверхъ ногами, возвращался теперь въ свое естественное положеніе. И для Бѣлинскаго «настаетъ время простыхъ признаній»,—въ томъ же, въ чемъ онъ признавался и прежде, но уже безъ всякаго самоуничиженія.

Несмотря на протесты Станкевича противъ такого толкованія Гегеля, Бѣлинскій съ Бакунинымъ продолжали проповѣдывать «разумную дѣйствительность», расходясь все болѣе и болѣе въ своихъ личныхъ отношеніяхъ.

Такъ отъ метафизическихъ увлеченій переходилъ Бѣлинскій къ увлеченію дѣйствительностью — сначала «разумной», потомъ «реальной». Переходъ доставался ему нелегко и былъ тѣсно связанъ съ печальными разочарованіями его жизни. Въ 1841 г. онъ писалъ одному изъ пріятелей: «Ты знаешь мою натуру: она вѣчно въ крайностяхъ. Я съ трудомъ и болью разстаюсь съ старою идеей, отрицаю ее до-нельзя и въ новую перехожу со всѣмъ фанатизмомъ прозелита». Романтическія съ перваго взгляда страданія этого «фанатика» всегда имѣли реальныя причины, и діалектика его мысли непосредственно вытекала изъ діалектики жизни.

Такова общая картина его отношеній и положенія въ кружкѣ. Обратимся теперь къ подробностямъ.

Шеллингіанство отклонило Бѣлинскаго отъ пути, на который онъ вступилъ почти самостоятельно, только при нѣкоторомъ вліяніи «Разбойниковъ» Шиллера. Это его юношеская трагедія «Дмитрій Калининъ», полная общественнаго протеста и романтическихъ эффектовъ. Уже тогда въ немъ сказалась натура «борца-трибуна» и «гладіатора». Черезъ шеллингіанство, фихтіанство, правое и лѣвое гегеліанство, кружнымъ путемъ, онъ возвращается на него только въ началѣ 40-хъ годовъ, чтобы не измѣнять ему до конца жизни.

«Дмитрій Калининъ» (1830) очень характеренъ для настроенія молодого Бѣлинскаго.

---

[1]) Съ этой идеей впервые познакомилъ Бѣлинскаго Бакунинъ.

Въ крикливыхъ формахъ тогдашняго романтизма, которыя онъ позднѣе такъ сильно высмѣивалъ въ своихъ критическихъ статьяхъ, Бѣлинскій выступаетъ въ своей трагедіи, которую профессора-цензора признали «произведеніемъ безнравственнымъ, позорящимъ университетъ», противъ крѣпостного права. Такого страстнаго отрицанія крѣпостничества, во имя непосредственныхъ велѣній нравственнаго чувства, еще никогда не видала русская литература: «Дмитрій Калининъ» сильнѣе всего въ этомъ отношеніи, что было написано по вопросу о нашемъ рабовладѣльчествѣ за всю Николаевскую эпоху. Вотъ, напр., одинъ изъ монологовъ героя о крѣпостныхъ: «неужели эти люди для того только родятся на свѣтъ, чтобы служить прихотямъ такихъ же людей, какъ и они сами?... Кто далъ это гибельное право однимъ людямъ порабощать своей власти волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище — свободу? Господинъ можетъ, для потѣхи или для разсѣянія, содрать шкуру со своего раба, можетъ продать его, какъ скота, вымѣнять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, съ братьями и со всѣмъ, что для него мило и драгоцѣнно!»

Піеса задумана и какъ «картина тиранства присвоившихъ себѣ гибельное и несправедливое право мучить себѣ подобныхъ», и какъ «драма судьбы», съ кровосмѣшеніемъ, братоубійствомъ и самоубійствомъ. По пути Бѣлинскій возстаетъ противъ сословности, ханжества, «оскорбляющаго святость и чистоту религіи», защищаетъ свободу чувства и пр. Стиль его почти вездѣ приподнятый, расцвѣченный ультра-романтическими красками: «чувствуешь ли ты, какъ горитъ моя голова? Оно раскалено адскимъ пламенемъ! Чувствуешь ли ты, какъ страждетъ это бѣдное сердце? Лютое отчаяніе вонзило въ него свои кровавые когти и раздираетъ на милліоны частей!» Въ немъ есть все, чѣмъ тогда щеголяли Марлинскіе, Кукольники и Бенедиктовы: «тысячи ядовитыхъ змѣй», «адскія проклятія», «адское самонаслажденіе», «скрипитъ отъ ярости зубами», «тысячи кинжаловъ, въ одну минуту вонзающихся въ сердце» и пр, и пр.

Запрещеніе піесы, жестокій отзывъ профессоровъ-цензоровъ и отдача автора подъ строгій надзоръ университетскихъ властей поразили Бѣлинскаго, не ожидавшаго ничего подобнаго. На «Калинина» онъ возлагалъ большія надежды, въ томъ числѣ, повидимому, и матеріальныя: изъ дому не присылали почти ничего, личныхъ заработковъ было мало, на казенномъ коштѣ жилось

все хуже и хуже [1]). Бѣлинскій даже собирался въ 1831 г. бросить университетъ и поступить въ число служащихъ университетской канцеляріи. Свою піесу онъ искренно считалъ вполнѣ благонамѣренной (въ ту пору, дѣйствительно, во взглядахъ Бѣлинскаго ничего крайняго, кромѣ отрицанія крѣпостнаго права, не было) и разсчитывалъ на ея успѣхъ. По собственнымъ его словамъ, въ своей піесѣ онъ «со всѣмъ жаромъ сердца, пламенѣющаго любовью къ истинѣ, со всѣмъ негодованіемъ души, ненавидящей несправедливость, въ картинѣ довольно живой и вѣрной представилъ тиранство людей, присвоившихъ себѣ гибельное и несправедливое право мучить себѣ подобныхъ». Тѣмъ сильнѣе было впечатлѣніе неудачи.

Болѣзни, голодъ, тревоги, мертвенность большинства университетскихъ лекцій мѣшали Бѣлинскому быть аккуратнымъ студентомъ. Раздраженіе противъ него за «безнравственную» трагедію легко могло подыскать желательные факты — для окончательнаго опозоренія безпокойнаго студента. Въ 1832 г. Бѣлинскаго исключили изъ университета. Умалчивая о главной причинѣ — трагедіи и обнаруженномъ въ ней «вольномъ духѣ», выдвинули другія основанія, которыя чудовищно противорѣчатъ общему представленію о Бѣлинскомъ: онъ «не оказалъ достаточныхъ успѣховъ для перевода на ординарныя лекціи отдѣленія», у него — «ограниченныя способности». Положимъ, тюбингенскіе профессора дали Гегелю такую аттестацію: «молодой человѣкъ съ хорошими способностями, но не отличается ни прилежаніемъ, ни свѣдѣніями, весьма неискусенъ въ словѣ и можетъ быть названъ идіотомъ въ философіи». Все это, однако, мало оправдываетъ московскихъ профессоровъ...

Съ 1832 г. для Бѣлинскаго, «недоучившагося студента», какъ его называли литературные враги, началась ожесточенная борьба за существованіе. Онъ живетъ въ грязныхъ углахъ, потрясающее описаніе которыхъ даетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Лажечниковъ, кормится грошевыми уроками, перепиской, легкой журнальной работой, переводами съ французскаго, который онъ зналъ вначалѣ болѣе чѣмъ слабо. Ему удалось на время пристроиться въ Межевой институтъ преподавателемъ русскаго языка; важнѣе было сближеніе съ Надеждинымъ, въ «Молвѣ» и «Телескопѣ»

---

[1]) Бѣлинскій удивлялся, какъ казеннокоштные въ 1830 г. уцѣлѣли отъ холеры, „питаясь пакостною падалью... и супомъ съ червями“; безъ всякаго основанія инспекторъ студентовъ грозилъ ему, что „отдастъ его, какъ какую-нибудь каналью, въ солдаты“ и пр.

гораго для Бѣлинскаго началась настоящая литературная работа. ъ тяготы жизни нѣкоторый нравственный отдыхъ онъ находилъ кружкѣ прежнихъ университетскихъ товарищей-идеалистовъ и театрѣ, который тогда славился именами Мочалова и Щепкина. ивой общественный протестъ «Дмитрія Калинина» смѣнился еалистическими вѣяніями шеллингіанства. Вліянія кружка Надеждина лежатъ въ основѣ блестящей «Элегіи въ прозѣ» линскаго: «Литературныя мечтанія» (1834). Съ нихъ можно наать настоящую критическую дѣятельность В. Г. Они провели глубокое впечатлѣніе на читателей не новизной идей югія изъ нихъ встрѣчались раньше въ критическихъ статьяхъ стужева-Марлинскаго, Н. Полевого, Надеждина, даже Сенковго), а пылкимъ лиризмомъ, горячностью молодого убѣжденія, кренностью тона, блескомъ изложенія. Панаевъ говоритъ о впечлѣніи, произведенномъ на него этой «Элегіей въ прозѣ»: «новый, ѣлый, свѣжій духъ ея такъ и охватилъ меня... Какъ ничтожны жалки казались мнѣ, послѣ этой горячей и смѣлой статьи, шлыя, рутинныя критическія статейки о литературѣ, появлявяся въ московскихъ и петербургскихъ журналахъ!»

Самъ Бѣлинскій не претендовалъ на оригинальность идей. остаточно опредѣленно онъ высказался такъ по этому вопросу: ѣль русскаго критика должна состоять не столько въ томъ, обы расширить кругъ понятій человѣчества объ изящномъ, олько въ томъ, чтобы распространять въ своемъ отечествѣ уже вѣстныя, осѣдлыя понятія объ этомъ предметѣ. Не бойтесь, не ыдитесь, что вы будете повторять зады и не скажете ничего ваго. Это вовсе не такъ легко и часто, какъ обыкновенно дуютъ; оно едва примѣтными глыбами налипаетъ на глыбы стараго. мое старое будетъ у насъ ново, если вы человѣкъ съ мнѣніемъ глубоко убѣждены въ томъ, что говорите: ваша индивидуальсть и вашъ способъ выраженія и самому вашему старому должны идать характеръ новости».

Въ основѣ статьи лежитъ романтическое, шеллингіанское поманіе искусства. Его цѣль — изображать въ словѣ, въ звукѣ, чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни природы. Поэтическое одушевленіе — отблескъ творящей силы природы. «Чѣмъ ше геній поэта, тѣмъ глубже и обширнѣе обнимаетъ онъ приду и тѣмъ съ большимъ успѣхомъ представляетъ намъ ее въ ея ісшей связи и жизни». Поэтъ долженъ быть безпристрастенъ и колоденъ»; «поэзія не имѣетъ цѣли внѣ себя». «Доколѣ поэтъ ѣдуетъ безотчетно вспышкѣ своего воображенія, дотолѣ онъ

нравственъ, дотолѣ онъ и поэтъ; но какъ скоро онъ предположил себѣ цѣль, задалъ тему, — онъ уже философъ, мыслитель, мора листъ, онъ теряетъ надо мной свою чародѣйскую власть, разру шаетъ очарованіе и заставляетъ меня сожалѣть о себѣ, если, пр истинномъ талантѣ, имѣетъ похвальную цѣль, и презирать себ если силится опутать мою душу тенетами вредныхъ мыслей».

«Холодность» — не есть безстрастіе поэта: онъ долженъ обн мать все «пламеннымъ сочувствіемъ» (безъ него нельзя проникну въ извѣчную тайну природы), но не вносить тенденціи. Бѣлинск противъ внесенія въ поэзію сухой разсудочности, «холоднаго ума за широкую объективность, живую и любящую отзывчивость всѣ явленія жизни безъ узкой и односторонней субъективн окраски.

Все это пока — общія мѣста шеллингіанства. Оригинальность Б линскаго заключалась въ томъ, что онъ ребромъ поставилъ в просъ о необходимомъ для поэта чувствѣ — одномъ только эст тическомъ или эстетическомъ и нравственномъ. Романтическ теорія безпримѣсности, чистоты эстетическаго интереса была толь исходной точкой Бѣлинскаго. Надеждинъ подчинялъ эстетическо нравственности и правдѣ, его молодой сотрудникъ отдавалъ пе венство эстетической сторонѣ человѣческой натуры. «Эстетическ чувство есть основа добра, основа нравственности». «Гдѣ нѣт владычества искусства, тамъ люди не добродѣтельны, а толь благоразумны; не нравственны, а только осторожны; они не бо рются со зломъ, а только избѣгаютъ его не по ненависти къ злу а изъ разсчета». Поэтъ, какъ поэтъ, не можетъ быть безнрав ственнымъ. «Не заботьтесь о нравственности, но творите, и буде нравственны даже на зло самимъ себѣ». «Полнота жизни въ духѣ проникновеніе въ тайны природы, сліяніе съ Абсолютнымъ даютс только эстетическимъ созерцаніемъ; нравственная точка зрѣнія ниже ея, ей подчинена.

Противъ подчиненія нравственному эстетическаго Бѣлинскій выдвигаетъ защиту чувства вообще, эстетическаго съ его производными — нравственнымъ и другими. Въ этомъ отношеніи он ближе многихъ современниковъ подошелъ къ точкѣ зрѣнія Шеллинга. Схватывая изложенія нѣмецкихъ теорій налету, онъ умѣл ихъ сплачивать, дѣлать изъ нихъ самостоятельные выводы, чутьем угадывать то, чего не могъ знать. Хорошо приглядѣвшійся къ нему кн. В. Ѳ. Одоевскій, широко образованный человѣкъ, прекрасно знавшій нѣмецкую философію, даетъ въ этомъ отношеніи очень цѣнное указаніе: «Бѣлинскій былъ одною изъ высшихъ философ-

скихъ организацій... Въ немъ было сопряженіе Канта, Шеллинга, Гегеля, сопряженіе вполнѣ органическое, ибо онъ никого изъ нихъ не зналъ: онъ не зналъ по-нѣмецки, весьма плохо понималъ по-французски... Нѣкоторыя ихъ положенія перешли къ нему по наслышкѣ... Всякій разъ, когда мы встрѣчались съ Бѣлинскимъ, — это было рѣдко, — мы съ нимъ спорили жестоко; но я не могъ не удивляться, какимъ образомъ онъ развивалъ цѣлый органическій философскій міръ sui generis. Въ Бѣлинскомъ совершался своебытно тотъ переходъ, который въ философскомъ мірѣ совершился появленіемъ Гегеля послѣ Шеллинга. Напрасно противники Бѣлинскаго укоряютъ его въ томъ, что онъ не понималъ Гегеля. Нѣтъ! Онъ его вовсе не зналъ, но сблизился съ нимъ точно такъ же, какъ математикъ, не зная работы другого математика, сближается съ нимъ въ выводахъ единственно развитіемъ данной теоремы. Дѣло не въ томъ, хороши ли эти всѣ теоріи, но въ томъ, что развить въ себѣ самомъ цѣлый рядъ философскихъ теорій, развившихся въ философской атмосферѣ міра, не далось бы дюжинному человѣку».

Другіе защищали нравственность отъ эстетики или эстетику отъ нравственности, противополагая ихъ другъ другу; Бѣлинскій объединяетъ ихъ въ высшемъ синтезѣ абсолютной красоты и защищаетъ ее отъ разсудочности и тенденціозной поддѣлки.

Поэтъ отрицательнаго, поэтъ положительнаго, поэтъ всей сложности міровой и человѣческой жизни — одинаково поэты, одинаково нравственны, пока «слѣдуютъ безотчетно вспышкѣ воображенія».

Отношеніе Бѣлинскаго къ субъективизму и объективизму въ поэзіи легло въ основу его позднѣйшей теоріи поэзіи реальной и идеальной. «Поэзія двумя, такъ сказать, способами объемлетъ и воспроизводитъ явленія жизни. Эти способы противоположны одинъ другому, хотя ведутъ къ одной цѣли. Поэтъ или пересоздаетъ жизнь по собственному идеалу, зависящему отъ образа его воззрѣнія на вещи, отъ его отношеній къ міру, къ вѣку и народу, въ которомъ онъ живетъ, или воспроизводитъ ее во всей ея наготѣ и истинѣ, оставаясь вѣренъ всѣмъ подробностямъ, краскамъ и оттѣнкамъ ея дѣйствительности». Пока онѣ свободны, онѣ истинны и нравственны, но поэзія жизни и дѣйствительности все же выше поэзіи идеальной: она — «истинная и настоящая поэзія нашего времени». Такъ въ Бѣлинскомъ, изъ-подъ густой накипи метафизическаго идеализма, пробивалось непосредственное, стихійное, органическое чувство дѣйствительности. «Отличительный характеръ реальной поэзіи, — писалъ онъ позднѣе, — состоитъ

въ вѣрности дѣйствительности: она не пересоздаетъ жизнь, но воспроизводитъ, возсоздаетъ ее и, какъ выпуклое стекло, отражаетъ въ себѣ, подъ одною точкою зрѣнія, разнообразныя ея явленія, выбирая изъ нихъ тѣ, которыя нужны для составленія полной, оживленной картины... Удивительно ли, что отличительный характеръ новѣйшихъ произведеній вообще состоитъ въ безпощадной откровенности, что въ нихъ жизнь является, какъ бы на позоръ, во всей наготѣ, во всемъ ея ужасающемъ безобразіи. Мы требуемъ не идеала жизни, но самой жизни, какъ она есть. Дурна ли, хороша ли, но мы не хотимъ ее украшать, ибо думаемъ, что въ поэтическомъ представленіи она равно прекрасна въ томъ и другомъ случаѣ, и потому именно, что истинна и что гдѣ истина, тамъ и поэзія». Тождество истины и поэзіи въ вѣрномъ, широкомъ и свободномъ воспроизведеніи дѣйствительности Бѣлинскій видѣлъ у Пушкина, Гоголя, позднѣе Лермонтова и Кольцова, и сдѣлался ихъ тонкимъ истолкователемъ для нашей читающей публики.

Въ идеальной поэзіи больше «свободы чувства», реальная — больше удовлетворяетъ «господствующей потребности времени», которая не можетъ не захватывать поэта. Творчество «безцѣльно съ цѣлью, безсознательно съ сознаніемъ, свободно съ зависимостью». «Когда поэтъ творитъ, то хочетъ выразить въ поэтическомъ символѣ какую-нибудь идею, слѣдовательно, имѣетъ цѣль, дѣйствуетъ съ сознаніемъ. Но ни выборъ идеи, ни ея развитіе не зависитъ отъ его воли, управляемой умомъ, слѣдовательно, его дѣйствіе безцѣльно и безсознательно».

Только то поэтическое произведеніе истинно, которое вытекло изъ глубинъ народнаго духа. Поэтому въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» Бѣлинскій говоритъ, что «у насъ нѣтъ литературы», воспроизводящей духъ своего народа, его жизнь «до сокровеннѣйшихъ глубинъ и біеній», — «символа внутренней жизни народа», а есть нѣсколько крупныхъ писателей. Позднѣе эту свою мысль онъ формулировалъ такъ: «литература есть народное самосознаніе — и тамъ, гдѣ нѣтъ этого самосознанія, тамъ литература есть или скороспѣлый плодъ, или средство къ жизни, ремесло извѣстнаго класса людей. Если и въ такой литературѣ есть прекрасныя и изящныя созданія, то они суть исключительныя, а не положительныя явленія; а для исключеній нѣтъ правила». Эти исключенія все же объясняются случайнымъ приближеніемъ къ глубинамъ народнаго духа.

Отстаивая народность въ литературѣ, Надеждинъ изъ шеллингіанскаго ученія дѣлалъ не совсѣмъ вяжущійся съ нею выводъ:

«какъ члены одного великаго человѣческаго семейства, мы должны жить общею жизнью человѣчества и шествовать наравнѣ съ нимъ, быть преемниками и наслѣдниками сугубой юности рода человѣческаго». Бѣлинскій, подъ вліяніемъ бродившихъ уже въ московскихъ кружкахъ славянофильскихъ идей, дѣлаетъ изъ того же ученія противоположный выводъ: «только идя по разнымъ дорогамъ, человѣчество можетъ достигнуть своей цѣли; только живя самобытной жизнью, можетъ каждый народъ принесть свою долю въ общую сокровищницу». Любопытно, что уваженіе къ народности и народной самобытности Бѣлинскій сохранилъ даже въ эпоху яраго увлеченія западническими идеями — поскольку онѣ не окрашивались грубымъ націонализмомъ. Въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» онъ ставитъ значеніе «обычаевъ», создающихъ и опредѣляющихъ «народную физіономію», выше значенія религіи — оригинальная черта, отдѣляющая его отъ большинства будущихъ славянофиловъ. Настоящій поэтъ безсознательно народенъ, безсознательно нравственъ и правдивъ, безсознательно современенъ.

Теорія Бѣлинскаго развивалась правильно и послѣдовательно хотя и съ колебаніями, очищаясь мало-по-малу отъ метафизической закваски. «Безцѣльная поэзія» трансформировалась у него въ поэзію реалистическую, безсознательную — и затѣмъ сознательную выразительницу народной индивидуальности. Достигнувъ временнаго равновѣсія, извѣстной цѣльности къ половинѣ 30-хъ годовъ, эта теорія отклонилась было въ сторону, чтобы окончательно стать на реальную и соціальную почву съ начала 40-хъ годовъ.

Наши шеллингіанцы, въ томъ числѣ и молодой Бѣлинскій, съ всепримиряющимъ оптимизмомъ смотрѣли на міръ, въ которомъ раскрывается божественная идея, считали непремѣнной обязанностью каждаго сознательнаго человѣка «высвобождать въ себѣ самомъ божественную часть міровой идеи отъ всего случайнаго, нечистаго и ложнаго, для того, чтобы имѣть право на блаженство дѣйствительнаго, разумнаго существованія». Бѣлинскій «Дмитрія Калинина» могъ рѣзко протестовать противъ отдѣльныхъ ужасныхъ проявленій русской дѣйствительности, съ полною искренностью не возводя ихъ къ общему порядку вещей, который ему, наивному провинціалу, съ совершенно не проясненнымъ политическимъ сознаніемъ, казался вполнѣ разумнымъ и непререкаемымъ; Бѣлинскій «Литературныхъ мечтаній», исполненный «любви къ истинѣ и желанія общаго блага», тоже съ полною искренностью преклоняется передъ основами современнаго жизненнаго строя

и въ ихъ тискахъ думаетъ «высвобождать въ себѣ самомъ божественную часть міровой души», обращается къ человѣку съ повышеннымъ идеалистическимъ призывомъ: «гордись, гордись, человѣкъ, своимъ высокимъ назначеніемъ», «не забывай, что жизнь есть дѣйствованіе, а дѣйствованіе есть борьба, не забывай, что твое безконечное, высочайшее блаженство состоитъ въ уничтоженіи твоего «я» въ чувствѣ любви», «вѣкъ ребячества проходитъ видимо. И дай Богъ, чтобы онъ прошелъ скорѣе! Но еще болѣе дай Богъ, чтобы поскорѣе всѣ разувѣрились въ нашемъ литературномъ богатствѣ! Благородная нищета лучше мечтательнаго богатства! Придетъ время, просвѣщеніе разольется въ Россіи широкимъ потокомъ, умственная физіономія народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будутъ на всѣ свои произведенія налагать печать русскаго духа. Но теперь намъ нужно ученье! ученье! ученье!» Но учиться приходилось тогда, когда науку старались поставить все въ худшія и худшія условія, а «высвобождать часть міровой души» нужно было въ мірѣ Сквозниковъ-Дмухановскихъ, Держимордъ, Чичиковыхъ, Хлестаковыхъ и Маниловыхъ. Между прекраснодушнымъ идеализмомъ теоріи и «мертвой безчувственностью» и жестокостью тогдашней русской общественной практики скоро долженъ былъ назрѣть тяжелый конфликтъ, который для Бѣлинскаго осложнялся и ужасными условіями личнаго существованія. Нельзя было надолго уйти отъ этого кошмара въ міръ философской мечты и театральныхъ иллюзій, которыми живетъ Бѣлинскій; нужно было найти какой-нибудь выходъ изъ этого коренного противорѣчія. И онъ съ половины 30-хъ годовъ отъ шеллингіанства почти самостоятельно, при нѣкоторомъ только воздѣйствіи Бакунина, двинется къ фихтіанству съ его полнымъ отрицаніемъ дѣйствительности, будетъ искать внутренней гармоніи и единства въ признаніи призрачности міра. Этотъ моментъ развитія Бѣлинскаго больше отразился въ его перепискѣ, чѣмъ на критическихъ статьяхъ. «Жизнь идеальная и жизнь реальная всегда двоилась въ его понятіяхъ», и онъ ухватился за полное отрицаніе дѣйствительной жизни: «идеальная жизнь есть именно жизнь дѣйствительная, положительная, конкретная, а такъ называемая дѣйствительная жизнь есть отрицаніе, призракъ, ничтожество, пустота». Опытъ и дѣйствительность потеряли въ его глазахъ всякую цѣну. «Внѣ мысли все призракъ, мечта, одна мысль существенна и реальна». Въ увлеченіе теоріей Фихте все больше вкрапливается гегеліанство, съ которымъ Бѣлинскій знакомился изъ вторыхъ и третьихъ рукъ, по популярнымъ жур-

льнымъ изложеніямъ или со словъ болѣе освѣдомленныхъ философскихъ друзей. Изъ всѣхъ философскихъ нѣмецкихъ системъ Бѣлинскаго складывается сложная и мало устойчивая амальгама, съ которою знакомитъ насъ, напр., его статья о «Системѣ нравственной философіи» Дроздова. Въ ней и общія мѣста нѣмецкаго идеализма, и отголоски фихтіанства, смѣшанные съ гегельянствомъ. Вопреки Канту Бѣлинскій отстаиваетъ прирожденность идей, отвергаетъ опытъ, признавая только апріорный методъ. Онъ выражаетъ рѣшительное убѣжденіе, что «поэзія есть несознательное выраженіе творящаго духа, и что, слѣдовательно, поэтъ, въ минуту творчества, есть существо болѣе страдательное, нежели дѣйствующее, и его произведенія есть уловленное видѣніе, представшее ему въ свѣтлую минуту откровенія свыше, слѣдовательно, оно не можетъ быть выдумкой его ума, сознательнымъ произведеніемъ его воли». Въ области морали сознанію принадлежитъ первое мѣсто: «совѣсть добрая есть состояніе сознанія, злая — состояніе безсознанія». Человѣкъ долженъ стремиться къ совершенству, онъ — «органъ сознанія природы, сосудъ духа божія». Отдѣльныя индивидуальныя сознанія въ конечномъ процессѣ развитія сольются и дадутъ «возможно-конечное и возможно-всеобщее сознаніе», полное и совершенное, сознаніе человѣчества, которое будетъ «результатомъ соединенныхъ трудовъ, всемірной жизни и историческаго развитія человѣческаго духа». Всякій индивидъ есть часть великаго цѣлаго. Развивая свое собственное сознаніе, онъ необходимо отдаетъ его въ общую сокровищницу человѣческаго духа. Каждый человѣкъ долженъ любить человѣчество, какъ идею полнаго развитія сознанія, которое составляетъ и его собственную цѣль, т.-е. каждый человѣкъ долженъ любить въ человѣчествѣ свое собственное сознаніе въ будущемъ».

Сквозь шеллингіанство у Бѣлинскаго прорывалась скорбь о страданіяхъ человѣка и призывъ къ «дѣйствованію». Обезцѣнивая съ Фихте дѣйствительность, онъ, не безъ нѣкотораго внутренняго противорѣчія, выдвинетъ въ концѣ статьи дѣйствительность и признаетъ ее «степенью вѣчности», а абсолютное — свѣтоносцемъ, озаряющимъ скорбную жизнь. Несомнѣнно, фихтіанизмъ не давалъ ему внутренняго удовлетворенія, не могъ убить прирожденнаго импульса общественности. Тургеневскій Базаровъ сказалъ, что смерти нельзя отрицать потому, что она сама будетъ тебя отрицать; фихтіанское отрицаніе дѣйствительности было невозможно, въ особенности для такихъ впечатлительныхъ натуръ, какъ

Бѣлинскій, потому, что она постоянно врывалась въ душу жизнь своими тягостными впечатлѣніями, напоминала о себѣ — сама отрицала философское «прекраснодушіе».

Фихтіанизмъ, признавая только личное «я» дѣйствительности дѣлилъ людей на просвѣтленныхъ сознаніемъ, жизнью духа и п грязшихъ въ тинѣ призрачной дѣйствительности. Бакунинъ пр числялъ себя къ первымъ, Бѣлинскаго съ его колебаніями и с мнѣніями, не безъ философскаго высокомѣрія, — ко вторым И самъ Бѣлинскій преклонялся передъ этимъ уничтожающимъ пр говоромъ, мучился, болѣзненно работалъ надъ просвѣтленіем своей души — и затѣмъ взбунтовался противъ философскаго плѣ и кружкового деспотизма. Гегеліанская формула о дѣйствител номъ и разумномъ своевременно пришла къ нему на помо (въ 1836 — 1837 годахъ, почти одновременно съ фихтіанским увлеченіями). Міровой духъ Гегеля развивается въ конкретн дѣйствительности, дѣлаетъ ее необходимою и разумною; высок и низкое, совершенное и несовершенное — законные моменты про вленія Абсолютнаго. Въ этомъ безконечномъ процессѣ развит конкретныхъ явленій всѣмъ и всему найдется свое мѣсто, в получаетъ свое философское оправданіе — сомнѣнія, колебанія, «п денія» Бѣлинскаго, кружковыя столкновенія и недоразумѣні Раньше дѣйствительность отрицалась цѣликомъ — теперь Бѣлинск будетъ цѣликомъ ее принимать и оправдывать. Увлеченіе теорі «разумной дѣйствительности» у него не было вызвано вліяніем кружка — онъ не соглашался съ Бѣлинскимъ, а Бакунинъ считал его выводы искаженіемъ своихъ взглядовъ и доказательство низменности его натуры. Это было у Бѣлинскаго естественна реакція противъ слишкомъ большой отвлеченности кружковы теорій, желаніе выбраться изъ абстрактной фихтіанской дѣйстви тельности на широкое поле «конкретной» дѣйствительности, хотя б и подъ знаменемъ Гегеля. Самъ Бѣлинскій такъ понималъ смысл совершившагося въ немъ переворота. «Разумѣется, кто къ инстин туальному проникновенію присоединитъ сознательное, через мысль, тотъ вдвойнѣ овладѣетъ дѣйствительностью; но главное — знать ее, какъ бы не знать, и этого знанія нельзя достигнут одною мыслью — надо жить, надо двигаться въ живой дѣйстви тельности, быть естественну, просту». Одному изъ друзей он писалъ въ отвѣтъ на нападки: «напрасно ты твердишь, что отложилъ мысль въ сторону, отрекся отъ нея навсегда и пр., и пр.. Ты создалъ себѣ призракъ и колотишь по немъ, въ полной увѣ ренности, что бьешь меня. Это, наконецъ, смѣшно и скучно

Повторяю тебѣ: уважаю мысль и цѣню ее, но только мысль конкретную, а не отвлеченную».

Въ признаніи дѣйствительности Бѣлинскій, со свойственной ему смѣлостью и послѣдовательностью мысли, не боялся самыхъ крайнихъ выводовъ: онъ оправдывалъ въ концѣ 30-хъ годовъ (статьи о Бородинской годовщинѣ, Менцелѣ, «Горѣ отъ ума») всѣ тогдашніе устои русской жизни, вплоть до крѣпостного права. По словамъ Герцена, «Бѣлинскій, самая дѣятельная, порывистая, діалектически-страстная натура бойца, проповѣдывалъ тогда индійскій покой созерцанія и теоретическое изученіе вмѣсто борьбы. Онъ вѣровалъ въ это воззрѣніе и не блѣднѣлъ ни передъ какимъ послѣдствіемъ, не останавливался ни передъ моральнымъ приличіемъ, ни передъ мнѣніемъ другихъ, котораго такъ страшатся люди слабые и несамобытные; въ немъ не было робости, потому что онъ былъ силенъ и искрененъ; его совѣсть была чиста». Герценъ поставилъ вопросъ о крайностяхъ увлекавшей его теоріи, и Бѣлинскій охотно пошелъ навстрѣчу имъ. «Этого я не могъ вынести, и отчаянный бой закипѣлъ между нами. Размолвка наша дѣйствовала на другихъ, кругъ распадался на два стана. Бакунинъ хотѣлъ примирить, объяснить, заговорить, но настоящаго мира не было. Бѣлинскій, раздраженный и недовольный, уѣхалъ въ Петербургъ, и оттуда далъ по насъ послѣдній яростный залпъ въ статьѣ, которую назвалъ «Бородинской годовщиной».

Переѣздъ въ Петербургъ въ 1839 году былъ рѣшительнымъ моментомъ въ жизни Бѣлинскаго. За узкими рамками московскаго кружка передъ нимъ раздвинулась вся громадная и скорбная ширь русской жизни. Самъ онъ потомъ признавался въ письмахъ къ друзьямъ: «Петербургъ былъ для меня страшною скалою, о которую больно стукнулось мое прекраснодушіе. Это было необходимо, и лишь бы послѣ стало лучше, я буду благословлять судьбу, загнавшую меня въ эти гнусныя финскія болота... Мы весь Божій свѣтъ видимъ въ своемъ кружкѣ». «На насъ обрушилось безалаберное состояніе общества, въ насъ отразился одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ моментовъ общества, силой отторгнутаго отъ своей непосредственности и принужденнаго тернистымъ путемъ идти къ пріобрѣтенію разумной непосредственности, къ очеловѣченью... Воспитаніе лишило насъ религіи, обстоятельства жизни (причина которыхъ въ состояніи общества) не дали намъ положительнаго образованія и лишили всякой возможности сродниться съ наукой; съ дѣйствительностью мы въ ссорѣ и по праву ненавидимъ и презираемъ ее, какъ она по праву не-

навидитъ и презираетъ насъ. Гдѣ же убѣжище намъ? — На необитаемомъ островѣ, которымъ и былъ нашъ кружокъ... Въ Петербургѣ съ необитаемаго острова я очутился въ столицѣ, журналъ поставилъ меня лицомъ къ лицу съ обществомъ, — и Богу извѣстно, какъ много перенесъ я! Для тебя еще не совсѣмъ понятна моя вражда къ москводушію (т.-е. къ идеалистическому простодушію), но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу обѣ. Меня убило это зрѣлище общества, въ которомъ властвуютъ и играютъ роли подлецы и дюжинныя посредственности, а все благородное и даровитое лежитъ въ позорномъ бездѣйствіи на необитаемомъ островѣ... Отчего же европеецъ въ страданіи бросается въ общественную дѣятельность и находитъ въ ней выходъ изъ самаго страданія?...»

Съ абстрактнаго «необитаемаго острова» кружкового міровоззрѣнія Бѣлинскаго свели не только Петербургъ, журналъ, встрѣча «лицомъ къ лицу съ обществомъ», но и идейное общеніе съ Герценомъ, все усиливавшееся французское вліяніе. На переломѣ отъ метафизическаго идеализма къ соціальному міровоззрѣнію Бѣлинскій писалъ: «съ французами я помирился окончательно. Не люблю ихъ, но уважаю. Ихъ всемірно-историческое значеніе велико. Они не понимаютъ абсолютнаго и конкретнаго, но живутъ и дѣйствуютъ въ ихъ сферѣ». Позднѣе онъ со всею горячностью своей натуры полюбилъ Жоржъ-Зандъ, французскихъ утопистовъ. Глаза его окончательно раскрылись: «любовь моя къ родному, къ русскому», писалъ онъ, «стала грустнѣе: это уже не прекраснодушный энтузіазмъ, но страдальческое чувство. Все субстанціональное въ нашемъ народѣ велико, необъятно, но опредѣленіе гнусно, грязно, подло». Панаеву онъ жалуется: «еслибы вы знали, какое вообще мученіе повторять зады, твердить одно и то же — все о Лермонтовѣ, Гоголѣ и Пушкинѣ, не смѣть выходить изъ опредѣленныхъ рамъ — все искусство да искусство! Ну, какой я литературный критикъ! Я рожденъ памфлетистомъ, — и не смѣть пикнуть о томъ, что накипѣло на душѣ, отчего сердце болитъ!»

Разочаровавшись въ философскомъ примиреніи съ дѣйствительностью, Бѣлинскій призналъ, наконецъ, разумнымъ и законнымъ свое отрицаніе современной ему дѣйствительности и свою борьбу съ нею. Въ могучемъ синтезѣ его позднѣйшей критики любовь сливается съ ненавистью, эстетика съ публицистикой, широта и глубина мысли съ страстнымъ отрицаніемъ враговъ своихъ идеаловъ. Въ его письмахъ звучатъ новыя ноты: «Я фанатикъ... Знаете ли вы, что людей, съ которыми я ни въ чемъ

не могу сойтись, я считаю моими личными врагами и ненавижу ихъ? И знаете ли вы, что я это считаю въ себѣ добродѣтелью, лучшимъ, что есть во мнѣ?»

Старая романтическая закваска, конечно, остается, но Бѣлинскій все болѣе и болѣе склоняется къ реализму, увлекается западными политическими взглядами, преимущественно крайними, тѣснѣе сближается съ Герценомъ и Огаревымъ, окончательно рветъ свои связи съ славянофилами и, пока не сознавая, все болѣе отдаляется въ своемъ міровоззрѣніи отъ правыхъ западниковъ. Его критика получаетъ сильный публицистическій отпечатокъ, передъ которымъ отступаютъ на второй планъ эстетическія требованія. Онъ выдвигаетъ вопросы о «повышеніи умственнаго и нравственнаго уровня массы», о «воспитаніи гуманной интеллигентной личности», о семьѣ и школѣ, женщинѣ и ея соціальномъ положеніи. Его проповѣдь, по свидѣтельству современниковъ, глубоко идетъ въ общество, охватываетъ постепенно провинціальную интеллигенцію, подготовляетъ дѣятелей для близкаго возрожденія.

Въ предѣлахъ возможности идетъ эта проповѣдь и борьба противъ того, что считалъ зломъ великій критикъ — борьба съ дѣйствительностью, открытая, методичная, убѣжденная борьба, знающая, на что нападать, и какъ нападать. Философская привычка смотрѣть на вещи съ самыхъ общихъ точекъ зрѣнія ослабѣвала, и росло все болѣе и болѣе реальное чутье жизни, питаемое личными наблюденіями и данными новой реальной литературы. Между нимъ и дѣйствительностью установились истинно разумныя и нравственныя отношенія. Его духъ, какъ онъ самъ говорилъ, звалъ его въ міръ «исторіи и дѣйствительности», и Бѣлинскій, со всей свойственной ему ревностью и страстностью, сталъ выяснять себѣ, въ чемъ заключался главный запросъ современнаго ему историческаго момента.

Съ паѳосомъ и сарказмомъ нападаетъ онъ на русское безволіе и прекраснодушіе, проповѣдуетъ реальное воспитаніе, напоминаетъ обществу объ его обязанностяхъ. Какъ плебей и разночинецъ, онъ пропагандируетъ демократическую идею, являясь въ то же время однимъ изъ первыхъ и лучшихъ представителей безсословной интеллигенціи. Это — учитель и пророкъ, «великое сердце», нравственный вождь общества въ страшную эпоху «безвременья».

По словамъ біографа, «статьи Бѣлинскаго теперь — обширный некрополь; но не смертью, а жизнью вѣетъ отъ этихъ страницъ, въ которыхъ все говоритъ о прошломъ, давно пережитомъ, прочувствованномъ и передуманномъ. Иногда художественная красота

и энергія выраженія даютъ этимъ словамъ власть надъ нами, иногда глубокая мысль заставляетъ насъ надъ ними задумываться; но чаще и сильнѣе всего приковываетъ насъ къ нимъ таящаяся въ нихъ сила любви, сила гуманныхъ движеній сердца. Проходятъ вѣка, и слова, рожденныя отъ пламени любви, не тускнѣютъ, на нихъ лежитъ та же печать безсмертія, которой отмѣчены и геніальная мысль человѣка, и красота, воплощенныя имъ въ художественномъ образѣ».

Послѣдній періодъ жизни Бѣлинскаго проходилъ въ неустанной, тяжелой журнальной работѣ (въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Современникѣ»), въ страстной проповѣди новыхъ идеаловъ, въ борьбѣ съ чахоткой, которая все болѣе подкашивала его силы. Женитьба и семейная жизнь мало скрасили его существованіе, только увеличивъ заботы и работу. Поѣздка за границу не могла поправить въ корнѣ разстроеннаго здоровья, и 28 мая 1848 года онъ скончался.

Особенно характерны для него обзоры русской литературы 1846 и 1847 годовъ и знаменитое письмо къ Гоголю по поводу его «Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями».

Въ первыхъ онъ отстаиваетъ натуральную школу, съ любовью комментируетъ ея соціальное направленіе, вооружается противъ романтическаго прекраснодушія, требуетъ знанія дѣйствительности и борьбы съ ея зломъ.

Письмо къ Гоголю (1847 г.) — наиболѣе яркое и откровенное выраженіе міровоззрѣнія Бѣлинскаго въ послѣдней стадіи его развитія. Моралистическому мистицизму Гоголя онъ противополагаетъ опредѣленную программу желательныхъ реформъ и ясное соціальное сознаніе.

«Вы глубоко знаете Россію только какъ художникъ, а не какъ мыслящій человѣкъ, роль котораго вы такъ неудачно приняли на себя въ вашей фантастической книгѣ. И это не потому, чтобы вы не были мыслящимъ человѣкомъ, а потому, что столько уже лѣтъ привыкли смотрѣть на Россію изъ вашего *прекраснаго далека;* а вѣдь извѣстно, что ничего легче, какъ издалека видѣть предметы такими, какими намъ хочется ихъ видѣть; потому, что въ этомъ *прекрасномъ далекѣ* вы живете совершенно чуждымъ ему, въ самомъ себѣ, внутри себя, или въ однообразіи кружка, одинаково съ вами настроеннаго и безсильнаго противиться вашему на него вліянію. Поэтому вы не замѣтили, что Россія видитъ свое спасеніе не въ мистицизмѣ, не въ аскетизмѣ, не въ піэтизмѣ, а въ успѣхахъ цивилизаціи, просвѣщенія, гуманности. Ей нужны

не проповѣди (довольно она слышала ихъ!), не молитвы (довольно она твердила ихъ!), а пробужденіе въ народѣ чувства человѣческаго достоинства, столько вѣковъ потеряннаго въ грязи и сорѣ, — права и законы, сообразные... съ здравымъ смысломъ и справедливостью, и строгое по возможности ихъ исполненіе. А вмѣсто этого она представляетъ собою ужасное зрѣлище страны, гдѣ люди торгуютъ людьми, не имѣя на это и того оправданія, какимъ лукаво пользуются американскіе плантаторы, утверждая, что негръ не человѣкъ; страны, гдѣ люди сами себя называютъ не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Степками, Палашками; страны, гдѣ, наконецъ, нѣтъ не только никакихъ гарантій для личности, чести и собственности, но нѣтъ даже и полицейскаго порядка, а есть только огромныя корпораціи разныхъ служебныхъ воровъ и грабителей! Самые живые, современные національные вопросы въ Россіи теперь: уничтоженіе крѣпостного права, отмѣненіе тѣлеснаго наказанія, введеніе по возможности строгаго выполненія хотя тѣхъ законовъ, которые уже есть. Это чувствуетъ даже само правительство (которое хорошо знаетъ, что дѣлаютъ помѣщики со своими крестьянами и сколько послѣдніе ежегодно рѣжутъ первыхъ), что доказывается его робкими безплодными полумѣрами въ пользу бѣлыхъ негровъ, и комическимъ замѣненіемъ однохвостнаго кнута трехвостною плетью. Вотъ вопросы, которыми тревожно занята вся Россія въ ея апатичномъ снѣ! И въ это то время великій писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными твореніями такъ могущественно содѣйствовалъ самосознанію Россіи, давши ей возможность взглянуть на самое себя, какъ будто въ зеркалѣ — является съ книгою, въ которой во имя Христа и церкви учитъ варвара-помѣщика наживать отъ крестьянъ больше денегъ, учитъ ихъ ругать побольше... И это не должно было привести меня въ негодованіе?... Да еслибы вы обнаружили покушеніе на мою жизнь, и тогда бы я не болѣе возненавидѣлъ васъ, какъ за эти позорныя строки... И послѣ этого вы хотите, чтобы вѣрили искренности направленія вашей книги! Нѣтъ! еслибы вы дѣйствительно преисполнились истиною Христовою, а не дьяволова ученія — совсѣмъ не то написали бы въ вашей новой книгѣ. Вы сказали бы помѣщику, что, такъ какъ крестьяне его братья о Христѣ, а какъ братъ не можетъ быть рабомъ своего брата, то онъ и долженъ или дать имъ свободу, или хотя по крайней мѣрѣ пользоваться ихъ трудами какъ можно выгоднѣе для нихъ, сознавая себя, въ глубинѣ своей совѣсти, въ ложномъ положеніи въ отношеніи къ нимъ...

Вы, сколько я вижу, не совсѣмъ хорошо понимаете русскую публику. Ея характеръ опредѣляется положеніемъ русскаго общества, въ которомъ кипятъ и рвутся наружу свѣжія силы, но, сдавленныя тяжелымъ гнетомъ, не находятъ исхода, производятъ только уныніе, тоску, апатію. Только въ одной литературѣ, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движеніе впередъ. Вотъ почему званіе писателя у насъ такъ почетно, почему у насъ такъ легокъ литературный успѣхъ даже при маленькомъ талантѣ. Титло поэта, званіе литератора у насъ давно уже затмило мишуру эполетъ и разноцвѣтныхъ мундировъ. И вотъ почему у насъ въ особенности награждается общимъ вниманіемъ всякое, такъ называемое, либеральное направленіе, даже и при бѣдности таланта».

Дмитрій Васильевичъ
ГРИГОРОВИЧЪ.

Дм. Вас. Григоровичъ родился 19 марта 1822 года въ Симбирскѣ. Родъ Григоровичей — малороссійскаго происхожденія, но они рано обрусѣли. Отецъ Д. В. умеръ, когда онъ былъ еще ребенкомъ, и воспитаніе его взяли на себя мать и бабушка, чистокровныя француженки. Русскій языкъ зналъ онъ слабо, зато французскій усвоилъ въ совершенствѣ. Дѣтство его проходило при ненормальныхъ условіяхъ. Всѣмъ въ домѣ командовала бабушка, властная и капризная старуха; дочь, тридцатилѣтняя вдова, относилась къ ней, по словамъ Д. В., «съ подобострастіемъ и покорностью дѣвочки-подростка». Первоначальное обученіе мальчика шло безъ всякой системы, безтолково; мальчика прямо задергивали безпричинными строгостями, давая ему полную свободу читать сантиментальные романы и преждевременно разжигая его фантазію. По-русски онъ говорилъ только съ прислугой, и то украдкой, и чувствовалъ себя совсѣмъ одинокимъ. Позднѣе его отдали въ одинъ московскій иностранный пансіонъ, гдѣ онъ тоже занимался только французскимъ языкомъ, и затѣмъ, по неизвѣстнымъ и врядъ ли серьезнымъ соображеніемъ, въ Петербургъ въ инженерное училище, гдѣ онъ учился вмѣстѣ съ Достоевскимъ. Тогда въ инженерномъ училищѣ господствовали жестокіе порядки Николаевскихъ военныхъ корпусовъ, и Григоровичу жилось въ немъ очень тяжело. Точныя науки его мало интересовали, съ большинствомъ товарищей онъ не сходился, и всею душею рвался изъ ненавистной школы. За неотданіе чести великому князю и бѣгство отъ него Григоровича посадили въ карцеръ, не

опредѣливъ времени заключенія. Тамъ его забыли, и только болѣзнь помогла ему освободиться отъ карцера и училища. Затѣмъ онъ переходитъ въ Академію Художествъ, но настоящихъ способностей къ живописи у него не было, и Д. В. Академіи не кончилъ.

Сближеніе съ Достоевскимъ и Некрасовымъ натолкнуло его на литературныя занятія, кружокъ Бекетовыхъ, въ который онъ попалъ, далъ ему болѣе серьезные умственные интересы. Некрасовъ тогда занимался всевозможными литературными спекуляціями, переводилъ, писалъ водевили, издавалъ сборники и пр. И Григоровичъ начинаетъ переводить для извѣстнаго въ тѣ времена издателя Плюшара, пишетъ, по указаніямъ Некрасова, компилятивную книжку о Крыловѣ, для Некрасовской «Физіологіи Петербурга» описываетъ бытъ петербургскихъ шарманщиковъ. «Физіологическіе очерки», реалистическія бытовыя картинки, были тогда въ модѣ на Западѣ и вызвали у насъ многочисленныя подражанія. Даль, впослѣдствіи собиратель монументальнаго толковаго словаря великорусскаго нарѣчія и пословицъ, издавалъ полуэтнографическіе, полубеллетристическіе очерки изъ народной жизни, перегруженные провинціализмами, особенностями крестьянской рѣчи и мелочами быта. «Шинель» Гоголя своимъ реалистическимъ изображеніемъ чиновничьяго быта и повышенною гуманностью основной мысли вліяла на общій тонъ «физіологическихъ очерковъ», придавала имъ характеръ гуманитарнаго реализма: не даромъ Достоевскій говорилъ про свое поколѣніе: «всѣ мы вышли изъ-подъ Гоголевской «Шинели». Къ тому же приводили вліяніе Жоржа-Зандъ и Ауэрбаха, общій соціальный характеръ эпохи. Григоровичъ внимательно изучаетъ жизнь петербургскихъ бродячихъ шарманщиковъ, долго собираетъ матеріалы и пишетъ свой очеркъ, который произвелъ нѣкоторое впечатлѣніе, несмотря на крупные дефекты стиля и техники. Съ языкомъ ему трудно было справляться. Школа не дала ему элементарныхъ навыковъ писательства и основныхъ понятій о стилѣ. Въ этомъ отношеніи характерно одно мѣсто въ «Воспоминаніяхъ» Д. В. Когда онъ прочелъ своихъ «Шарманщиковъ» Достоевскому, тотъ указалъ на неудачность одного выраженія. «У меня было написано такъ: когда шарманка перестаетъ играть, чиновникъ изъ окна бросаетъ пятакъ, который падаетъ къ ногамъ шарманщика». «Не то, не то, — раздраженно заговорилъ вдругъ Достоевскій, — совсѣмъ не то! У тебя выходитъ слишкомъ сухо: пятакъ упалъ къ ногамъ... Надо было сказать: пятакъ упалъ на мостовую, звеня и подпрыгивая»... Замѣчаніе это — помню очень хорошо — было для меня цѣлымъ откровеніемъ. Да, дѣйствительно,

звеня и подпрыгивая выходитъ гораздо живописнѣе, дорисовываетъ движеніе. Художественное чувство было въ моей натурѣ; выраженіе: пятакъ упалъ не просто, а звеня и подпрыгивая,— этихъ двухъ словъ было для меня довольно, чтобы понять разницу между сухимъ выраженіемъ и живымъ, художественнымъ литературнымъ пріемомъ». Но такія «открытія» дѣлаются на элементарной ступени обученія, при первомъ ознакомленіи съ формами словеснаго изложенія...

Общеніе съ Достоевскимъ, Некрасовымъ, Бѣлинскимъ, Бекетовскимъ кружкомъ имѣло для Григоровича благодѣтельное значеніе: уровень его умственныхъ и литературныхъ интересовъ поднялся, онъ серьезно занялся самообразованіемъ и серьезно же сталъ готовиться къ писательской карьерѣ. Почти номинальная, кратковременная служба въ канцеляріи Императорскихъ театровъ сблизила его съ артистическими кругами. Отъ шумной петербургской жизни онъ уѣзжаетъ въ деревню (въ 1846 г.). Объ этомъ моментѣ своей жизни Григоровичъ позднѣе вспоминалъ: «успѣхъ моего умственнаго развитія выразился уже тѣмъ, что моему самолюбію было больно за мою отсталость противъ многихъ изъ бывшихъ товарищей; литературными моими попытками и тѣмъ, что онѣ печатались, нечѣмъ было гордиться, я вполнѣ уже сознавалъ ихъ незначительность и незрѣлость. Послѣднюю мою повѣсть «Сосѣдка», написанную въ промежутокъ этого времени, я почти стыдился признать за свою. Я чувствовалъ что дальше такъ идти нельзя, что каждый, пожалуй, опередитъ меня, и я останусь затеряннымъ. Внутренній голосъ подсказывалъ мнѣ, что во мнѣ что то есть, что я могу что то сдѣлать, могу пойти впередъ, но для этого нужны другія условія, нужно, прежде всего, разстаться съ праздною жизнью и оставить Петербургъ» — для деревни.

Въ деревнѣ Григоровичъ ищетъ сюжета для себя, но онъ все не подвертывался. «Напрасно бродилъ я», вспоминаетъ онъ, «по цѣлымъ днямъ въ поляхъ и лѣсахъ, любовался картинами природы, напрасно цѣлыми ночами напрягалъ воображеніе, пріискивая интересный сюжетъ, — сюжетъ не вырисовывался, а если приходилъ, то непремѣнно напоминалъ «Хуторокъ» Кольцова или страданія маленькаго «Оливера Твиста» Диккенса — двухъ любимыхъ моихъ авторовъ въ то время, сочиненія которыхъ я привезъ съ собою». Сюжетъ подыскался случайно. Къ надлежащему воспріятію его Григоровичъ былъ достаточно подготовленъ петербургскими впечатлѣніями и вліяніями, Гоголемъ, Диккенсомъ, Жоржъ-Зандъ и пр. «Къ матушкѣ привезли больную молодую бабу. За обѣдомъ

атушка разсказала ея исторію. Ее противъ воли выдали замужъ а грубаго молодого парня, котораго также приневолили взять ее ъ жены; онъ возненавидѣлъ ее, чему не мало способствовали его естры, началъ ее бить въ трезвомъ и пьяномъ видѣ и заколотилъ очти до смерти; баба была въ злѣйшей чахоткѣ и врядъ ли могла ережить весну. Она говорила, что ей легче умереть, чѣмъ жить; е сокрушала только судьба дочери, двухлѣтней дѣвочки; онъ и е заколотитъ на смерть, говорила она. Разсказъ этотъ произвелъ а меня сильное впечатлѣніе. Сюжетъ повѣсти былъ найденъ. І тотчасъ же принялся его обдумывать и приводить въ повѣствоательную форму».

Творческая работа шла медленно и туго. «Знакомый съ простоародным русскимъ языкомъ только по рѣдкимъ книгамъ, которыя давалось читать, я сталъ усердно изучать его практически, проодилъ часы на мельницѣ, бесѣдуя съ помольцами, разговаривая ъ нашими крестьянами, стараясь прислушаться къ складу ихъ ѣчи, записывалъ выраженія, казавшіяся мнѣ особенно характерыми и живописными. Первыя главы повѣсти «Деревня» стоили нѣ неимовѣрнаго труда. Французскій языкъ, которымъ меня пиали до тринадцатилѣтняго возраста, все еще по временамъ давалъ ебя чувствовать; я долго иногда путался, пріискивая ту фразу, которая должна была выпукло и пластично выразить то, что хотѣось сказать».

Въ языкѣ «Деревни» нѣтъ органичности: Григоровичъ спѣшилъ использовать всѣ свои записи, мозаически лѣпилъ изъ нихъ рѣчь своихъ героевъ, перемежая ее книжными, тяжелыми и искусственными фразами, подчеркиваніями, остротами, щеголяя своею наблюдательностью и знаніемъ народнаго быта. Вотъ, напр., начало повѣсти (подчеркнуты мѣста, наиболѣе характерныя для неорганичности и притязательности р а н н я г о стиля Григоровича): «въ одномъ богатомъ селеніи, весьма значительномъ по количеству земли и числу душъ, въ грязной, смрадной избѣ на скотномъ дворѣ у скотницы родилась дочь. Э т о о б с т о я т е л ь с т в о, в ъ с у щ н о с т и в е с ь м а н е з н а ч и т е л ь н о е, и м ѣ л о, о д н а к о, с л ѣ д с т в і е м ъ т о, ч т о больная и хилая родильница, н е б ы в ъ в ъ с о с т о я н і и в ы н е с т и мученій, а, можетъ быть, и п р о с т о о т ъ н е д о с т а т к а б а б к и (что о ч е н ь ч а с т о с л у ч а е т с я в ъ д е р е в н я х ъ), испустила п о с л ѣ д н і й в з д о х ъ вскорѣ послѣ п е р в а г о к р и к а своей малютки. Рожденіе дѣвочки было о з н а м е н о в а н о б р а н ь ю бабъ и новой скотницы, т о в а р к и умершей, дѣлившихъ со с в о й с т в е н н ы м ъ и м ъ б е з к о р ы с т і е м ъ обношенные, дырявые п о ж и т к и

ея. Ребенокъ, брошенный на произволъ судьбы (окружающіе были заняты дѣломъ болѣе важнымъ), безъ сомнѣнія, не замедлилъ бы послѣдовать за своими родителями (и, конечно, не могъ бы сдѣлать ничего лучшаго), еслибъ одно изъ великодушныхъ существъ, наполнявшихъ избу, не приняло въ немъ участія и не сунуло ему какъ то случайно попавшійся подъ руку рожокъ. Услуга пришлась очень кстати и была, можно сказать, настоящею причиною, опредѣлившею судьбу младенца, которая до того времени колыхала его между жизнью и смертью. Дѣлежъ[1]), совершаемый по всѣмъ законамъ справедливости между однокашницами бывшей скотницы, не успокоилъ, однако, шумнаго ихъ сборища; хотя тётка Ѳекла и уступила скотницѣ Домнѣ полосатую понёву покойницы за ея изношенные коты (главную причину криковъ и размирья); хотя завистливая Домна перестала кричать на Голиндуху, завладѣвшую повязкою и чулками умершей, но наступившая тишина продолжалась не долго и была только предвѣстницей новой бури. Теперь, каждая изъ этихъ достойныхъ женщинъ съ жаромъ принялась защищать права свои въ разсужденіи того, на чью горькую долю долженъ достаться ребенокъ, какъ будто на зло имъ родившійся. Но сколько ни спорили горемычныя, ничего не могли рѣшить (чувство справедливости было въ нихъ сильно), и потому положили съ общаго голоса предоставить все судьбѣ и бросить жребій — способъ, какъ извѣстно, рѣшающій въ деревняхъ всякаго рода недоразумѣнія. Жребій, въ благодарность за такое довѣріе, не замедлилъ, по обыкновенію, показать собою примѣръ безукоризненнаго безпристрастія и справедливости: сиротка пришлась на долю скотницы, которая, не въ примѣръ другимъ бабамъ, была надѣлена полдюжиною собственныхъ чадъ. Домна (такъ звали новую скотницу), хотя баба норова твердаго или, лучше сказать, ничѣмъ невозмутимаго, не могла, однако, вынести равнодушно опредѣленія судьбы и тутъ же, зная напередъ, сколько безполезно роптать на нее, внятно проголосила, что жутко будетъ проклятому пострѣлу, невѣсть какъ несправедливо навязавшемуся ей на шею».

[1]) Кстати, такой дѣлежъ надъ не остывшимъ еще тѣломъ, помимо родни, совсѣмъ не въ нашихъ крестьянскихъ нравахъ: Григоровичъ былъ введенъ, повидимому, въ заблужденіе и обобщилъ частный, исключительный случай.

Изрѣдка только Григоровичу этой лексической смѣсью въ из-
зстной мѣрѣ удается достигнуть желательнаго эффекта и прикрыть
), для цензуры, знаменательные бытовые намеки: «страсть
ъ битью, подзатыльникамъ, пинкамъ, нахлобучни-
амъ, затрещинамъ и вообще всякимъ подобнымъ спосо-
амъ полированія крови—не послѣдняя страсть въ простомъ
ловѣкѣ. Ужъ врожденная ли она, или развилась чрезъ
руговую поруку—Богъ ее вѣдаетъ; вѣрнѣе, что чрезъ
руговую поруку...»

Осенью Григоровичъ привезъ свою «Деревню» въ Петербургъ
сдѣлалъ попытку пристроить ее въ «Современникѣ». Некрасову
ıа не понравилась, и обезкураженный Григоровичъ впалъ въ от-
ıяніе. Поддержалъ его кружокъ Петрашевцевъ, къ которому тогда
ıимкнулъ Достоевскій. Близкій къ нему талантливый критикъ
мершій очень молодымъ, братъ поэта) Валеріанъ Майковъ, про-
ıушавъ повѣсть, оцѣнилъ ея гуманную общественную тенденцію и
ıистроилъ ее въ «Отечественныхъ Запискахъ». Кружку Некрасова
ıа все же не нравилась[1]). Тургеневъ вспоминаетъ: «въ 1846 году
ъ «Отечественныхъ Запискахъ» появилась повѣсть г. Григоровича
ıдъ заглавіемъ «Деревня», по времени первая попытка сближе-
ıя нашей литературы съ народной жизнью, первая изъ нашихъ
ıеревенскихъ исторій» — Dorfgeschichten. Написана она была язы-
ıомъ нѣсколько изысканнымъ—не безъ сантиментальности, но стремле-
ıіе къ реальному воспроизведенію крестьянскаго быта — было
ıесомнѣнно. Покойный И. И. Панаевъ, человѣкъ добродушный, но
ıрайне легкомысленный и способный схватывать одни лишь вершки
ıерхушекъ, уцѣпился за нѣкоторыя смѣшныя выраженія «Деревни»
, обрадовавшись случаю поглумиться, сталъ поднимать на-смѣхъ
сю повѣсть, даже читалъ въ пріятельскихъ домахъ нѣкоторыя,
о его мнѣнію, самыя забавныя страницы. Но каково же было его
ıумленіе, каково недоумѣніе хохотавшихъ пріятелей, когда Бѣ-
инскій, прочтя повѣсть г. Григоровича, не только нашелъ ее весьма
ıмѣчательной, но немедленно опредѣлилъ ея значеніе и предсказалъ
о движеніе, тотъ поворотъ, которые вскорѣ потомъ произошли
ъ нашей словесности! Панаеву оставалось одно: продолжать чи-
ıть отрывки изъ «Деревни», но уже восхищаясь ими, что онъ и
дѣлалъ».

---

[1]) Близкій къ нему карикатуристъ изобразилъ Григоровича въ видѣ франта,
ıоющагося въ навозной кучѣ, между тѣмъ какъ изъ ближайшаго окна баба выли-
ıаетъ ему на голову шайку помоевъ; внизу была надпись такого рода: „Неудачное
ıтыскиваніе Акулинъ въ деревнѣ“.

Въ печатномъ отзывѣ Бѣлинскаго о «Деревнѣ» сказывается несомнѣнная внутренняя борьба между художественнымъ и общественнымъ чувствомъ. Съ художественной стороны она его очень мало удовлетворяла; но въ ней онъ прозорливо видѣлъ важный шагъ въ демократизаціи нашей литературы, въ рѣшительномъ поворотѣ ея къ крестьянскимъ темамъ и борьбѣ противъ крѣпостного права: эти заслуги Григоровича, по мнѣнію критика, искупали всѣ психологическіе и стилистическіе промахи повѣсти.

Устные его отзывы, повидимому, были сочувственнѣе печатнаго — въ этомъ случаѣ, можетъ быть, сказалось вліяніе кружка «Современника», Некрасова въ особенности. Критикъ писалъ: «о г. Григоровичѣ мы теперь же скажемъ, что у него нѣтъ ни малѣйшаго таланта къ повѣсти, но есть замѣчательный талантъ для тѣхъ очерковъ общественнаго быта, которые теперь получили въ литературѣ названіе «физіологическихъ». Но онъ хотѣлъ сдѣлать изъ своей «Деревни» повѣсть, и отсюда вышли всѣ недостатки его произведенія, которыхъ онъ легко бы могъ избѣжать, еслибы ограничился безсвязными внѣшнимъ образомъ, но дышащими одною мыслью картинами деревенскаго быта крестьянъ. Неудачна также и его попытка заглянуть во внутренній міръ героини его повѣсти, и вообще изъ его Акулины вышло лицо довольно безцвѣтное и неопредѣленное, именно потому, что онъ старался сдѣлать изъ нея особенно интересное лицо. Къ недостаткамъ повѣсти принадлежатъ также и натянутыя, изысканныя и вычурныя мѣстами описанія природы. Но что касается собственно до очерковъ крестьянскаго быта, это — блестящая сторона произведенія г. Григоровича. Онъ обнаружилъ тутъ много наблюдательности и знанія дѣла и умѣлъ выказать то и другое въ образахъ простыхъ, истинныхъ, вѣрныхъ, съ замѣчательнымъ талантомъ. Его «Деревня» — одно изъ лучшихъ беллетристическихъ произведеній прошлаго (1846) года».

Народъ былъ тогда и для Бѣлинскаго «таинственнымъ незнакомцемъ». Научное народоизученіе только начиналось; взросшая на почвѣ дворянской психологіи и идеологіи литература только подходила къ настоящему описанію народной жизни. Въ свѣтѣ исторической критики и бытовая сторона «Деревни» меркнетъ вслѣдъ за художественной: она ближе къ «Бѣдной Лизѣ» Карамзина, чѣмъ къ «Власти тьмы» Л. Н. Толстого, «Мужикамъ» Чехова — лучшимъ произведеніямъ нашей народнической литературы. Идеализація бываетъ всякая: за одною можетъ стоять барственный сантиментализмъ, за другою — опредѣленная общественная программа и опредѣленныя философско-историческія построенія. Григоровича

ь этомъ отношеніи любопытно сравнить не съ народниками, а ь талантливымъ, несправедливо забытымъ юмористомъ 60-хъ годовъ пѣпцовымъ (1836—1878). Это сопоставленіе даетъ опредѣленный ыслъ утвержденіямъ славянофильскаго критика Аполлона Григорьева и Шевырева, что у Григоровича нѣтъ почти ничего русскаго, и откровенному совѣту автору «Деревни» Писемскаго: оставили бы, право, писать о мужикѣ. Гдѣ вамъ, джентльменамъ, ниматься этимъ? Предоставьте это намъ; это же наше дѣло: я мъ мужикъ!»

Л. Н. Толстой, назвалъ Слѣпцова и Чехова лучшими, послѣ оголя, представителями юмора въ нашей литературѣ. Кто вспомнитъ «Спѣвку», «Мертвое тѣло», «Свиньи», тотъ, конечно, согласится съ этимъ взглядомъ. Въ большинствѣ разсказовъ Слѣпцова азлиты мягкій юморъ, безподобное остроуміе, удивительная наблюдательность. Нѣкоторымъ не нравятся его изображенія крестьянской жизни, будто бы представляющія сплошное издѣвательство адъ деревенскою темнотою. Никто, конечно, не откажетъ Слѣпцову въ непосредственномъ большомъ знакомствѣ съ народною изнью. Его «пѣшія хожденія» по Россіи обогатили его громаднымъ количествомъ свѣжихъ и яркихъ наблюденій надъ только то раскрѣпощенною крестьянскою массою. Можетъ быть, ъ тайники ея души, представляющіе «книгу за семью печатями», нъ не проникъ; повидимому, и для него по многимъ пунктамъ ародъ оставался «таинственнымъ незнакомцемъ». Но Слѣпцовъ исовалъ то, что видѣлъ, не лгалъ и не выдумывалъ: его можно ыло бы только обвинять въ безсознательной одностоонности. По основному взгляду къ его разсказамъ тѣсно примыкаютъ «Мужики» Чехова, а кто будетъ обвинять ихъ ъ сознательной карикатурности или художественной лжи?

Идеализація мужика имѣетъ свою очень длинную исторію. Іоэзія XVIII в., выросшая на болотѣ крѣпостныхъ отношеній, юбила изображать прикрашенныхъ пейзанъ, пляшущихъ и поющихъ во славу своего добраго барина и мирно процвѣтающихъ юдъ эгидою его власти. Подсахаренные, а то и совсѣмъ засахаренные «мужички» Григоровича и его послѣдователей являются нуками этихъ пейзанъ. Даже въ «Запискахъ Охотника» чувствуется эта идеализація, хотя бы и сведенная до минимума благодаря художественному чутью ихъ автора. Въ подобной идеализаціи далеко не все и не всегда обстояло благополучно. За нею иногда прятались отъ слишкомъ тяжелыхъ впечатлѣній дѣйствительности; ею замѣняли живое, настоящее дѣло на пользу «мень-

шого брата», выплачивали этою дешевою платою свой «долгъ» ему; въ ней часто не было настоящаго уваженія къ человѣческому достоинству идеализируемаго; создавая фантомъ и поклоняясь ему, кадили прежде всего себѣ, своей прозорливости и своему «гуманству» и охотно согласились бы примѣнить къ себѣ слова Чацкаго Софьѣ относительно Молчалина:

„Богъ знаетъ, въ немъ какая тайна скрыта;
Богъ знаетъ, за него что выдумали вы,
Чѣмъ голова его въ вѣкъ не была набита.
Быть можетъ, качествъ вашихъ тьму,
Любуясь имъ, вы придали ему:
Не грѣшенъ онъ ни въ чемъ, вы во сто разъ грѣшнѣе".

Отчасти подобныхъ «дѣятелей на нивѣ народной» имѣлъ въ виду Слѣпцовъ въ своемъ Щетининѣ, пустопорожнее «гуманство» и «грошевый либерализмъ» котораго онъ такъ безпощадно и такъ забавно высмѣялъ въ своемъ романѣ «Трудное время». Во всякомъ случаѣ его, можетъ быть, слишкомъ трезвое, проникнутое здоровымъ смѣхомъ изображеніе деревенской «власти тьмы» было полезнымъ и необходимымъ коррективомъ къ крайностямъ идеализаціи у другихъ. Слѣпцовъ осмѣивалъ далеко не все: его смѣхъ направленъ всегда на очень опредѣленныя явленія — пошлость, рабьи чувства, оголтѣлое невѣжество, притязательность при внутренней пустотѣ. Его смѣхъ не всегда «свѣтелъ», въ немъ слышатся иногда и грусть, и горе. Изъ-за отрицательныхъ красокъ его картинъ очень опредѣленно вырисовываются его положительные взгляды. Обыкновенно говорятъ, что эти послѣдніе онъ выразилъ, и не вполнѣ удачно, въ лицѣ Рязанова. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, напримѣръ, въ гипертрофіи честности, конечно, но нежизнеспособность Рязанова, его очевидная несостоятельность въ столкновеніи съ Маріей Николаевной ясно показываютъ, что для Слѣпцова онъ не былъ средствомъ выразить свои личныя воззрѣнія, субъективнымъ типомъ, а однимъ, хотя бы и лучшимъ плодомъ «труднаго времени».

Моральные, психологическіе и художественные недочеты нашего ранняго «филантропическаго направленія» не лишаютъ его, конечно, большого историческаго значенія: принципъ реализма былъ твердо поставленъ, хотя его воплощеніе и не было пока вполнѣ удачнымъ. Позднѣе отпали черты дворянскаго сантиментальнаго «гуманства», этнографическая мозаика Даля, литературное и научное народоизученіе, просвѣтленное настоящимъ сочувствіемъ къ крестьянской жизни, стало на твердую почву строгаго и вдумчиваго анализа.

Уже въ «Антонѣ Горемыкѣ» Григоровича (1847) сказывается звѣстный прогрессъ: это повѣсть проще — и сильнѣе «Деревни». Въ одномъ письмѣ Бѣлинскій такъ говоритъ объ общемъ впечатлѣніи этой повѣсти: «ни одна русская повѣсть не производила на меня такого страшнаго, мучительнаго, удушающаго впечатлѣнія; читая ее, мнѣ казалось, что я въ клѣткѣ, гдѣ благонамѣренный помѣщикъ поретъ и истязуетъ цѣлую вотчину — законное наслѣдіе его благородныхъ предковъ»[1]). То что «физіологія Григоровича, Деревня» дѣлаетъ фуроръ» (слова Достоевскаго въ письмѣ къ брату), не могло не вліять и на общественное воспитаніе — въ направленіи борьбы, протеста противъ крѣпостничества. Л. Н. Толстой вспоминаетъ, что и его, 16-лѣтняго юношу, захватывали повѣсти Григоровича: впервые онъ убѣждался, что «надъ русскимъ мужикомъ писатель не долженъ смѣяться». И это уже было, по тѣмъ временамъ общественнымъ пріобрѣтеніемъ. Григоровичъ пробовалъ учесть не только разлагающее вліяніе крѣпостничества на крестьянъ, но и на помѣщиковъ (юмористическій романъ «Проселочныя дороги»). Юморъ былъ не въ его натурѣ, и всѣ попытки созданія юмористическаго романа оканчивалась для него слабымъ подраженіемъ Гоголю, а типы помѣщиковъ были сколками съ героевъ «Мертвыхъ Душъ».

Гоголь не выносилъ такихъ своихъ подражателей и относительно одного изъ нихъ (Гребенки) полушутя говорилъ Анненкову: «Напишите ему, что это никуда не годится. Какъ же это можно, чтобъ человѣкъ ничего не могъ выдумать! Непремѣнно напишите, чтобъ онъ пересталъ подражать! Что же это такое въ самомъ дѣлѣ? Онъ вредитъ мнѣ. Скажите просто, что я сержусь и не хочу этого. Вѣдь онъ же родился гдѣ-нибудь, учился грамотѣ гдѣ-нибудь, видѣлъ людей и думалъ о чемъ-нибудь. Чего же ему болѣе для сочиненія! Зачѣмъ же онъ въ мои дѣла вмѣшивается? Это неблагородно, напишите ему. Если уже нужно ему за другимъ ухаживать, такъ пусть выберетъ, кто поближе къ нему живетъ!... Все же будетъ легче. А меня пусть оставитъ въ покоѣ, пусть непремѣнно оставитъ въ покоѣ».

---

[1]) Въ печатномъ отзывѣ Бѣлинскій писалъ: „Антонъ Горемыка" больше, чѣмъ повѣсть, — это романъ, въ которомъ все вѣрно основной идеѣ, все относится къ ней, завязка и развязка свободно выходятъ изъ самой сущности дѣла. Несмотря на то, что внѣшняя сторона разсказа вертится на пропажѣ мужицкой лошаденки; несмотря на то что Антонъ — мужикъ простой, вовсе не изъ бойкихъ и хитрыхъ, — онъ лицо трагическое въ полномъ значеніи этого слова. Эта повѣсть трогательная, по прочтеніи которой въ голову невольно тѣснятся мысли грустныя и важныя».

Народные разсказы Григоровича[1]) — все же наиболѣе существен ная часть его литературнаго наслѣдія. Онъ близко подошел къ тѣмъ вопросамъ, которые такъ глубоко захватила наша народ ническая литература 70-хъ годовъ, хотя и не могъ въ нихъ вполн разобраться: органическая связь мужика съ землей (напр. «Пересе ленцы» — 1855, «Пахарь» 1857), растлѣвающее вліяніе городско жизни и фабрики («Рыбаки», 1852), значеніе крестьянской житей ской обстановки, живописность народнаго быта и пр. Онъ любит и знаетъ русскую природу, иногда очень удачно рисуетъ ее — съ тонкимъ «инстинктомъ рисовальщика», по мѣткому выраженіі Анненкова, красиво сливаетъ ландшафтъ, пейзажъ съ жизнью людей Короткія его вещи удачнѣе большихъ: отзывъ Бѣлинскаго о том что у Григоровича «ни малѣйшаго таланта къ повѣсти», суров но по существу справедливъ. Въ крупныхъ по размѣрамъ произве деніяхъ у него и больше изысканности, притязательности, сант ментальности, натянутаго юмора и подражательности. «Смедовска долина» (1854) его, напр., вызвала злую пародію «Современника» — «Черная долина» (La vallée noire), съ эпиграфомъ изъ Жорж Зандъ: «Oh! que j'aime cette vie calme et douce». Ея начал «У пастуха Ивана есть падчерица Марья. Однажды вечеромъ, ст рая бѣлье въ живописной рѣчкѣ (см. «Jeanne» Ж. Зандъ), он слышитъ подлѣ себя вздохъ — это Ѳедоръ, который служилъ ба ракомъ на сосѣднемъ пчельникѣ; Ѳедоръ подходитъ къ ней и, по чесывая въ затылкѣ, смотритъ на нее. — Чаво не видалъ, глаза-т уставилъ? — не безъ наивнаго кокетства спрашиваетъ Марья, слегк краснѣя. — Эхъ, Машутка, больно те я полюбилъ то!...» и пр.

Въ изображеніи средняго и мелкаго петербургскаго люда, ч новничества и помѣщиковъ онъ не только перепѣвалъ Гоголя, Д стоевскаго, но и гр. Сологуба и другихъ еще менѣе крупных писателей.

Его «Ретвизанъ» (1859) слишкомъ растянутъ, хотя и дает много интересныхъ и живыхъ описаній.

Въ 1862 году Григоровичъ сдѣлался секретаремъ Обществ поощренія художествъ и все болѣе и болѣе сталъ отставать от литературныхъ интересовъ, въ пору наибольшаго ихъ разгара общественнаго возбужденія. Въ этомъ случаѣ сказалось не толь увлеченіе искусствомъ, которое онъ всегда любилъ (особеннаго даро ванія къ живописи у него не было, но понималъ онъ ее хорошо), но сознаніе, что онъ не можетъ настоящимъ образомъ удовлетворит

---

[1]) Послѣдній изъ нихъ, — «Пахотникъ и бархатникъ» (1859).

потребностямъ времени. Позднѣйшія его произведенія были перетѣвами раннихъ, и самъ Григоровичъ сознавалъ ихъ слабость: «если послѣднія мои произведенія слабѣе предыдущихъ, вина въ этомъ — моя отсталость, утрата привычки писать въ повѣствовательной формѣ». Лучше, интереснѣе всего его «Литературныя воспоминанія» (1893), хотя въ нихъ много субъективнаго и односторонняго.

Въ концѣ жизни Д. В. писалъ вообще рѣдко, мало, съ большими перерывами, чувствуя, что давно пережилъ свою славу, недовольный холодностью публики и критики. Умеръ онъ 22 декабря 1899 года.

Самъ онъ указалъ то, что въ значительной степени объясняетъ, если не оправдываетъ главные недочеты его творчества: «въ кругу русскихъ писателей врядъ ли найдется много такихъ, которымъ въ дѣтствѣ привелось встрѣтить столько неблагопріятныхъ условій для литературнаго поприща, сколько было ихъ у меня». И въ большой плюсъ ему нужно поставить его искреннюю, глубокую любовь къ литературѣ, его благожелательное, теплое отношеніе къ начинающимъ авторамъ (напр., Чехову). Въ своихъ «Воспоминаніяхъ» онъ писалъ: «я всегда съ чувствомъ глубочайшей благодарности обращаюсь къ Промыслу, направившему меня съ юности къ литературнымъ занятіямъ. Любовь къ литературѣ была моимъ ангеломъ-хранителемъ; она пріучила меня къ труду, она часто служила мнѣ лучше разсудка, предостерегая меня отъ опасныхъ увлеченій; ей одной, наконецъ, обязанъ я долей истиннаго счастья, испытаннаго мною въ жизни». Счастливый случай вознесъ его на высоту, на ней онъ не смогъ удержаться, но до конца своихъ дней благодарно чтилъ то теченіе въ литературѣ, на гребнѣ котораго онъ было выплылъ.

Николай Алексѣевичъ НЕКРАСОВЪ.

Николай Алексѣевичъ Некрасовъ родился 22 ноября 1821 г. въ Винницкомъ уѣздѣ Подольской губерніи. Отецъ поэта, армейскій офицеръ, во время одного изъ своихъ передвиженій съ полкомъ познакомился съ дочерью польскаго пана Закревскаго, которую тайкомъ увезъ изъ дома ея родителей, и женился на ней противъ ихъ воли. Образованная, мягкая по натурѣ польская панна представляла рѣзкую противоположность невѣжественному и грубому армейскому офицеру, и это неравенство съ особенной силой сказалось, когда

отецъ Некрасова, выйдя въ отставку и поселившись въ своемъ родовомъ имѣніи, обратился въ деспота-крѣпостника, давшаго полную волю всѣмъ своимъ дурнымъ инстинктамъ. Мальчикъ росъ въ разлагающей атмосферѣ, встрѣчая сочувствіе и ласку только у своей запуганной и замученной матери, и дѣтство не дало ему отрадныхъ впечатлѣній. Позднѣе, въ своихъ стихотвореніяхъ, онъ такъ вспоминалъ о немъ:

Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудикой
Я росъ средь буйныхъ дикарей,
И мнѣ дала судьба по милости великой
Въ руководители псарей.
Вокругъ меня кипѣлъ развратъ волною грязной,
Боролись страсти нищеты,
И на душу мою той жизни безобразной
Ложились грубыя черты.

Въ другомъ извѣстномъ стихотвореніи «Родина» онъ рисуетъ цѣлую картину той обстановки,

Гдѣ было суждено мнѣ Божій свѣтъ увидѣть,
Гдѣ научился я терпѣть и ненавидѣть,
. . . . . .
Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ
Завидовалъ житью послѣднихъ барскихъ псовъ.

И на фонѣ этой картины, потрясающей своей трагической правдой, выдѣляется только одинъ свѣтлый образъ матери поэта:

. . . Чей ликъ въ аллеѣ дальной
Мелкаетъ межъ вѣтвей болѣзненно-печальный?
Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!
Кто жизнь твою сгубилъ... о! знаю, знаю я!..
Навѣки отдана угрюмому невѣждѣ,
Не предавалась ты несбыточной надеждѣ —
Тебя пугала мысль возстать противъ судьбы,
Ты жребій свой несла въ молчаніи рабы...
Но знаю: не была душа твоя безстрастна;
Она была горда, упорна и прекрасна!..

Къ воспоминаніямъ о своей матери, проникнутымъ глубокой благоговѣйной любовью, Некрасовъ не разъ возвращался въ теченіе всей своей литературной дѣятельности, ей же посвятилъ свое прекрасное предсмертное стихотвореніе «Баюшки-баю».

Можно съ увѣренностью сказать, что условія, окружавшія Некрасова въ дѣтствѣ, наложили неизгладимый слѣдъ на всю его жизнь; въ нихъ же черпалъ онъ и содержаніе для своего послѣдующаго поэтическаго творчества. Два основные мотива этого твор-

чества — тяжелое положеніе крестьянина и «доля злая» русской женщины могли такъ глубоко врѣзаться въ его душу лишь потому, что онъ самъ былъ не наблюдателемъ чужого горя, а непосредственнымъ страдающимъ участникомъ его. Въ дѣтствѣ онъ видѣлъ, какъ истязали крѣпостныхъ, какъ отецъ его въ качествѣ исправника «судилъ» провинившихся, какъ тосковала его любимая мать, а когда, въ поискахъ болѣе отрадныхъ впечатлѣній, измученный ребенокъ убѣгалъ къ берегу Волги, то и тамъ, познакомившись съ бытомъ бурлаковъ, онъ скоро понялъ, «чей стонъ раздается надъ великою русской рѣкой». Будучи взрослымъ, онъ только болѣе осмыслилъ эти раннія впечатлѣнія, такъ какъ къ дѣятельности чутко-отзывчиваго дѣтскаго сердца прибавилась анализирующая работа сознанія умнаго, вполнѣ созрѣвшаго человѣка. Ему не надо было всматриваться въ хорошо знакомыя картины родной дѣйствительности и изучать ее — требовалось лишь вдуматься и понять то, что еще въ дѣтскомъ возрастѣ больно ударило его по нервамъ.

Въ 1832 году отдали его въ ярославскую гимназію. Послѣ тяжелаго гнета отцовскаго дома одиннадцатилѣтній мальчикъ очутился почти на полной свободѣ; благодаря плохому преподаванію ученье шло неважно, но все-таки онъ дошелъ до 5-го класса, откуда, впрочемъ, его взяли домой, такъ какъ въ виду столкновеній его съ гимназическимъ начальствомъ (изъ-за сатирическихъ стиховъ) оставаться въ училищѣ было невозможно. Отецъ рѣшилъ опредѣлить его на военную службу и отправилъ въ Петербургъ для поступленія въ Дворянскій полкъ (кадетскій корпусъ). Военная карьера не привлекала юношу; вмѣсто корпуса онъ сталъ думать объ университетѣ, а отецъ, узнавъ о такомъ «ослушаніи» сына, лишилъ его всякой матеріальной поддержки. Съ этого момента начинается самый тяжелый періодъ жизни Некрасова, который не прошелъ для него безслѣдно: много мути осѣло въ душѣ поэта, но зато онъ и многому научился. Это было время голодныхъ скитаній по Петербургу въ поискахъ за грошовымъ заработкомъ, нищенскаго проживанія въ грязныхъ углахъ и ночлежкахъ, время неопредѣленныхъ стремленій къ свѣту и знанію и предложенія своего литературнаго труда сомнительнымъ издателямъ-спекулянтамъ. И рядомъ съ этимъ онъ на-спѣхъ готовилъ себя для поступленія въ университетъ: занимался, читалъ, учился латинскому языку. Выдержать университетскаго экзамена ему не удалось, но онъ при содѣйствіи Плетнева поступилъ въ университетъ вольнослушателемъ и въ теченіе двухъ лѣтъ слушалъ лекціи на словесномъ факультетѣ. Одновременно съ университетскими занятіями Некрасовъ продолжалъ вести борьбу за существованіе, ко-

торая, конечно, отнимала много времени и силъ и мѣшала ему сосредоточиться на пополненіи своего образованія.

Литературная работа, сначала мелкая и случайная (газетные фельетоны, шуточные стихи, ведевили), захватывала его постепенно все больше и больше, и еще въ ту пору подъ вліяніемъ тяжелаго жизненнаго опыта у молодого писателя начало складываться болѣе или менѣе опредѣленное направленіе мысли, которое позднѣе уяснилось и разработалось окончательно. Въ 1840 году онъ издалъ первый сборникъ своихъ стихотвореній подъ названіемъ «Мечты и звуки», который вызвалъ неодобрительный отзывъ Бѣлинскаго и былъ авторомъ вскорѣ уничтоженъ. Этотъ неудачный поэтическій дебютъ не долженъ однако заслуживать строгаго осужденія, и считать эти стихотворенія чуждыми и не соотвѣтствующими дѣйствительному творчеству Некрасова было бы неправильно: не только средніе таланты, но и геніи не всегда твердо становятся въ началѣ своего литературнаго поприща на тотъ путь, по которому пойдутъ они смѣло и увѣренно впослѣдствіи, когда поэтическій даръ разовьется, созрѣетъ и окрѣпнетъ, когда порывы смѣнятся убѣжденіями, и изъ неопытнаго увлекающагося юноши выработается совершенно сложившійся человѣкъ и «взыскательный художникъ». 19-лѣтняго Некрасова нельзя ставить рядомъ съ авторомъ «Рыцаря на часъ» и другихъ выдающихся произведеній, тѣмъ не менѣе нельзя не признать, что и въ первомъ его сборникѣ среди сбивчивыхъ и нестройныхъ «звуковъ» уже проглядываетъ то направленіе творчества, которое поставило на видное мѣсто въ исторіи нашей литературы Некрасова, какъ «поэта-гражданина».

Въ началѣ 40-хъ годовъ, благодаря своимъ занятіямъ литературой, Некрасовъ познакомился съ тогдашними литературными кругами, получилъ доступъ въ наиболѣе видный журналъ того времени—«Отечественныя Записки», издаваемыя Краевскимъ, гдѣ ему удалось напечатать довольно много замѣтокъ, разсказовъ, а также и нѣсколько стихотвореній. Но всего важнѣе было то, что благодаря работѣ въ «Отечеств. Зап.» онъ познакомился съ Бѣлинскимъ, который не только сыгралъ громадную роль въ исторіи нашей литературы, но глубокимъ обаяніемъ своей свѣтлой личности оказывалъ неотразимое вліяніе и на отдѣльныхъ писателей, которымъ приходилось съ нимъ сталкиваться. Бѣлинскій много помогъ Некрасову въ его внутреннемъ самоопредѣленіи и общемъ духовномъ развитіи; онъ же встрѣтилъ горячимъ сочувствіемъ извѣстное стихотвореніе Некрасова «Въ дорогѣ», которое было помѣщено въ «Отеч. Зап.»

Около Бѣлинскаго группировался цѣлый кружокъ лучшихъ писателей того времени, какъ, напримѣръ, Тургеневъ, Григоровичъ,

Достоевскій и др. Этотъ кружокъ, виднымъ членомъ котораго сдѣлался и Некрасовъ, не распался и послѣ смерти великаго критика, имя котораго продолжало объединять людей, иногда и различавшихся по своему направленію. Ясный, практическій умъ Некрасова, бодрость и энергія скоро помогли ему пробить себѣ дорогу. Объединивъ лучшія силы этого литературнаго кружка, онъ занялся самостоятельнымъ издательствомъ: сначала были выпущены отдѣльные сборники («Физіологія Петербурга», «Петербургскій сборникъ»), а затѣмъ, поощренный ихъ успѣхомъ, онъ вмѣстѣ съ Панаевымъ купилъ у Плетнева въ 1847 г. «Современникъ», основанный еще Пушкинымъ, и скоро сумѣлъ поставить этотъ журналъ на такую высоту, что «Отеч. Зап.» не могли уже съ нимъ конкурировать. Около «Современника» собрались лучшія литературныя силы: писатели, стремившіеся сохранить традиціи покойнаго Бѣлинскаго, чувствовали, что этотъ журналъ является единственнымъ средоточіемъ всего наиболѣе передового и культурнаго, что только могло уцѣлѣть въ русской литературѣ въ эпоху реакціи и цензурнаго гнета. Въ этомъ отношеніи заслуга Некрасова, какъ редактора, громадна: добросовѣстный и прямой въ матеріальныхъ разсчетахъ съ сотрудниками, онъ, кромѣ того, обладалъ большимъ художественнымъ чутьемъ, являлся тонкимъ цѣнителемъ не только такихъ произведеній, какъ «Записки Охотника», но умѣлъ угадывать талантъ въ молодыхъ, начинающихъ писателяхъ и, что весьма рѣдко встрѣчается, давалъ дорогу тѣмъ, кто въ своихъ убѣжденіяхъ шелъ дальше не только его друзей, но и его самого. Своимъ глубокимъ умомъ онъ умѣлъ понимать, что молодымъ силамъ принадлежитъ будущее на пути развитія русской мысли и, поддерживая ихъ, не останавливался даже передъ тѣмъ, чтобы пойти наперекоръ своимъ друзьямъ, перенести обиду и непріятныя недоразумѣнія. Если нѣкоторые изъ друзей Некрасова, работавшихъ съ нимъ въ «Современникѣ», были безспорно талантливѣе его, то нельзя не признать за нимъ первенства въ смыслѣ широты взглядовъ, проницательности и дальновидности ума.

Редакторская дѣятельность Некрасова продолжалась вплоть до его кончины; въ 1866 году «Современникъ» былъ закрытъ, но черезъ два года Некрасовъ арендовалъ у Краевскаго «Отечест. Зап.», которыя онъ велъ вмѣстѣ съ Салтыковымъ-Щедринымъ.

Всю жизнь страдая отъ тяжелой болѣзни, періодически обострявшейся, Некрасовъ ѣздилъ за границу лѣчиться, но, несмотря на наступавшее временами улучшеніе, поправиться онъ не могъ; состояніе его здоровья окончательно разстроилось, и въ 1877 году, 27 декабря онъ скончался.

Въ послѣдній, предсмертный періодъ жизни Н. А. тяжелыя физическія мученія сопровождались еще болѣе тяжелыми душевными страданіями: умирающій поэтъ подводилъ итоги своему существованію, чуткой совѣстью провѣрялъ свои вольныя и невольныя отступленія отъ того идеала, къ которому страстно стремился втеченіе жизни, но слѣдовать которому не всегда хватало у него нравственной силы. Его судъ надъ собою былъ строгъ:

„Что враги? пусть клевещутъ язвительнѣй,
Я пощады у нихъ не прошу:
Не придумать имъ казни мучительнѣй
Той, которую въ сердцѣ ношу.

Онъ признавался, что

. . . . Жизнь любя, къ ея минутнымъ благамъ
Прикованный привычкой и средой,
Я къ цѣли шелъ колеблющимся шагомъ,
Я для нея не жертвовалъ собой.

Этотъ томительный самоанализъ послѣднихъ минутъ его жизни поистинѣ искуплялъ всѣ вины и ошибки поэта, который въ глубокомъ душевномъ потрясеніи обращался къ своей родинѣ за послѣдней поддержкой и прощеніемъ:

За то, что я остался одинокимъ,
Что я ни въ комъ опоры не имѣлъ,
Что я, друзей теряя съ каждымъ годомъ,
Встрѣчалъ враговъ все больше на пути —
За каплю крови, общую съ народомъ,
Прости меня, о родина! прости!

И въ этотъ тяжелый періодъ «родина» — интеллигентное русское общество горячо откликнулось на страданія поэта: со всѣхъ концовъ читающей Россіи приходили сочувственныя телеграммы, письма, привѣтствія въ такомъ большомъ количествѣ, исполненныя такого неподдѣльнаго чувства, что Некрасовъ самъ былъ пораженъ силой этого неожиданнаго подъема. А когда онъ умеръ, то надъ могилой его восторженная молодежь произносила рѣчи, въ которыхъ имя Некрасова ставилось иногда даже выше именъ русскихъ геніевъ.

Чѣмъ обусловливалось такое отношеніе, и какія были его причины?

На этотъ вопросъ отвѣчаетъ содержаніе литературнаго творчества Некрасова, тѣ «гражданскіе мотивы», которые всегда близки сердцу русскаго интеллигента и особенно были близки тогда, въ эпоху великихъ реформъ, когда застоявшаяся русская жизнь задвигалась

и оживилась, когда отъ литературы требовали, чтобы она была не «искусствомъ для искусства», а искусствомъ для жизни и отъ жизни.

Литературная дѣятельность Некрасова рѣзко распадается на двѣ половины. Одна — это журнальная работа изо дня въ день, спѣшная, вызывавшаяся самими условіями ежемѣсячнаго изданія, минутными злобами русской жизни; онъ печатаетъ статьи, разсказы, пародіи, пишетъ вдвоемъ съ однимъ изъ своихъ литературныхъ друзей длинный тенденціозный романъ для «Современника» за неимѣніемъ болѣе интереснаго матеріала и т. п. По большей части во всѣхъ этихъ произведеніяхъ проглядываетъ то, что они сдѣланы на-спѣхъ, механически, по извѣстному шаблону; читая ихъ, мы представляемъ себѣ петербуржца-журналиста, нервнаго, съ желчной усталостью въ душѣ, не всегда разборчиваго и чуткаго къ тому, что онъ пишетъ, — видимъ человѣка, отравленнаго ядовитымъ смрадомъ столицы, разсѣянно скучающаго среди обычныхъ трудовъ и заботъ, подчасъ презрительно-насмѣшливаго и къ самому себѣ, и къ другимъ. Это настроеніе смѣнялось однако другимъ, и выступалъ Некрасовъ-поэтъ:

Если долго сдержанныя муки,
Накипѣвъ, подъ сердце подойдутъ,
Я пишу: риѳмованные звуки
Нарушаютъ мой обычный трудъ.

Эти «риѳмованные звуки» не были похожи на «обычный трудъ», какъ не похожъ и авторъ поэмы «Морозъ Красный-Носъ» на сочинителя грубой пародіи на превосходную «Колыбельную пѣсню» Лермонтова. Въ эти минуты онъ пробуждалъ въ своей душѣ

Необузданную, дикую
Къ лютой подлости вражду
И довѣренность великую
Къ безкорыстному труду.

Передъ нимъ вставали «родныя картины», глубоко запечатлѣвшіяся еще съ дѣтства, одна другой безотраднѣе. Онъ видѣлъ, какъ крестьянинъ готовитъ могилу безвременно умершему сыну:

Вся въ инеѣ шапка большая,
Усы, борода въ серебрѣ.
Недвижно стоитъ, размышляя,
Старикъ на высокомъ бугрѣ.
Рѣшился. Крестомъ обозначилъ,
Гдѣ будетъ могилу копать,
Крестомъ осѣнился и началъ
Лопатою снѣгъ разгребать.
. . . . . .

Согнувъ свою старую спину,
Онъ долго, прилежно копалъ.
И желтую мерзлую глину
Тотчасъ же снѣжокъ застилалъ.

А въ это время

Въ избушкѣ — теленокъ въ подклѣти,
Мертвецъ на скамьѣ у окна;
Шумятъ его глупыя дѣти;
Тихонько рыдаетъ жена.
Сшивая проворной иголкой
На саванъ куски полотна,
Какъ дождь, зарядившій надолго,
Не громко рыдаетъ она.

А вотъ «Орина, мать солдатская», у которой

Мало словъ, а горя рѣченька,
Горя рѣченька бездонная!.. и т. д. и т. д.

Передъ Некрасовымъ проходитъ вся крестьянская жизнь, темная и убогая, и онъ изображаетъ ее ярко и правдиво, не прибѣгая къ искусственнымъ эффектамъ и преувеличеніямъ, потому что дѣйствительность сама по себѣ ужасна и глубоко задѣваетъ всякаго, кто къ ней подойдетъ поближе.

Припомнимъ стихотвореніе «Желѣзная дорога», въ которомъ поэтъ хочетъ «показать правду» «умному Ванѣ».

Прямо дороженька: насыпи узкія
Столбики, рельсы, мосты,
А по бокамъ то все косточки русскія...
Сколько ихъ. Ваничка, знаешь ли ты!

Поэтъ рисуетъ хороводъ мертвецовъ, обгоняющихъ «дорогу чугунную»:

„Мы надрывались подъ зноемъ, подъ холодомъ,
„Съ вѣчно согнутой спиной,
„Жили въ землянкахъ, боролися съ голодомъ,
„Мерзли и мокли, болѣли цынгой.
„Грабили насъ грамотеи-десятники,
„Сѣкло начальство, давила нужда...
„Все претерпѣли мы, Божіи ратники,
„Мирныя дѣти труда.“

Но, какъ ни безотрадна картина, она не пораждаетъ въ душѣ Некрасова безнадежности и отчаянія: онъ вѣритъ, что «терпѣньемъ изумляющій народъ»

Вынесетъ все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложитъ себѣ:

Чуткое проникновеніе Некрасова въ жизнь русскаго мужика общило ему умѣнье необыкновенно вѣрно схватывать не только родный языкъ, но и самую психологію простого человѣка; онъ аетъ грезы крестьянской дѣвушки, вѣчную заботу голодающаго жика о хлѣбѣ, съ поразительной художественной правдивостью ресказываетъ въ прекрасномъ стихотвореніи, «что думаетъ старуха гда ей не спится».

Видное мѣсто въ поэзіи Некрасова занимаетъ женщина, и ей святилъ онъ много прекрасныхъ строкъ. Его не даромъ называютъ ѣвцомъ русской женщины». Некрасовъ въ противоположность мно мъ нашимъ поэтамъ обращаетъ главное вниманіе не на внѣшнюю асоту женщины, онъ видитъ въ ней гораздо больше, нежели вдох- вительницу и помощницу мужчины — для него она прежде всего е л о в ѣ к ъ съ громаднымъ запасомъ умственной и нравственной лы, но человѣкъ, придавленный жизненными условіями, которому гдѣ проявить все богатство своей натуры. Своимъ сочувствіемъ дѣляя изъ остальныхъ слоевъ общества русскаго мужика, Некра- въ по отношенію къ женщинѣ сохраняетъ глубокую симпатію юду, гдѣ бы онъ ее ни встрѣтилъ: онъ не пройдетъ мимо нея даже тѣхъ случаяхъ, когда

Безпокойная ласковость взгляда
И поддѣльная краска ланитъ,
И убогая роскошь наряда —
Все не въ пользу ея говоритъ.

Поэтъ предупреждаетъ всякаго, кто захочетъ бросить въ нее приговоръ роковой», и совѣтуетъ прежде спросить:

„Какъ дошла ты до жизни такой?“

Онъ самъ за нее отвѣтитъ, потому что нищенское скитанье по ламъ въ молодые годы научило его глубже вникать въ жизнь, ивило ему извѣстный демократизмъ понятій, который до конца не асалъ въ немъ, несмотря на развившуюся впослѣдствіи, можетъ ть, до излишества барственность и избалованность.

Въ извѣстной поэмѣ «Русскія женщины» Некрасовъ рисуетъ ухъ героинь, женъ декабристовъ, Трубецкую и Волконскую, такимъ подъемомъ вдохновенія, съ такой силой чувства, какихъ не находимъ даже въ томъ случаѣ, когда онъ изображаетъ тра- ческую судьбу самихъ декабристовъ («Дѣдушка»).

Три тяжкія доли имѣла судьба;
И первая доля: съ рабомъ повѣнчаться;
Вторая — быть матерью сына — раба,
А третья — до гроба рабу покоряться,
И всѣ эти грозныя доли легли
На женщину русской земли.

«И всѣ эти грозныя доли» воспѣлъ Некрасовъ — въ этомъ одн изъ его главныхъ поэтическихъ заслугъ, особенность его таланта, выдѣ ляющая его изъ среды другихъ поэтовъ. Можетъ быть, отсюда станет понятно, почему русская молодежь, — стремившіеся къ новой жизн дѣвушки и юноши — съ такимъ энтузіазмомъ встрѣчали стихотворені Некрасова, съ такой глубокой скорбью провожали его въ могилу..

Объяснить эту особенность творчества Некрасова помимо при родной чуткости души можно еще тѣмъ, что изъ всѣхъ впечатлѣні дѣтства, тяжелыхъ и гнетущихъ, онъ вынесъ одно отрадное воспоми наніе — свѣтлый образъ своей матери, къ которому, какъ къ божеству обращался во всѣ трудныя минуты, которой посвятилъ такія чуд ныя строки въ одномъ изъ лучшихъ своихъ произведеній — «Рыцар на часъ»:

Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тѣнью на мигъ!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для другихъ.
Съ головой, бурямъ жизни открытою,
Весь свой вѣкъ подъ грозою сердитою
Простояла ты, — грудью своей
Защищая любимыхъ дѣтей.
И гроза надъ тобой разразилася!
Ты, не дрогнувъ, ударъ приняла,
За враговъ, умирая, молилася,
На дѣтей милость Бога звала.
Неужели за годы страданія
Тотъ, Кто столько тобою былъ чтимъ,
Не пошлетъ тебѣ радость свиданія
Съ погибающимъ сыномъ твоимъ?...
Я кручину мою многолѣтнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебѣ мою пѣсню послѣднюю,
Мою горькую пѣсню спою.
О прости! то не пѣснь утѣшенія:
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну — и ради спасенія
Я твою призываю любовь!
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я въ тину нечистую
Мелкихъ помысловъ, мелкихъ страстей.
Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ,
Обагряющихъ руки въ крови,
Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви!

Стихотвореніе «Рыцарь на часъ» написано въ одну изъ тѣхъ нутъ, когда, по словамъ самого Некрасова, «совѣсть пѣсню свою тѣваетъ»... Такіе моменты очень характерны для него потому, ъ когда они наступали, то не только Некрасовъ высоко поднимался, къ человѣкъ, но и становился истиннымъ поэтомъ, имѣвшимъ полное аво сказать:

О, муза! я у двери гроба!
Пускай я много виноватъ,
Пусть увеличитъ во сто кратъ
Мои вины людская злоба —
Не плачь! завиденъ жребій нашъ,
Не надругаются надъ нами:
Межъ мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому кровному союзу!
Не русскій — взглянетъ безъ любви
На эту блѣдную, въ крови
Кнутомъ изсѣченную музу...

Критики поэзіи Некрасова, переносящіе свое недоброжелательство къ нему, какъ человѣку (часто незаслуженное) на его творчество, глубоко не правы, отказывая ему въ самобытности дарованія, ъ признавая за нимъ крупныхъ заслугъ въ русской литературѣ: ли Некрасовъ — человѣкъ, со всѣми своими слабостями и недостатами, представляетъ изъ себя необыкновенно яркій типъ русскаго ителлигента съ сильными порывами и слабыми силами, «кающагося юрянина», который носитъ въ своей душѣ и язвы своей среды, и вращеніе къ ней одновременно, то Некрасовъ-поэтъ — такое же ікое созданіе мрачной русской дѣйствительности, правдивый изобзитель тѣхъ темныхъ сторонъ ея, которыя терзали и продолжаютъ рзать до сихъ поръ всякую чуткую совѣсть... Его творчество тѣсно язано «кровнымъ союзомъ» съ русской жизнью, и отречься отъ глукаго значенія этого творчества такъ же невозможно, какъ невозжно забыть наше прошлое, которое до сихъ поръ не перестаетъ ть настоящимъ. Самой своей монотонностью и однообразіемъ Некравская поэзія напоминаетъ унылую русскую пѣсню, похожую на онъ, ту самую пѣсню, которая и «вся то» — «два словца»,

А запой ее, дѣтинушка,
Не дотянешь до конца:
Эту пѣсенку мудреную
Тотъ до слова допоетъ,
Кто всю землю, Русь крещеную,
Изъ конца въ конецъ пройдетъ.

Однако въ этой поэзіи гнѣва и скорби много бодрящихъ призывовъ: невѣріе въ свои силы не исключало у Некрасова вѣры въ русскій народъ, въ его свѣтлое будущее; упреки себѣ и своему поколѣнію, «неготовому къ трудной борьбѣ», не убило въ немъ глубокой трогательной любви къ Россіи:

Мать-отчизна! дойду до могилы,
Не дождавшись свободы твоей!
Но желалъ бы я знать, умирая,
Что стоишь ты на вѣрномъ пути,
Что твой пахарь, поля засѣвая,
Видитъ ведреный день впереди;
Чтобы вѣтеръ родного селенья
Звукъ единый до слуха донесъ,
Подъ которымъ не слышно кипѣнья
Человѣческой крови и слезъ...

Несмотря на встрѣчающіеся мѣстами прозаизмы и шероховатости, «суровый, неуклюжій стихъ» Некрасова отличается большой силой, и чтеніе его произведеній воскрешаетъ въ памяти знаменательныя слова Тургенева, отрицавшаго вообще силу и глубину его художественнаго дарованія: «А Некрасова стихи, собранные въ одинъ фокусъ, — жгутся»...

Аѳанасій Аѳанасіевичъ ФЕТЪ (Шеншинъ).

Аѳанасій Аѳанасіевичъ Фетъ происходилъ изъ стариннаго дворянскаго рода Шеншиныхъ. Отецъ поэта женился за границей на Шарлоттѣ Фетъ (Foeth), нѣмецкой еврейкѣ, и отъ этого брака 1820 года 23 ноября въ имѣніи Шеншина Новоселкахъ (Орловской губ. Мценскаго уѣзда) родился А. А. Такъ какъ этотъ бракъ первоначально былъ утвержденъ только лютеранской церковью, а православное вѣнчаніе совершено было послѣ рожденія поэта, то этотъ послѣдній долгое время носилъ фамилію своей матери, а въ литературѣ сохранилъ ее до конца. Фамилію отца онъ получилъ поздно, послѣ долгихъ хлопотъ.

До 14 лѣтъ А. А. учился дома, затѣмъ былъ отданъ въ одинъ изъ пансіоновъ Лифляндской губ. (въ г. Верро). Въ 1837 г. онъ съ нѣсколькими молодыми людьми поселился въ Москвѣ у извѣстнаго историка Погодина и въ томъ же году поступилъ въ Московскій университетъ, гдѣ въ числѣ его товарищей были Я. П. Полонскій и извѣстный критикъ Аполлонъ Григорьевъ; послѣдній былъ

рячимъ поклонникомъ поэтическаго таланта Фета и привѣтство-лъ его еще на университетской скамьѣ.

Первое изданіе произведеній Фета подъ названіемъ «Лирический Пантеонъ» вышло въ 1840 г. въ Москвѣ; несмотря на сочувственные отзывы критики, успѣха оно не имѣло. Съ 1842 г. онъ чинаетъ печатать свои стихотворенія въ журналѣ «Москвитянъ».

Въ 1845 г., вскорѣ послѣ окончанія университета, онъ поступилъ унтеръ-офицеровъ въ кирасирскій полкъ, откуда въ 1853 решелъ въ гвардейскіе уланы.

Въ 1850 г. онъ напечаталъ въ Москвѣ сборникъ своихъ стихо-ореній, сочувственно встрѣченный въ литературныхъ кругахъ, но ввавшій слабый интересъ со стороны читающей публики. Послѣ хода этого сборника Фетъ опять начинаетъ печататься въ журлахъ.

Переѣздъ въ Петербургъ въ связи съ поступленіемъ въ гвардію лъ ему возможность познакомиться съ кружкомъ «Современника», оторый редактировался Некрасовымъ и въ которомъ работали чшія литературныя силы того времени. Такіе тонкіе цѣнители ящнаго, какъ Некрасовъ, Тургеневъ и В. П. Боткинъ, не могли отмѣтить выдающагося таланта своего новаго сотрудника, и 1856 году подъ наблюденіемъ Некрасова и Тургенева стихотво-енія Фета были изданы отдѣльной книжкой. По поводу этого данія Тургеневъ писалъ ему: «...Что вы мнѣ пишете о Гейне? ы выше Гейне, потому что шире и свободнѣе его».

Въ 1857 г. Фетъ женился на сестрѣ В. П. Боткина, М. П. Бот-иной, и втеченіе трехъ лѣтъ жилъ по зимамъ въ Москвѣ, а лѣтомъ Новоселкахъ, перешедшихъ послѣ смерти отца къ сестрѣ поэта. слѣдующемъ 1858 году онъ вышелъ въ отставку штабъ-ротмистромъ, не получивъ, однако, дворянскихъ правъ, т. к. цензъ на раво ихъ пріобрѣтенія по мѣрѣ того, какъ онъ служилъ, все олѣе и болѣе повышался.

Съ 1860 года Фетъ поселяется въ пріобрѣтенномъ имъ небольомъ имѣніи Мценскаго уѣзда и живетъ тамъ въ продолженіе 7 лѣтъ, отъ времени до времени наѣзжая въ Москву. Въ этотеріодъ своей жизни онъ цѣликомъ погрузился въ сельское хозяйтво, которымъ занимался со свойственной ему въ высшей степени азсчетливостью и практичностью, а литературную работу заброилъ почти совсѣмъ.

Въ 1873 году онъ получилъ, наконецъ, утвержденіе въ дворянскихъ правахъ, а вмѣстѣ съ ними и фамилію своего отца.

Въ 1877 г. онъ купилъ другое имѣніе, Воробьевку, въ Курской губ. (Щигровскій уѣздъ), и съ этого времени образъ жизни его значительно измѣнился: дѣла по хозяйству передаются въ вѣдѣніе управляющаго, а Фетъ посвящаетъ себя литературѣ, сначала преимущественно переводамъ древнихъ классиковъ (Вергилія, Овидія, Горація и др.), а также нѣмецкаго философа Шопенгауэра («Міръ какъ воля и представленіе») и Гёте («Фаустъ» — обѣ части). Переводы эти не отличаются художественными достоинствами (кромѣ прекрасныхъ переводовъ Горація), несмотря на отличное знаніе языковъ, въ особенности нѣмецкаго, которымъ онъ съ дѣтства (отъ матери) пріучился владѣть такъ же, какъ и русскимъ: буквальная близость къ подлиннику, необыкновенная точность дѣлаютъ ихъ тяжеловѣсными, лишая живости и яркости.

Въ это же время Фетъ пишетъ много стихотвореній, которыя издаетъ подъ заглавіемъ «Вечерніе Огни» отдѣльными выпусками въ 1883, 1885, 1888 и 1891 годахъ.

Подъ старость Фетъ написалъ «Мои воспоминанія» (1848—1889) и «Ранніе годы моей жизни», вышедшіе въ печати уже послѣ смерти поэта.

Въ 1889 году въ послѣднихъ числахъ января въ Москвѣ былъ торжественно отпразднованъ пятидесятилѣтній юбилей его литературной дѣятельности, а 1892 году 21 ноября поэтъ, уже давно чувствовавшій старческую слабость, страдавшій затрудненіемъ дыханія и болѣзнью глазъ, скончался, не доживъ двухъ дней до 72 лѣтъ. Похороненъ онъ въ селѣ Клейменовѣ, въ двадцати верстахъ отъ Орла.

Трудно найти другого такого писателя, какъ Фетъ, въ которомъ поэтъ и человѣкъ были бы такъ рѣзко отдѣлены другъ отъ друга, такъ мало имѣли бы между собою общаго. Въ «Воспоминаніяхъ подробно разсказываетъ намъ о своей жизни узко-практическій, мелочно-разсчетливый обыватель, неспособный подняться надъ буржуазно-пошлымъ укладомъ собственнаго существованія, занятый завоеваніемъ матеріальнаго благополучія и, между прочимъ, литературой, для «пополненія бюджета». Оглядываясь черезъ десятки лѣтъ назадъ, онъ детально воспроизводитъ въ своей памяти цѣны квартиръ, обѣдовъ, экипажей и вскользь упоминаетъ о посѣщеніи Италіи, Франціи... Онъ хорошо помнитъ, какія у него были въ полку лошади, и какъ онъ ихъ обучалъ кавалерійскимъ маршамъ, но ничего не говоритъ о внутреннемъ процессѣ своего творчества, о тѣхъ настроеніяхъ, подъ вліяніемъ которыхъ создавались его лучшія произведенія... Этотъ разсказъ офицера Николаевскихъ временъ

помѣщика, написанный тяжелымъ языкомъ, грубо-прозаическій содержанію — такъ не вяжется съ исторіей поэтическихъ переживаній лучшаго изъ нашихъ лириковъ. Отраженія души поэта — его ихи — въ свою очередь не дадутъ намъ никакого представленія томъ реакціонерѣ-крѣпостникѣ, который «Письмами изъ деревни» зывалъ справедливое негодованіе со стороны своихъ современниковъ. Фетъ — двуликій Янусъ: одно его лицо обращено въ самую щу борьбы за пріобрѣтеніе благополучія, въ тину житейскихъ язгъ и мелочей, другое, чутко насторожившись, прислушивается музыкѣ переливающихся въ душѣ настроеній, тонко улавливаетъ ихъ незамѣтные оттѣнки. И, благодаря тому, что онъ не вшивалъ эти два начала, его творчество, чуждое тенденціи и кусственности, носитъ на себѣ отпечатокъ «чистой красоты». никогда не могъ понять», говоритъ онъ, «чтобы искусство интересовалось чѣмъ-либо помимо красоты», и въ этомъ отношеніи онъ гался вѣренъ себѣ до конца въ лучшихъ своихъ произведеніяхъ.

Та «красота», которой онъ служилъ и поклонялся, не являясь чѣмъ-либо выдуманнымъ, искусственнымъ — она такъ же правда и реальна, какъ и душа человѣка, которая ее чувствуетъ воспроизводитъ.

Въ безконечномъ разнообразіи явленій окружающаго насъ и нашего собственнаго духовнаго міра мы, въ силу привычки, многаго замѣчаемъ, проходимъ равнодушно мимо скрытой жизни нашихъ брирующихъ ощущеній, реагируя лишь на то, что особенно рѣзко етъ насъ по нервамъ, что тѣсно соприкасается съ такъ называемыми насущными вопросами» нашего существованія.

Пѣвцомъ такихъ скрытыхъ въ глубинѣ души мимолетныхъ строеній былъ Фетъ, и въ этой области едва ли найдется равный у поэтъ.

Онъ, какъ никто, отзывается на каждое ощущеніе, на каждое ва замѣтное колебаніе души и, будучи исключительно поэтомъ оихъ собственныхъ переживаній, является въ то же самое время онятнымъ для всѣхъ, одаренныхъ чутьемъ къ прекрасному, мало го — онъ утончаетъ въ насъ это чувство красоты.

Когда читаешь стихи Фета, кажется, точно слѣдишь, какъ бгутъ по небу легкія облачка, прозрачно-нѣжныя, постоянно мѣняющія свою форму, то дробясь, то сливаясь другъ съ другомъ; ѣ они свѣтлыя и ясныя, но каждое окрашено своимъ неуловимъ оттѣнкомъ, не поддающимся изображенію. И какъ нельзя предѣленно уловить ихъ цвѣтъ и очертанія, точно такъ же нельзя «разсказать» стихи Фета, передать содержаніе его поэзіи. Фетъ —

чистый лирикъ; за это его упрекаютъ въ однообразіи, но въ этом и главное богатство его поэзіи. Темы ея несложны: любовь, природ небольшое количество философскихъ запросовъ и проблемъ, и настроенія у него никогда не повторяются, чувство его такъ мног цвѣтно, музыка его стиха такъ разнообразна, что приходиш въ невольное изумленіе передъ гибкостью его таланта, передъ пер ливающимся блескомъ его вдохновенія. Онъ былъ вправѣ гов рить про себя:

И много мнѣ чувства, и пѣсенъ,
И слезъ, и мечтаній дано.

Въ стихотвореніяхъ Фета мы не найдемъ грандіозныхъ картин эффектныхъ описаній — у него все необыкновенно просто, иног даже обыденно, и въ то же самое время исполнено высокой поэз и художественной красоты. Необыкновенная непосредственность пер живаній обусловливается его глубокой связью съ окружающ природой, поразительно тонкой воспріимчивостью къ той незамѣ ной игрѣ смѣняющихся настроеній, которая происходитъ въ наш душѣ, часто независимо отъ работы сознанія.

«Ночь и я, мы оба дышимъ», говоритъ поэтъ, и за этим словами уже чувствуется, что онъ не станетъ рисовать детали законченной картины, послѣдовательно развивать передъ нами сво мысли и чувства, а только музыкой стиха запечатлѣетъ переживан даннаго момента и, заражая насъ своимъ настроеніемъ, безъ пояс неній, безъ лишнихъ словъ сроднитъ насъ и съ этой дышаще ночью, и съ самимъ собою. Какъ волшебникъ, однимъ прикос новеніемъ онъ откроетъ намъ другой міръ, сдѣлаетъ насъ зр чими, видящими то, мимо чего мы прошли бы совсѣмъ равнодушн и вотъ... безмолвные мы слышимъ,

Что струей своей колышимъ,
Напѣваетъ намъ фонтанъ.

Фетъ вообще избѣгаетъ лишнихъ словъ, онъ необыкновенно кратокъ, иногда настолько, что все стихотвореніе состоитъ изъ отдѣльныхъ отрывочныхъ фразъ, одиночныхъ словъ, не связанныхъ внѣшне, но слитыхъ такимъ глубокимъ единствомъ настроенія, которое едва ли встрѣтится въ пластически-законченномъ произведеніи другого поэта:

Шопотъ. Робкое дыханье.
Трели соловья.
Серебро и колыханье
Сонного ручья.

Свѣтъ ночной. Ночныя тѣни, —
Тѣни безъ конца.
Рядъ волшебныхъ измѣненій
Милаго лица.
Въ дымныхъ тучкахъ пурпуръ розы,
Отблескъ янтаря,
И лобзанія, и слезы, —
И заря, заря!...

Тайну невыразимаго очарованія своей поэзіи Фетъ такъ поясгъ въ коротенькомъ четверостишіи:

Подѣлись живыми снами,
Говори душѣ моей —
Чтò не выскажешь словами,
Звукомъ на душу навѣй!

Онъ, какъ никто, владѣетъ мелодіей стиха, и благодаря этому ь безконечно разнообразно обаяніе его поэзіи:

Я понялъ тѣ слезы, я понялъ тѣ муки,
Гдѣ слово нѣмѣетъ, гдѣ царствуютъ звуки,
Гдѣ слышишь не пѣсню, а душу пѣвца,
Гдѣ духъ покидаетъ ненужное тѣло,
Гдѣ внемлешь, что радость не знаетъ предѣла,
Гдѣ вѣришь, что счастью не будетъ конца.

Для Фета настроеніе каждаго даннаго момента никогда не дрося на части — онъ отдается ему цѣликомъ, и благодаря этому ıего «мысль свѣжа, душа вольна». «Каждый мигъ сказать хочу: — о я!» — «Каждый мигъ» переживается самъ по себѣ во всей его нотѣ и свѣжести, и поэтъ искрененъ, когда говоритъ:

Только въ мірѣ и есть, что тѣнистый
Дремлющихъ кленовъ шатеръ,
Только въ мірѣ и есть, что лучистый
Дѣтски-задумчивый взоръ!
Только въ мірѣ и есть, что душистый
Милой головки уборъ!
Только въ мірѣ и есть этотъ чистый,
Влѣво бѣгущій проборъ!

А между тѣмъ поэтъ, «природы праздный соглядатай», когда ıойдетъ другое настроеніе, нарисуетъ другую картину съ таі же силой свѣтлаго восторга и умиленія. Онъ любитъ «слѣдить ıасточкой стрѣльчатой надъ вечерѣющимъ прудомъ», онъ — весь ıманіе, когда «заря прощается съ землею, ложится паръ на днѣ ıинъ», онъ всматривается и въ грустный зимній пейзажъ, когда

На небѣ ни клочка лазури,
Въ степи все гладко, все бѣло, —
Одинъ лишь вóронъ противъ бури
Крылами машетъ тяжело.

Самыя незамѣтныя изъ окружающихъ насъ явленій, самыя т кія нити въ кружевѣ внѣшняго и внутренняго міра челов доступны его воспріятію:

Все, все мое, что есть и прежде было,
Въ мечтахъ и снахъ нѣтъ времени оковъ,
Блаженныхъ грезъ душа не подѣлила,
Нѣтъ старческихъ и юношескихъ сновъ.
За рубежомъ вседневнаго удѣла
Хотя на мигъ отрадно и свѣтло;
Пока душа кипитъ въ горнилѣ тѣла,
Она летитъ, куда несетъ крыло.

Его вдохновеніе «хватаетъ на лету и закрѣпляетъ вдруг темный бредъ души и травъ неясный запахъ».

Такъ много красоты разлито въ мірѣ кругомъ поэта, что не таетъ словъ для ея передачи, и онъ часто жалуется: «Какъ бѣд нашъ языкъ: хочу и не могу!»

Но если недостаетъ выразительности въ словѣ, то его за няетъ музыка. И эта музыка стиха достигается не искусственн подборомъ риѳмы и размѣра — она звучитъ въ душѣ поэта и, вы ваясь свободно, сама собою создаетъ гармоническую форму вы женія въ словѣ. Онъ назвалъ цѣлый отдѣлъ своихъ стихотворе «мелодіями», и, дѣйствительно, только «мелодіи» могутъ такъ за вать скрытыя струны нашей души, такъ волновать отвѣтн отзвукомъ наше чувство. Гдѣ, напримѣръ, грань между словом музыкальнымъ звукомъ въ его знаменитой «Серенадѣ»?

Тихо вечеръ догараетъ,
Горы золотя,
Знойный воздухъ холодаетъ, —
Спи, мое дитя!
Соловьи давно запѣли,
Сумракъ возвѣстя,
Струны робко зазвенѣли, —
Спи, мое дитя!
Смотрятъ ангельскія очи,
Трепетно свѣтя,
Такъ легко дыханье ночи, —
Спи, мое дитя!

Поэтъ съ такой музыкальной душой не могъ предаваться желому раздумью, не могъ не любить жизнь во всѣхъ ея прояв

ніяхъ, потому что къ нему она оборачивалась своей лучшей стороной, щедро дарила ему впечатлѣнія прекраснаго. Ради мукъ человѣка онъ не хотѣлъ «измѣнить свободы вѣчному призванью», а это призваніе заключалось въ томъ, чтобы, «плѣнительные сны лелѣя на яву, своей божественною властью» звать къ наслажденію «и къ человѣческому счастью». Фетъ глубоко убѣжденъ въ томъ, что чистое искусство — удѣлъ немногихъ, что преклоняться «передъ святыней красоты» могутъ лишь избранные, и онъ не стремится къ тому, чтобы его поэзія была достояніемъ толпы: «Ожесточенному и черствому душой пусть эта радость незнакома», но для него она заключаетъ въ себѣ высшій смыслъ, и больше ему ничего не надо:

...Я не мечталъ стяжать широкаго вѣнца.
О, нѣтъ! Подъ дымкою ревнивой покрывала
Мнѣ Музу молодость иную указала.
Отягощала прядь душистая волосъ
Головку дивную узломъ тяжелыхъ косъ,
Цвѣты послѣдніе въ рукѣ ея дрожали,
Отрывистая рѣчь была полна печали,
И женской прихоти, и серебристыхъ грезъ,
Невысказанныхъ мукъ и непонятныхъ слезъ;
Какой то нѣгою томительной волнуемъ,
Я слушалъ, какъ слова встрѣчались съ поцѣлуемъ,
И долго безъ нея душа была больна
И несказаннаго стремленія полна.

«Несказанное стремленіе» къ «серебристымъ грезамъ» было руководящей нитью его творчества. Онъ писалъ только то, что чувствовалъ и такъ, какъ чувствовалъ, не пытался уяснять кому-либо своихъ переживаній, какъ бы боясь тѣмъ самымъ спугнуть свое настроеніе:

....Какъ сладко, позабывъ житейское волненье,
Отъ чистыхъ помысловъ пылать и потухать...

Въ одномъ мѣстѣ своихъ «Воспоминаній» онъ говоритъ съ недоумѣніемъ о томъ, какъ одно изъ его стихотвореній не было понято его друзьями, а между тѣмъ смыслъ его оказывался такъ простъ и доступенъ... Дѣйствительно, если искать строгой логической связи и послѣдовательности въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ Фета, то съ внѣшней стороны ея можетъ и не быть, а между тѣмъ въ этомъ кажущемся наслоеніи разнообразныхъ, часто противорѣчивыхъ намековъ и заключаются глубокая внутренняя цѣльность и правдивость изображенія, геніальное умѣнье говорить «несказанное», выражать невыразимое. Вотъ, напр., характерное въ этомъ отношеніи стихотвореніе «У камина»:

Тускнѣютъ угли. Въ полумракѣ
Прозрачный вьется огонекъ.
Такъ блещетъ на багряномъ макѣ
Крыломъ лазурнымъ мотылекъ.
Видѣній пестрыхъ вереница
Встаетъ, усталый тѣша взглядъ,
И неразгаданныя лица
Изъ пепла сѣраго глядятъ.
Встаетъ ласкательно и дружно
Былое счастье и печаль —
И лжетъ душа, что ей не нужно
Всего, чего глубоко жаль.

Вопросы о жизни, о смерти, о вѣчности вставали иногда передъ поэтомъ, чаще подъ конецъ его творчества, и отвѣтъ на нихъ онъ находилъ внутри самого себя въ чувствѣ глубокаго благоговѣнія передъ красотой мірозданія, той красотой, которая отчасти доступна и человѣку и тѣмъ самымъ оправдываетъ его существованіе. Созерцаніе красоты даетъ прозрѣніе, осмысливаетъ жизнь, и благодаря ей

...Такъ прозрачна огней безконечность
И такъ доступна вся бездна эѳира,
Что прямо смотрю я изъ времени въ вѣчность
И пламя твое узнаю, солнце міра!
И неподвижно на огненныхъ розахъ
Живой алтарь мірозданья курится;
Въ его дыму, какъ въ творческихъ грёзахъ,
Вся сила дрожитъ и вся вѣчность снится.
И все, что мчится по безднамъ эѳира,
И каждый лучъ плотской и безплотный, —
Твой только отблескъ, о солнце міра,
И только сонъ, — только сонъ мимолетный!
И этихъ грезъ въ міровомъ дуновеньи,
Какъ дымъ, несусь я и таю невольно,
И въ этомъ прозрѣньи и въ этомъ забвеньи
Легко мнѣ жить и дышать мнѣ не больно.

Раздумье приводитъ его къ заключенію, что «...слово жить — вѣдь значитъ покоряться», протестъ не нуженъ, ибо и въ существующемъ много прекраснаго, только надо умѣть его уловить. Воспріимчивость къ прекрасному вытекаетъ изъ постоянной молодости сердца, и ее необходимо хранить, какъ драгоцѣнный даръ; пусть бываютъ минуты печали,

А все надежда въ сердцѣ тлѣетъ,
Что, можетъ быть, хоть невзначай
Опять душа помолодѣетъ,
Опять родной увидитъ край,

Гдѣ бури пролетаютъ мимо,
Гдѣ дума страстная чиста,
И посвященнымъ только зримо
Цвѣтетъ весна и красота.

«Знать, мой удѣлъ — лелѣять грезы», сказалъ про себя Фетъ и о конца сохранилъ эту молодость чувства и вдохновенія, «любилъ» «томился» «передъ всемірной красотою». Годы не унесли свѣжести оэтическаго вдохновенія — «весь трепетъ жизни молодой» ему ылъ «внятенъ отовсюду», свѣтлая радость бытія не угасала.

Въ душѣ, измученной годами,
Есть неприступный чистый храмъ,
Гдѣ все нетлѣнно, что судьбами
Въ отраду носылалось намъ.

Старѣющійся поэтъ такъ чутокъ къ прекрасному, что готовъ олиться «юности ласкающей и вѣчной», не испытывая досады или ависти; на закатѣ своихъ дней онъ по-прежнему стоитъ «колѣно-реклоненный» и «красотою умиленный», зажигаетъ «вечерніе огни» — адостный гимнъ наслажденію и человѣческому счастью. Смерть не угаетъ его:

Я съ лона тихаго земного идеала
На лоно вѣчности съ улыбкой перейду...

Но пока она еще не пришла, поэтъ не перестанетъ жить въ творчествѣ, зная, что

На землю сносятъ эти звуки
Не бурю страстную, не вызовы къ борьбѣ,
А исцѣленіе отъ муки.

Поэзія, которая даетъ «исцѣленіе отъ муки», не можетъ не быть вѣчно юной и свѣтлой, и потому стихотворенія Фета, унося насъ отъ «житейскаго волненья» въ тотъ край, гдѣ «цвѣтетъ весна и красота», освѣжаютъ наше чувство, окрыляютъ душу и даютъ возможность ощутить ту многогранную красоту міра, которой мы не замѣчаемъ среди будничной прозы жизни.

Фетъ, воспѣвая вѣчно-юное, вѣчно-человѣческое, такъ далекъ въ своей лирикѣ отъ какой-либо тенденціи, что, читая его, кажется, будто открываешь книгу человѣческой души вообще, независимо отъ той или иной эпохи. Благодаря этому его творчество отличается такой неувядающей свѣжестью, которую трудно найти въ произведеніяхъ другихъ поэтовъ, тѣсно связанныхъ съ своимъ поколѣніемъ близкихъ и дорогихъ ему, но тускнѣющихъ по мѣрѣ того, какъ время измѣняетъ понятія, идеалы и убѣжденія, замѣняя ихъ новыми.

Обладая исключительнымъ дарованіемъ, занимая выдающееся мѣсто среди русскихъ лириковъ, Фетъ въ общемъ пользуется сравнительно малой популярностью, и это можно объяснить только отсутствіемъ развитаго эстетическаго чутья въ широкихъ массахъ читающей публики, ея неподготовленностью воспринимать прекрасное въ тонкихъ оттѣнкахъ.

Можно съ увѣренностью сказать, что поэзіи Фета, недостаточно оцѣненной въ прошломъ и настоящемъ, предстоитъ эта оцѣнка въ будущемъ: стремленіе къ изящному развивается, растетъ, и несомнѣнно настанетъ время, когда не только у «посвященныхъ» вызоветъ глубокій интересъ поэтъ, такъ непосредственно говорившій о своемъ творчествѣ:

Эти звуки — бредъ неясный,
Томный звонъ струны;
Но, полны тоскливой муки,
Навѣваютъ эти звуки
Ласковые сны.
Звонкимъ роемъ налетѣли —
Налетѣли и запѣли
Въ свѣтлой вышинѣ...
Какъ ребенокъ, имъ внимаю:
Что сказалось въ нихъ, не знаю —
И не нужно мнѣ...
Позднимъ лѣтомъ въ окна спальной
Тихо шепчетъ листъ печальный, —
Шепчетъ не слова,
Но подъ легкій шумъ березы
Къ изголовью въ царство грезы
Никнетъ голова...

Графъ Алексѣй Константиновичъ ТОЛСТОЙ.

Графъ Алексѣй Константиновичъ Толстой родился 24 августа 1817 года въ Петербургѣ, но еще шестинедѣльнымъ ребенкомъ былъ увезенъ въ Малороссію, гдѣ въ имѣніи дяди по матери, Алексѣя Алексѣевича Перовскаго (писавшаго подъ псевдонимомъ Погорѣльскаго) провелъ ранніе годы своего дѣтства. Толстого воспитывали мать и дядя, и отца своего онъ совсѣмъ не зналъ. Въ автобіографіи А. К. такъ разсказываетъ о своемъ дѣтствѣ: «Мое дѣтство было чрезвычайно счастливо и оставило во мнѣ одни свѣтлыя воспоминанія. Бывъ единственнымъ сыномъ, безъ товарищей игръ, и одаренный весьма пылкимъ воображеніемъ, я очень рано привыкъ къ мечтательности, которая скоро обратилась въ рѣшительную склонность къ поэзіи.

стная природа, гдѣ я жилъ, много тому содѣйствовала: воздухъ рѣлище нашихъ большихъ лѣсовъ, страстно любимыхъ мною, вляли во мнѣ глубокое впечатлѣніе, имѣвшее вліяніе на мой актеръ и жизнь и сохраняемое мною до сей поры».

Но скоро обстановка его жизни перемѣнилась: мальчика на деомъ году родные привезли въ Петербургъ, и тамъ онъ попалъ исло сверстниковъ и товарищей воскресныхъ игръ наслѣдника стола, будущаго императора Александра II. Придворная атмора однако нисколько не измѣнила искренняго и открытаго хатера ребенка, — онъ и во дворцѣ чувствовалъ себя такъ же бодно, какъ и дома, на просторѣ любимой украинской природы. тересную картинку изъ этого періода его дѣтства находимъ мы запискахъ извѣстной А. О. Смирновой (Россетъ), бывшей фрейы Николаевскаго двора: «Алеша отличается баснословной силой, ь безъ всякаго усилія поднимаетъ ихъ всѣхъ (т.-е. товарищей ъ), перебрасываетъ ихъ по очереди себѣ черезъ плечо и галопиетъ съ этой ношей, подражая ржанью лошади. Онъ презабавный предложилъ Государю помѣряться съ нимъ силой. Его Величество звалъ ему: «Со мной? но ты забываешь, что я сильнѣе тебя, гораздо ше». — «Это все равно, я не боюсь помѣряться съ кѣмъ бы то ни ло, я очень силенъ, я это знаю». — Государь отвѣтилъ ему: «Такъ , значитъ, богатырь?» Мальчуганъ возразилъ: «У меня казацкая ша» и, къ всеобщему удивленію, привелъ стихъ изъ «Полтавы»; о восхитило Государя, который сказалъ ему: «Что жъ, помѣримся лами, я выше тебя ростомъ и буду бороться одной рукой». Алеша калъ кулаки, наклонился, какъ на кулачномъ бою, а затѣмъ спролъ: Я могу больно бить? — «Нисколько не тѣсняясь». Казакъ мгновенно сорвался съ мѣста, точно ядро, брошенное изъ жерла пушки».

Дружеская близость Толстого къ Александру II, сложившаяся ще во времена дѣтства обоихъ, сохранилась и потомъ, вплоть до нчины поэта. При этомъ нельзя не замѣтить, что А. К. не только воспользовался исключительной симпатіей къ нему государя я устройства себѣ карьеры, но всячески отклонялъ отъ себя мисти двора, блескъ котораго не прельщалъ его. Въ этомъ отношеніи . К. въ своемъ «Іоаннѣ Дамаскинѣ» почти автобіографиченъ, когда исуетъ отношенія калифа и Іоанна:

Но шумъ и блескъ его тревожитъ,
Ужиться съ ними онъ не можетъ,
И тяжкой думой обуянъ,
Тоска въ душѣ и скорбь на ликѣ,

Вошелъ правитель Іоаннъ
Въ чертогъ Дамасскаго владыки:
. . . . . .
„Простымъ рожденъ я быть пѣвцомъ,
„Глаголомъ вольнымъ Бога славить.
„Въ толпѣ вельможъ всегда одинъ,
„Мученья полонъ я и скуки;
„Среди пировъ, въ главѣ дружинъ
„Иные слышатся мнѣ звуки.
„Неодолимый ихъ призывъ
„Къ себѣ влечетъ меня все болѣ —
„О, отпусти меня, калифъ,
„Дозволь дышать и пѣть на волѣ!“

Стремленію «дышать и пѣть на волѣ» Толстой былъ вѣренъ до конца жизни, счастливыя условія которой способствовали свободному росту его поэтическаго таланта. Одиннадцати лѣтъ онъ былъ въ Германіи, гдѣ видѣлъ Гёте, къ которому нашъ поэтъ еще тогда «по инстинкту проникся величайшимъ почтеніемъ, благодаря тому, что слышалъ, какъ говорили о немъ»; немного позднѣе онъ вмѣстѣ съ родными посѣтилъ Италію и здѣсь прямо не по-дѣтски реагировалъ на новыя впечатлѣнія: «Изобразить вамъ всю силу моихъ впечатлѣній и весь переворотъ, совершившійся во мнѣ, когда открылись сокровища искусствъ душѣ моей, предчувствовавшей ихъ еще до той минуты, когда довелось мнѣ ихъ видѣть — было бы невозможно». И далѣе поэтъ разсказываетъ, какъ однажды въ венеціанскомъ отелѣ онъ ночью всталъ полюбоваться на пріобрѣтенный его дядей бюстъ фавна (приписываемый Микель-Анджело), и его дѣтское сердце мучилось отъ страха при одной мысли, что вдругъ въ отелѣ произойдетъ пожаръ, и бюстъ погибнетъ.

По возвращеніи домой, въ Малороссію, Толстой, по собственному его признанію, «впалъ по Италіи въ настоящую «тоску по родинѣ», въ какое то отчаяніе, вслѣдствіе котораго днемъ ничего не хотѣлъ ѣсть, а по ночамъ рыдалъ, когда сны уносили его въ потерянный рай».

Блестящія природныя способности и прекрасная домашняя подготовка дали возможность А. К. въ 18-лѣтнемъ возрастѣ выдержать выпускной университетскій экзаменъ по словесному факультету. Въ это же время (въ 1836 году) онъ поступилъ на службу въ русскую миссію при германскомъ сеймѣ во Франкфуртѣ на Майнѣ, затѣмъ перевелся чиновникомъ во II Отдѣленіе Собств. Е. И. В. Канцеляріи, былъ произведенъ въ камеръ-юнкеры, а позднѣе получилъ званіе церемоніймейстера при дворѣ цесаревича.

Несмотря на шумную придворную жизнь, интересъ къ литературѣ у Толстого не угасалъ: онъ знакомится съ тогдашними писа-

гелями и въ 1841 году издаетъ первое свое произведеніе, ультраромантическую, исполненную страшной фантастики повѣсть «Упырь» подъ псевдонимомъ Краснорогскаго (отъ названія любимаго имѣнія «Красный Рогъ», гдѣ поэтъ провелъ первые годы дѣтства). Вслѣдъ за повѣстью послѣдовало нѣсколько стихотвореній, напечатанныхъ безъ подписи автора, и только къ 1854 году можетъ быть отнесено начало его настоящей литературной дѣятельности, когда, познакомившись съ кружкомъ «Современника», онъ помѣстилъ въ этомъ журналѣ нѣсколько стихотвореній, и въ томъ числѣ извѣстное «Колокольчики мои». Тогда же Толстой вмѣстѣ съ братьями Жемчужниковыми участвовалъ въ составленіи шуточныхъ произведеній знаменитаго Козьмы Пруткова, которыя и печатались подъ этимъ псевдонимомъ на страницахъ «Современника». Установить точно, что именно въ «сочиненіяхъ» Козьмы Пруткова» принадлежитъ перу А. К. очень трудно, но во всякомъ случаѣ эта коллективная работа свидѣтельствуетъ о большомъ запасѣ у Толстого чрезвычайно своеобразнаго, легкаго и граціознаго юмора, выразившагося и въ другихъ его произведеніяхъ подобнаго характера.

Въ 1855 году (во время Крымской кампаніи) Толстой поступилъ волонтеромъ въ стрѣлковый полкъ Имераторской Фамиліи, но зараженіе тифомъ на пути къ театру военныхъ дѣйствій помѣшало ему принять въ нихъ участіе, и едва не стоило поэту жизни. Вскорѣ послѣ этого онъ женился на Софіи Андреевнѣ Миллеръ (Бахметевой по первому мужу). Этотъ бракъ былъ очень счастливымъ; послѣ одной изъ встрѣчъ съ своей будущей женой въ петербургскомъ свѣтѣ А. К. посвятилъ ей прелестное стихотвореніе: «Средь шумнаго бала»...

При вступленіи на престолъ Императора Александра II (во время коронаціи) А. К. былъ назначенъ флигель-адъютантомъ, но эта почетная должность, сопряженная съ шумной придворной жизнью, была не по душѣ поэту, и онъ просилъ государя сложить съ него это званіе. Толстой былъ зачисленъ егермейстеромъ, что не требовало отъ него никакой службы.

Съ конца 50-хъ годовъ онъ всецѣло отдался литературной работѣ, а также много хлопоталъ о постановкѣ на сценѣ своихъ трагедій, изъ которыхъ при его жизни ставилась только «Смерть Іоанна Грознаго» (остальныя не пропустила русская театральная цензура). Между прочимъ, эта піеса шла съ большимъ успѣхомъ за границей въ Веймарѣ въ хорошемъ переводѣ К. Павловой.

А. К. проводилъ послѣдній періодъ своей жизни въ передвиженіяхъ: разстроенное здоровье заставляло его много времени жить въ различныхъ курортахъ за границей, но иногда онъ надолго воз-

вращался въ Россію въ свои имѣнія; въ одномъ изъ нихъ, своемъ любимомъ Красномъ Рогѣ, онъ и скончался въ 1875 году 28 сентября.

Алексѣй Толстой пробовалъ свои силы въ лирикѣ, эпосѣ и драмѣ. Несмотря на внѣшнее разнообразіе формъ, творчество его проникнуто необыкновеннымъ единствомъ настроенія, и это единство особенно сильно сказывается въ томъ, что, въ противоположность другимъ поэтамъ, у Толстого мы не можетъ отмѣтить послѣдовательныхъ стадій въ ростѣ его таланта, отражающихъ внутреннее развитіе его личности. Причиной такой цѣльности настроенія является, можетъ быть, то, что на литературное поприще онъ вступилъ уже вполнѣ зрѣлымъ, законченно-сложившимся человѣкомъ, и раннія пробы его пера (писать онъ началъ еще въ дѣтствѣ) намъ неизвѣстны.

Причисляемый къ группѣ поклонниковъ такъ называемаго чистаго искусства, какъ, напр., Фетъ, Майковъ, Полонскій и др., Толстой въ нашей литературѣ по основнымъ мотивамъ своего творчества стоитъ на самомъ дѣлѣ совершенно особнякомъ.

Аристократъ по духу и по рожденію, избалованный судьбой баричъ, Толстой самыми условіями своего существованія былъ поставленъ въ особое положеніе, и это не могло не отразиться на его творчествѣ. Благодаря этимъ внѣшнимъ условіямъ ему не приходилось близко сталкиваться съ жгучими вопросами своей эпохи, остро переживать современный моментъ — онъ не попалъ въ круговоротъ мыслей и чувствъ своего поколѣнія, но лишь на разстояніи, изъ «прекраснаго далека» эстетически настроенной души, какъ зритель изъ первыхъ рядовъ партера, наблюдалъ сцену русской дѣйствительности, наблюдалъ ее хорошо вооруженнымъ, но все же постороннимъ глазомъ. Все-таки впечатлѣнія отъ этого разсматриванія ложились ему на душу, волновали его внутренній міръ, часто даже раздражали поэта потому, что природная чуткость и мягкая отзывчивость мѣшали ему равнодушно отнестись къ окружающему, заставляли такъ или иначе реагировать на происходившее около него, и тѣмъ самымъ разрушали гармоническій строй его возвышенной лиры.

Толстой былъ глубоко изящная личность во всѣхъ своихъ проявленіяхъ. Стремленіе къ красивому доводило его порой до излишней декоративности, заставляло подкрашивать нѣжными или яркими тонами то, что на самомъ дѣлѣ бывало зачастую грубо въ своемъ реализмѣ. Онъ любилъ «нарядные цвѣты», и его воображеніе разсыпало ихъ повсюду и въ лирикѣ, и въ эпосѣ, и въ драмѣ.

Современная ему русская жизнь давала мало красивыхъ впечатлѣній, а потому поэтъ любилъ обращаться къ прошлому, находя въ немъ болѣе широкій просторъ для вдохновенія и мечты; онъ рас-

ѣчивалъ сѣдую старину причудливымъ узоромъ своей фантазіи, тудикихъ славянскихъ богатырей перелицовывалъ въ рыцарей безъ аха и упрека, вкладывалъ въ нихъ мысли и чувства современныхъ льтурныхъ людей, но при этомъ всегда старался быть археологи-ки точнымъ въ обычаяхъ, языкѣ и костюмѣ. Это внѣшнее соблю-іе историческаго колорита обманывало самого поэта, продолжаетъ анывать зачастую и читателя, у котораго, какъ у «полоненой ревны» въ былинѣ «Алеша Поповичъ», «отъ звуковъ сердце млѣетъ кружится голова»... Толстой, какъ и герой его былины Алеша повичъ, умѣетъ «дивнымъ пѣніемъ» — музыкой своихъ стиховъ, аціозной легкостью переливающагося чувства зачаровать слуша-ія, и онъ спрашиваетъ вмѣстѣ съ поэтомъ:

Звуки льются, звуки таютъ:
То не вѣтеръ ли во ржи?
Не крылами ль задѣваютъ
Мѣдный колоколъ стрижи?
Иль въ тѣни журчатъ дубравной
Однозвучные ключи?
Иль ковшей то звонъ заздравный?
Иль мечи бьютъ о мечи?
Пламя ль блещетъ? Дождь ли льется?
Буря ль встала, пыль крутя?
Конь ли пò-полю несется?
Мать ли пѣстуетъ дитя?
Или то воспоминанье,
Отголосокъ давнихъ лѣтъ?
Или счастья обѣщанье?
Или смерти то привѣтъ?

Эти звуки — отголосокъ души поэта, и въ ней найдемъ мы объ-ненiе его поэзіи:

Во мнѣ и надеждъ и отчаяній рой,
Кочующей мысли прибой и отбой,
Приливы любви и отливы.

И все это происходитъ потому, что несоотвѣтствіе между грезами дѣйствительностью слишкомъ сильно, хотя и то и другое чередуется ь его мысляхъ:

... Въ безпредѣльное влекома,
Душа незримый чуетъ міръ.
И я не разъ подъ голосъ грома,
Быть можетъ, строилъ мой псалтирь,
Но я не чуждъ и здѣшней жизни;
Служа таинственной отчизнѣ,
Я и въ пылу душевныхъ силъ
О томъ, что близко, не забылъ.

«Здѣшняя жизнь», несмотря на свою будничность, не порождаетъ въ немъ тоски и разочарованія: — Алексѣй Толстой не пессимистъ, такъ какъ у него въ душѣ живетъ высшая радость — глубокое и поэтическое религіозное чувство, которое заставляетъ его сознавать себя на землѣ лишь временнымъ гостемъ:

Но все, что̀ чисто и достойно,
Что̀ на землѣ сложилось стройно,
Для человѣка то ужель,
Въ тревогѣ вѣчной мірозданья,
Есть грань высокаго призванья
И окончательная цѣль?
Нѣтъ, въ каждомъ шорохѣ растенья,
И въ каждомъ трепетѣ листа,
Иное слышится значенье,
Видна иная красота!
Я въ нихъ иному гласу внемлю,
И жизнью смертною дыша,
Гляжу съ любовію на землю,
Но выше просится душа;
И что̀ ее, всегда чаруя,
Зоветъ и манитъ вдалекѣ,
О томъ повѣдать не могу я
На ежедневномъ языкѣ.

Религіозность Толстого не мѣшаетъ ему «глядѣть съ любовію на землю», не пораждаетъ въ немъ меланхолическаго чувства, той пассивности смиренія, которая была, напримѣръ, у Жуковскаго. Эта религіозность является не столько «утѣшеніемъ въ скорбяхъ», сколько болѣе полнымъ развитіемъ его эстетическихъ порывовъ. Тотъ «незримый міръ», который «чуетъ» его душа, долженъ быть непремѣнно красивъ и чарующъ, полонъ яркаго жизнерадостнаго настроенія, и только тогда поэтъ можетъ стремиться въ него такъ страстно, соединяться съ нимъ, будучи на землѣ. «Нездѣшняя красота» не убиваетъ красоты здѣшней, и обѣ онѣ сливаются въ синтезѣ всеобъемлющей любви, которая благословляетъ «и въ полѣ каждую былинку, и въ небѣ каждую звѣзду». Но все же эту «любовь, широку какъ море, вмѣстить не могутъ жизни берега», и потому поэтъ не только раздвигаетъ земные горизонты религіознымъ стремленіемъ въ высь, но и самую землю украшаетъ «нарядными цвѣтами».

Если нѣтъ красиваго, то надо его создать; пусть пострадаетъ отъ этого точное воспроизведеніе жизни, но зато потребность красивого будетъ удовлетворена.

Большой поклонникъ пластическихъ искусствъ, Толстой старался и въ поэзію внести пластику. Въ лирическихъ стихотвореніяхъ

ъ часто достигаетъ необыкновенной художественной правды и краты, и это происходитъ потому, что его личныя настроенія ми по себѣ возвышенны и красивы и не нуждаются въ декоративхъ аксесуарахъ. Онъ вполнѣ искрененъ и по-своему правъ, когда воритъ, что не можетъ «повѣдать на ежедневномъ языкѣ» идеальныхъ ремленій своего духа. Толстой не подыскиваетъ возвышенныхъ овъ, искусственно не настраиваетъ своей лиры — ибо она уже отъ ироды «вознесена въ отчизну пламени и слова»:

И съ горней выси я сошелъ,
Проникнутъ весь ея лучами,
И на волнующійся долъ
Взираю новыми очами.

Принять жизнь такою, какъ она есть, Толстой не можетъ, — ровая дѣйствительность въ своемъ убогомъ нарядѣ его не вдохвитъ, и потому реализма, такъ, какъ мы его обыкновенно понимаемъ, произведеніяхъ этого поэта найти нельзя, кромѣ развѣ его лирискихъ стихотвореній, потому что въ нихъ онъ остается правдимъ изобразителемъ своихъ настроеній. Его міровоззрѣніе ярко іступаетъ во многихъ произведеніяхъ, и, вдумавшись въ это міроззрѣніе, мы поймемъ, что Толстой иначе писать не могъ:

И слышу я, какъ разговоръ
Вездѣ немолчный раздается,
Какъ сердце каменное горъ
Съ любовью въ темныхъ нѣдрахъ бьется,
Съ любовью въ тверди голубой
Клубятся медленныя тучи,
И подъ древесною корой,
Весною свѣжей и пахучей,
Съ любовью въ листья сокъ живой
Струей подъемлется пѣвучей.
И вѣщимъ сердцемъ понялъ я,
Что все, рожденное отъ Слова,
Лучи любви кругомъ лія,
Къ нему вернуться жаждетъ снова,
И жизни каждая струя,
Любви покорная закону,
Стремится силой бытія
Неудержимо къ Божью лону,
И всюду звукъ, и всюду свѣтъ,
И всѣмъ мірамъ одно начало,
И ничего въ природѣ нѣтъ,
Что̀ бы любовью не дышало...

Любовь высшаго порядка наполняетъ міръ, но подъ толстымъ іоемъ будничнаго сора и дрязгъ житейской борьбы ее сразу не

найдешь, оттого поэту «весело и горестно» одновременно, онъ в ритъ, что «неволя не долга — въ одну любовь мы всѣ сольемс вскорѣ», но пока «на землѣ къ намъ ея свѣтила нисходятъ порозн рѣдкіе лучи» —

И поразнь ихъ отыскивая жадно,
Мы ловимъ отблескъ вѣчной красоты;
Намъ вѣстью лѣсъ о ней шумитъ отрадной...
О ней потокъ гремитъ струею хладной,
И говорятъ, качаяся, цвѣты.

Исканіе любви на землѣ отразилось въ произведеніяхъ Толстог и онъ любилъ «любовью раздробленной»

И тихій шопотъ вербы надъ ручьемъ,
И милой дѣвы взоръ, на насъ склоненный
И звѣздный блескъ, и всѣ красы вселенной...

Религіозно-поэтическій паѳосъ постоянно жилъ въ его душ и потому въ его стихахъ «торжественности много и слишкомъ ма простоты», потому онъ почти всегда не говоритъ, а декламирует заставляетъ декламировать и своихъ героевъ.

Декламируютъ у него излюбленные богатыри и князья Кіевск Руси, декламируетъ новгородскій посадникъ на вѣчѣ, декламирує Василій Шибановъ, въ застѣнкѣ Грознаго терзаемый пыткой, и да самъ царь Иванъ, это, въ изображеніи Алексѣя Толстого, «чудн обло» жестокаго деспотизма, никогда въ своихъ рѣчахъ не теряе величественности и торжественно-приподнятаго тона, какъ и в остальныя дѣйствующія лица его трилогіи.

Толстой часто подвергался нападкамъ со стороны своихъ с временниковъ, выслушивалъ упреки въ отсталости и консерватиз и иногда, раздраженный этими нападками, выступалъ на защу чистаго искусства и въ колкой сатирѣ высмѣивалъ своихъ прот никовъ. Эти столкновенія въ корнѣ основывались на недоразумѣні на взаимномъ непониманіи: человѣкъ рѣдкой душевной прямо и рыцарскаго благородства, А. К. никогда не былъ защитнико темныхъ сторонъ русской жизни, въ своихъ произведеніяхъ о возставалъ противъ насилія и жестокостей («Смерть Іоанна Гро наго», «Старицкій воевода», «Князь Репнинъ» и др.), но въ то самое время условія его жизни, самый характеръ личности ставляли его идеализировать тѣ начала, на которыхъ были п строены правительственныя реформы 60-хъ годовъ, и дальше это въ своихъ политическихъ идеалахъ онъ не шелъ. Вообще его натур общественная борьба была несвойственна: «двухъ становъ не боец а только гость случайный», онъ мало интересовался политически

укладомъ жизни и, воспѣвая за своеобразную красоту древній строй Руси съ ея вѣчемъ, былъ далекъ отъ какой-либо опредѣленной политической тенденціи. Вопросъ о томъ, «гдѣ же прямая, святая дорога?», «направо ль, налѣво ль идти?» вставалъ передъ нимъ въ религіозно-нравственномъ, но не въ общественномъ смыслѣ. Онъ и самъ признавался, что...

. . . очи у него разбѣгаются,
И кажись хорошо, а и лучше есть!
А и худо, кажись, не безъ добраго!
И дойдетъ онъ до распутьица,
Не одну видитъ въ полѣ дороженьку;
И онъ станетъ, призадумается,
И пойдетъ впередъ, воротится,
Начинаетъ идти сызнова;
А дорогою то засмотрится
На луга, на лѣса зеленые,
Залюбуется на Божьи цвѣтики
И заслушается вольныхъ пташечекъ.

Іоаннъ Дамаскинъ ушелъ отъ калифа, оставилъ правленіе, и вмѣсто того, чтобы служить людямъ силою власти, которая была у него въ рукахъ, предпочелъ «дышать и пѣть на волѣ»:

„Служить Творцу — его призванье,
„Его души незримый міръ
„Престоловъ выше и порфиръ —
„Онъ не измѣнитъ, не обманетъ...

Выступить съ осужденіемъ его за это было бы полнымъ непониманіемъ человѣческой души, стѣсненіемъ ея индивидуальной свободы. Подобныя обвиненія выдвигались и противъ Толстого. Нападки эти въ извѣстной степени извиняются остротою переживавшагося тогда момента, исключительнымъ напряженіемъ общественныхъ инстинктовъ... Можно сказать съ увѣренностью, что въ этой борьбѣ не было виноватыхъ, и если Толстой въ своихъ юмористическихъ произведеніяхъ больно задѣвалъ идеалы своихъ современниковъ, то это вытекало изъ непониманія имъ реальныхъ основъ дѣйствительной жизни, а главнымъ образомъ вызывалось раздраженіемъ оскорбленнаго эстета. Творчество Толстого такимъ образомъ является прежде всего изображеніемъ его личности со всей гаммой поэтическихъ и религіозныхъ переживаній, и, кромѣ того, оно представляетъ изъ себя своеобразное отраженіе дѣйствительной жизни, главнымъ образомъ далекаго прошлаго Россіи, — отраженіе, въ которомъ всѣ рѣзкія линіи сглажены и грубая проза подернута розовой дымкой поэтическаго декорума.

Одной изъ главныхъ творческихъ заслугъ Толстого, помимо его свѣтлой, освѣжающей лирики, является попытка создать національную трагедію — трилогія «Борисъ Годуновъ». Блещущая технической отдѣлкой, необыкновенно сценичная и стройная по конструкціи, она, несмотря на свои недостатки — нѣкоторую приподнятость тона, позировку дѣйствующихъ лицъ, отсутствіе художественной яркости и глубины многихъ характеровъ и т. п., — является все же важнымъ моментомъ въ исторіи русской драмы и пользуется вполнѣ заслуженнымъ интересомъ не только на нашей, но и на заграничной сценѣ. Наиболѣе удачный изъ характеровъ — Царь Ѳедоръ Іоанновичъ — одно изъ лучшихъ созданій нашей драматической литературы. Въ трилогіи чувствуется глубокое знаніе не только театра, но и психологіи зрителей, которою Толстой въ этомъ своемъ произведеніи очень искусно овладѣваетъ. Тонко разсчитанные эффекты дѣлаютъ его піесы сценическими по преимуществу, такъ какъ въ чтеніи многое остается незамѣтнымъ, и впечатлѣніе значительно ослабляется. Про героевъ его трагедій можно сказать, что они загримированы самимъ авторомъ необыкновенно искусно, съ удивительнымъ соблюденіемъ внѣшняго историческаго колорита.

Александръ Николаевичъ ОСТРОВСКІЙ.

Главнымъ образомъ славу Островскаго, названнаго однимъ изъ біографовъ «литературнымъ Колумбомъ дореформенной купеческой и мѣщанской Россіи», создали его піесы изъ купеческой жизни — цѣлыя художественныя и бытовыя открытія. Попытки сценическаго изображенія купечества начинаются у насъ еще съ XVIII в., когда явился, напр., «Гостиный дворъ» талантливаго Матинскаго. Въ извѣстной мѣрѣ предшественницей купеческихъ піесъ Островскаго можетъ быть названа и «Женитьба» Гоголя, которая дала прекрасные типы купеческой невѣсты, ищущей «благороднаго» жениха, вѣрной старымъ сословнымъ преданіямъ тетки и свахи, нѣкоторый намекъ на положительный типъ «темнаго царства» — Старикова. Но Островскій превзошелъ своихъ предшественниковъ яркимъ и сочнымъ бытовымъ колоритомъ, глубокимъ общественнымъ содержаніемъ лучшихъ своихъ піесъ, богатствомъ и разнообразіемъ типовъ, исключительными достоинствами языка, небывалымъ доселѣ проникновеніемъ въ тайники народнаго творчества и народной жизни. Кавказскій герой Ермоловъ, цѣльная, широко, одаренная натура, сказалъ про «Свои люди—сочтемся»: «она не написана, она сама роди-

лась». Это мѣткое замѣчаніе можно примѣнить и ко многимъ другимъ произведеніямъ Островскаго. Близкій къ нему по «кружку молодого Москвитянина» критикъ Эдельсонъ сказалъ объ Островскомъ, что онъ «безпрерывно, неистощимо, цѣлыми десятками заразъ, мечетъ изъ себя цѣльныя, живыя фигуры все новыхъ и новыхъ людей». Свою писательскую технику онъ вырабатывалъ на улавливаніи и художественномъ воплощеніи такихъ «живыхъ, цѣльныхъ натуръ» изъ купеческой среды, которая близка была ему по воспоминаніямъ дѣтства и юности, которая въ силу своихъ занятій близко соприкасалась со всѣми другими слоями населенія и отложила въ себѣ и коренныя народныя черты, и черты, созданныя чуждыми вліяніями.

Предки Островскаго — духовнаго происхожденія, костромичи. Его дѣдъ, протоіерей, овдовѣвъ, переѣхалъ въ Москву и постригся въ Донскомъ монастырѣ, гдѣ пользовался большимъ уваженіемъ среди монастырской братіи. Отецъ его учился въ семинаріи и духовной академіи, но потомъ вышелъ изъ духовнаго званія и поступилъ въ сенатскую канцелярію въ Москвѣ. Женатъ онъ былъ на дочери просвирни, женщинѣ совершенно необразованной. Умерла она рано, и Александръ Николаевичъ, родившійся 31 марта 1823 года, остался безъ материнскаго призора на девятомъ году жизни. Отецъ былъ поглощенъ службой и 6 своимъ малолѣтнимъ дѣтямъ почти совсѣмъ не могъ удѣлять времени. Силы его уходили на тяжелую борьбу за существованіе. Воспитаніе дѣтей было поручено семинаристу, который и подготовилъ будущаго писателя къ гимназіи. Въ гимназіи Островскій учился съ 1835 по 1840 г. и шелъ все время однимъ изъ послѣднихъ: гимназическое преподаваніе тѣхъ временъ былъ мертвеннымъ и ничего не говорило живой душѣ мальчика. Притомъ у него не было и призванія къ наукѣ. Изъ гимназіи Островскій почти совсѣмъ не вынесъ знаній, что не помѣшало ему, однако, поступить въ Московскій университетъ на юридическій факультетъ. Позднѣе ему пришлось не мало страдать отъ слишкомъ бившихъ въ глаза пробѣловъ своего образованія. Университетъ тоже не захватилъ его, и Островскій, по неизвѣстнымъ пока причинамъ, оставилъ его черезъ два года. Отецъ его между тѣмъ женился вторично, выхлопоталъ себѣ за чинъ дворянство и, разставшись съ канцелярскою службою, занялся болѣе выгоднымъ ходатайствомъ по частнымъ (гражданскимъ) дѣламъ. Онъ сросся съ Замоскворѣчьемъ и среди него находилъ себѣ главныхъ кліентовъ. Въ домѣ отца А. Н. постоянно видѣлъ купцовъ, приказчиковъ, мелкое чиновничество — и обогащался наблюденіями для своихъ будущихъ произведеній. Въ 1843 году онъ поступаетъ въ канце-

лярію Московскаго совѣстнаго суда, разрѣшавшаго мировымъ соглашеніемъ дѣла по жалобамъ родителей на дѣтей, по преступленіямъ малолѣтнихъ и глухонѣмыхъ. Служба эта тоже дала ему много матеріаловъ для его піесъ. Черезъ два года онъ перешелъ въ канцелярію Коммерческаго суда, въ «Словесный столъ», который завѣдывалъ дѣлами о торговой несостоятельности, злостномъ и несчастномъ банкротствѣ. Новыя впечатлѣнія легли потомъ въ основу перваго крупнаго произведенія Островскаго — «Свои люди — сочтемся».

Одновременно съ служебною дѣятельностью началась для него и литературная. Уже къ осени 1845 г. у Островскаго, по его собственному свидѣтельству, былъ набросанъ рядъ сценъ изъ купеческаго быта. Онъ началъ писать цѣлую комедію — «Банкротъ» или «Несостоятельный должникъ» (впослѣдствіи названную, по цензурнымъ соображеніямъ, «Свои люди — сочтемся»), сцены «Картина семейнаго счастья» (впослѣдствіи «Семейная картина»). Отрывокъ изъ первой комедіи, вторая піеса и повѣствовательный очеркъ «Записки замоскворѣцкаго жителя» появились въ «Московскомъ Городскомъ Листкѣ» 1847 года, и это было началомъ его литературной карьеры. созданной яркими красками «волшебнаго міра» Замоскворѣчья. Устами одного изъ героевъ (Досужева въ «Тяжелыхъ дняхъ») Островскій такъ характеризовалъ этотъ закостенѣвшій міръ: «я живу въ той странѣ, гдѣ дни раздѣляются на легкіе и тяжелые: гдѣ люди твердо увѣрены, что земля стоитъ на трехъ рыбахъ, и что, по послѣднимъ извѣстіямъ, кажется, одна начинаетъ шевелиться: значитъ, плохо дѣло; гдѣ заболѣваютъ отъ дурного глаза. а лѣчатся симпатіями; гдѣ есть свои астрономы, которые наблюдаютъ за кометами и разсматриваютъ двухъ человѣкъ на лунѣ: гдѣ своя политика, и тоже получаются депеши, но только все больше изъ Бѣлой Арапіи и странъ, къ ней прилежащихъ». Досужевъ, ходатай по частнымъ дѣламъ, при этомъ прибавилъ: «выгоды отъ моего занятія довольно большія, а главное — что ни дѣло, то комедія». Островскій за этими «комедіями» подглядѣлъ много трагическаго: тяжелыя картины самодурства, кошмаръ «семейнаго счастья», полное извращеніе всѣхъ жизненныхъ и нравственныхъ отношеній, всѣ послѣдствія рабства личности.

Островскій былъ тогда ярымъ западникомъ, увлекался «Современникомъ» и статьями Бѣлинскаго, глубоко презиралъ и ненавидѣлъ «темное царство», которое отлилось въ такихъ законченныхъ формахъ въ замоскворѣцкой жизни. Общій протестующій, обличительный и соціальный тонъ тогдашней нашей литературы онъ при-

ѣнилъ къ новому бытовому матеріалу, одухотворилъ его новою
:изнью.

«Семейная картина» даетъ потрясающую картину не только
:мейныхъ, но и общественныхъ нравовъ, далеко превосходящую
:гкій и невинный юморъ «Записокъ замоскворѣцкаго жителя».
утъ «запираніе на замокъ» женщинъ и устройство любовныхъ
:иданій подъ прикрытіемъ «всенощной въ монастырѣ»; единственное
:звлеченіе — ѣдущій мимо «офицеръ съ перомъ» и «мадера на воль-
:мъ воздухѣ»; круговая порука лжи и обмана, въ которую втя-
:ты всѣ жертвы этого жизненнаго строя — жены, дочери, прислуга,
:могающая господскимъ шашнямъ. Тутъ «шутки шутятъ» — пугая
:ть не на смерть; чтобы «не сидѣть такъ», «отъ скуки» до оду-
:нія выпиваютъ самовары; людей цѣнятъ больше «насчетъ тѣле
:аго сложенія»; съ умиленіемъ рисуютъ идеалъ семейной жизни:
:акъ ни любилъ, какъ ни голубилъ, а въ спальнѣ, на гвоздикѣ,
:етка висѣла на всякій случай». Тутъ возможны такіе разговоры
предполагаемомъ женихѣ дочери и сестры: «Человѣкъ то степенный,
:божный, примѣрный купецъ, въ уваженіи». — «Только, матушка,
:къ больно плутъ». — «Ахъ, батюшки мои! Да чѣмъ же онъ плутъ,
:ажи, пожалуйста? Каждый праздникъ онъ въ церковь ходитъ,
: придетъ то онъ раньше всѣхъ; посты держитъ; великимъ по-
:омъ и чаю не пьетъ съ сахаромъ — все съ медомъ, либо съ изю-
:мъ. Такъ то, голубчикъ! Не то, что ты. А если и обманетъ кого,
:къ что за бѣда! Не онъ первый, не онъ послѣдній: человѣкъ
:ммерческій. Тѣмъ, Антипушка, и торговля то держится. Не по-
:мо пословица то говорится: «не обмануть — не продать». Жизнен
:ю мораль этихъ Пузатовыхъ и Ширяловыхъ очень рельефно фор-
:лируетъ герой «Пучины»: «ты живи для семьи, вотъ здѣсь будь
:рошъ и честенъ, а съ другими прочими воюй, какъ на войнѣ.
:о удалось схватить, и тащи домой, наполняй да укрывай свою
:жину. По крайности ты душой покоенъ». И «покойные духомъ»,
:и хвастаются другъ передъ другомъ: «отчего не надуть пріятеля,
:ни рука подойдетъ... Да, вѣдь, я и скажу потомъ: вотъ, молъ,
:тебя такъ и такъ, помазалъ маненько. Вотъ въ прошломъ году
:вву Саввича, при разсчетѣ, рубликовъ на 500 поддѣлъ. Да, вѣдь,
:послѣ сказалъ ему: вотъ, молъ, Савва Саввичъ, промигалъ ты
:тысячки, да ужъ теперь, братъ, поздно, говорю, а ты, молъ,
: зѣвай. Посердился немножко, да и опять пріятель. Что за
:ность!» «Погрѣли» честнаго и довѣрчиваго Карла Ивановича
:бликовъ на 300» — «вотъ смѣху было!» «Ужъ что съ этимъ нѣм-
:ъ смѣху было — бѣда! Такъ и таращится: это, говоритъ, безчестно!

А я ему послѣ то и говорю: я бы тебѣ и отдалъ, Карлъ Ивано вичъ, да деньги говорю, братъ, нужны. Наши то рядскіе животик надорвали со смѣху». «Почтеннѣйшій» Ширяловъ — «словно жид какой: отца родного обманетъ». Но это не мѣшаетъ выдать за него стараго, молодую сестру. И будущіе свойственники отправляются собираясь надуть другъ друга, туда, гдѣ «просторнѣе, бабъ т нѣтъ» — «фабричныхъ пѣсенку спѣть заставимъ», а «бабы», съ хо хотомъ, — «въ Симоновъ (монастырь) къ вечернѣ»...

Эта картина моральнаго распада еще ярче и знаменательнѣе въ «Банкротѣ»: въ ней передъ нами и злостное банкротство, стихійное, безсознательное мошенничество, вошедшее въ плоть и кровь, и самодурство Большовыхъ, которое воспитываетъ искусное лицемѣріе и подобострастіе тонкихъ пройдохъ Подхалюзиныхъ, забитость женъ, жесткую пошлость и циническій эгоизмъ дочерей. Какъ и въ «Игрокахъ» Гоголя, мы съ жуткимъ чувствомъ присутствуемъ при томъ, какъ поѣдаютъ другъ друга, «считаются — свои люди». И прямо страшно дѣлается при торжествѣ Подхалюзина надъ Большовымъ, кредиторами, Рисположенскимъ, Липочкой со всею «скверностью» ея замужества, на которое женихъ заманиваетъ ее такими блестящими обѣщаніями: «вы и дома то будете въ шелковыхъ платьяхъ ходить-съ, а въ гости, или въ театръ-съ окромя бархатныхъ и надѣвать не станемъ. Въ разсужденіи шляпокъ или салоповъ — не будемъ смотрѣть на разныя дворянскія приличія, а надѣнемъ какую чуднѣй»! Заключительныя слова Подхалюзина по поводу бран Рисположенскаго бросаютъ на всю комедію трагическій отсвѣт «вы ему не вѣрьте, это онъ, что говоритъ-съ — это все вретъ. Н чего этого и не было. Это ему, должно быть, во снѣ приснилос А вотъ мы магазинчикъ открываемъ: милости просимъ! Малаго р бенка пришлите — въ луковицѣ не обочтемъ».

«Банкротъ» пишется и выправляется около 4 лѣтъ. Готов комедія была только въ 1849 году. Островскій читаетъ ее въ м сковскихъ салонахъ, и вездѣ, у людей самыхъ разнообразныхъ н правленій, вызываетъ восторгъ. Литературная репутація Остро скаго была окончательно упрочена. Имъ заинтересовался Гогол Погодинъ считалъ его піесу «удивительной». Въ письмѣ къ пріятелю кн. В. Ѳ. Одоевскій такъ формулировалъ свое впечатлѣніе о «Банкрота»: «читалъ ли ты комедію или, лучше, трагедію Остро скаго — «Свои люди — сочтемся» и которой настоящее названіе «Ба кротъ»? Пора было вывести на свѣжую воду самый развращенны духомъ классъ людей. Если это не минутная вспышка, не гриб выдавившійся самъ собою изъ земли, просоченной всякою гниль

то этотъ человѣкъ есть талантъ огромный. Я считаю на Руси три трагедіи: «Недоросль», «Горе отъ ума», «Ревизоръ». На «Банкротѣ» я поставилъ нумеръ четвертый».

Піеса вызвала большіе толки въ Москвѣ. Міръ Подхалюзиныхъ и Большовыхъ зашевелился и напрягъ всѣ силы, чтобы помѣшать, при посредствѣ высшей московской администраціи, ея появленію на сценѣ. Островскій попалъ подъ надзоръ и вслѣдствіе этого въ 1851 г. долженъ былъ уйти со службы. Піеса была поставлена значительно позднѣе и съ передѣланнымъ концомъ, который осложнился появленіемъ блюстителя закона — квартальнаго и наказаніемъ порока въ лицѣ Подхалюзина — привлеченіемъ его къ суду и заключеніемъ въ тюрьму по дѣлу о злостномъ банкротствѣ его тестя. Настоящій конецъ былъ возстановленъ много лѣтъ спустя.

Обработка комедіи совпала съ внутреннимъ переломомъ въ Островскомъ. Съ 1847 года онъ сближается съ кружкомъ молодежи, которая впослѣдствіи (въ 1850 году) составила главное ядро молодой редакціи «Москвитянина». Къ нему примкнули, въ разное время, Аполлонъ Григорьевъ, ярый проповѣдникъ «вѣры Островскаго», тонкій знатокъ и исполнитель русской народной пѣсни Филипповъ (впослѣдствіи государственный контролеръ), критикъ Эдельсонъ, поэты Алмазовъ и Мей, артистъ Садовскій, извѣстный разскащикъ, артистъ и писатель Горбуновъ, Писемскій, этнографъ Максимовъ, Потѣхинъ, Печерскій-Мельниковъ и др. Кружокъ отличался горячею любовью къ народному быту, обряду, рѣчи, пѣснѣ. Какъ критикъ, очень вліятельный въ этомъ кружкѣ, Григорьевъ требовалъ отъ художественныхъ произведеній «чистаго искусства», «объективности» и «почвенности», самобытности, яркой бытовой окраски. Культъ быта, какъ народнаго современнаго, такъ и стараго, налагалъ печать на все творчество членовъ кружка. Раннія произведенія Островскаго были имъ не по душѣ: въ нихъ они видѣли тенденцію и отраженія ненавистнаго западничества. Западническія симпатіи А. Н. не были особенно сильными и глубокими: онѣ были, главнымъ образомъ, навѣяны чтеніемъ статей Бѣлинскаго и шли въ разрѣзъ съ условіями его первоначальнаго воспитанія. Кружокъ захватилъ его своею искренностью, талантливостью, колоритною, но въ существѣ довольно безпутною жизнью артистической и литературной богемы, которая браталась съ «русаками», простыми, «хорошими», «душевными» людьми, набиралась у нихъ «крылатыхъ словъ» и «русскихъ началъ». Этотъ «пьяный, честный» кружокъ направилъ творчество Островскаго по другому руслу и придалъ ему особый національно-художественный отпечатокъ.

Въ купеческой средѣ онъ сталъ искать положительныхъ типовъ, смягчать картины самодурства, перегружать свои піесы этнографическимъ элементомъ, высмѣивать стремленія къ «образованности» и измѣну народнымъ началамъ. Поворотъ замѣтенъ уже въ «Бѣдной невѣстѣ» (1852) съ сильною идеализованностью ея обезцвѣченной героини и нѣсколько подорвалъ ея общественный смыслъ. Еще значительнѣе онъ сказался на комедіи «Не въ свои сани не садись» (1853) съ ея слишкомъ рѣзкимъ противоположеніемъ барской пошлости Вихорева ирреальному самоотверженію и подчеркнутому благородству Бородкина, съ ея «добрымъ самодурствомъ» Русакова, съ ея мало оправданнымъ съ бытовой и психологической точки зрѣнія оптимистическимъ концомъ.

Въ «Бѣдности не порокъ» (1854) онъ достигъ высшей точки своего развитія. Въ ней рѣзко противопоставлены міръ «старины», крѣпкаго, цѣльнаго обряда, народныхъ «началъ» міру «новшествъ», представленному хищнымъ типомъ Коршунова и взбалмошнымъ, хотя добрымъ по существу, самодуромъ Гордѣемъ Торцовымъ. Авторъ съ слишкомъ замѣтнымъ неодобреніемъ относится къ «столичнымъ замашкамъ» Гордѣя Торцова и идеализируетъ промотавшагося брата Любима. Передъ нами старая, знакомая уже изъ предшествующихъ піесъ Островскаго картина: самодурство типа «чего моя нога хочетъ», наглое попираніе чужой личности — личности дѣтей, служащихъ, подначальныхъ. Здѣсь ничего не стоитъ ни съ того, ни съ сего «изобидѣть человѣка», «плюнуть ему въ душу», насмѣяться надъ самыми святыми его чувствами; здѣсь — рабы рабовъ, круговая порука безправія и насилія, вымещанія на безотвѣтныхъ своихъ обидъ и своей безотвѣтности, болѣзненная гипертрофія или атрофія личности. Но авторъ несомнѣнно симпатизируетъ «покорности» Любови Гордѣевны и Мити, за которую въ концѣ награждаетъ ихъ неожиданнымъ и мало оправданнымъ сценически счастьемъ. «Deus ex machina» Любимъ спасаетъ ихъ своимъ вмѣшательствомъ, будитъ въ братѣ заглохнувшія было лучшія движенія его души. Художественный инстинктъ все-таки подсказалъ Островскому черту, которая въ значительной степени подрываетъ оптимистическій конецъ его піесы. Гордѣй оскорбленъ словами Коршунова: «ты теперь приди-ка ко мнѣ да покланяйся, чтобы я дочь то твою взялъ» и гнѣвно отвѣчаетъ: «я отродясь никому не кланялся. Я, коли на то пошло, за кого вздумается, за того и отдамъ! Съ деньгами, что я за ней дамъ, всякій человѣкъ будетъ...» Въ этотъ моментъ настойчиво аранжирующая рука автора выталкиваетъ Митю, и Гордѣй кричитъ: «Вотъ за Митьку отдамъ»!

«На зло ему за Митрія отдамъ!» Ну, а еслибы подвернулся не Митя, а другой, еслибы не произошло ссоры съ Коршуновымъ, не вмѣшался Любимъ? Островскій спасъ свою Любовь Гордѣевну, но сотни и тысячи ихъ забивались Коршуновыми. Общественный смыслъ комедіи урѣзанъ авторомъ въ угоду кружковой тенденціи, но не былъ затушованъ цѣликомъ. На московскихъ проповѣдникахъ «чистаго, почвеннаго, объективнаго искусства» лежитъ большая отвѣтственность за то, что они заставили Островскаго подмѣнить широкую и свободную идейность его раннихъ произведеній узкою тенденціозностью кружка. Въ объятія кружка его толкали, помимо личныхъ симпатій, здоровая по существу идея народности въ искусствѣ, вырожденіе западнической критики послѣ Бѣлинскаго и Майкова, ея беззастѣнчивая и безпринципная травля самой идеи народности. Начали травить и Островскаго, когда увидѣли въ его творчествѣ поворотъ къ тенденціямъ «молодого «Москвитянина», и тѣмъ тѣснѣе сомкнули его съ нимъ. Внутреннимъ чутьемъ онъ понималъ преувеличенія и крайности друзей, диссонансы своего творчества, но преклоненіе Григорьева, Садовскаго и др. его часто обезоруживало и мѣшало ему выбиться на свободную дорогу. На сторонѣ ихъ было преимущество таланта и искренности; ихъ «вѣра Островскаго» обязывала, подымала самочувствіе и давала удовлетвореніе драматургу среди тяжелой жизни случайныхъ заработковъ, грубой эксплуатаціи редактора «Москвитянина» Погодина, театральныхъ неудачъ: въ немъ вѣдь видѣли «новаго Шекспира»... Въ чаду пріятельскаго культа Островскій могъ горделиво воскликнуть: «съ Тертіемъ (Филипповымъ) да съ Провомъ (Садовскимъ) мы все дѣло Петрово назадъ повернемъ» — вернемъ Россію къ народнымъ старо-московскимъ традиціямъ...

Аполлонъ Григорьевъ написалъ цѣлый гимнъ Любиму Торцову и его создателю. Островскій сказалъ «новое слово», служа «старой правдѣ»; эта правда «здоровѣй дѣйствуетъ на грудь, чѣмъ правда шекспировскихъ піесъ». Воспѣвался Любимъ Торцовъ, какъ человѣкъ «несчастный, пьяный, исхудалый, но съ русской, чистою душой». «Теперь не страшно, весело за человѣка» — «Любимъ Торцовъ душѣ такъ прямо кажетъ путь». «Старой Европѣ» и Америкѣ «беззубо-молодой, собачьей старостью больной» противопоставлялась «крѣпкая Русь»—

...въ ней много силы, жару;
И правду любитъ Русь; и правду понимать
Дана ей Господомъ святая благодать;
И въ ней одной теперь находитъ
Все то, что сердце благородитъ...

Изъ дѣлавшейся душною атмосферы кружковщины Островскій спасается около половины 50-хъ годовъ: «Москвитянинъ» прекратился, кружокъ распался, часть его членовъ уѣхала изъ Москвы; въ воздухѣ послѣ Крымской кампаніи повѣяло свѣжестью, жизнь зашевелилась вновь послѣ 30-лѣтней реакціи, вышелъ на свободу и Островскій. Но отголоски кружковой идеологіи еще долго сказывались въ немъ и выныряли то въ томъ, то въ другомъ его произведеніи, нарушая ихъ цѣльность, иногда подрывая ихъ общественное значеніе, понижая — художественное.

Освобожденіе отъ руссофильской тенденціозности идетъ въ немъ постепенно.

Оно въ извѣстной мѣрѣ замѣтно въ комедіи «Въ чужомъ пиру похмелье» (1856). Въ ней противопоставлены два міра: «Китъ-Китычей» съ ихъ обезволенными самодурствомъ женами и дѣтьми и интеллигентнаго пролетаріата. Второй изображенъ въ идеализованныхъ и отвлеченныхъ тонахъ «Бѣдной невѣсты» и въ общемъ мало реаленъ; зато первый представленъ колоритными типами. Грубый произволъ отца дѣлаетъ Андрея Брускова «уродомъ, а не человѣкомъ»: «крылья у меня ошибены, т.-е. срублены, какъ есть... Словно угорѣлый хожу по землѣ». Свой безсильный протестъ противъ деспотизма семейнаго и общественнаго онъ срываетъ на другихъ, кто послабѣе: «у насъ въ ряду одинъ учитель ходитъ, горькой, такъ надъ нимъ смѣются, дразнятъ, значитъ. Ты, говорятъ, окромя свинячьяго, на семь языковъ знаешь... Нельзя нашему брату не смѣяться-съ. потому эти стрюцкіе такія дѣла-съ съ нами дѣлаютъ, что смѣху подобно... Другой весь-то грошъ стоитъ, а такого изъ себя барина доказываетъ, и не подступайся — засудитъ; а далъ ему цѣлковой. или тамъ больше, глядя по дѣлу, да подпоилъ, такъ онъ хоть спирю плясать пойдетъ». «Одинъ капризъ», «одна амбиція» отца. и даровитому, любознательному юношѣ запрещаютъ учиться, ходить въ театръ, играть на скрипкѣ, не говоря уже о женитьбѣ на томъ, кого онъ любитъ. Капитона Брускова «съ дѣтства заколотили очень», Андрей — «въ жизнь ни отъ кого хорошаго слова ни слыхивалъ». У «Китъ-Китыча» «слово — законъ», «за безобразіе заплатимъ», «хоть поругаться то за свои деньги». Онъ весь въ слѣдующемъ діалогѣ съ женой, сдѣлавшемся пословицей; «Смѣетъ меня кто обидѣть?» — Никто, батюшка, Китъ Китычъ, не смѣетъ васъ обидѣть. Вы сами всякаго обидите. — «Я обижу, я и помилую, а то деньгами заплачу». Грозною вѣстью разносится по дому: «самъ пріѣхалъ!» Забитая женщина повторяетъ протестующему сыну прадѣдовскую мораль слѣпого послушанія и лепечетъ старые, традиціонные аргументы: «выше лба

глаза не растутъ, яйца курицу не учатъ». Изъ поколѣнія въ поколѣніе передается основное правило женскаго воспитанія: «дочерей и запереть можно, да и хлопотъ съ ними меньше, ни учить, ни что». «дочь не домашній товаръ; какъ ни какъ, а надо съ рукъ сбывать». И вотъ «сбытыя съ рукъ», сдѣлавшіяся матерями, разсуждаютъ: «да, вотъ насчетъ ученья то: у насъ сосѣдка отдала сына учиться, а онъ глазъ и выкололъ», «говорятъ, маленькихъ нехорошо по головѣ бить, глупѣютъ отъ этого». — «Кто ихъ знаетъ, можетъ, и правда»...

Подчеркнутое, окрашенное сантиментальной идеализаціей чистенькой бѣдности, благородство Ивановыхъ переворачиваетъ душу «Китъ Китыча». Переломъ совершается быстро, выражается, какъ всегда, несуразно, въ самодурныхъ формахъ («какъ онъ смѣетъ не отдать, когда я этого желаю!... Если онъ не отдастъ за тебя, ты лучше мнѣ и на глаза не показывайся»); психологически онъ не разработанъ и мало обоснованъ. И все же оптимистическій конецъ не подрываетъ общаго смысла бытовой картины, и все же «Китъ Китычъ» остается вѣренъ себѣ и въ добрѣ и въ злѣ.

Слѣдующая по времени піеса — «Доходное мѣсто» (1857). По своему основному содержанію она примыкаетъ къ цѣлому потоку обличительныхъ произведеній, направленныхъ противъ произвола, взяточничества и казнокрадства нашей всесильной въ Николаевскую эпоху бюрократіи. Несмотря на неистовства цензуры, все же не хотѣвшей сдаться и отказаться отъ своихъ старыхъ привычекъ и послѣ знаменательнаго разгрома Крымской кампаніи, наша литература все сильнѣе и сильнѣе нападала на исконнее зло русской жизни и отвоевала себѣ въ концѣ концовъ право почти полнаго выраженія накипѣвшихъ народныхъ страданій. Вѣянія времени заставили и Островскаго взяться за изображеніе міра, хорошо знакомаго ему по впечатлѣніямъ дѣтства и юности. Передъ нами организованное царство убѣжденныхъ взяточниковъ и насильниковъ, высокопоставленные Вышневскіе, покупающіе себѣ на награбленныя деньги молодыхъ женъ и желающіе купить ихъ любовь домами, дачами и бриллiантами; преуспѣвающіе Юсовы, возводящіе взятку въ принципъ; Бѣлогубовы, дѣлающіе себѣ карьеру и уже въ недалекомъ будущемъ обѣщающіе сдѣлаться Юсовыми. Островскій хотѣлъ показать, какъ сплоченность этого царства, его промозглая нравственная атмосфера, давленіе пошлой семейной обстановки губятъ молодежь, идеалистовъ превращаютъ въ искателей «доходныхъ мѣстъ», взяточниковъ — и остановился на полдорогѣ. Его Жадовъ дошелъ уже — въ душѣ — до грѣхопаденія, отправился къ Вышневскому просить о доходномъ мѣстѣ, но благодушный авторъ поспѣшилъ

отдать Вышневскаго подъ судъ (и, позднѣе, разбить его параличомъ), отрезвить Жадова и вложить въ уста послѣднему модную тогда общественную проповѣдь, нѣсколько подрываемую смысломъ только что происшедшаго инцидента: «дядюшка, я не говорилъ, что наше поколѣніе честнѣй другихъ. Всегда были и будутъ честные люди, честные граждане, честные чиновники; всегда были и будутъ слабые люди. Я говорилъ только, что въ наше время... (начинаетъ тихо и постепенно одушевляется) общество мало-по-малу бросаетъ прежнее равнодушіе къ пороку, слышатся энергическіе возгласы противъ общественнаго зла... Я говорилъ, что у насъ пробуждается сознаніе своихъ недостатковъ; а въ сознаніи есть надежда на лучшее будущее. Я говорилъ, что начинаетъ создаваться общественное мнѣніе... что въ юношахъ воспитывается чувство справедливости, чувство долга, и оно растетъ, растетъ, и принесетъ плоды. Не увидите вы, такъ мы увидимъ и возблагодаримъ Бога. Моей слабости вамъ нечего радоваться. Я — не герой, а обыкновенный, слабый человѣкъ; у меня мало воли, какъ почти у всѣхъ насъ. Нужда, обстоятельства, необразованность родныхъ, окружающій развратъ могутъ загнать меня, какъ загоняютъ почтовую лошадь. Но довольно одного урока, хоть такого, какъ теперь... Благодарю васъ за него; довольно одной встрѣчи съ порядочнымъ человѣкомъ, чтобы воскресить меня, чтобы поддержать во мнѣ твердость. Я могу поколебаться, но преступленія не сдѣлаю; я могу споткнуться, но не упасть. Мое сердце ужъ размягчено образованіемъ, оно не загрубѣетъ въ порокѣ». А еслибы Вышневскій остался въ силѣ и здоровъ? Насколько бы хватило способности сопротивленія у Жадова? И если Островскій спасъ даннаго Жадова и примирилъ его съ пустой и легкомысленной, но по натурѣ доброй и порядочной женой, сколькихъ Жадовыхъ губила и губитъ русская жизнь? Оптимистическій конецъ совсѣмъ не вяжется съ общимъ безотраднымъ смысломъ картины. Онъ не обманулъ цензуры и театральной администраціи, которыя запретили «Доходное мѣсто» сейчасъ же послѣ разрѣшенія до перваго представленія и долго всячески мѣшали ея возвращенію на сцену. Вообще съ тогдашними театрами Островскому не везло: несмотря на большой успѣхъ въ литературѣ и обществѣ, его піесы долго не могли проникнуть на сцену. Тогдашняя театральная цензура была гораздо строже общей; московскіе артисты привыкли къ переводному, французскому репертуару, и большинство ихъ очень недоброжелательно относилось къ «замоскворѣцкимъ» піесамъ Островскаго; петербургскимъ актерамъ онѣ еще болѣе были чужды. Только въ 1853 г. А. Н. уви-

дѣлъ впервые свою піесу на подмосткахъ Малаго театра («Не въ свои сани не садись»). И то поддержало ее только сочувствіе государя («это не піеса, а нравственный урокъ»), которое не мѣшало, однако, театральнымъ властямъ относиться къ драматургу съ прежнею придирчивостью. Только въ Садовскомъ неизмѣнно находилъ онъ вѣрнаго и любящаго выразителя своихъ сценическихъ замысловъ. Сначала успѣхъ Садовскаго мозолилъ глаза его товарищамъ и вызывалъ среди нихъ интриги и дрязги. Голосъ общественнаго мнѣнія подчинилъ себѣ протестантовъ, Шумскій, Самаринъ и Щепкинъ примирились съ Островскимъ, и Московскій Малый театръ надолго сдѣлался театромъ Островскаго. Въ постоянныхъ взаимодѣйствіяхъ крупныхъ дарованій автора и артистовъ росло литературное и общественное значеніе «замоскворѣцкихъ піесъ», тренія постепенно улегались, хотя Островскій по-прежнему почти ничего не получалъ за свой тяжелый трудъ, бѣдствовалъ, то и дѣло подвергался административно-цензурнымъ прижимкамъ.

Въ концѣ 50-хъ годовъ (съ 1856 года) генералъ-адмиралъ великій князь Константинъ Николаевичъ добился командировки видныхъ литераторовъ для всесторонняго изслѣдованія внутренняго состоянія Россіи. Въ числѣ ихъ были Писемскій, Гончаровъ, Григоровичъ, Потѣхинъ, Аѳанасьевъ-Чужбинскій, Максимовъ, Островскій. Отчеты ихъ должны были печататься въ «Морскомъ Сборникѣ», который тогда былъ органомъ партіи реформъ и печаталъ статьи по самымъ жгучимъ вопросамъ современности — объ отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній, гласномъ судопроизводствѣ и пр. Островскому досталась на долю Волга отъ верховьевъ до Нижняго Новгорода. Онъ отнесся къ своей задачѣ въ высшей степени добросовѣстно, собралъ громадное количество данныхъ, которыя, къ сожалѣнію, были сильно урѣзаны въ печатномъ отчетѣ. Путешествіе обогатило его новыми впечатлѣніями и обновило его творчество, выводя его на еще болѣе широкую дорогу: чудеса «волшебнаго міра» — Замоскворѣчья были уже имъ въ значительной степени исчерпаны. Практикуемый въ Торжкѣ обычай имѣть «предметъ» и тайно увозить невѣсту отразился на извѣстномъ эпизодѣ «Грозы» (Варвара и Кудряшъ). Невдалекѣ отъ столицы, въ 60-ти верстахъ отъ Твери, его охватила первобытная, недвижная, безпросвѣтная глушь русской жизни — почище Замоскворѣчья. Приключеніе по дорогѣ изъ Осташкова въ Ржевъ дало матеріалъ для комедіи «На бойкомъ мѣстѣ» (1865), костромскія впечатлѣнія — «Грозу» (1859, напеч. въ 1860 году), попутныя наблюденія надъ помѣщичьею жизнью — «Воспитанницу» (1859). Послѣднюю піесу, изображавшую дикое самодурство нашего захо-

лустнаго барства, театральная цензура тѣхъ временъ, ревниво оберегавшая дворянскіе интересы, признала «вредной по направленію» и запретила ея постановку. Запрещеніе было снято только черезъ четыре года, благодаря счастливой случайности.

Самымъ крупнымъ результатомъ этой поѣздки была, конечно, «Гроза». Это — одно изъ лучшихъ произведеній Островскаго, выдержанное, стройное, глубокое по мысли, высокое по своимъ художественнымъ достоинствамъ. Въ частномъ письмѣ Гончаровъ писалъ о «Грозѣ»: «не опасаясь обвиненія въ преувеличеніи, могу сказать по совѣсти, что подобнаго произведенія, какъ драмы, въ нашей литературѣ не было. Она безспорно занимаетъ и, вѣроятно, долго будетъ занимать первое мѣсто по своимъ классическимъ красотамъ. Авторъ далъ цѣлый разнообразный міръ живыхъ, существующихъ на каждомъ шагу, личностей». Островскій нашелъ себѣ тонкаго истолкователя въ Добролюбовѣ, посвятившему «Грозѣ» одну изъ лучшихъ своихъ статей — «Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ».

Фонъ широкой картины, которую даетъ Островскій въ своей «Грозѣ», — ужасъ и мракъ захолустной жизни, застоявшейся провинціальной тины. Его набрасываютъ слова даровитаго самоучки-механика, наивно мечтающаго объ изобрѣтеніи perpetuum mobile. Кулигина: «Жестокіе нравы, сударь, въ нашемъ городѣ, жестокіе! Въ мѣщанствѣ, сударь, вы ничего, кромѣ грубости да бѣдности нагольной, не увидите. И никогда намъ, сударь, не выбиться изъ этой коры! Потому что честнымъ трудомъ никогда не заработать намъ больше насущнаго хлѣба. А у кого деньги, сударь, тотъ старается бѣднаго закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денегъ наживать... А между собой то, сударь, какъ живутъ! Торговлю другъ у друга подрываютъ, и не столько изъ корысти, сколько изъ зависти. Враждуютъ другъ на друга; залучаютъ въ свои высокія то хоромы пьяныхъ приказныхъ, такихъ, сударь приказныхъ, что и виду то человѣческаго на немъ нѣтъ, обличье то человѣческое истеряно. А тѣ имъ, за малую благостыню, на гербовыхъ листахъ злостныя кляузы строчатъ на ближнихъ. И начнется у нихъ, сударь, судъ да дѣло, и нѣсть конца мученіямъ. Судятся-судятся здѣсь, да въ губернію поѣдутъ, а тамъ ужъ ихъ и ждутъ, да отъ радости руками плещутъ. Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается; водятъ ихъ, водятъ, волочатъ ихъ, волочатъ; а они еще и рады этому волоченью, того только имъ и надобно. «Я, говоритъ, потрачусь, да ужъ и ему станетъ въ копейку». «А богатые то что дѣлаютъ? Ну, чтобы, кажется, имъ не гулять, не дышать свѣжимъ воздухомъ? Такъ нѣтъ. У всѣхъ давно ворота, сударь, заперты и

собаки спущены... Вы думаете, они дѣло дѣлаютъ, либо Богу молятся? Нѣтъ, сударь! И не отъ воровъ они запираются, а чтобъ люди не видѣли, какъ они своихъ домашнихъ ѣдятъ поѣдомъ, да семью тиранятъ. И что слезъ льется за этими запорами, невидимыхъ и неслышимыхъ!... И что, сударь, за этими замками разврату темнаго да пьянства! И все шито да крыто — никто ничего не видитъ и не знаетъ, видитъ только одинъ Богъ! Ты, говоритъ, смотри въ людяхъ меня да на улицѣ; а до семьи моей тебѣ дѣла нѣтъ; на это, говоритъ, у меня есть замки, да запоры, да собаки злыя. Семья, говоритъ, дѣло тайное, секретное! Знаемъ мы эти секреты то! Отъ этихъ секретовъ то, сударь, ему только одному весело, а остальные — волкомъ воютъ. Да и что за секретъ? Кто его не знаетъ? Ограбить сиротъ, родственниковъ, племянниковъ, заколотить домашнихъ такъ, чтобы ни объ чемъ, что онъ тамъ говоритъ, пикнуть не смѣли. Вотъ и весь секретъ». Этотъ фонъ дорисовываютъ цѣльные образы Кабанихи и Дикого. «Подъ видомъ благочестія» ханжа Кабаниха заѣдаетъ вѣкъ сына, изломаннаго, безвольнаго, ищущаго въ разгулѣ забвенія, дочери, ловко пріучившейся скрывать свои шашни, Катерины, кончающей самоубійствомъ. Все это дѣлается во имя крѣпкой, жесткой и жестокой старины, безсознательнаго и тѣмъ болѣе страшнаго злодѣйства надъ чужимъ тѣломъ, надъ чужой душой. «Нищихъ одѣляетъ, а домашнихъ заѣла совсѣмъ». Дикой — вѣчно «съ цѣпи сорвался», «одно слово, воинъ». Его всѣ боятся: «отойдемъ къ сторонкѣ: еще привяжется, пожалуй». «А вотъ бѣда то, когда его обидитъ такой человѣкъ, котораго онъ обругать не смѣетъ: тутъ ужъ домашніе держись». Кулигину онъ гордо заявляетъ: «ты знай, что ты червякъ. Захочу — помилую, захочу — раздавлю». Кулигинъ разсказываетъ Борису, племяннику Дикого: «Къ городничему мужички пришли жаловаться, что онъ ни одного изъ нихъ путемъ не разочтетъ. Городничій и сталъ ему говорить: «послушай, говоритъ, Савёлъ Прокофьичъ, разсчитывай ты мужиковъ хорошенько! Каждый день ко мнѣ съ жалобой ходятъ!» Дядюшка вашъ потрепалъ городничаго по плечу, да и говоритъ: «Стоитъ ли, ваше высокоблагородіе, намъ съ вами объ такихъ пустякахъ разговаривать! Много у меня въ годъ то народу перебываетъ; вы то̀ поймите: не доплачу я имъ по какой-нибудь копейкѣ на человѣка, а у меня изъ этого тысячи составляются, такъ оно мнѣ и хорошо!»

Общее впечатлѣніе дополняется кошмарнымъ образомъ сумасшедшей старухи-барыни, предсказанія и угрозы которой были для Катерины послѣднею каплей, доведшей ее до гибели, дикими раз-

сказами Ѳеклуши о «судьяхъ неправедныхъ» и «песиголовцахъ», столь же дикими толками народа о Литвѣ, которая «съ неба упала».

Гроза чистой и возвышенной страсти разыгрывается на фонѣ великолѣпно описанной грозы надъ Волгой. Вмѣстѣ съ Кулигинымъ драматургъ не можетъ «наглядѣться» на Волгу и «душою» радуется ея красотѣ. И душою онъ скорбитъ, что его героямъ не нужно этой красоты, что среди нея они умудрилась создать для себя и для близкихъ «геенну огненную»...

Добролюбовъ назвалъ Катерину «лучомъ свѣта въ темномъ царствѣ». Но ея душу, чистую, мечтательную, поэтически-страстную, загромоздили темные призраки темнаго царства. Судьба связала ее, жаждущую жизни и грозы страсти, съ тусклымъ и сѣрымъ Кабановымъ, съ Кабанихой, которая хочетъ поработить ее физически и морально. Въ ней сильна упругость исключительно одаренной личности, крѣпка и старая вѣра; у нея повышенное чувство долга. Все это не могло не привести къ роковой развязкѣ. Любовь не дала ей счастья, а муки раскаянія — и избавленіе преждевременной смерти. Ея разсказы о своемъ дѣтствѣ, о любви къ дѣтямъ, ея боязнь себя и упрашиванье мужа не уѣзжать, всѣ перипетіи ея внутренней борьбы обвѣяны у Островскаго возвышенной поэзіей — умиленія. По тонкости и силѣ психологическаго рисунка это — одинъ изъ лучшихъ женскихъ образовъ нашей литературы, вообще ими богатой.

Сильныя впечатлѣнія Волги подняли у Островскаго и интересы къ родной старинѣ, поэтическимъ волжскимъ преданіямъ, молодецкой удали поволжской вольницы. Кромѣ этого, приняться за историческіе сюжеты его заставили и постоянныя цензурныя осложненія съ бытовыми піесами, и вліяніе западной драмы, которою онъ тогда усиленно занимался.

Серія историческихъ хроникъ открывается «Козьмой Захарьичемъ Мининымъ Сухорукомъ» (1862). За нимъ слѣдуютъ — «Воевода» или «Сонъ на Волгѣ» (1865), «Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій», «Тушино» (1867), «Василиса Мелентьева» (1868). На драматическую обработку исторіи Минина Островскаго, повидимому, натолкнули живыя и поэтическія волжскія преданія о немъ; затѣмъ А. Н. увлекся, при изученіи матеріаловъ, эпохой, Смутнымъ временемъ, и личностью Ивана Грознаго. Старина лирически освѣщена у Островскаго: въ немъ опять проснулось заглохшее было вліяніе друзей молодости, «почвенниковъ». На формѣ его хроникъ замѣтно сказалось вліяніе Пушкинскаго «Бориса Го-

нова». За ними вообще чувствуется большая и вдумчивая работа ученія источниковъ. Наибольшимъ сценическимъ успѣхомъ пользовалась «Василиса Мелентьева».

Въ «Мининѣ» особенно интересны отголоски волжскихъ впечатлѣній. При видѣ Волги Мининъ, напр., говоритъ:

Вонъ огоньки зажглись по берегамъ...
Бурлаки, трудъ тяжелый забывая,
Убогую себѣ готовятъ пищу.
Вонъ пѣсню затянули... Нѣтъ, не радость
Сложила эту пѣсню, а неволя,
Неволя тяжкая и трудъ безмѣрный,
Разгромъ войны, пожары деревень,
Житье безъ кровли, ночи безъ ночлега...
О, пойте! Громче пойте! Соберите
Всѣ слезы съ матушки широкой Руси,
Новогородскія, псковскія слезы,
Съ Оки и съ Клязьмы, съ Дона и съ Москвы,
Отъ Волхова и до широкой Камы...
Пусть всѣ онѣ въ одну сольются пѣсню,
И рвутъ мнѣ сердце, душу жгутъ огнемъ,
И слабый духъ на подвигъ утверждаютъ.

Въ «Воеводѣ» — прочувствованный, полный глубокаго лиризма гимнъ въ честь Волги:

Кормилица ты наша, мать родная!
Ты насъ поишь и кормишь и лелѣешь!
Челомъ тебѣ! Катись до синя моря,
Крутымъ ярамъ да краснымъ бережкамъ
На утѣшенье, какъ на погулянье!
Не даромъ слово про тебя ведется;
Не мало пѣсенъ на Руси поется,
А всѣхъ милѣй — „По матушкѣ по Волгѣ"...

Наша авторитетная критика въ лицѣ Добролюбова уже нашла Островскаго «писателемъ необычайно-талантливымъ, лучшимъ послѣ Гоголя представителемъ драматическаго искусства въ русской литературѣ». Но матеріальное положеніе его по-прежнему оставалось ужаснымъ. Театральная дирекція неустанно преслѣдовала его, задерживала піесы, обставляла тѣ, которыя попадали на сцену, с умышленною небрежностью, нищенски. При тогдашнихъ порядкахъ, при полномъ отсутствіи охраны правъ драматурга, провинціальные антрепренеры наживались на счетъ Островскаго, предоставляя ему кормиться съ семьей и существовать почти исключительно на журнальные заработки. Что переживалъ несчастный писатель, можно видѣть изъ интимныхъ писемъ доведеннаго до отчаянія А. Н. одному

пріятелю (1866 г.): «я едва держу перо въ рукахъ; постоянно сидѣніе за работой, безсонныя ночи совершенно разстроили мои нервы». «Объявляю тебѣ по секрету, что я совсѣмъ оставляю театральное поприще. Причины вотъ какія: выгодъ отъ театра я почти не имѣю, хотя всѣ театры въ Россіи живутъ моимъ репертуаромъ. Начальство театральное ко мнѣ не благоволитъ, а мнѣ уже пора видѣть не только благоволеніе, но и нѣкоторое уваженіе; без хлопотъ и поклоновъ съ моей стороны ничего для меня не дѣлается, а ты самъ знаешь, способенъ ли я къ низкопоклонству; при моем положеніи въ литературѣ играть роль вѣчно кланяющагося просителя тяжело и унизительно. Я замѣтно старѣю и постоянно ездить ровъ, а потому ѣздить въ Петербургъ, ходить по высокимъ лѣстницамъ — мнѣ ужъ нельзя. Повѣрь, что я буду имѣть гораздо больше уваженія, которое я заслужилъ и котораго стою, если развяжусь съ театромъ». «Давши театру 25 оригинальныхъ піесъ, я не добился, чтобы меня хоть мало отличили отъ какого-нибудь плохого переводчика. По крайней мѣрѣ, я пріобрѣту себѣ спокойствіе и независимость вмѣсто хлопотъ и униженія. Современныхъ піесъ больше писать не стану; я уже давно занимаюсь русской исторіей и хочу посвятить себя исключительно ей; буду писать хроники, но не для театра. На вопросъ, отчего я не ставлю своихъ піесъ, я буду отвѣчать, что онѣ неудачны. Я беру форму «Бориса Годунова», такимъ образомъ постепенно и незамѣтно я отстану отъ театра». Но призваніе дѣлало свое, и Островскій продолжалъ писать «современныя піесы». Въ концѣ 1866 года тучи, заволакивавшія его жизнь, начали разъясняться. 14 ноября — день открытія Московскаго Артистическаго кружка, организовавшагося главнымъ образомъ при его содѣйствіи, Островскій называлъ счастливѣйшимъ днемъ своей жизни. Задача кружка — развить художественный вкусъ публики, знакомить ее съ начинающими талантами, связать дѣятельность писателя и артиста съ общественными интересами. Вслѣдъ за нимъ, тоже при содѣйствіи А. Н., возникает въ Москвѣ собраніе драматическихъ писателей, которое позднѣ организовалось въ Общество драматическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ, взявшее на себя назрѣвшее дѣло охраны авторскихъ и сценическихъ интересовъ. Съ 1874 и до смерти А. Н. былъ его безсмѣннымъ предсѣдателемъ, силою вещей, таланта и энергіи сталъ во главѣ русскаго сценическаго искусства.

Отъ историческихъ сюжетовъ въ «Снѣгурочкѣ» (1873) Островскій переходитъ къ поэтическому воспроизведенію сказочной старины, проникнутому яркимъ, гармоническимъ лиризмомъ, тонким

юморомъ, глубокимъ психологическимъ анализомъ. Ему удалось вжиться, душою войти въ тайники народно-поэтическаго творчества и создать одинъ изъ шедёвровъ нашей драматической литературы, вдохновившихъ Чайковскаго и Римскаго-Корсакова.

Въ концѣ 60-хъ, въ 70-хъ и 80-хъ годахъ выходитъ рядъ его піесъ изъ жизни современнаго общества, затронутаго эпохой реформъ. Въ «Бѣшеныхъ деньгахъ» (1870) онъ изображаетъ экономическій и моральный распадъ дворянства подъ напоромъ новыхъ общественныхъ силъ и элементовъ, его прихлебательство у купцовъ, погоню за богатыми женихами. «Лѣсъ» (1871), «Таланты и поклонники» (1882), «Безъ вины виноватые» (1884) даютъ прекрасныя картины актерской жизни, столь близко знакомой Островскому, съ ея свѣтомъ и тѣнями, съ Счастливцевыми и Несчастливцевыми. «Волки и овцы» (1875) рисуютъ типичную для нашей жизни, воспитанной въ крѣпостномъ правѣ, борьбу «волковъ и овецъ». Тѣ же переливы овечьей и волчьей психологіи мы найдемъ въ другихъ піесахъ 70-хъ годовъ — «Поздняя любовь», «Трудовой хлѣбъ», «Безприданница» и пр. Передъ нами — интеллигентное общество, къ изображенію котораго Островскій перешелъ, исчерпавъ краски «темнаго царства». Если онъ и затрагиваетъ купеческій бытъ, то повторяетъ самого себя, свои прежнія произведенія и съ техникой справляется менѣе удачно, чѣмъ прежде, прибѣгаетъ къ запутанной и искусственной интригѣ. Многолѣтній непосильный трудъ, тяжелая жизнь давали себя знать, талантъ драматурга ослабѣвалъ, воображеніе истощалось, и Островскій, въ концѣ своей писательской карьеры, часто долженъ былъ прибѣгать къ сотрудничеству другихъ драматурговъ, писать все болѣе и болѣе слабыя вещи.

Въ 1880 году А. Н. принялъ живое участіе въ московскихъ Пушкинскихъ торжествахъ. Во время ихъ онъ произнесъ рѣчь о Пушкинѣ, очень характерную для его литературныхъ взглядовъ. Въ великомъ поэтѣ онъ цѣнитъ то, что онъ «далъ серьезность, поднялъ тонъ и значеніе литературы, воспиталъ вкусъ въ публикѣ, завоевалъ ее и подготовилъ для будущихъ литераторовъ читателей и цѣнителей». «Онъ завѣщалъ намъ искренность, самобытность, завѣщалъ каждому русскому писателю быть русскимъ. Вѣдь это только легко сказать! Это значитъ, что онъ — Пушкинъ — раскрылъ русскую душу. Конечно, для послѣдователей путь его труденъ, но если литература наша проигрываетъ количествомъ, то выигрываетъ качествомъ. Не много нашихъ произведеній идетъ на оцѣнку Европы, но въ этомъ немногомъ оригинальность наблюдательности, самобытный складъ мысли замѣчены и оцѣнены по достоинству. Теперь

остается пожелать Россіи такихъ талантовъ, пожелать русскому у поболѣе развитія, простоты, а путь, по которому идти талантам указанъ нашимъ великимъ поэтомъ... Нынче на нашей улиц праздникъ!»

Въ 1881 году была отмѣнена монополія казенныхъ театровъ въ ст лицахъ, и Островскій задумываетъ создать образцовый народный теат въ Москвѣ, но съ 1 января 1885 года его назначили начальнико репертуара императорскихъ театровъ и начальникомъ казенна театральнаго училища. А. Н. со всѣмъ пыломъ принялся за но дѣло и подорвалъ свои и безъ того ослабѣвшія силы. Онъ ско чался 2 іюня 1885 года послѣ ужасныхъ страданій.

Творчество Островскаго давало богатые матеріалы для пуб цистической критики, почти всегда оставаясь на высотѣ худож ственности, яркой типичности картинъ, красочности языка. Его гла ная заслуга — освѣщеніе всѣхъ закоулковъ «темнаго царства», без щадный анализъ самодурства во всѣхъ его проявленіяхъ и послѣ ствіяхъ. Самодурство — основная стихія нашей жизни, кругов порука рабства и произвола. Все сводится къ капризу, самодовлѣ щему произволу — «хоть ты ему колъ по головѣ теши», все н стоитъ на своемъ самодуръ. «Скажетъ — кто я? тутъ ужъ в домашніе ему въ ноги должны, такъ и лежатъ, а то бѣда!» И груб кулакъ виситъ надъ семьей, «купленымъ» народомъ, всецѣло под ненным «волѣ хозяйской». На нихъ срываются всѣ обиды жизн безсиліе общественное, сознаніе своего рабства. Палачи — въ св очередь жертвы, и получается замкнутый, желѣзный кругъ му тельства и муки. Въ «Комикѣ XVII вѣка» самодуръ эпохи ца Алексѣя Михайловича говоритъ:

.....родительскому сердцу
Не лестно ли такую зрѣть покорность
Сыновнюю! Когда тебѣ взгрустнется
Иль когда придешь домой, на что утѣшнѣй
Поклоны ихъ земные! Заставляешь
Поклоны бить и веселиться духомъ,
Что какъ де ты ни малъ, ни пріобиженъ
Отъ властныхъ лицъ, а дѣтямъ, домочадцамъ
Въ своемъ дому все тотъ же государь —

властный надъ жизнью, здоровьемъ, счастьемъ...

Самодурство — не только результатъ общей грубости, повальна невѣжества, но и дикая реакція пришибленной, искривлен личности, которая нелѣпо выпрямляется тамъ, гдѣ можно. И о тѣсно связывается съ мутными канцелярскими потемками, Риспо

ынскими и Юсовыми, съ вольными и невольными шутами, «этакимъ кимъ то пріятнымъ ласкательствомъ къ начальнику», «почтительмъ» и «подобострастнымъ», барскимъ варварствомъ, вѣрой «образанныхъ» въ юродивыхъ и блаженныхъ — власть тьмы и тьма асти... И среди этой тьмы взглядъ писателя зорко и скорбно цетъ проблесковъ, «лучей свѣта», всѣми почти гонимыхъ, всегда чти угашаемыхъ. Вѣра въ лучшую жизнь никогда его не покила, и горькій смѣхъ его часто перемежался неожиданными бодми нотами прирожденнаго, не убитаго жизнью оптимизма. Это всегда давало цѣльность впечатлѣнія — тѣмъ хуже для русской ізни, въ которой тогда не было настоящаго просвѣта для велиго драматурга...

Ѳедоръ Михайловичъ ДОСТОЕВСКІЙ.

Общая характеристика. — Біографія. — Ранній періодъ литературной дѣятельности.

По глубинѣ психологическаго (точнѣе — психопатологическаго) ализа Достоевскій — исключительное явленіе во всей міровой лиратурѣ. Въ улавливаніи и художественномъ воплощеніи «психискаго Хаоса», мистическихъ глубинъ человѣческой души, ея заенныхъ болѣзней и страданій, извращеній и искривленій ему, іестокому, истерическому таланту», безусловно принадлежитъ пере мѣсто. На всей жизни, внутреннемъ и внѣшнемъ обликѣ пигеля лежитъ печать глубокаго страданія, безысходной муки и болѣвшаго мучительства, потрясающаго трагизма, рокового столквенія Христа съ Великимъ Инквизиторомъ («Братья Карамазовы»). о творчество охватило крайніе полосы трагикомедіи человѣчеой жизни — подвигъ, высокое самоотверженіе, страдающую, истеющую кровью любовь, и извращенную, злую подлость, гніеніе и спадъ души, сладострастіе мучительства и мучительство сладорастія.

Одинъ и тотъ же писатель понялъ и удивительно воспроизвелъ ѣтлую поэзію души «Маленькаго героя» (въ крѣпости, ожидая иговора къ смертной казни!), дѣтскія страданія и нравственное обужденіе «Неточки Незвановой», умиляющую и жуткую просьбу инокаго умирающаго ребенка, обращенную къ больничному стожу, — поцѣловать его передъ смертью, безконечный героизмъ Сони армеладовой, грубый комизмъ «Мужа подъ кроватью», — и страш-

ный юморъ «бобка»[1]), душный мракъ героевъ «подполья», «бѣсов находившихъ въ «какой-нибудь сладострастной звѣрской штук и «какомъ угодно подвигѣ, хотя бы жертвѣ жизнью для чел вѣчества», «совпаденіе красоты», «одинаковость наслажденія», дру ныхъ «изъ злобы», видящихъ въ «тираніи привычку, обращающу въ потребность», въ любви — «добровольно дарованное отъ любим предмета право надъ нимъ тиранствовать», въ человѣкѣ — преж всего «деспота отъ природы, любящаго быть мучителемъ». Досто скій самъ много страдалъ, понималъ — и любилъ страданіе, его отт кивающую, страшную красоту. И въ то же время въ немъ нико не умирала жажда душевной гармоніи, тихаго счастья, ласки, Хрис Его болѣзненно-обостренная жалость часто безжалостна, грубо об жаетъ чужую душу, растравляетъ ея наболѣвшія раны, сливая л бовь и презрѣніе, преклоненіе и ненависть, цинизмъ и цѣломуд въ какомъ то нечеловѣческомъ синтезѣ. Онъ отрицаетъ душев здоровье, и въ каждомъ человѣкѣ ищетъ отголосковъ Хаоса, въ устанной тревогѣ видитъ основную стихію души; въ болѣзни, б уміи, преступности, «дерзновеніи» и покаяніи — ея норму, необх димую ступень для восхожденія на высоту. Бездна Хаоса тян къ себѣ человѣка; онъ приближается къ ней, борется съ нею, даетъ въ нее, и снова возрождается къ Христу для новыхъ паден Въ изображеніи всего этого никто не превзошелъ Достоевскаго.

Мѣтко и глубоко характеризуютъ этого больного и мучите наго, раздвоеннаго въ душѣ и все же цѣльнаго въ творчествѣ ніальнаго писателя слова одного критика: «всю жизнь провелъ о въ болѣзни и страданіяхъ. Тяжкое дѣтство, ненавистная шко крѣпость, позорный столбъ, ожиданіе казни, грозящей съ мину въ минуту, каторга, недугъ, нужда, смерть жены, смерть ребенка таковы впечатлѣнія, которыя приняла впечатлительная душа Д стоевскаго. Могла ли она создать другія произведенія, чѣмъ какія лежатъ передъ нами, — произведенія ночныя и мистическ надломленныя и тягостныя? Гнетущей загадкой встаетъ онъ пре нами, какъ воплощенная боль, какъ черное солнце страданія, бр сающее и на другихъ свои страшные лучи, — Анчаръ, который ядо своимъ прежде всего отравляетъ самого себя. Мучитель и мучени Іоаннъ Грозный русской литературы, онъ набросилъ на нее огро ную тѣнь. Но всякая тѣнь — отъ свѣта, и свѣтомъ Достоевскаго бы покаянная молитва въ глубинѣ души, преданной Христу и страж щимъ братьямъ во Христѣ, — души, которая изступленно и боле ненно искала Бога, сочетая любовь и жестокость».

---

[1]) „Дневникъ писателя“ 1873 г., „Бобокъ“.

Нервный, болѣзненно неровный характеръ Достоевскаго, постоян-
нужда, необходимость писать много и наскоро, не давая «вылежи-
ся», наложили сильную печать на форму его произведеній. Въ
ъ нѣтъ чеканки, музыкальности, внутренняго и внѣшняго ритма
генева, суровой простоты и полной отрѣшенности отъ «литера-
ности», «отъ формы» Толстого: у Достоевскаго — перебои книж-
и и непосредственности, реторизма и искренности, часто — тя-
о нагроможденные періоды, отсутствіе концентраціи впечатлѣнія
кономіи творчества, — пестрый, разбѣгающійся и слѣпящій
а калейдоскопъ не всегда нужныхъ лицъ. Извѣстный писатель
. Успенскій съ тонкимъ юморомъ говорилъ объ этой особенности
чества великаго писателя: «въ углу, въ которомъ порядочному
вѣку въ пору помѣстить одну пару калошъ и зонтикъ, Достоев-
нагромоздитъ десятки убійствъ, эпилепсій, юродствъ, самыхъ
вавыхъ преступленій и жестокостей!» Извѣстная доля правды
этой шуткѣ есть. Успенскій только не принялъ во вниманіе,
нестройная, трепетная, вся въ изгибахъ и изломахъ форма,
я многословіемъ, постоянными отступленіями и недомолвками,
го гармонируетъ у Достоевскаго съ содержаніемъ его творчества,
убляя впечатлѣніе.

Сынъ бѣднаго штабъ-лѣкаря изъ «разночинцевъ», Ѳедоръ Ми-
ловичъ Достоевскій родился въ Москвѣ 30 октября 1821 года.
тство его проходило среди чистенькой бѣдности, однообразной,
ой жизни, педантической строгости отца, преслѣдованій ребячь-
шалостей. При всей ограниченности средствъ и возведенномъ
культъ копленіи «на черный день», на образованіе дѣтей денегъ
дители Ѳ. М. не жалѣли. Учился онъ сначала дома, затѣмъ
одномъ частномъ пансіонѣ. Въ 1837 году, послѣ смерти матери
отдаютъ въ Петербургъ, въ Инженерное училище. Жестокій ре-
мъ училища угнеталъ хилаго, болѣзненно самолюбиваго, нервнаго
ьчика. Въ письмахъ его этого времени проскальзываютъ траги-
кія ноты: «я ношусь въ какой то холодной, полярной атмосферѣ,
а не заползалъ лучъ солнечный»; «видѣть одну жестокую обо-
ку, подъ которой томится вселенная, знать, что одного взрыва
и достаточно, чтобы разбить ее и слиться съ вѣчностью...
асно!...» Юноша думаетъ о самоубійствѣ, мечтаетъ о сумасшествіи.
дущее представляется ему такимъ же плоскимъ и сѣрымъ, какимъ
ю прошлое — почти ни одного свѣтлаго воспоминанія, одни впеча-
нія «мрачнаго, угрюмаго города, съ давящей, одуряющей атмо-
рой, съ зараженнымъ воздухомъ, съ драгоцѣнными палатами,
гда запачканными грязью, съ тусклымъ, бѣднымъ солнцемъ и полу-

сумасшедшими людьми», одни «каторжные годы школьной жизни». Ученіемъ онъ занимается усердно, но души его оно не затрогиваетъ; фронтъ вызываетъ въ немъ только отвращеніе.

Въ тогдашней военной школѣ, какою было и Инженерное училищѣ, царили жестокіе порядки. Тѣлесныя наказанія были въ большомъ ходу; молодыя жизни сознательно приносились въ жертву Молоху системы и дисциплины. За пустяковые проступки и незнаніе уроковъ «выносили изъ манежа на простыняхъ почти до полусмерти засѣченныхъ юношей». Остальные товарищи обязаны были присутствовать при экзекуціяхъ. Все это ожесточало молодежь и вносило въ ея среду дикіе нравы — истязаній болѣе слабыхъ, побоищъ, издѣвательствъ.

Въ такихъ условіяхъ проходило нравственное воспитаніе юноши Достоевскаго. Съ чувствомъ облегченія оставляетъ онъ школу (въ 1843 году), чтобы покинуть навсегда и ту спеціальную службу, къ которой готовился, — «всѣ нити порвать, проклясть прошлое и прахомъ его посыпать». Одно онъ вынесъ изъ школы, и то благодаря самостоятельному труду, — знаніе русской литературы, глубокій интересъ къ ней. Кое-какъ перебивается онъ потомъ нѣсколько лѣтъ въ Петербургѣ, безъ дѣла, почти безъ средствъ, «въ углахъ», «подпольяхъ», пристально и скорбно вглядываясь въ жизнь столичной бѣдноты, которая сдѣлалась впослѣдствіи главнымъ героемъ его произведеній.

На литературное поприще его толкнули увлеченіе Гоголемъ и Бѣлинскимъ и сближеніе съ молодежью, которая позднѣе примкнула къ кружку Петрашевцевъ. По собственнымъ словамъ, писателемъ онъ сдѣлался въ 1845 году «вдругъ, до тѣхъ поръ еще ничего не писавши». Первымъ его произведеніемъ были «Бѣдные люди». Писалъ ихъ Достоевскій «со страстью, почти со слезами». Повѣсть примыкала отчасти къ модной тогда «физіологической» литературѣ; ея общій духъ отчасти навѣянъ «Станціоннымъ смотрителемъ» Пушкина и «Шинелью» Гоголя. Но уже въ ней сказались всѣ основныя особенности таланта Достоевскаго — глубина захвата и тонкость психологическаго анализа, «страшная правда» жизни (слова Бѣлинскаго о «Бѣдныхъ людяхъ»), медлительность и многословіе изложенія, умѣніе играть на нервахъ читателя.

Наивный и «тупой» герой повѣсти, Макаръ Дѣвушкинъ, противополагаетъ «Станціоннаго смотрителя» «Шинели»: въ первомъ разсказѣ увидишь свою жизнь, «какъ по пальцамъ разложенную», «читаешь, словно самъ написалъ, точно это, примѣрно говоря, мое собственное сердце, какое ужъ тамъ ни есть, взялъ его, людямъ вы-

ротилъ изнанкой, да и описалъ все подробно»; «Шинель» — «пашкль», «неправдоподобная», «злонамѣренная книжка», потому что ь ея смѣха повѣяло на него холодомъ безжалостнаго обнаженія мельчавшей души и заглохшей жизни, даже издѣвательствомъ дъ маленькимъ, забитымъ, и безъ того измельчавшимъ человѣкомъ: манное чувство ея было облечено въ болѣе сложную форму, ı, конечно, не имѣемъ права отождествлять въ данномъ случаѣ звушкина съ Достоевскимъ; но, при такомъ пониманіи «Шинели», ѣдные люди» все же стоятъ ближе къ ней, чѣмъ къ «Станціонму смотрителю» съ его простою дружественною гуманностью. экрасовъ и Бѣлинскій, познакомившись съ повѣстью, пришли отъ я въ восхищеніе. Неумѣренныя похвалы вызвали въ авторѣ и обкій восторгъ — неужели въ правду я такъ великъ!» и горделия мечтанія о будущемъ. Печатный отзывъ Бѣлинскаго былъ болѣе мъ благопріятенъ.

«Слухи о «Бѣдныхъ людяхъ» и новомъ, необыкновенномъ таитѣ, готовомъ появиться на аренѣ русской литературы, задолго едупредили появленіе самой повѣсти... Талантъ г. Достоевскаго ı сатирическій, не описательный, но въ высокой степени творчей... необыкновенный и самобытный... Судя по «Бѣднымъ люмъ»... глубоко-человѣчественный и патетическій элементъ, въ іяніи съ юмористическимъ, составляетъ особенную черту въ хактерѣ его таланта... Для перваго дебюта «Бѣдные люди» и, неосредственно за ними, «Двойникъ» — произведенія необыкновенго размѣра... Такого неисчерпаемаго богатства фантазіи не часто учается встрѣчать и въ талантахъ огромнаго размѣра»...

Во всемъ этомъ было большое преувеличеніе. Самъ Бѣлинскій оздпѣе созналъ его и тѣмъ нанесъ болѣзненно самолюбивому Доюевскому тяжелую душевную рану. Это — растянутый разсказъ ъ жизни петербургской бѣдноты, голодной и холодной, но не отерявшей искры Божіей, человѣческихъ интересовъ и чувствъ. ъ «Униженныхъ и Оскорбленныхъ» самъ авторъ такъ будетъ форулировать содержаніе своей первой повѣсти: «такія будни и все акое извѣстное, вотъ точь въ точь какъ то самое, что обыкновенно ругомъ совершается... зато становится понятно и памятно, что ругомъ происходитъ, зато познается, что самый забытый, послѣдій человѣкъ есть тоже человѣкъ, и называется братъ мой!» Но не о же ли говорили «Станціонный смотритель», «Шинель», «Записки умасшедшаго»?

Достоевскій выбралъ для повѣсти наиболѣе легкую для начинающаго писателя эпистолярную форму. Она помѣшала ему глубже

раскрыть психологію старческой привязанности Дѣвушкина, представила для нея больше внѣшнія данныя.

Можетъ быть намѣчена любопытная связь между «Бѣдными людьми» и послѣдующими произведеніями Ѳ. М. И здѣсь у него страдальческіе личики дѣтей, худосочныхъ, забитыхъ и не по лѣтамъ развитыхъ жертвъ Молоха — города, ужасы женскаго позора (Варвара Алексѣевна — Наташа «Униженныхъ и Оскорбленныхъ» — Соня Мармеладова «Преступленія и Наказанія»), безработный, пьющій чиновникъ, подозрительность, обидчивость и обостренное чувство человѣческаго достоинства бѣдноты, неразрѣшимые «проклятые вопросы» о причинахъ общественной неправды. Рисуя своихъ оборванныхъ, запуганныхъ, раздавленныхъ жизнью чиновниковъ, безжалостно погубленныхъ молодыхъ дѣвушекъ, изможденныхъ городомъ дѣтей, Достоевскій давалъ только исходъ накопившимся въ его душѣ тягостнымъ впечатлѣніямъ. И Бѣлинскій обратился къ нему съ нервнымъ запросомъ: понимаетъ ли онъ во всемъ объемѣ всю страшную правду своей повѣсти? Въ «Бѣдныхъ людяхъ» онъ видѣлъ «первую попытку у насъ соціальнаго романа», и за это простилъ автору всѣ недочеты формы и содержанія.

Успѣхъ первой повѣсти окончательно сдѣлалъ Достоевскаго писателемъ. Въ 1845—1849 годахъ онъ «съ яростью нападаетъ на бумагу», пишетъ много и наскоро, «насилуя себя» и «губя здоровье». Онъ твердо вѣритъ, что ему удастся «написать какую-нибудь большую хорошую вещь», ищетъ оригинальныхъ сюжетовъ, слишкомъ остро реагируетъ на каждую даже мелкую литературную неудачу. Силы были подорваны непосильнымъ трудомъ и ужасными условіями жизни, творчество получало все болѣе вымученный, искусственный характеръ. Отзывы Бѣлинскаго становились все холоднѣе и холоднѣе, падали на измученную, близкую къ сумасшествію душу автора, и тогда уже страдавшаго нервными припадками, тяжелымъ камнемъ. «Двойникъ» (1846), мучительный, необыкновенно подробный анализъ «раздвоенія личности», могъ возникнуть только при анормальности душевнаго міра автора. Съ какою то сосредоточенною злобою изображаетъ онъ ничтожныя, пошлыя и больныя приключенія своего сумасшедшаго героя. Въ рядѣ послѣдующихъ разсказовъ («Господинъ Прохарчинъ», «Слабое сердце», «Хозяйка») передъ нами, по словамъ самого Достоевскаго, «жалкое, уродливое, недоношенное племя, племя корчившихся подъ свалившимися надъ ними камнями». Анненковъ видѣлъ въ «Хозяйкѣ» «порожденіе душнаго затворничества, четырехъ стѣнъ темной комнаты, въ которой заперлась отъ свѣта и отъ людей болѣзненная до

райности фантазія». Въ «Двойникѣ» Бѣлинскій указывалъ «страш-
ое неумѣнье владѣть и распоряжаться экономически избыткомъ
бственныхъ силъ», «неумѣнье богатаго силами таланта опре-
лить разумную мѣру и границы художественному развитію
думанной идеи»; въ «Прохарчинѣ» — «не то умничанье, не
претензію», «вычурность, манерность, непонятность». Еще без-
щаднѣе отзывъ о «Хозяйкѣ»: «не только мысль, даже смыслъ
ой, должно быть, очень интересной повѣсти остается и оста-
тся тайной для нашего разумѣнія, пока авторъ не издастъ
обходимыхъ поясненій и толкованій на эту дивную загадку его
ичудливой фантазіи. Что это такое — злоупотребленіе, или бѣд-
сть таланта, который хочетъ подняться не по силамъ, а потому
ится идти обыкновеннымъ путемъ, и ищетъ себѣ какой то не-
валой дороги? Не знаемъ; намъ только показалось, что авторъ
тѣлъ попытаться помирить Марлинскаго съ Гофманомъ, подбол-
вши сюда немного юмору въ новѣйшемъ родѣ и сильно нате-
вши все это лакомъ русской народности. Удивительно ли, что
шло что то чудовищное...» Такихъ нападокъ Достоевскій не
гъ простить Бѣлинскому до конца своей жизни. Порвавъ съ его
ружкомъ, онъ тѣснѣе сближается съ Петрашевцами, увлекается
урье и Жоржъ Зандъ, въ которой онъ видѣлъ «одну изъ са-
ихъ ясновидящихъ предчувственницъ болѣе счастливаго будущаго,
хидающаго человѣчество».

«Записки охотника» вызываютъ въ 1848 году «Разсказы быва-
го человѣка» Достоевскаго, изображающіе все тѣ же петербург-
іе «углы» съ ихъ бѣдностью и пьянствомъ. «Чужая жена» и
Ревнивый мужъ» (1848) даютъ довольно удачный анализъ ревности,
Бѣлыя ночи» (1848) — типъ приросшаго душою къ «подполью»
итателя, «потерявшаго всякій тактъ, всякое чутье въ настоящемъ,
йствительномъ», между тѣмъ какъ «чего то другого проситъ и
четъ душа», — черта безусловно автобіографическая. Въ «Не-
чкѣ Незвановой» (1849), неоконченной вслѣдствіе ареста и ссылки,
остоевскій даетъ прекрасный типъ дѣвушки, спасшей поэзію и
елесть души въ промозглой атмосферѣ «чада безпорядочной
изни», «гдѣ никогда не смѣются, никогда не радуются, гдѣ вѣч-
ое, нестерпимое горе». Привлеченіе къ дѣлу Петрашевцевъ, какъ
всѣхъ остальныхъ товарищей, въ апрѣлѣ 1849 года, застигло его
расплохъ. Заключеніе, допросы, судъ, приговоръ и сцена не до-
еденной до конца казни окончательно нарушили равновѣсіе его
уши. Можно понять, что Тургеневъ подъ арестомъ написалъ
Муму», но, вѣроятно, навсегда останется психологической загад-

кой, какъ въ казематѣ могъ возникнуть «Маленькій герой» Достоевскаго.

Для него настало время «возврата къ народному корню» въ тюрьмѣ, на каторгѣ и солдатской службѣ — одиннадцать страшныхъ лѣтъ нечеловѣческихъ страданій, попранія человѣческой личности, нравственнаго одиночества, усилившихся нервныхъ припадковъ, которые перешли потомъ въ падучую болѣзнь. Позднѣе самъ Достоевскій много говорилъ о «примиряющемъ», духовно-очищающемъ значеніи каторги; но ему можно было бы напомнить его собственныя знаменательныя слова: «кого, когда исправила каторга? Не ожесточится ли душа, не развратится ли, не озлобится ли на-вѣки?»

Каторгу онъ отбываетъ въ Омскѣ, по «второму разряду». Пережитое, перечувствованное и передуманное имъ за это страшное время съ поразительною силою, глубиною и правдою отразилось въ «Запискахъ изъ мертваго дома» (1861). Каторга примирила Достоевскаго съ людьми, вывела изъ душевнаго «подполья», подняла въ немъ вѣру въ человѣка, русскаго въ особенности. Брату онъ писалъ: «люди, вездѣ люди — и въ каторгѣ между разбойниками я отличилъ, наконецъ, людей. Повѣришь ли, есть характеры глубокіе, сильные, прекрасные, и какъ весело было подъ грубой корой отыскать золото! И не одинъ, не два, а нѣсколько. Иныхъ нельзя не уважать, другіе рѣшительно прекрасны». Въ «Запискахъ» цѣнно все: и психологическая картина нравственнаго воскресенія автора, и яркая характеристика внутренней жизни каторги — русской жизни въ миніатюрѣ, со всѣми ея ужасами, горями и радостями, и глубокое проникновеніе въ душу русскаго мужика.

Срокъ каторги кончился весной 1854 года. Затѣмъ Ѳ. М. зачислили рядовымъ въ Сибирскій линейный батальонъ, на страшную по тѣмъ временамъ солдатскую службу. Въ Сибири возобновляется его литературная дѣятельность: онъ пишетъ «Дядюшкинъ сонъ», «Село «Степанчиково», полные больного, вымученнаго юмора, и задумываетъ «Записки изъ мертваго дома». Въ Сибири же онъ женится на Исаевой, но семейная жизнь принесла ему только муки бѣдности и ревности. Вернуться ему въ Петербургъ разрѣшили только зимой 1859 года. Вмѣстѣ съ братомъ онъ издаетъ журналы: «Время»[1]) и «Эпоха», которые сдѣлались органами «поч-

---

[1]) Въ немъ напечатаны (въ 1861 году) „Записки изъ Мертваго дома“ и „Униженные и оскорбленные“.

венниковъ» (Аполлона Григорьева, Страхова и др.) и отчасти продолжали традиціи «Молодого Москвитянина». Первый изъ нихъ пользовался успѣхомъ, но скоро былъ закрытъ, второй шелъ очень неудачно.

Въ 1866 году въ «Русскомъ Вѣстникѣ» Ѳ. М. печатаетъ романъ «Игрокъ», тонкій анализъ карточнаго азарта и его растлѣвающаго вліянія на нравственное чувство человѣка, и знаменитое «Преступленіе и наказаніе», укрѣпившее за нимъ репутацію первоклассного психолога-моралиста и философа. Преступленіе Раскольникова, убійство гнусной старухи, — «дерзаніе», результатъ «теоретически раздраженнаго сердца», запутавшагося въ софизмахъ ума; «наказаніе» должно было привести къ воскресенію, но авторъ не даетъ намъ его исторіи. Наказаніе — не только закона, но и совѣсти, не позволяющей переступить черезъ кровь, хотя бы и посредствомъ софизмовъ о величіи Наполеоновъ и правѣ самосуда. Ростъ преступной мысли, картина преступленія, борьба со слѣдователемъ и исканіе поддержки у загубленной жизнью Сони Мармеладовой исполнены необыкновенной силы и глубины, и можно только пожалѣть, что они затемнены обиліемъ вводныхъ эпизодовъ.

Послѣ прекращенія «Эпохи», смерти брата и жены Достоевскій уѣзжаетъ за границу (въ 1865 году), гдѣ живетъ четыре года, преслѣдуемый по — прежнему нуждой, кредиторами, ростовщиками, жестокою необходимостью писать изъ — за денегъ и наспѣхъ. За границей же онъ женился на переписчицѣ, которой диктовалъ «Преступленіе и Наказаніе». Ему, для жизни, приходится писать «по громадному роману въ годъ». Въ 1868 году былъ написанъ «Идіотъ», въ 1869 — «Вѣчный мужъ», въ 1870 — «Бѣсы». Достоевскимъ хочется вернуться на родину, но ѣхать не на что, а въ Петербургѣ ждали кредиторы. Только въ дѣтяхъ находили они нравственное успокоеніе, которое разрушила смерть первой дочери Сони. Письмо къ Майкову (1868 года) глубоко и трогательно вскрываетъ эту трагедію жизни и души великаго писателя-сердцевѣдца, столь понимавшаго дѣтей, столь любившаго ихъ: «пусть смѣшна была моя любовь къ моему первому дитяти, пусть я смѣшно выражался объ ней во многихъ письмахъ многимъ поздравлявшимъ меня. Смѣшонъ для нихъ былъ только одинъ я, но вамъ, вамъ я не боюсь писать. Это маленькое трехмѣсячное созданіе, такое бѣдное, такое крошечное — для меня было уже лицо, характеръ. Она начинала меня знать, любить и улыбаться, когда я подходилъ. Когда я своимъ смѣшнымъ голосомъ начиналъ пѣть ей пѣсни, она любила ихъ слушать. Она не

плакала и не морщилась, когда я ее цѣловалъ; она останавливалась плакать, когда я подходилъ. И вотъ теперь мнѣ говорятъ въ утѣшеніе, что у меня еще будутъ дѣти. А Соня гдѣ? Гдѣ эта маленькая личность, за которую я, смѣло говорю, крестную муку приму, чтобы только она была жива. Но, впрочемъ, оставимъ это: жена плачетъ. Послѣ завтра мы, наконецъ, разстанемся съ нашей могилкой и уѣдемъ куда-нибудь».

Вернулись они въ Петербургъ только лѣтомъ 1871 года. Ѳ. М. дѣлается (въ 1873 году) редакторомъ «Гражданина», печатаетъ «Подростокъ» (1875), съ 1876 года издаетъ «Дневникъ писателя», какъ особый журналъ. Послѣднее крупное произведеніе — «Братья Карамазовы» — пишется и печатается имъ въ 1879—1880 годахъ. Это цѣлая эпопея человѣческой мерзости и духовной красоты, паденія и величія, вырожденія и воскресенія, давшая начало новому понятію и слову — «Карамазовщина». Пушкинскій праздникъ 1880 года въ Москвѣ былъ и апоѳеозомъ Достоевскаго, какъ художника и мыслителя. Его знаменитая рѣчь о всечеловѣчествѣ Пушкина, истерически-сильная, необычайно своеобразная, цѣнная по многимъ своимъ идеямъ, произвела потрясающее впечатлѣніе и совсѣмъ заслонила прекрасныя рѣчи Тургенева, И. Аксакова, Островскаго и другихъ. Очевидецъ (Страховъ) рисуетъ такую картину: «какъ только началъ говорить Ѳ. М., зала встрепенулась и затихла. Хотя онъ читалъ по писанному, но это было не чтеніе, а живая рѣчь, прямо, искренно выходящая изъ души. Всѣ стали слушать такъ, какъ будто до тѣхъ поръ никто и ничего не говорилъ о Пушкинѣ. То одушевленіе и естественность, которыми отличается слогъ Ѳ. М., вполнѣ передавались и его мастерскимъ чтеніемъ. Не говорю ничего о содержаніи рѣчи, но, разумѣется, оно давало главную силу этому чтенію. До сихъ поръ слышу, какъ надъ огромною притихшею толпою раздается напряженный и полный чувства голосъ: «смирись, гордый человѣкъ! потрудись, праздный человѣкъ!» Восторгъ, который разразился въ залѣ по окончаніи рѣчи, былъ неизобразимый, непостижимый ни для кого, кто не былъ его свидѣтелемъ. Толпа, давно заразившаяся энтузіазмомъ и изливавшая его на все, что казалось для того удобнымъ, на каждую громкую фразу, на каждый звонко произнесенный стихъ — эта толпа вдругъ увидѣла человѣка, который самъ весь полонъ энтузіазма, вдругъ услышала слово, уже несомнѣнно достойное восторга, и она захлебнулась отъ волненія, она ринулась всею душою въ восхищеніе и трепетъ. Мы тутъ же всѣ принялись цѣловать Ѳ. М.; нѣсколько человѣкъ, вопреки

правиламъ, стали пробираться изъ залы на эстраду; какой то юноша, какъ говорятъ, когда добрался до Ѳ. М., упалъ въ обморокъ. Восторгъ толпы заразителенъ... И на эстрадѣ, и въ «комнатѣ для артистовъ», куда мы ушли съ эстрады въ перерывъ засѣданія[1]), всѣ были въ радостномъ волненіи и предавались похваламъ и восклицаніямъ. «Вы сказали рѣчь», обратился Аксаковъ къ Достоевскому, «послѣ которой И. С. Тургеневъ, представитель западниковъ, и я, котораго считаютъ представителемъ славянофиловъ, одинаково должны выразить вамъ величайшее сочувствіе и благодарность». Не помню другихъ подобныхъ заявленій; но живо осталось въ моей памяти, какъ П. В. Анненковъ, подошедшій ко мнѣ, съ одушевленіемъ сказалъ: «вотъ что̀ значитъ геніальная, художественная характеристика! Она разомъ порѣшила дѣло!»

Исключительный успѣхъ рѣчи и самыхъ задушевныхъ своихъ идей былъ послѣднимъ лучомъ жизни Достоевскаго. Уже 25-го января слѣдующаго года началась предсмертная болѣзнь, а 28 января 1881 года онъ скончался. Похороны его обратились въ крупную общественную манифестацію. На похоронахъ писателя Петербургъ никогда еще не видалъ такого колоссальнаго стеченія народа. На потерю эту откликнулись люди и учрежденія всѣхъ направленій и оттѣнковъ.

Въ Историческомъ музеѣ въ Москвѣ вдовою писателя устроенъ прекрасный музей его имени, въ которомъ собраны всѣ его произведенія, портреты, автографы, вся богатая русская и иностранная литература о немъ.

Аполлонъ Николаевичъ МАЙКОВЪ.

Трудно найти другого поэта, у котораго условія жизни и творчество такъ гармонически сливались бы, какъ у Майкова. Помимо своего таланта, онъ выросъ и сложился въ такой атмосферѣ, которая сама собою способствовала развитію въ немъ эстетическихъ наклонностей и любви къ изящному. Его творчество и его біографія вытекаютъ одно изъ другого, другъ друга дополняютъ. Жизнь тихая, спокойная, безъ борьбы и тревогъ, казалось, была создана для поэтическаго созерцанія, для того, чтобы брать отъ окружающаго только пріятное, ласкающее и слагать въ честь

---

[1]) Общества Любителей Россійской Словесности.

его гимны. Но такое спокойствіе, при отсутствіи порывистости и энергическаго темперамента, привело его къ оторванности отъ окружающей дѣйствительности, сдѣлало поэтомъ наджизненнымъ, пѣвцомъ отвлеченно-прекраснаго. Слова Полонскаго о живомъ единеніи поэта и народа — «Писатель, если только онъ волна, а океанъ Россія, не можетъ быть не возмущенъ, когда возмущена стихія» — къ Майкову совсѣмъ не примѣнимы. Волной своей стихіи онъ никогда не былъ, и попытки его въ этомъ отношеніи (въ болѣе поздній періодъ литературной дѣятельности) кончились болѣе чѣмъ неудачно; но если онъ не былъ волной океана Россіи, то онъ въ правѣ называться одной изъ небольшихъ, но все же неподдѣльныхъ и цѣнныхъ жемчужинъ этого океана.

Аполлонъ Николаевичъ Майковъ родился въ Москвѣ въ 1821 году 23 мая. По рожденію и по духу онъ принадлежалъ къ одной изъ самыхъ талантливыхъ семей: родъ Майковыхъ далъ Россіи не одного, а нѣсколькихъ выдающихся дѣятелей на поприщѣ искусства и литературы: изъ нихъ извѣстенъ еще духовный писатель и подвижникъ XV—XVI вв. Нилъ Сорскій, во времена императрицы Екатерины II мы встрѣчаемъ поэта Василія Ивановича Майкова, наконецъ, изъ близкихъ родственниковъ А. Н. можно указать на его отца, извѣстнаго живописца, и братьевъ Леонида и Валеріана, изъ которыхъ второй — выдающійся критикъ, а первый — талантливый историкъ литературы. Первоначальное образованіе Майковъ получилъ въ своей семьѣ, которая являлась центромъ тогдашняго литературно-художественнаго міра, подъ руководствомъ выдающихся преподавателей, однимъ изъ которыхъ былъ нашъ знаменитый писатель И. А. Гончаровъ. Затѣмъ А. Н. учился на юридическомъ факультетѣ Петербургскаго университета, гдѣ на его поэтическіе опыты было обращено вниманіе профессоровъ Никитенка и Плетнева, сочувственно отнесшихся къ дарованію молодого писателя. Первымъ стихотвореніемъ Майкова, появившимся въ печати, былъ «Сонъ», вызвавшій одобреніе Бѣлинскаго, а въ 1842 году вышли отдѣльнымъ изданіемъ «Стихотворенія Аполлона Майкова», отмѣченныя восторженнымъ отзывомъ великаго критика. Послѣ окончанія университета, Майковъ провелъ около двухъ лѣтъ за границей, при чемъ около года пробылъ въ Италіи, а затѣмъ жилъ въ Парижѣ, посѣщая лекціи тамошнихъ профессоровъ. Вернувшись въ Россію, онъ сначала поступилъ на службу въ библіотеку Румянцевскаго Музея, затѣмъ перешелъ въ комитетъ иностранной цензуры, гдѣ сначала исполнялъ должность цензора, а потомъ, послѣ смерти Тютчева, занялъ мѣсто предсѣда-

теля комитета. 30 апрѣля 1888 года былъ торжественно отпразднованъ пятидесятилѣтній юбилей литературной дѣятельности А. Н., а девять лѣтъ спустя — въ 1897 году 8 мая поэтъ скончался отъ крупознаго воспаленія легкихъ. Похороненъ онъ въ Петербургѣ на кладбищѣ Новодѣвичьяго монастыря.

Въ молодости Майковъ занимался живописью и только благодаря близорукости оставилъ это искусство, всецѣло отдавшись литературѣ, но и въ литературѣ онъ остался тѣмъ же живописцемъ и пластикомъ, только кисть замѣнилъ словомъ, полотно и краски — энергическимъ, выпуклымъ стихомъ. Свое художественное крещеніе подобно многимъ служителямъ пластическихъ искусствъ Майковъ получилъ въ Италіи, главнымъ образомъ въ Римѣ, и съ этого момента направленіе его поэзіи опредѣлилось почти безповоротно.

Въ то время, какъ Гоголь, упиваясь красотами Италіи, не порывалъ своей глубокой связи съ Россіей и всѣмъ русскимъ и на развалинахъ «вѣчнаго города» съ особенной силой художественнаго проникновенія создавалъ одну за другой родныя картины, Майковъ былъ и остался только классикомъ, поклонникомъ античной красоты, пѣвцомъ, воскрешающимъ тысячелѣтнія гробницы.

Я видѣлъ древній Римъ: въ развалинѣ печальной
И храмы и дворцы, поросшіе травой,
И плиты гладкія старинной мостовой,
И колесницъ слѣды подъ аркой тріумфальной,
И въ лунномъ сумракѣ съ гирляндою аркадъ,
Полуразбитыя громады Колизея...
Здѣсь, посреди сихъ стѣнъ, гдѣ плющъ растетъ чернѣя,
На прахѣ Форума, гдѣ у телѣгъ стоятъ
Привязанные въ кругъ коринеской капители
Рогатые волы, — въ смущеньи я читалъ
Всю лѣтопись твою, о Римъ, отъ колыбели, —
И духъ мой въ сладостномъ восторгѣ трепеталъ.

И далѣе въ звучныхъ стихахъ воспѣваетъ онъ древній Римъ, чувствуя его безсмертное вѣяніе среди «печальныхъ развалинъ». Поэту кажется, что «здѣсь прошелъ не человѣкъ, а богъ». Онъ уловилъ духъ этого Рима, онъ видитъ передъ собой «иныхъ» людей, не похожихъ на современныхъ ему «сыновъ печальныхъ безцвѣтныхъ поколѣній». Эти люди прекрасны даже въ своемъ паденіи, и Римъ разрушающійся, Римъ, отравленный пороками выродившейся культуры, въ глазахъ Майкова не утрачиваетъ своего величія и обаятельной мощи:

Иные люди здѣсь, намъ кажется, прошли,
И врѣзали свой слѣдъ нетлѣнный на земли —
Великіе въ бѣдахъ, и въ битвѣ, и въ сенатѣ!
Великіе въ добрѣ, великіе въ развратѣ!
Ты палъ, но палъ, какъ жилъ... Въ паденіи своемъ
Ты тотъ же, какъ тогда, когда, храня свободу,
Подъ знаменемъ ея ты бросилъ кровъ и домъ —
И кланялся сенатъ строптивому народу...

Одинъ изъ нашихъ критиковъ не даромъ назвалъ Майкова «язычникомъ»: въ своемъ проникновеніи въ античную жизнь, въ духовномъ сліяніи съ далекимъ прошлымъ великаго города онъ минутами дѣйствительно кажется воскресшимъ изъ глубины вѣковъ современникомъ то Горація, то Нерона. Поэтъ не столько при помощи ума и знанія, сколько подъ непосредственнымъ вліяніемъ чувства роднится всѣмъ своимъ существомъ съ жизнью древнихъ и воспроизводитъ ее передъ нами въ живыхъ образахъ. Представленіе о томъ, что все кончается на этомъ свѣтѣ, и надо умѣть брать отъ жизни самое лучшее, использовать ее до конца — эта идея античнаго міра въ произведеніяхъ Майкова отражается съ такой страстной силой, съ такой убѣдительностью, что ее нельзя принять за эхо отдаленнаго звука, — она кажется нам искреннимъ призывомъ, непосредственно исходящимъ отъ поэта:

„Покуда молоды — плюща и винограду!
Дооблачныхъ палатъ танцовщицъ и пѣвицъ!
И бѣшеныхъ коней и быстрыхъ колесницъ,
Позорищъ ужаса и крови и мученій!
Взирая на скелетъ, поставленный на пиръ,
Въ конецъ исчерпай все, что можетъ дать намъ міръ!
И, выпивъ весь фіалъ блаженствъ и наслажденій,—
Чтобъ жизненный свой путь достойно увѣнчать,
Въ борьбѣ со смертію попробуй духа силы, —
И, вкругъ созвавъ друзей, себѣ открывши жилы,
Учи вселенную, какъ должно умирать!

Въ такихъ выраженіяхъ, по словамъ Майкова, — «древней гордости въ душѣ не истребя, старикъ своихъ сыновъ училъ за чашей яду». Смерть, какъ неизбѣжный конецъ земного пути, не внушаетъ особеннаго ужаса и эпикурейцу Люцію, который заботится лишь о томъ, чтобы уйти изъ жизни достойно римлянина — по возможности пріятно и красиво:

И на колѣняхъ дѣвы милой
Я съ напряженной жизни силой,
Въ послѣдній разъ упьюсь душой
Дыханьемъ травъ и моремъ спящимъ,

И солнцемъ, въ волны заходящимъ,
И Пирры ясной красотой!...
Когда жъ пресыщусь до избытка,
Она смертельнаго напитка,
Умильно улыбаясь, мнѣ
Сама не зная, дастъ въ винѣ,
И я умру шутя, чуть слышно,
Какъ истый мудрый сибаритъ,
Который, трапезою пышной
Насытивъ тонкій аппетитъ,
Средь ароматовъ мирно спитъ.

Въ стихотвореніяхъ «Алкивіадъ», «У храма», «Аспазія», Іреторъ» и нѣкоторыхъ другихъ такъ и брызжетъ живой источ-ікъ античной жизни, слышится веселый юморъ, «звенятъ сере-ібяныя блюды и хрустальные сосуды», трепещетъ сдержанный ѣхъ молодыхъ вакханокъ, и всюду, говоря словами самого эта: «Блескъ и движенье, здоровье и нѣга, грація съ силой во ѣхъ сочеталися формахъ». Да и могло ли быть иначе, когда ія автора этихъ произведеній «жизнь безъ тревогъ — прекрасный, ѣтлый день»? Пусть даже гибнутъ его герои; пусть умираетъ, винуясь приговору Нерона и велѣніямъ римской доблести, му-ецъ Сенека, пусть останавливается въ ужасѣ передъ бездной бытія прекрасный юноша-поэтъ Луканъ, не успѣвшій допѣть оихъ пѣсенъ — ничто не нарушитъ душевнаго покоя Майкова, тому что это все-таки прошлое, только пробужденное его поэти-ской грезой. Разсказывая о томъ, какъ рыбакъ Менискъ хоро-ітъ своего утонувшаго сына, поэтъ не переживаетъ драмы, не етъ переживать ее и читателю; его настроеніе, грустно-красивое, къ лучи вечерней зари, золотитъ эту трогательно-безыскусствен-ю картину:

На мысѣ семъ дикомъ, увѣнчанномъ бѣдной осокой,
Покрытомъ кустарникомъ ветхимъ и зеленью сосенъ,
Печальный Менискъ, престарѣлый рыбакъ, схоронилъ
Погибшаго сына. Его возлелѣяло море,
Оно же его и пріяло въ широкое лоно,
И на берегъ бережно вынесло мертвое тѣло.
Оплакавши сына, отецъ подъ развѣсистой ивой
Могилу ему ископалъ и, накрывъ ее камнемъ,
Плетеную вершу изъ ивы надъ нею повѣсилъ —
Угрюмой ихъ бѣдности памятникъ скудный!

Поэтъ-пластикъ по преимуществу, поклонникъ формы, Майковъ умѣлъ, подобно Фету, передавать неясныя движенія души; убина человѣческой психологіи ему не давалась, и потому глав-

нымъ образомъ и наиболѣе удачно онъ живописалъ внѣшность — опредѣленно, ярко и рельефно. Въ одномъ изъ лучшихъ своих произведеній, лирической драмѣ «Три смерти», въ этомъ отно шеніи онъ почти достигъ художественнаго совершенства, но зат стремленіе противопоставить языческому міру начала христіан скія не увѣнчалось успѣхомъ. Поэтъ формы, прекраснаго человѣ ческаго тѣла, онъ не сумѣлъ проникнуть въ глубины духа; уравно вѣшенный созерцатель гармонически стройной жизни, онъ не смог понять всю силу порыва, страстную напряженность идейнаго под вига; его христіане въ трагедіи «Два міра» говорятъ, какъ геро псевдо-классическихъ произведеній, слишкомъ сухо и слишком торжественно. Толпа христіанъ, наканунѣ гоненія собравшаяся въ катакомбахъ, вмѣсто горячаго одушевленія проникнута разм ренной величавостью язычниковъ, и проповѣдники завѣтовъ Хрис холодной важностью своихъ рѣчей напоминаютъ патриціевъ, во лежащихъ на пирѣ...

Самъ Майковъ, исповѣдуя догмы христіанства, никогда н поднимался до его высотъ, оставаясь на уровнѣ оффиціальнаг православія. Извѣстный критикъ Д. С. Мережковскій говорит о немъ: «Впрочемъ, не проникая въ мистическій духъ христіан ства, Майковъ вполнѣ владѣетъ внѣшней, матеріальной формо христіанской миѳологіи. Такъ, напр., онъ превосходно передал раскольничьи легенды въ драматическихъ сценахъ «Странникъ», написанныхъ удивительно красивымъ архаическимъ стихомъ. Очен поэтично преданіе о происхожденіи испанской инквизиціи, о коро левѣ Изабеллѣ. Повсюду, гдѣ ему не приходится касаться внутренней, мистической сущности христіанской идеи, гдѣ онъ изо бражаетъ только внѣшнія, прекрасныя формы религіознаго мате ріализма, Майковъ остается истиннымъ художникомъ. Вообще он очень легко и граціозно владѣетъ внѣшней формой всѣх народностей и всѣхъ вѣковъ, — формой, но не внутреннимъ ду ховнымъ содержаніемъ. Какъ поэтъ-историкъ, онъ съ научной то ностью и большимъ вкусомъ передаетъ древне-германскія сказан о Бальдурѣ, «Слово о полку Игоревѣ», сербскія и новогре скія пѣсни, средневѣковыя легенды, но все-таки чувствуется, ч это — искусное, иногда художественное переодѣваніе его кла сической музы, а не перевоплощеніе, какъ, напримѣръ, у Пу кина».

Въ 50-хъ годахъ въ творчествѣ Майкова совершился переве ротъ: возбужденіе общества, вызванное Крымской войной, отчас пробудило его отъ классическихъ грезъ къ современности, н

уловить ее онъ не смогъ; въ своемъ узкомъ патріотизмѣ онъ не шелъ дальше хвалы сложившемуся государственному строю, ополчаясь съ негодованіемъ на передовыхъ дѣятелей и приписывая имъ вину нестроенія русскаго общества. Конецъ Крымской войны и эпоха «великихъ реформъ» нѣсколько смягчили его консерватизмъ, и онъ, напр., привѣтствуетъ освобожденіе крестьянъ:

Воля, братцы, — это только
Первая ступень
Въ царство мысли, гдѣ сіяетъ
Вѣковѣчный день.

Но все же въ этомъ отношеніи ему недостаетъ той искренности и теплоты, которая одушевляла его современника Полонскаго. Лучше современной жизни онъ понялъ родную природу — «сѣверъ нашъ блѣдный, но милый, милый затѣмъ, что родной». Въ наиболѣе выдающемся изъ его описаній русской природы, идилліи «Рыбная ловля», мы находимъ спокойную, ясную поэтическую картинку:

Откинешься на лугъ и смотришь въ небеса,
И слушаешь стрекозъ, покуда сонъ глубокій
Подъ теплый паръ земли глаза мнѣ не сомкнетъ...
О чудный сонъ! душа Богъ, знаетъ, гдѣ далеко,
А ты во снѣ живешь, какъ все вокругъ живетъ...
. . . . . .
Стрекозы синія колеблютъ поплавки,
И тощіе кругомъ шныряютъ пауки,
И кружится, сребрясь, снетковъ веселыхъ стая,
Иль брызнетъ въ стороны, отъ щуки исчезая...

Но слиться безраздѣльно съ «блѣднымъ сѣверомъ», полюбить его больше «классическаго неба Рима» Майковъ не могъ, и если порой безыскусственная прелесть русскаго пейзажа останавливаетъ его вниманіе, то все же онъ не только не можетъ воспѣвать его съ восторженнымъ вдохновеніемъ, но даже тоскуетъ, вспоминая его убогую незатѣйливость:

Грустно подумать, что тамъ за горами, на полночь,
Люди живутъ и не знаютъ ни горъ въ багряницахъ
Огненныхъ зорь, ни широкихъ круговъ горизонтовъ...
Больно; сжимается сердце и мысль...

Въ 60-хъ годахъ Майковъ возвращается къ явившейся давно у него идеѣ противопоставленія языческаго міра христіанскому, пишетъ «Смерть Люція», которая должна была быть продолженіемъ драмы «Три смерти», но, недовольный выполненіемъ задуманнаго

плана, въ 1872 году принимается за трагедію «Два міра», о которой было упомянуто выше, и работаетъ надъ нею въ теченіе девяти лѣтъ. Въ послѣдніе годы жизни поэтическое дарованіе его ослабѣваетъ, но А. Н. не перестаетъ писать почти до самой кончины.

Произведенія Майкова не могутъ глубоко захватить своимъ содержаніемъ: въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ оторванныя отъ русской жизни, они съ внѣшней стороны блещутъ тщательностью отдѣлки, и въ этомъ отношеніи вполнѣ соотвѣтствуютъ взгляду самого А. Н. на поэтическое творчество, классическому строю его лиры:

Возвышенная мысль достойной хочетъ брони,
Богиня строгая — ей нуженъ пьедесталъ,
И храмъ, и жертвенникъ, и лира, и кимвалъ,
И пѣсни сладкія и волны благовоній...
Малѣйшую черту обдумай строго въ ней,
Чтобъ выдержанъ былъ строй въ наружномъ безпорядкѣ,
Чтобы божественность сквозила въ каждой складкѣ,
И образъ весь сіялъ — огнемъ души твоей!...

Яковъ Петровичъ.
ПОЛОНСКІЙ.

Яковъ Петровичъ Полонскій родился 6 декабря 1820 года въ Рязани, въ семьѣ небогатаго чиновника изъ дворянъ. Послѣ смерти матери отецъ его уѣхалъ на службу въ Эривань, а десятилѣтній мальчикъ перешелъ на воспитаніе къ теткамъ. Въ 1831 году онъ поступилъ въ Рязанскую гимназію, по окончаніи которой опредѣлился въ Московскій университетъ на юридическій факультетъ (въ 1839 г.). Въ то время какъ провинціальная гимназія и по составу преподавателей, и по общему складу учебныхъ занятій предоставляла мало возможности для умственнаго развитія и пріобрѣтенія знаній, Московскій университетъ находился тогда въ порѣ своего расцвѣта, выдвинувъ наряду съ Грановскимъ цѣлую плеяду даровитыхъ профессоровъ, что, конечно, оказало немаловажное вліяніе на развитіе духовной личности Я. П. Среди его университетскихъ товарищей были Ап. Григорьевъ, Фетъ, Писемскій и нѣкоторые другіе изъ талантливыхъ представителей того времени; съ Фетомъ и Григорьевымъ Полонскій близко сошелся, а среди кружковъ московской интеллигенціи онъ встрѣчался съ Герценомъ, К. Аксаковымъ, Чаадаевымъ, И. С. Тургеневымъ; съ послѣднимъ изъ нихъ у него постепенно сложились самыя дру-

жескія отношенія. Поэтическіе труды, начатые еще въ гимназіи, продолжались въ Москвѣ при болѣе благопріятныхъ условіяхъ и, доставляя молодому поэту обширный кругъ знакомства, тѣмъ самымъ облегчали ему пріисканіе платнаго заработка, необходимаго ему благодаря очень стѣсненному матеріальному положенію. Въ 1844 году Я. П. окончилъ университетъ и впервые выступилъ на литературномъ поприщѣ съ небольшимъ сборникомъ стихотвореній, озаглавленнымъ «Гаммы», который былъ встрѣченъ критикой весьма дружелюбно.

Второй его опытъ въ этомъ отношеніи — «Стихотворенія 1845 г.», сборникъ, выпущенный въ Одессѣ, куда Полонскій переселился изъ Москвы для пріисканія занятій — былъ менѣе удаченъ и вызвалъ со стороны Бѣлинскаго очень рѣзкія нападки, которыя однако не прекратили литературныхъ трудовъ Я. П. Въ 1846 г. изъ Одессы Полонскій переѣхалъ въ Тифлисъ, и здѣсь подъ вліяніемъ кавказской природы его творчество стало развиваться. Въ 1849 и 51 годахъ онъ выпускаетъ два сборника, одинъ за другимъ. Среди стихотвореній этого періода есть очень много звучныхъ, музыкальныхъ піесъ, при чемъ въ общемъ впечатлѣнія Кавказа у него мирныя и спокойныя, непохожія по своему настроенію на произведенія Лермонтова и Пушкина, созданныя подъ вліяніемъ природы и быта Кавказа.

Въ 1852 году Полонскій, проведя нѣкоторое время на родинѣ, поселяется въ Петербургѣ, временно отлучаясь для поправленія здоровья на русскіе курорты.

Въ 1856 году, въ качествѣ воспитателя въ одномъ семействѣ, Полонскій уѣхалъ за границу, гдѣ и женился на нѣкоей Устюжской въ слѣдующемъ 1857 году, но бракъ этотъ былъ непродолжителенъ: черезъ полтора года жена поэта скончалась. Вернувшись въ Петербургъ, онъ сдѣлался помощникомъ редактора журнала «Русское Слово», основаннаго гр. Кушелевымъ-Безбородко, гдѣ (въ 1863 году) была напечатана его знаменитая поэма «Кузнечикъ-Музыкантъ». Въ 1860 году Полонскій оставилъ редакторство и поступилъ на службу въ комитетъ иностранной цензуры, гдѣ и оставался до конца жизни.

Въ 1866 году онъ женился вторично на извѣстномъ скульпторѣ Жозефинѣ Антоновнѣ Рюльманъ. Скончался онъ въ 1898 году (18 октября) и похороненъ въ своемъ рязанскомъ имѣніи.

Въ 1855 году Полонскій издалъ первое собраніе своихъ стихотвореній, встрѣченное довольно сочувственно и доставившее ему болѣе широкую извѣстность; въ семидесятыхъ и восьмидеся-

тыхъ годахъ онъ посвятилъ много времени прозаическимъ произведеніямъ, написалъ нѣсколько романовъ и повѣстей, крупныхъ по размѣрамъ, но не отличающихся большими художественными достоинствами. Въ теченіе своей литературной дѣятельности Полонскій часто страдалъ отъ враждебныхъ нападокъ критики, нѣкоторые представители которой рѣзко возставали противъ такъ называемаго «чистаго искусства», громили поэтическое «тріо» Фета, Майкова и Полонскаго. Я. П. пробовалъ защищаться сатирой, но она ему не удавалась; искренно расположенный къ нему И. С. Тургеневъ, ободряя поэта въ своихъ письмахъ, наконецъ, выступилъ ему на защиту въ печати и въ небольшомъ очеркѣ далъ оцѣнку и характеристику литературнаго творчества Полонскаго: «Если про кого можно сказать, что онъ не эклектикъ, не поетъ съ чужого голоса, что онъ, по выраженію Альфреда де-Мюсе, «пьетъ хоть изъ маленькаго, но своего стакана», такъ это именно про Полонскаго. Худо ли, хорошо ли онъ поетъ, но поетъ ужъ точно по-своему. Талантъ Полонскаго представляетъ особенную, ему лишь одному свойственную смѣсь простодушной граціи, свободной образности языка, на которомъ еще лежитъ отблескъ пушкинскаго изящества и какой то иногда неловкой, но всегда любезной честности и правдивости впечатлѣній».

Другой защитникъ Полонскаго, Н. Страховъ, писалъ (въ 1870 г.) почти одновременно съ Тургеневымъ: «Направленіе у Полонскаго есть... Это направленіе не имѣетъ въ себѣ ничего рѣзкаго, узкаго, бросающагося въ глаза, но тѣмъ не менѣе оно есть. Это знаменитое направленіе, котораго лучшимъ представителемъ былъ Грановскій. — Это поклоненіе всему прекрасному и высокому, служеніе добру и красотѣ, любовь къ просвѣщенію и свободѣ, ненависть ко всякому насилью и мраку. По мѣсту своего духовнаго развитія, Полонскій принадлежитъ Москвѣ и Московскому университету 40-хъ годовъ, — и онъ до конца остается вѣренъ лучшимъ стремленіямъ тогдашней блестящей эпохи. Въ его стихахъ вы безпрестанно встрѣчаете теплое слово, обращенное къ свѣтлымъ идеаламъ, которыми тогда жила литература и которые въ сущности не должны въ ней умирать. Любовь къ человѣчеству, стремленіе къ свѣту науки, благоговѣніе передъ искусствомъ и передъ всѣми родами духовнаго величія — вотъ постоянныя черты поэзіи Полонскаго. Если онъ не былъ провозвѣстникомъ этихъ идей, то онъ былъ всегда ихъ вѣрнымъ поклонникомъ».

Добродушный, мягкій, чуждый нетерпимости и ѣдкой раздражительности, Я. П. Полонскій дѣйствительно былъ «вѣрнымъ по-

клонникомъ» всего свѣтлаго, обращалъ «теплое слово» къ идеаламъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ и не отличался страстностью борца, опредѣленностью и строгостью своего міровоззрѣнія; приписывая ему «ненависть ко всякому насилью и мраку», Страховъ выразился не совсѣмъ точно: благодушный по натурѣ, поэтъ, по его собственному свидѣтельству, не былъ способенъ «проклинать» — ненависть была чужда его душѣ, можетъ быть, потому ему и «не далъ Богъ бича сатиры». Полонскій сочувствуетъ страдающимъ, мягко упрекаетъ виновныхъ въ этомъ страданіи, но до возмущенія и негодованія никогда не поднимается — они ему несвойственны по самому складу его духовной организаціи.

Эта мягкость и ласковость души, эта теплая отзывчивость и отразились въ его творчествѣ, которое въ цѣломъ представляетъ изъ себя какъ бы длинный рядъ снимковъ съ его нравственной физіономіи, часто неудачныхъ по отдѣлкѣ, нескладныхъ, лишённыхъ чувства мѣры, но всегда необыкновенно вѣрно передающихъ его настроенія и безыскусственность. Нѣкоторые историки литературы, сравнивая его съ Фетомъ, указываютъ на одно существенное отличіе Полонскаго отъ его литературнаго собрата: Полонскій, какъ поэтъ, уступающій въ силѣ и яркости дарованія Фету, кажется имъ болѣе широкимъ и разностороннимъ. Эти свойства Полонскаго являются слѣдствіемъ того, что къ поэзіи у него было нѣсколько иное отношеніе, нежели у Фета: въ то время, какъ этотъ послѣдній двоится въ нашихъ глазахъ, удивляя обособленностью и разобщенностью жизни поэта и человѣка, Полонскій въ своемъ творчествѣ проявляется цѣликомъ — съ праздникомъ и съ буднями, съ блескомъ вдохновенія и съ сѣрой прозаической повседневностью; онъ какъ бы ведетъ дневникъ въ стихахъ, и потому у него ихъ такъ много, и потому же одни изъ нихъ достойны занять мѣсто среди лучшихъ произведеній русской литературы, тогда какъ другіе очень неудачны и слабы въ художественномъ отношеніи. Поэтическій «стаканъ» Полонскаго дѣйствительно былъ сравнительно малъ и не глубокъ, и благодаря этому на протяженіи своей долгой литературной дѣятельности онъ создалъ больше посредственнаго, нежели выдающагося. Но это относительно небольшое количество его истинно художественныхъ произведеній все же не можетъ забыться и затеряться и вполнѣ заслуженно заняло одно изъ почетныхъ мѣстъ въ исторіи нашей литературы.

Незлобивый и ласковый, Полонскій былъ въ правѣ сказать про себя: «и все, что жизнь ему ни шлетъ, онъ съ благодар-

ностью беретъ». Эта ласковость дѣлаетъ его отзывчивымъ, и каждый уголокъ жизни, замѣченный имъ, вызываетъ съ его стороны теплое сочувствіе. По характеру далекій отъ водоворота общественной борьбы, онъ сердцемъ угадываетъ тѣхъ, кто отъ нея пострадалъ, и, не будучи поэтомъ-гражданиномъ въ узкомъ смыслѣ этого слова, поднимается на необыкновенную высоту въ тѣхъ случаяхъ, когда его чуткая душа уязвлена чужой мукой. Онъ видитъ во Франціи дѣвушку, которую ведутъ на казнь и которой такъ не хочется умирать въ свѣтлый и ясный день; онъ замѣчаетъ и другую, далекую и неизвѣстную, на тюремной койкѣ, и въ тоскѣ спрашиваетъ себя:

Кто она мнѣ? не жена, не любовница
И не родная мнѣ дочь,
Такъ отчего же ея доля проклятая
Спать не даетъ мнѣ всю ночь?...

Эти тоскливые вопросы сравнительно часто посѣщаютъ его душу, даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ явной трагедіи. Отвѣтить на нихъ при помощи отвлеченной мысли онъ не можетъ, смыслъ жизни вообще остается для него неразгаданнымъ, и только грустно красивые стихи передаютъ намъ томленіе поэта. Это томленіе охватываетъ его и при видѣ красавицы, встрѣченной въ провинціальной глуши:

Для кого расцвѣла? Для чего развилась?
Для кого это небо — лазурь ея глазъ,
Эта роскошь, — волнистыя кудри до плечъ,
Эта музыка, — устъ ея тихая рѣчь?
Ясно можетъ она своимъ чуткимъ умомъ
Слышать голосъ души въ разговорѣ простомъ;
И для міра любви и для міра искусствъ
Много въ сердцѣ у ней незатронутыхъ чувствъ.
Прикоснется ли клавишъ, — заплачетъ рояль;
На ланитахъ огонь, на рѣсницахъ печаль...
Подойдетъ ли къ окну — безотчетно грустна,
Въ безотвѣтную даль долго смотритъ она...
Что звенитъ тамъ вдали, — и звенитъ, и зоветъ?
И зачѣмъ тамъ въ степи пыль столбами встаетъ?
И зачѣмъ та рѣка широко разлилась?
Оттого ль разлилась, что весна началась?
И откуда, откуда тотъ вѣтеръ летитъ,
Что, стряхая росу, по цвѣтамъ шелеститъ,
Дышитъ запахомъ липъ и, концами вѣтвей
Помавая, влечетъ въ сумракъ влажныхъ аллей?
Не природа ли тайно съ душой говоритъ?
Сердце ль проситъ любви и безъ раны болитъ?
И на грудь тихо падаютъ слезы изъ глазъ...
Для кого расцвѣла? Для чего развилась?

Даже природа, волнуя его, не даетъ ему возможности найти отвѣтъ, и Полонскій говоритъ:

Самъ не знаю, за что я люблю тебя, ночь,
Такъ люблю, что страдая любуюсь тобой!

Неразрѣшенные вопросы однако не могли нарушить яснаго покоя его души: подверженный сомнѣніямъ, но въ общемъ религіозный, онъ приходитъ если не къ выводу, то къ предположенію, что

Ткань природы міровая —
Риза Божья, можетъ быть...
Въ этой ризѣ — я живая,
Я непорванная нить.

«Живой», «непорванной нитью» былъ онъ связанъ и съ окружающей его жизнью, раздѣлялъ идеалы тѣхъ, которымъ была нужна

Для счастія законная свобода,
А для свободы вольная страна.

Въ этотъ отношеніи Полонскій высказалъ глубоко-знаменательную мысль о значеніи литературы:

Писатель, — если только онъ
Волна, а океанъ — Россія,
Не можетъ быть не возмущенъ,
Когда возмущена стихія.
Писатель, если только онъ
Есть нервъ великаго народа,
Не можетъ быть не пораженъ,
Когда поражена свобода.

Полонскій, какъ было уже указано, ни по силѣ таланта, ни по темпераменту не былъ созданъ для того, чтобы идти въ первыхъ рядахъ, но его свѣтлая, оптимистически настроенная душа, вѣрившая въ то, что «нѣтъ конца стремленью, есть конецъ страданью» — въ своемъ творчествѣ отразила какъ идеалы лучшихъ людей того времени, такъ и печальныя сумерки жизни; на всей его поэзіи, проникнутой искренностью и задушевностью, лежитъ отпечатокъ гуманности и благородства, кроткой, ласковой доброты.

Въ Полонскомъ до конца сохранилась дѣтская ясность души, и потому онъ, будучи старикомъ, и вспоминая ранніе годы своей жизни, могъ чувствовать и сознавать единство и цѣльность своей личности, неразрывную связь прошлаго съ настоящимъ:

Дѣтство нѣжное, пугливое,
Безмятежно-шаловливое, —
Въ самый холодъ вешнихъ дней
Лаской матери пригрѣтое
И на вѣки мной отпѣтое
Въ дни безумства и страстей,
Нынѣ всѣми позабытое,
Подъ морщинами сокрытое
Въ нѣдрахъ старости моей, —
Для чего ты вновь встревожило
Зимній сонъ мой, — словно ожило
И повѣяло весной?
Оттого, что вновь мнѣ слышится
Голосокъ твой, легче ль дышится
Мнѣ съ поникшей головой?!
Не безъ думы, не безъ трепета
Слышу я наивность лепета:
— Старче! развѣ ты — не я?
Я съ тобой навѣки связано,
Мной вся жизнь тебѣ подсказана,
Въ ней сквозитъ мечта моя;
Не напрасно вновь являюсь я, —
Твоей смерти дожидаюсь я,
Чтобъ припомнило и я
То, что въ дни моей безпечности
Я забыло въ нѣдрахъ вѣчности, —
То, что было до меня...

Эта черта характера заставляла его любить все чистое и свѣтлое — дѣтей, молодежь, «чуткую женскую душу», дала ему возможность превратить въ поэзію многое изъ тусклой будничной прозы.

Внѣшнимъ достоинствомъ лирики Полонскаго является мелодичность его стиховъ, то своеобразіе размѣра, которое мы находимъ только у него и которое является оригинальной принадлежностью его дарованія; впрочемъ, иногда благодаря растянутости и обилію подробностей сила впечатлѣнія отъ его стиховъ пропадаетъ. Простота изображенія, привлекающая читателя, иногда переходитъ границы художественной мѣры, и вмѣсто поэзіи получается проза.

Кромѣ лирическихъ стихотвореній и прозы («Анна Галдина», «Крутыя горки», «Признаніе Сергѣя Чалыгина» и др.), Полонскому принадлежитъ нѣсколько поэмъ, изъ которыхъ наиболѣе удачной является «Кузнечикъ - музыкантъ», — художественная сказка изъ жизни насѣкомыхъ, въ которой легкая сатира на петербургскій литературный міръ граціозно переплетается съ картинками міра насѣкомыхъ, мягкая шутка гармонически сливается съ грустнымъ сюжетомъ поэмы.

Иванъ Саввичъ НИКИТИНЪ.

Трагически сложившаяся жизнь наложила трагическій отпечатокъ и на творчество Никитина. Съ прекраснаго портрета Никитина (1860 г.), смотрятъ на насъ усталые, измученные глаза, полные суровой и сосредоточенной думы; на болѣзненномъ, исхудавшемъ лицѣ съ ввалившимися щеками лежитъ уже печать смерти. Такое же впечатлѣніе производитъ подавляющее большинство его стихотвореній, въ особенности знаменитое, поразительное по своей силѣ «Вырыта заступомъ яма глубокая»... Подъ суровой наружностью скрывалась мягкая, нѣжная, необыкновенно отзывчивая, тонко чувствующая душа. Муки жизни сдѣлали Никитина болѣзненно воспріимчивымъ къ чужому горю, въ особенности къ хорошо знакомому ему горю русскаго народа.

Никитина часто сравнивали и сравниваютъ съ Кольцовымъ. Основано это сопоставленіе на крупномъ недоразумѣніи: общаго между ними было только то, что оба они происходили изъ воронежскихъ мѣщанъ. Свѣтлый основной колоритъ поэзіи Кольцова рѣзко контрастируетъ съ мрачнымъ фономъ всѣхъ почти произведеній Никитина; у перваго — возведенные «въ перлъ созданія» пріемы русской народной пѣсни и народная рѣчь; у второго, интеллигента-семинариста изъ мѣщанъ, рѣчь нѣсколько книжная, мѣстами даже искусственная. Оба они любятъ природу и тонко чувствуютъ ея красоты, но Никитинъ стремится къ ней отъ ужасовъ жизни, для минутнаго хотя бы отдохновенія, а Кольцовъ свѣтло и радостно отдается ея обаянію. Изъ народной жизни Кольцовъ беретъ больше праздничные моменты; его творчество скользнуло даже мимо крѣпостного права; Никитинъ исчерпалъ до дна всѣ наиболѣе тяжелыя стороны народнаго быта. Затѣмъ, Никитинъ былъ значительно образованнѣе и развитѣе Кольцова, и если второй былъ только поэтомъ-прасоломъ, очень даровитымъ самоучкой, то первый былъ уже настоящимъ литераторомъ, поэтомъ-гражданиномъ, однимъ изъ очень яркихъ представителей нашего гуманитарнаго реализма. Конечно, Кольцовъ талантливѣе Никитина, но Никитина и до сихъ поръ читаютъ, Кольцовъ же все болѣе и болѣе отодвигается въ сферу историко-литературныхъ изысканій.

Иванъ Саввичъ Никитинъ родился въ Воронежѣ 21 сентября 1824 года. Его отецъ происходилъ изъ духовнаго званія и прозывался раньше Кирилловымъ. Будучи исключенъ изъ духов-

наго званія, онъ почему то назвался Никитинымъ. Мать И. С. происходила изъ воронежскихъ мѣщанъ, къ которымъ позднѣе приписался и его отецъ. Никитины жили въ наиболѣе живописной части Воронежа. Благодаря бойкой свѣчной торговлѣ жилось имъ хорошо. Савва Евтѣичъ Никитинъ отличался большимъ умомъ и сравнительнымъ образованіемъ. Онъ любилъ читать духовныя книги, имѣлъ даже свою небольшую библіотечку и недурно зналъ нашихъ писателей до Пушкина. Удачливый и богатый торговецъ, силачъ, отличавшійся во время кулачныхъ боевъ, толковый и начитанный человѣкъ, онъ пользовался большимъ вліяніемъ въ мѣщанскихъ и купеческихъ кругахъ Воронежа. Но въ характерѣ его было много крутого и самодурнаго. Жена, Прасковья Ивановна, напротивъ, была существо необыкновенно кроткое, сердечное и безотвѣтное. И. С. росъ одинокимъ ребенкомъ. Въ одномъ изъ стихотвореній поэтъ самъ назвалъ себѣ «ребенкомъ нелюдимымъ». Только въ первые годы своей жизни онъ отличался живостью и рѣзвостью, а затѣмъ дѣлался все болѣе серіознымъ, сосредоточеннымъ и угрюмымъ. Грамотѣ научилъ его сапожникъ. Въ 1832 году его отдали въ духовное училище, а затѣмъ въ воронежскую семинарію. Бурсацкая обстановка заставила его замкнуться въ себя еще больше. Учился онъ хорошо, собирался даже идти въ университетъ, но всему помѣшало разстройство торговыхъ дѣлъ его отца. Савва Евтѣичъ началъ пить, стала пить и его жена, и домъ Никитиныхъ обратился въ настоящій адъ. Скоро наступило и полное обнищаніе. И. С. глубоко затаилъ въ себѣ весь свой ужасъ передъ окружавшей его обстановкой; въ отношеніяхъ къ отцу постоянно боролись у него отвращеніе и сожалѣніе. Началъ онъ писать еще въ семинаріи. Воронежъ тогда еще былъ полонъ впечатлѣніями успѣховъ Кольцова; пламенныя статьи Бѣлинскаго пользовались самою широкою популярностью. Къ первымъ опытамъ молодого поэта сочувственно отнеслись и нѣкоторые изъ преподавателей семинаріи. Отъ грязи жизни Никитинъ все болѣе уходитъ въ міръ поэтическаго творчества, одинокой мечты и книгъ. Въ 1843 году И. С. окончилъ философскій курсъ и собирался было отправиться въ университетъ, но судьба посадила его за прилавокъ. Ему приходилось вести скучную и безплодную торговлю, которая падала съ каждымъ днемъ, и къ которой онъ вообще не чувствовалъ никакого призванія. Надъ продавцомъ «ученымъ» и «студентомъ» издѣвались всѣ зѣваки Воронежа. Послѣ смерти жены Савва Евтѣичъ запилъ еще больше, сталъ закладывать и пропивать все, что попадалось подъ руку, и въ пьяномъ видѣ безобразничать.

Полунищій юноша, питавшійся только крохотными доходами съ небольшого постоялаго двора, затравленный дикими впечатлѣніями домашней жизни, дошелъ до полнаго отчаянія и разъ даже былъ случайно удержанъ однимъ проходящимъ отъ попытки убить себя. Въ его характерѣ все-таки было много твердости и выносливости. Для того, чтобы кормить себя и пропойцу-отца, онъ дѣлается «дворникомъ Савельичемъ», старается привлечь на свой постоялый дворъ кліентовъ-извозчиковъ, самъ отпускаетъ сѣно лошадямъ и пищу постояльцамъ. И по наружности онъ превращается въ дворника: подрѣзанные въ кружокъ волосы, высокіе сапоги, простая чуйка лѣтомъ и нагольный тулупъ зимой. Потихоньку отъ всѣхъ онъ продолжаетъ писать и читать. Тяжелымъ трудомъ онъ не тяготится: этотъ трудъ давалъ ему и нравственное удовлетвореніе, и извѣстное обезпеченіе жизни, и тѣ впечатлѣнія, которыя обогащали его творчество новыми образами и темами. Въ одномъ изъ болѣе позднихъ писемъ онъ говоритъ: «Любовь къ родной литературѣ, къ родному русскому слову не угасла во мнѣ среди новой, совершенно незнакомой мнѣ дѣятельности. Окруженный людьми, лишенными малѣйшаго образованія, не имѣя руководителей, не слыша разумнаго совѣта, за что и какъ мнѣ нужно взяться, я бросался на всякое сколько-нибудь замѣчательное произведеніе, бросался и на посредственное, за неимѣніемъ лучшаго. Продавая извозчикамъ овесъ и сѣно, я обдумывалъ прочитанныя мною и поразившія меня строки, обдумывалъ ихъ въ грязной избѣ, нерѣдко подъ крикъ и пѣсни разгулявшихся мужичковъ. Сердце мое обливалось кровью отъ грязныхъ сценъ; но съ помощью доброй воли я не развратилъ своей души. Найдя свободную минуту, я уходилъ въ какой-нибудь отдаленный уголокъ моего дома. Тамъ я знакомился съ тѣмъ, что составляетъ гордость человѣчества, тамъ я слагалъ скромный стихъ, просившійся у меня изъ сердца. Все написанное я скрывалъ, какъ преступленіе, отъ всякаго посторонняго лица, и съ разсвѣтомъ сожигалъ строки, надъ которыми я плакалъ во время безсонной ночи. Съ лѣтами любовь къ поэзіи росла въ моей груди, но вмѣстѣ съ нею росло и сомнѣніе, есть ли во мнѣ хотя искра дарованія». Въ другомъ письмѣ онъ пишетъ: «Еслибы вы знали, какія сцены окружали меня съ дѣтства, какая мелочная, но тѣмъ не менѣе страшная драма разыгрывалась передъ моими глазами, — драма, гдѣ мнѣ доводилось играть роль, возмущавшую меня до глубины души! Поэзія и мысль спасли Никитина, но спасеніе досталось ему слишкомъ дорогою цѣною...

Въ 1849 году, по совѣту одного своего пріятеля, И. С. посылаетъ

нѣсколько своихъ стихотвореній въ столичные журналы, но безуспѣшно. Лучше отнеслись къ молодому поэту «Воронежскія Губернскія Вѣдомости», во главѣ которыхъ стояли недюжинныя интеллигентныя силы: онѣ нашли «замѣчательными» присланныя Никитинымъ стихотворенія «Лѣсъ» и «Дума», но не могли напечатать ихъ вслѣдствіе своей программы и анонимности доставленнаго матеріала. Одичавшій «дворникъ» замолкъ до 1853 года, когда появляется въ «Воронежскихъ Вѣдомостяхъ» его «Русь», вызванная высокимъ подъемомъ патріотическихъ чувствъ въ началѣ Севастопольской кампаніи. Съ этого момента начинается благопріятный, но слишкомъ запоздавшій поворотъ въ жизни Никитина. Его пригрѣлъ интеллигентный кружокъ Второва, Александрова-Дольника и Средина; «Русь» вызвала общій восторгъ; богатый купецъ Рукавишниковъ предлагаетъ ему выгодное мѣсто въ Сибири, но Никитинъ не рѣшился покинуть Воронежъ и отца; гр. Толстой и Половцевъ даютъ средства на изданіе его стихотвореній. Съ захватывающимъ наслажденіемъ отдается онъ творчеству и работаетъ надъ своимъ «Кулакомъ», крупнѣйшимъ изъ своихъ произведеній, полнымъ автобіографическихъ чертъ и глубокаго общественнаго значенія. Гонораръ за стихи и доходы отъ изданія улучшили матеріальное положеніе Никитина: онъ получилъ возможность нанять себѣ помощника, купить лошадь и вообще поднять дѣло. Для отдыха онъ ѣздитъ въ деревню Плотниковыхъ, недалеко отъ Воронежа, гдѣ больше всего наслаждается природою. Уже около этого времени (1853—1855 гг.) Никитинъ началъ прихварывать. Простуда подкосила и безъ того надломленный организмъ, привела къ сильнымъ и продолжительнымъ мукамъ. За горячкою послѣдовали скорбутъ, желудочныя страданія, которыя послѣ усиленныхъ мѣръ лѣченія удалось только ослабить.

Полуживой тѣломъ, но воскресшій душою, Никитинъ продолжаетъ работать, пишетъ очень много, съ увлеченіемъ занимается своимъ книжнымъ магазиномъ, который удалось открыть на скопленныя и собранныя деньги. Но это была послѣдняя вспышка передъ угасаніемъ: 16 октября 1861 года онъ скончался отъ чахотки. Похоронили его на Митрофаньевскомъ кладбищѣ.

Дарованіе Никитина медленно выбивалось на свою дорогу. Вначалѣ онъ подражаетъ Кольцову, Некрасову и Лермонтову, но мало-по-малу отдѣлывается отъ ихъ вліянія, и его стихи дѣлаются все болѣе своеобразными. Съ Лермонтовымъ его сближаетъ общность положенія и настроенія. По словамъ одного біографа поэта «на самой первобытной, нечистой аренѣ происходитъ въ полномъ

смыслѣ лермонтовская борьба, — борьба реально мыслящей и просто чувствующей личности съ полудикимъ обществомъ, для котораго еще нерѣшенные вопросы — самая мысль и самое чувство, а не ихъ размѣры и цѣли. Два русскихъ поэта въ чистѣйшей и краснорѣчивѣйшей формѣ воплотили нравственный протестъ противъ стихійныхъ общественныхъ силъ, одинъ среди извращенной, трусливо лицемѣрной и внутренно немощной культуры, среди стадныхъ, рабскихъ отпрысковъ чужого ума, другой — въ еще болѣе низкихъ слояхъ, гдѣ даже понятіе общество смутно и недоступно, но гдѣ тѣмъ сильнѣе давленіе стихій и инстинктовъ. И если Лермонтовъ-аристократъ такъ близокъ нашимъ сочувствіямъ, такъ обаятельна власть его поэзіи надъ всѣмъ юношески благороднымъ и сильнымъ, Лермонтовъ — мѣщанинъ, хотя бы его талантъ и уступалъ блескомъ и мощью генію старшаго современника, — подлинное воплощеніе тысячъ русскихъ людей, волею «жребія» присужденныхъ къ «низкой долѣ», но личною волею проложившихъ «дорогу жизни новой средь зла и грязи».

Некрасова Никитинъ полюбилъ за его гражданскія чувства, сердечное сочувствіе народному горю, но затѣмъ его оттолкнули неискренность и фразистость нѣкоторыхъ стихотвореній прежняго кумира. Увлеченіе Кольцовымъ только и могло быть мимолетнымъ вслѣдствіе слишкомъ большого несходства нравственнаго склада и поэтическаго характера обоихъ поэтовъ.

Преобладающее настроеніе въ творчествѣ Никитина хорошо опредѣлено имъ самимъ въ одномъ изъ его произведеній («Портной»):

Пали на долю мнѣ пѣсни унылыя,
. . . . . .
Радъ бы не пѣть ихъ, да грудь надрывается.
Слышу я, слышу, чей плачъ разливается.
Бѣдность голодная, грязью покрытая,
Бѣдность несмѣлая, бѣдность забитая;
Днемъ она гибнетъ, и въ полночь и зá полночь
Гибнетъ она — и никто нейдетъ нá помочь,
Гибнетъ она — и опоры нѣтъ волоса,
Теплаго сердца, знакомаго голоса...
Горькій полынь — эта пѣснь невеселая,
Пѣснь невеселая, правда тяжелая!
Кто здѣсь узнаетъ кручину свою?
Эту я пѣсню про бѣдность пою.

Это творчество, эти «пѣсни унылыя» носятъ на себѣ яркій отпечатокъ его жизни и личности. По складу своей натуры чуткій къ прекрасному, онъ въ противоположность Фету не былъ

«природы праздный соглядатай», хотя любилъ ее горячо и глубоко: условія жизни рано заставили его окунуться въ омутъ тяжелыхъ невзгодъ, понять горькую правду окружающаго, и для него только прекрасное, какъ предметъ эстетическаго наслажденія, было немыслимо и непріемлемо. Еще ребенкомъ онъ уходилъ искать покоя и отдыха среди природы; она была ему нравственно необходима для того, чтобы очищать свою душу отъ вторженія въ нее жизненной пошлости и грязи, но потомъ онъ опять возвращался въ самую гущу дѣйствительности, и по мѣрѣ того, какъ росъ и крѣпъ въ немъ сознательный человѣкъ, — развивалась потребность бороться противъ зла и неправды. Орудіемъ борьбы былъ талантъ, и Никитинъ никогда не примѣнялъ его «всуе». Эти переходы отъ природы къ жизни, отъ успокоенія къ страданію, мы найдемъ въ его произведеніяхъ.

«Точно въ храмѣ стою я въ тиши», говоритъ Никитинъ въ стихотвореніи «Лѣсъ»: онъ проникнутъ глубокимъ благоговѣніемъ къ тому «Божьему міру», который такъ чистъ и прекрасенъ, такъ близокъ всему лучшему въ душѣ человѣка и такъ чуждъ ея темнымъ сторонамъ. Только природа можетъ утѣшить и успокоить, можетъ поднять упавшій духъ:

Одинъ я... и сердцу и думамъ свобода.
Здѣсь мать моя, другъ и наставникъ-природа,
И кажется жизнь мнѣ свѣтлѣй впереди,
Когда къ своей мощной, широкой груди,
Она, какъ младенца, меня допускаетъ
И часть своей силы мнѣ въ душу вливаетъ.

О своей незыблемой связи съ нею онъ говоритъ:

Я съ дѣтства понимать привыкъ
Твое молчаніе нѣмое
И твой таинственный языкъ,
Какъ нѣчто близкое, родное...

Въ другомъ стихотвореніи мы читаемъ:

И вотъ я снова прихожу
Къ тебѣ съ тоской моей безплодной,
Опять на сумракъ твой гляжу
И голосъ слушаю свободный.
И, можетъ быть, въ твоей глуши,
Какъ узникъ, волей оживленный,
Забуду скорбь моей души
И горечь жизни обыденной.

Изображеніе природы у Никитина исполнено необыкновенной простоты, глубоко прочувствовано, а въ лучшихъ своихъ произ-

ценіяхъ онъ достигаетъ удивительной художественной силы и разной поэтической красоты. Передъ нами одна за другой встаъ родныя картины лѣса, степи и т. д., ласково и любовно насованныя поэтомъ. Вотъ, напримѣръ, «Утро на берегу озера»:

Ясно утро. Тихо вѣетъ
  Теплый вѣтерокъ;
Лугъ, какъ бархатъ, зеленѣетъ;
  Въ заревѣ востокъ.
Окаймленное кустами
  Молодыхъ ракитъ,
Разноцвѣтными огнями
  Озеро блеститъ.
Тишинѣ и солнцу радо,
  По равнинѣ водъ
Лебедей ручное стадо
  Медленно плыветъ.
Вотъ одинъ взмахнулъ лѣниво
  Крыльями, — и вдругъ
Влага брызнула игриво
  Жемчугомъ вокругъ.

Но не долго можетъ поэтъ засматриваться на эту картину, читая стихотвореніе дальше, мы увидимъ, что «тишина» и гарнія въ его душѣ нарушены диссонансомъ человѣческой жизни: сторонѣ отъ мужиковъ, которые ловятъ въ озерѣ рыбу въ сопрокденіи веселыхъ и бойкихъ деревенскихъ ребятъ, боязливо прилась дѣвочка и «съ тайной завистью» смотритъ на нихъ изъ-за стовъ; наконецъ, любопытство ребенка превозмогаетъ, она прижается къ сѣтямъ съ пойманной рыбой, но грубый окрикъ анавливаетъ ее:

„Ты, подкидышъ, къ намъ откуда?
„Не зови — придетъ...
„Убирайся-ка отсюда!
Не пойдешь, — такъ вотъ!..“
И подкидыша мальчишка
Оттолкнулъ рукой...

Передъ нами цѣлая трагедія обиженной, страдающей дѣтской ши, а рядомъ съ нею мужицкая бѣднота, которая хотя и яется, можетъ быть, оправданіемъ грубаго отношенія къ одиноу ребенку —

Самъ я, знаешь, голь,
Тутъ подкидыша, безъ дѣла,
Одѣвать изволь—

ужасъ этой придавленной маленькой жизни не только не стувывается, но порой задѣваетъ нервы и самого ея невольнаго

притѣснителя, вызываетъ въ немъ жалость, смѣшанную съ досадой и горькимъ сознаніемъ своей собственной нужды:

„И дѣвчонка то больная:
Сохнетъ, какъ трава,
Да все плачетъ... дрянь такая!
А на грѣхъ жива!"
Мужички потолковали
И въ село пошли;
Вслѣдъ мальчишки побѣжали,
Рыбу понесли,

поэтъ же — зритель этой картины творческимъ проникновеніемъ сострадающей души увидѣлъ, какъ

... дѣвчонка провожала
Грустнымъ взглядомъ ихъ,
И слеза у ней дрожала
Въ глазкахъ голубыхъ.

Не разъ, вѣроятно, «слеза дрожала» въ глазахъ самого поэта, и много такихъ слезъ, выстраданныхъ въ одиночествѣ, найдемъ мы въ его поэзіи.

Переходъ отъ упоенія природой къ жуткому сумраку жизни совершался самъ собою въ силу его необыкновенной отзывчивости на страданіе. Чуткій къ этому страданію по натурѣ, еще болѣе чуткій благодаря тяжелымъ урокамъ жизни, онъ недолго можетъ любоваться красотой въ мірѣ и сейчасъ же переводитъ свой взглядъ туда, гдѣ кроется человѣческое горе. Параллель человѣка и природы дѣлаетъ контрастъ между ними еще чувствительнѣе, и если къ природѣ идетъ онъ искать отдыха, если въ минуты душевнаго успокоенія несетъ ей свою восторженную пѣснь, то людямъ отдаетъ онъ свою любовь, свои слезы и не пытается отойти отъ ихъ темной жизни, для того, чтобы навсегда погрузиться въ благоговѣйное созерцаніе мірового величія и красоты. И другихъ Никитинъ предостерегаетъ отъ забвенія въ прекрасномъ, заставляетъ ихъ оглядываться каждую минуту. Вотъ

Въ глубинѣ бездонной,
Полны чудныхъ силъ,
Идутъ милліоны
Вѣковыхъ свѣтилъ.
Тускло освѣщенный
Блѣдною луной
Городъ утомленный
Смолкъ во тьмѣ ночной.

Спитъ онъ, очарованъ
Чудной тишиной,
Будто заколдованъ
Властью неземной.

Въ этой картинѣ все зоветъ къ покою и отдыху:

Кажется, міръ сонный,
Полный сладкихъ грезъ,
Отдохнулъ спокойно
Отъ заботъ и слезъ;

о не можетъ отдохнуть и забыться поэтъ:

Но взгляни: вотъ домикъ
Освѣщенъ огнемъ;
На столѣ покойникъ
Ждетъ могилы въ немъ.
Онъ, бѣднякъ голодный,
Утѣшенья чуждъ
Кончилъ вѣкъ безплодный
Тайной жертвой нуждъ.
Дочери не спится,
Въ уголкѣ сидитъ...
И въ глазахъ мутится,
И въ ушахъ звенитъ.
Ночь минетъ,— быть можетъ,
Христа ради ей
Кто-нибудь поможетъ
Изъ чужихъ людей.
Можетъ быть, какъ нищей,
Ей на гробъ дадутъ,
Въ гробѣ на кладбище
Старика снесутъ...
И никто не знаетъ,
Что въ нѣмой тоскѣ
Сирота рыдаетъ
Въ тѣсномъ уголкѣ...

Никитинъ хорошо зналъ народное горе, перестрадалъ и въ своемъ ворчествѣ отразилъ «бѣдность голодную, грязью покрытую, бѣдность несмѣлую, бѣдность забытую» во всемъ ея ужасающемъ разнообразіи. У него и «упрямый отецъ», загубившій дочь насильственнымъ замужествомъ съ нелюбимымъ человѣкомъ, и «жена мщика», больная, сиротливо ожидающая съ сынишкой возвращенія мужа, вмѣсто котораго его товарищъ приноситъ ей послѣдній привѣтъ отъ умершаго и въ «грамоткѣ» завернутый крестъ — послѣднее благословеніе сыну отъ отца, и одинокая старуха, въ предсмертной тоскѣ горюющая о судьбѣ своихъ сиротъ, и крестьянинъ,

охваченный отчаяніемъ при видѣ груды пепла на мѣстѣ своей избы... Много, много картинъ одна другой тяжелѣе и безотраднѣе...

Религіозный по натурѣ, чувствующій «присутствіе непостижимой силы», которая «таинственно скрывается во всемъ», видящій «мысль и жизнь въ безмолвіи ночномъ»,

И въ блескѣ дня, и въ тишинѣ могилы,
Въ движеніи безчисленныхъ міровъ,
Въ торжественномъ покоѣ океана,
И въ сумракѣ задумчивыхъ лѣсовъ,
И въ ужасѣ степного урагана,
Въ дыханіи прохладномъ вѣтерка,
И въ шелестѣ листовъ передъ зарею,
И въ красотѣ пустыннаго цвѣтка,
И въ ручейкѣ, текущемъ подъ горою, —

поэтъ минутами начинаетъ колебаться въ своей вѣрѣ: «жизнь покрыта тайной: завѣса смертью спущена...» и онъ въ тоскѣ задаетъ вопросъ «царю природы», которому отведена «сажень земли между могилъ»:

Зачѣмъ страдалъ, зачѣмъ ты жилъ?

Послѣ тяжелаго томленія среди неприглядной дѣйствительности, послѣ невыносимыхъ мукъ въ заключительномъ синтезѣ — «вырыта заступомъ яма глубокая», «крѣпко закроется крышка сосновая, плотно сырою землею придавится — только однимъ человѣкомъ убавится»... Пусть «память о немъ никому не нужна», пусть «чуждый горя и заботъ, глядитъ безсмысленно народъ», но поэтъ не пройдетъ мимо и опять въ мучительномъ томленіи повторяетъ свой вопросъ: «Зачѣмъ ты жилъ, усопшій братъ?..»

Пора невинности счастливой,
Когда свой умъ, тревожный и пытливый,
Я примирялъ съ дѣйствительностью злой
Святыхъ молитвъ горячею слезой, —

эта пора для поэта миновала:

Теперь не то: сомнѣніемъ томимый,
Я потерялъ свой міръ невозмутимый,
Единую отраду бытія,
И жизнь моя не радуетъ меня...
Бываютъ дни, — измученный борьбою,
Въ тиши ночной, съ горячею мольбою
Склоняюсь я къ подножію креста;
Слова молитвъ твердятъ мои уста,
Но сердце тѣмъ словамъ не отвѣчаетъ,
И мысль моя, Богъ знаетъ, гдѣ блуждаетъ,
И сладкихъ слезъ давно минувшихъ лѣтъ
Ни на лицѣ, ни на глазахъ ужъ нѣтъ.

Прошлое миновало; отъ дѣтства, въ общемъ тягостнаго, остались лишь небольшіе обрывки свѣтлыхъ воспоминаній о няниныхъ сказкахъ, и теперь

На груди гора лежитъ,
День прожитый предъ тобою
Страшнымъ призракомъ стоитъ.

Причина этой перемѣны лежала не только въ личныхъ условіяхъ жизни поэта, но, главнымъ образомъ, въ безотрадности окружающей дѣйствительности:

Видишь зла и грязи море,
Племя жалкое невѣждъ,
Униженье, голодъ, горе,
Клочья нищенскихъ одеждъ,
Потъ на пашняхъ за сохами,
Потъ въ лѣсу за топоромъ,
Потъ на гумнахъ за цѣпами,
На дворѣ и за дворомъ.
Видишь горькія потери,
Слезы падшей красоты
И затворенныя двери
Для убитой нищеты...
И съ тоскою ждешь разсвѣта...
Давитъ голову свинецъ.
О, когда же горечь эта
Вся исчезнетъ, наконецъ?

Сострадающій не только угнетеннымъ, но и самимъ угнетателямъ, поскольку они являются жертвами мрака и невѣжества, сумѣвшій отыскать «искру Божію» даже въ вымогателѣ (самое крупное произведеніе Никитина «Кулакъ»), поэтъ все же не можетъ оставаться только сострадающимъ и изъ печальника горя народнаго обращается въ обличителя тѣхъ, кто закоснѣлъ въ своей неподвижности и не протягиваетъ руку помощи измученнымъ братьямъ:

Новой жизни зарѣ —
И тепло и свѣтло:
О добрѣ говоримъ
Негодуемъ на зло.
За родимый нашъ край
Наше сердце болитъ,
За прожитые дня
Мучитъ совѣсть и стыдъ.
Что̀ намъ цвѣсть не даетъ,
Держитъ ростъ молодой,
Такъ и бросилъ бы съ плечъ
Этотъ хламъ вѣковой!

Гдѣ жъ вы, слуги добра?
Выходите впередъ...
Подавайте примѣръ!
Поучайте народъ!
Нашъ разумный порывъ,
Нашу честную рѣчь
Надо въ кровь претворить,
Надо плотью облечь.
Какъ повѣрить словамъ —
По часамъ мы растемъ!
Закричатъ „помоги“ —
Черезъ пропасть шагнемъ!
Въ насъ душа горяча,
Наша воля крѣпка
И печаль за другихъ
Глубока, глубока!..
А приходитъ пора
Добрый подвигъ начать,
Такъ намъ жаль съ головы
Волосокъ потерять:
Тутъ раздумье и лѣнь,
Тутъ насъ робость возьметъ;
А слова... на словахъ
Соколиный полетъ!..

Въ своемъ негодованіи Никитинъ достигаетъ иногда удивительной силы, и за его словами чувствуется стойкая, честная совѣсть. Онъ болѣетъ душой за слабость тѣхъ, къ кому обращается съ призывнымъ кличемъ — «выходите впередъ!»

Убита совѣсть, умеръ стыдъ,
И ложь во тьмѣ царитъ свободно;
Никто позора не казнитъ,
Никто не плачетъ всенародно!
Межъ нами мучениковъ нѣтъ!...
На крикъ: „спасите!“ нѣтъ отвѣта,
Не выйдемъ мы на Божій свѣтъ:
Нашъ рабскій духъ боится свѣта!

Но какъ ни тяжелы минуты безотраднаго раздумья, какъ ни мучительна тоска Никитина, доходящая порой до безнадежнаго отчаянія, въ общемъ онъ не былъ пессимистомъ, и сквозь сумрак настоящаго ему видятся чуть замѣтные лучи приближающагося разсвѣта. Любовь къ народу вызывала и вѣру въ него, и эта вѣра въ человѣка-борца, завоевателя лучшаго будущаго минутами у него такъ сильна, такъ глубоко захватываетъ его, что изъ души поэта вырывается радостное восклицаніе:

И какъ то отрадно мнѣ думать,
Что я человѣкомъ рожденъ.

Свои надежды на достиженіе свѣтлой жизни Никитинъ возлагаетъ на молодое поколѣніе, призывая его разбудить того «богатыря», который «работаетъ ночью и днемъ», «спитъ въ лачужкѣ на грязной соломѣ»:

Крѣпче камня въ неясной истомѣ,
Крѣпче мѣди въ кровавой нуждѣ,
Пò-смерть зерна онъ въ землю бросаетъ,
Пò-смерть жнетъ, а нужда продаетъ;
О немъ облако слезы роняетъ,
Про тоску его буря поетъ.

Молодежи посвятилъ Никитинъ свое удивительное по прочувствованной силѣ стихотвореніе «Медленно движется время», въ которомъ вылилась вся глубина его страданій за народъ, годами накопившіяся въ душѣ муки. Этотъ завѣтъ, «юному племени» — одно изъ лучшихъ произведеній Никитина, какъ поэта, и въ то же самое въ немъ остается для насъ живой отпечатокъ его свѣтлой личности. Закаленный жизнью, онъ представлялъ изъ себя рѣдкій образецъ нравственной стойкости и силы. Окрѣпнувъ «подъ бурей искушеній», онъ не сворачивалъ съ дороги, и по мѣрѣ того, какъ развивался его умственный кругозоръ, онъ все шире и шире охватывалъ жизнь, отыскивая ту почву, на которую твердо сталъ на закатѣ своей литературной дѣятельности.

Послѣднія его стихотворенія зазвучали рѣзкими политическими нотками. Нѣкоторыя изъ нихъ были настолько сильны, что могли увидѣть свѣтъ только недавно.

Иванъ Сергѣевичъ ТУРГЕНЕВЪ.

Великій русскій писатель, Тургеневъ, первый сдѣлался писателемъ европейскимъ. На Западѣ ему посвящена цѣлая литература, которая дала много вѣрныхъ и тонкихъ характеристикъ; осязательны и слѣды его личнаго вліянія на западныя литературы. Надъ гробомъ И. С. знаменитый французскій философъ Ренанъ говорилъ: «мы не отпустимъ безъ прощальнаго слова этотъ гробъ, возвращающій отчизнѣ геніальнаго гостя, котораго мы знали и любили въ теченіе долгихъ лѣтъ. Тотъ, кто умѣетъ цѣнить произведенія ума, откроетъ вамъ тайну его чудныхъ твореній, очаровавшихъ наше поколѣніе. Тургеневъ былъ не только знаменитымъ писателемъ: онъ былъ и великимъ человѣкомъ... Честь и слава великой славянской расѣ,

появленіе которой на авансценѣ исторіи — есть самый поразите
ный феноменъ нашего вѣка; честь и слава ей, что она такъ ра
нашла выразителя въ такомъ несравненномъ художникѣ». Нѣмецк
историкъ литературы Шмидтъ писалъ о Тургеневѣ: «онъ ввелъ с
вершенно новый, чуждый элементъ въ европейскую литератур
отъ него ожидали объясненія той загадки, которая называет
Россіей». Еще знаменательнѣе отзывъ знаменитаго датскаго крити
Брандеса: «онъ открылъ намъ новый міръ, до того времени не
вѣстный, но его произведенія не нуждались въ этомъ побочно
интересѣ: Европа восхищается въ немъ художникомъ, а не просты
изобразителемъ нравовъ. Хотя онъ едва ли читался по-русски в
предѣловъ своего отечества, но критика всюду, даже въ странах
стоящихъ на самой высокой степени художественнаго развити
ставила его наряду съ лучшими своими писателями. Его чита
въ переводахъ, конечно, ослаблявшихъ и умалявшихъ его достои
ства... И все же онъ одержалъ побѣду на литературной аренѣ Европ
хотя явился на нее съ притупленнымъ мечомъ». Отъ имени французо
знаменитый критикъ, лучшій знатокъ русской литературы во Фра
ціи и тонкій ея цѣнитель, графъ Мельхіоръ де-Вогюэ говорил
«мы приняли Тургенева и сроднились съ нимъ, какъ будто онъ пр
надлежалъ къ нашей семьѣ; ни одного иностранца не читали та
усердно въ Парижѣ, ни однимъ не упивались такъ, какъ Турге
вымъ... Такъ и хочется примѣнить къ самому Тургеневу то, что о
сказалъ въ другомъ мѣстѣ объ одномъ изъ своихъ героевъ: онъ «вл
дѣлъ едва ли не высшей тайной — музыкой краснорѣчія; онъ умѣл
ударяя по однѣмъ струнамъ сердецъ, заставлять смутно звенѣ
и дрожать всѣ другія».

Вездѣ за границей Тургеневъ вызывалъ общее вниманіе — и ка
писатель, и какъ личность; какъ мыслитель и собесѣдникъ. Рѣдк
соединеніе громаднаго художественнаго дарованія, тонкаго, широ
захватывающаго скептическаго ума, окрашеннаго мягкою славянск
грустью, разносторонняго образованія, онъ всѣхъ захватыва
обаятельной многогранностью своей души, добротой, свѣтлымъ ю
ромъ, своимъ живымъ поэтическимъ разсказомъ, своимъ глубоки
философскимъ анализомъ; первоклассные умы и таланты Запада пр
клонялись передъ его исключительною одаренностью, черезъ не
и благодаря ему научились цѣнить и любить «великую славянску
расу», выдвинувшую его къ центрамъ общечеловѣческой культур

Глубина и гармоничность ума, тонкость и изящество мыс
связаны у него съ органическимъ стремленіемъ къ внутренней св
бодѣ, при врожденной и вызванной воспитаніемъ слабости вол

Въ себѣ самомъ онъ воплощалъ многія черты своего идеала писателя — чуткаго къ вѣяніямъ жизни, правдиваго, свободнаго. Отъ художника онъ требовалъ, для «схватыванія», «уловленія» жизни, не только таланта, но и «постояннаго общенія съ средою, которую берется воспроизводить», «неумолимой правдивости въ отношеніи къ собственнымъ ощущеніямъ», образованности, знанія, «полной свободы воззрѣній и понятій». «Ничто такъ не освобождаетъ человѣка, какъ знаніе, — и нигдѣ такъ свобода не нужна, какъ въ дѣлѣ художества, поэзіи... Можетъ ли человѣкъ «схватывать», «уловлять» то, что его окружаетъ, если онъ связанъ внутри себя?... Нѣтъ! безъ образованія, безъ свободы въ обширнѣйшемъ смыслѣ — въ отношеніи къ самому себѣ, къ своимъ предвзятымъ идеямъ и системамъ, даже къ своему народу, къ своей исторіи, — немыслимъ истинный художникъ; безъ этого воздуха дышать нельзя».

Одной знакомой онъ писалъ въ 1875 году: «скажу вкратцѣ, что я преимущественно реалистъ и болѣе всего интересуюсь живою правдою человѣческой физіономіи; ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни въ какіе абсолюты и системы не вѣрю, люблю больше всего свободу и, сколько могу судить, — доступенъ поэзіи. Все человѣческое мнѣ дорого, славянофильство чуждо, такъ же какъ и всякая ортодоксія».

Съ внутренней свободой Тургенева тѣсно связанъ преобладающій объективный складъ его творчества. Въ силу «ритма контрастовъ» онъ, разоблачая и развѣнчивая слабоволіе, разъѣдающую рефлексію, губительный самоанализъ родственныхъ ему натуръ, любитъ изображать психологію сильной воли, захватывающей страсти, самоотверженнаго подвига; къ людямъ типа Базарова, Соломина, Маріанны онъ питаетъ «влеченье, родъ недуга». Въ 1876 году онъ писалъ одному беллетристу: «если васъ изученіе человѣческой физіономіи, чужой жизни интересуетъ больше, чѣмъ изложеніе собственныхъ чувствъ и мыслей; если, напр., вамъ пріятнѣе вѣрно и точно передать наружный видъ не только человѣка, но простой вещи, чѣмъ красиво и горячо высказать то, что вы ощущаете при видѣ этой вещи или этого человѣка, значитъ, вы объективный писатель и можете взяться за повѣсть или романъ». Тургеневъ и былъ такимъ «объективнымъ писателемъ» по преимуществу. Онъ всегда опирался на живыя и точныя наблюденія надъ дѣйствительностью и по поводу «Отцовъ и дѣтей», напр., говорилъ: «я долженъ сознаться, что никогда не покушался «создавать образъ», если не имѣлъ исходною точкою не идею, а живое лицо, къ которому постепенно примѣшивались и прикладывались подходящіе элементы. Не обладая большой долей свободной изобрѣ-

тательности, я всегда нуждался въ данной почвѣ, по которой я могъ бы твердо ступать ногами». Объясняя ослабленіе своей литературной дѣятельности продолжительной жизнью за границей, онъ писалъ: «талантъ, отпущенный мнѣ природой, не умалился, но мнѣ нечего съ нимъ дѣлать. Голосъ остался, да пѣть нечего. А пѣть нечего потому, что я живу внѣ Россіи». Но и до этого творчество его развернуло широкую картину русской жизни съ конца XVIII вѣка и до 70-хъ годовъ XIX вѣка, жизнь деревень и «дворянскихъ гнѣздъ», идеалистическихъ кружковъ, подпольныхъ организацій, петербургскихъ сановниковъ, русскихъ туристовъ за границей. Какъ чуткій «ловецъ моментовъ», онъ тонко схватывалъ всѣ смѣны общественныхъ настроеній нашихъ, и его романы — богатый матеріалъ для исторіи нашей общественной мысли почти за цѣлое столѣтіе.

Пѣвецъ русской природы, пѣвецъ русской женщины, Тургеневъ въ ихъ изображеніе вкладывалъ особенно много любви и гармоническаго изящества своего таланта. Эта сторона его творчества, синтезъ жизни природы и человѣка, высота женской души, давно уже нашла себѣ надлежащую оцѣнку у западныхъ критиковъ. Вогюэ даетъ такую характеристику «Записокъ Охотника»: «у Тургенева нѣтъ ни ликованій, ни энтузіазма; у него преобладаетъ нота менѣе рѣзкая, чувство болѣе скрытое, люди и ландшафты освѣщены блѣднымъ вечернимъ свѣтомъ, представлены сквозь идеальную дымку, впрочемъ, очерчены отчетливо и словно сосредоточены въ зрачкѣ неутомимаго наблюдателя... Фраза Тургенева течетъ медленно, съ плавной нѣгой, какъ воды великихъ русскихъ рѣкъ въ лѣсахъ, замедляющіяся въ тростникахъ, усѣянныя пловучими цвѣтами, усѣянными по пути гнѣздами, полныя благоуханій, отражающія въ себѣ миражи небесъ и ландшафтовъ и внезапно снова теряющіяся въ тѣнистыхъ чащахъ; такъ и рѣчь его: она останавливается на пути и все захватываетъ съ собою — и жужжаніе пчелы, и крикъ ночной птицы, и тихое, замирающее дуновеніе вѣтерка. Она передаетъ самые мимолетные звуки великой гармоніи природы, передаетъ ихъ съ безконечно разнообразными оттѣнками, гибкими эпитетами, словами, связанными между собою по прихоти поэта, народными звукоподражаніями... Мы ясно слышимъ пѣсню земли и шопотъ нѣсколькихъ бѣдныхъ душъ; писатель перенесъ насъ въ самое сердце своей родной земли, онъ оставляетъ насъ наединѣ съ нею, самъ онъ какъ будто исчезаетъ». Шмидтъ выдвигаетъ любовь, какъ главное содержаніе романовъ и повѣстей Тургенева. «Я знаю немногихъ писателей, которые такъ нѣжно, и вмѣстѣ съ тѣмъ съ такой глубиной и силой, передавали движенія сердца. Если сущность любви одина-

ва повсюду, тѣмъ не менѣе русская любовь, въ томъ видѣ, какъ исалъ ее Тургеневъ, имѣетъ нѣчто своеобразное. Почти вездѣ у ргенева въ любви инициатива принадлежитъ женщинѣ; ея воля ьнѣе, ея кровь горячѣе, ея чувства искреннѣе, преданнѣе, нежели образованныхъ молодыхъ людей, у которыхъ врожденная рѣшительность ослабляется философскими размышленіями. Русская женна всегда ищетъ героевъ; когда ея фантазія возбуждена любопытомъ и показываетъ ей воображаемаго героя, она повелительно буетъ подчиненія силѣ страсти. Сама она чувствуетъ себя готовой жертвѣ и требуетъ ея отъ другого; когда ея иллюзія насчетъ героя езаетъ, ей не остается ничего иного, какъ быть героиней, страдать, йствовать. Герои Тургенева, по своей мускульной слабости и поности судьбѣ, отличаются нѣкоторымъ однообразіемъ; но зато кой писатель располагаетъ такимъ богатымъ сокровищемъ интесныхъ, обаятельныхъ женскихъ типовъ?».

Любовь къ Россіи, къ человѣчеству, къ природѣ и жизни прокнута у Тургенева грустью, иногда скорбью, переходящею въ безосвѣтный песимизмъ. Основаній для этого у него было болѣе мъ достаточно. Ужасное дѣтство, тяжелая юность, отравляющія ечатлѣнія самой мрачной эпохи нашей жизни, холодъ одиночества— зъ семьи и собственнаго угла, стихійная боязнь смерти, фактъ избѣжности которой никакъ не могъ найти себѣ мѣста въ міроззрѣніи Тургенева, «дымъ» реформъ и пробужденія русскаго щества — все это могло нарушить равновѣсіе и болѣе устойчивой ши. Между тѣмъ самый складъ Тургеневскаго ума, скептическаго, вѣрившаго въ прогрессъ и эволюцію, мало доступнаго иллюзіямъ, зваго и яснаго, неумолимо влекъ его къ скорбному взгляду на изнь, а душа, впечатлительная и слишкомъ мягкая, чуждая закала, шкомъ охотно шла навстрѣчу его безотраднымъ выводамъ. Бранесъ говоритъ: «основной тонъ Тургенева богатъ и своеобразенъ змъ, что онъ въ одно и то же время и пессимистъ, и другъ человѣчества, что онъ искренно любилъ родъ человѣческій, о которомъ мѣетъ такое низкое мнѣніе и которому такъ мало довѣряетъ. Онъ убоко убѣжденъ, что въ Россіи все какъ то идетъ вкривь и вкось; никакая любовная исторія не кажется ему чисто русской, если она е имѣетъ несчастнаго исхода, благодаря непостоянству мужчины ли безсердечію женщины, никакое стремленіе не является въ его лазахъ чисто русскимъ, если оно не превышаетъ силъ людей, предринявшихъ его, или не погибаетъ, встрѣтивъ равнодушіе тѣхъ, ади кого оно предпринято; но все же онъ не можетъ удержаться, тобы снова и снова не описывать непрочную русскую любовь и

безплодныя русскія стремленія. Въ его глазахъ современная Рос сія — это страна, гдѣ все не удается, страна всеобщихъ крушеніі И основное его чувство — это скорбное волненіе, смѣшанное чувст зрителя при видѣ кораблекрушенія, въ которомъ виноваты сами по терпѣвшіе. Это сильное, затаенное чувство, постоянно сдерживаем при каждомъ его порывѣ». Французскому романисту Гонкуру Ту геневъ самъ говорилъ: «вы знаете, какъ иногда комната бывае пропитана запахомъ мускуса, и этотъ запахъ ничѣмъ не уничтожиш Точно такъ же я всегда чувствую вокругъ себя запахъ тлѣнія, вѣя смерти и разрушенія».

Пессимизмъ Тургенева отчасти связанъ съ его западничество Самъ великій писатель говорилъ: «я бросился внизъ головою въ «н мецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и ко я, наконецъ, вынырнулъ изъ его волнъ, — я все-таки очутил «западникомъ», и остался имъ навсегда». Преклоненіе передъ з падной, общечеловѣческой культурой соединяется у не съ «отрицательнымъ патріотизмомъ», съ болѣзненнымъ скептиц момъ по отношенію къ русской дѣйствительности, исторіи, народ его будущему.

Въ разгаръ грозившихъ крупными непріятностями травли доносовъ реакціонной печати Тургеневъ назвалъ себя «постепеновцемъ, либераломъ стараго покроя въ англійскомъ, ди стическомъ смыслѣ, человѣкомъ, ожидающимъ реформъ только свыше, принципіальнымъ противникомъ революціи, не гово уже о безобразіяхъ послѣдняго времени». Далеко не все въ эт вынужденной аутохарактеристикѣ можно принять безусловно. Е онъ не примкнулъ къ «дѣтямъ», которыя искали болѣе крайни путей, то не могъ и пойти объ-руку со своими сверстниками — «отцами», настоящими «постепеновцами»; вѣры въ реформы вооб и «реформы свыше» въ частности у него всегда вообще было ма Политическіе интересы никогда не облекались у него въ опредѣле ную программу; для соціальныхъ и революціонныхъ утопій о былъ слишкомъ трезвъ и эстетически-индивидуалистиченъ. О искренно хочетъ обновленія русской жизни, въ отдѣльные момен ищетъ для него точекъ опоры въ дѣятельности Герцена, нѣкоторы русскихъ крайнихъ группъ, но быстро разочаровывается въ и жизнеспособности и правоспособности, и въ концѣ приходитъ къ по ному и безотрадному отрицанію[1]). Подъ «постепеновство» и «а лійскій либерализмъ» все это подходитъ очень мало.

[1]) Оно мелькаетъ у него и раньше. Еще въ 1849 году Тургеневъ говорил томъ, что не вѣритъ „въ принципы 89 года, всеобщее братство, прогрессъ“ и пиш

Эти особенности личности и міровоззрѣнія Тургенева находятся непосредственной связи съ его жизнью и въ значительной степени едѣляютъ самый характеръ его творчества.

Тургеневы — очень распространенная въ старыя времена дворян-я фамилія, развѣтвленія двухъ разныхъ родовъ, къ одному изъ орыхъ принадлежалъ извѣстный масонъ И. П. Тургеневъ, сыграв-: такую крупную роль въ біографіи Карамзина, къ другому — С. Предки писателя — въ отдаленныхъ степеняхъ татарскаго про-ожденія. Мурза Левъ Тургеневъ, получившій при крещеніи имя ина, принялъ русское подданство въ половинѣ XV вѣка и быстро ися съ русскимъ дворянствомъ. Тургеневы принадлежали къ мо-вскимъ служилымъ людямъ; боярство имъ не давалось. И позднѣе : крупной исторической роли не играли; если чѣмъ и отличались, развѣ «честностью и неустрашимостью», по семейнымъ преданіямъ. было у нихъ и особенныхъ средствъ. Одинъ изъ предковъ И. С. тра-ески погибъ во время Разинскаго бунта, что придаетъ особый ъективный смыслъ 16-й главѣ «Призраковъ», изображающей иновщину.

Отецъ писателя, Сергѣй Николаевичъ, служилъ въ кавалеріи, служился до чина полковника и рано вышелъ въ отставку. И. С. изоб-каетъ его въ «Первой любви», основанной, по собственнымъ при-ніямъ автора, «на дѣйствительномъ происшествіи, безъ малѣйшей икраски»; называлъ онъ его, за любовныя похожденія, «великимъ зцомъ передъ Господомъ». Жизненная мудрость Сергѣя Николае-ча сводилась къ двумъ положеніямъ: «самъ бери, что можешь, въ руки не давайся; самому себѣ принадлежать — въ этомъ вся ука жизни»; «умѣй хотѣть — и будешь свободнымъ, и командо-ть будешь». Красавецъ, избалованный побѣдами, самоудовлетво-нный эгоистъ, онъ умѣлъ держать въ повиновеніи даже мать И. С., горая дѣлала все, чтобы не оттолкнуть его отъ себя, подавляла и немъ припадки ревности и жестокости. Грубыхъ проявленій Н. не любилъ потому, что они казались ему некрасивыми. Онъ лодно и вѣжливо отмалчивался отъ подозрѣніи жены, во-время ѣлъ ей и пригрозить. Женился онъ по разсчету, въ виду запутан-сти своихъ дѣлъ, на некрасивой и немолодой уже дѣвушкѣ и ставилъ ее цѣнить то, что снизошелъ до нея. Къ дѣтямъ С. Н. от-сился довольно безразлично, не позволялъ только при себѣ ихъ чить. Его портретъ произвелъ на одного изъ друзей И. С. такое впе-

то сказалъ, что человѣку суждено быть свободнымъ? Исторія доказываетъ намъ отивное". Навѣяно это было разочарованіями 1848 года, но позднѣе И. С. еще лѣе укрѣпляется въ своихъ пессимистическихъ взглядахъ.

чатлѣніе: «онъ глядитъ еще юношей лѣтъ 25, хорошъ собой, и — странно — несмотря на удивительные темные глаза, смѣлые и мужественные, такъ и кажется, что это не мужчина, а дама или даже камелія, наряженная въ бѣлый конно-гвардейскій мундиръ и въ галстукѣ, который безъ всякаго узелка или бантика обматываетъ ей бѣлую лебединую шею, и такъ высоко, что слегка подпираетъ ей подбородокъ. Взглядъ какой то русалочный — свѣтлый и загадочный, чувственныя губы и едва замѣтная усмѣшка».

Мать И. С., Варвара Петровна, принадлежала къ дворянскому роду Лутовиновыхъ, достовѣрныя преданія котораго восходятъ только къ началу XVIII вѣка. Эти преданія полны всевозможныхъ ужасовъ, давшихъ Тургеневу краски для особенно мрачныхъ страницъ «Одного дворца Овсянникова», «Бригадира» и «Трехъ портретовъ»; привидѣніе «Бѣжина луга» — тоже одинъ изъ Лутовиновыхъ. Одному изъ своихъ западныхъ друзей И. С. такъ разсказывалъ про свою бабушку: «старая, вспыльчивая барыня, пораженная параличомъ и почти неподвижно сидѣвшая въ креслѣ, разсердившись однажды на казачка, который ей услуживалъ, за какой то недосмотръ, въ порывѣ гнѣва, схватила полѣно и ударила мальчика по головѣ так сильно, что онъ упалъ безъ чувствъ. Это зрѣлище произвело на нее непріятное впечатлѣніе; она нагнулась и приподняла его на свое широкое кресло, положила ему большую подушку на окровавленную голову, — я теперь еще помню то неподдѣльное выраженіе, которое Тургеневъ употребилъ при этомъ разсказѣ, — и с ѣ в ш и н а н е г о з а д у ш и л а е г о. Само собою разумѣется, эта величественная барыня ничѣмъ за это не поплатилась».

Варварѣ Петровнѣ пришлось слагаться въ удушающей обстановкѣ самодурства и нравственной распущенности. Мать ее ненавидѣла и истязала, гнусный отчимъ билъ и преслѣдовалъ. Отъ семейнаго ада бѣдная дѣвушка убѣжала къ дядѣ, съ памятью о которомъ было связано потомъ много мрачныхъ легендъ. Безгранично властолюбивая, сильная духомъ, страстная и озлобленная натура, она жаждала жизни, свободы и любви. Характеръ ея былъ въ корень испорченъ. Его худшія стороны разыгрались тогда, когда она, со смертью своихъ мучителей, сдѣлалась свободной и богатой, полной властной помѣщицей надъ многочисленными крѣпостными душами. Въ бракѣ нашла она мало счастья и вымещала на всѣхъ окружающихъ, кромѣ мужа, свое озлобленіе. Со смертью его исчезла послѣдняя сдержка для нея. Черты матери въ замужествѣ Тургеневъ дает въ «Первой любви»; «Пунинъ и Бабуринъ», «Муму», «Степной король Лиръ», «Собственная господская контора» и «Контора» рисуют

ее вдовой, ярко изображаютъ все ея безсердечіе, жестокость, привередливость, мучительскую изобрѣтательность. Ея любимое выраженіе — въ «своихъ подданныхъ я властна и никому за нихъ не отвѣчаю». Она окружала себя подобострастными приживалками, прислушивалась къ ихъ сплетнямъ и доносамъ, насильничала и прикидывалась по временамъ «загнанной сиротливой страдалицей». Для дѣтей французскій языкъ былъ обязателенъ — они должны были даже православныя молитвы усваивать въ иноземной формѣ...

Иванъ Сергѣевичъ родился 28 октября 1818 года въ Орлѣ. По природѣ онъ былъ ласковый, впечатлительный ребенокъ, жаждавшій любви и ласки, съ открытымъ, честнымъ характеромъ. У него былъ органическій недостатокъ — черепъ его очень долго не зарасталъ, что вызывало повышенную нервность. Несмотря на это, его постоянно истязали. По-своему, мать любила его, но это было тѣмъ большимъ несчастьемъ: Варвара Петровна особенно охотно мучила тѣхъ, кто былъ ей ближе. Мальчика наказывали за все — за пустяковые проступки, по ложнымъ доносамъ приживалокъ, за незнаніе мнимой вины, за излишнюю откровенность, за дѣтскую живость. Позднѣе И. С. вспоминалъ: «драли меня за всякіе пустяки чуть не каждый день». Онъ вздумалъ даже однажды бѣжать изъ дому, куда глаза глядятъ, и только вмѣшательство гувернера предохранило его отъ этого. У Тургенева перебывало много гувернеровъ-иностранцевъ, но только одинъ изъ нихъ, сантиментальный нѣмецъ, оказалъ на него сколько-нибудь замѣтное вліяніе, познакомивъ его съ Шиллеромъ и нѣмецкой литературой. Съ русской литературой его познакомилъ дворовый — «Пунинъ» извѣстнаго разсказа.

Домашняя обстановка вызвала въ Тургеневѣ органическую ненависть къ насилію и произволу. Къ этой ненависти, къ орловской природѣ и орловской крестьянской жизни сведется впослѣдствіи главное содержаніе «Записокъ Охотника». И. С. пишетъ въ 1868 году: «почти все, что я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія — отвращенія, наконецъ... Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ; для этого у меня, вѣроятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага за тѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ — крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшилъ бороться до конца, съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва; и не я одинъ далъ ее себѣ тогда.

Я и на Западъ ушелъ для того, чтобы лучше ее исполнить. И я не думаю, чтобы мое западничество лишило меня всякаго сочувствія къ русской жизни, всякаго пониманія ея особенностей и нуждъ. «Записки Охотника», эти, въ свое время, новые, впослѣдствіи далеко опереженные этюды, были написаны мною за границей; нѣкоторые изъ нихъ — въ тяжелыя минуты раздумья о томъ, вернуться ли мнѣ на родину, или нѣтъ».

Въ 1827 году семья Тургеневыхъ переѣхала въ Москву. И. С. отдали въ нѣмецкій пансіонъ, затѣмъ въ Лазаревскій институтъ. Съ товарищами онъ не сходился. Съ жестокою находчивостью школьниковъ они скоро узнали наиболѣе уязвимое мѣсто новичка и мучили его надавливаніемъ на не зараставшее все темя. Полонскому Тургеневъ жаловался на этотъ свой недостатокъ, уже будучи знаменитымъ писателемъ: «какой ждать отъ меня силы воли, когда до сихъ поръ даже черепъ мой сростись не могъ!»

Этотъ періодъ оставилъ одно только свѣтлое воспоминаніе — увлеченіе «Юріемъ Милославскимъ» Загоскина. Его дѣтскій идеализмъ, вѣроятно, отразился въ картинкѣ пансіонской романтической дружбы въ «Яковѣ Пасынковѣ».

Независимо отъ пансіонскаго курса, Тургенева готовили къ университетскому экзамену и на дому. Особенно хорошее впечатлѣніе осталось у него отъ одного изъ учителей, Клющникова, довольно талантливаго поэта, члена московскихъ идеалистическихъ кружковъ. Черезъ него И. С. могъ до извѣстной степени познакомиться съ ихъ нравственной атмосферой.

Въ Московскомъ университетѣ онъ пробылъ всего одинъ годъ и, повидимому, почти ничего изъ него не вынесъ. Былъ онъ одновременно со Станкевичемъ, котораго и изобразилъ въ «студентѣ-поэтѣ» «Несчастной».

Старшій братъ его опредѣлился въ полкъ въ Петербургѣ, и мать перевела И. С. въ Петербургскій университетъ, который не блисталъ тогда научными силами. Извѣстное вліяніе на будущаго писателя могъ оказать только Плетневъ своей мягкой, гуманной личностью, своими воспоминаніями о дружбѣ съ Пушкинымъ и Жуковскимъ, своимъ «Современникомъ», который онъ тогда издавалъ. Плетневъ пріохочивалъ студентовъ къ литературнымъ занятіямъ. Ему на судъ представилъ Тургеневъ свою первую ультра-романтическую, фантастическую драму «Стеніо», которую благодушный профессоръ разобралъ по косточкамъ, заявивъ все-таки, что въ авторѣ «что то есть». Черезъ свою семью И. С. познакомился съ Сербиновичемъ, редакторомъ «Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія», и

по его просьбѣ въ 1836 году написалъ рецензію на книгу Муравьева «Путешествіе ко святымъ мѣстамъ русскимъ». Это былъ первый его печатный трудъ. Черезъ два года Плетневъ напечаталъ два его стихотворенія, отъ которыхъ И. С. потомъ всячески открещивался.

Помимо университетскихъ занятій Тургеневъ усердно изучалъ древніе языки и мечталъ о профессурѣ, о поѣздкѣ съ научными цѣлями за границу. Въ своихъ «Воспоминаніяхъ» онъ говоритъ: «я былъ убѣжденъ, что въ Россіи возможно только набраться нѣкоторыхъ приготовительныхъ свѣдѣній, но что источникъ настоящаго знанія находится за границей. Изъ числа тогдашнихъ преподавателей С.-Петербургскаго университета не было ни одного, который бы могъ поколебать во мнѣ это убѣжденіе». И онъ отправился въ Берлинъ, гдѣ занимался древними языками, исторіей, философіей, особенно гремѣвшимъ тогда Гегелемъ. Анненковъ о культѣ Гегеля въ тѣ времена выразился очень мѣтко: «мы, да и всѣ его послѣдователи, изучали его, какъ новаго Мессію, и кланялись ему, какъ буряты своимъ фетишамъ».

Въ поискахъ философской истины въ Берлинъ тогда съѣхалось (въ 1838—1840 гг.) много русской молодежи. Среди нея были Станкевичъ, Грановскій, Бакунинъ. Философскія увлеченія не мѣшали ей вспоминать о своей далекой, обездоленной родинѣ. Однажды Станкевичъ обратился къ друзьямъ съ такими словами: «масса русскаго народа остается въ крѣпостной зависимости и потому не можетъ пользоваться не только государственными, но и общечеловѣческими правами. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что рано или поздно правительство сниметъ съ народа это ярмо, но и тогда народъ не можетъ принять участія въ управленіи общественными дѣлами, потому что для этого требуется извѣстная степень умственнаго развитія, и потому прежде всего надлежитъ желать избавленія народа отъ крѣпостной зависимости и распространенія въ средѣ его умственнаго развитія. Послѣдняя мѣра сама собою вызоветъ и первую, а потому, кто любитъ Россію, тотъ прежде всего долженъ желать распространенія въ ней образованія». И пылкій идеалистъ взялъ съ товарищей торжественное обѣщаніе, что они всю свою жизнь посвятятъ этой великой цѣли. Смерть его (въ 1840 году) была для всего кружка страшнымъ ударомъ. Какъ высоко его цѣнилъ Тургеневъ, какую роль сыгралъ онъ въ нравственномъ воспитаніи своего молодого друга, можно видѣть изъ слѣдующихъ словъ И. С.: «кто изъ нашего поколѣнія можетъ замѣнить нашу потерю? кто достойный приметъ отъ умершаго завѣщаніе его великихъ мыслей и не дастъ погибнуть его вліянію, будетъ идти по его дорогѣ, въ его духѣ,

съ его силой?... Отчего не умереть другому, тысячѣ другихъ, мнѣ, напримѣръ? Когда же придетъ то время, что болѣе развитый духъ будетъ непремѣннымъ условіемъ высшаго развитія тѣла?...» До конца своихъ дней Тургеневъ считалъ дружбу со Станкевичемъ лучшимъ воспоминаніемъ своей жизни, «свѣтлымъ прошлымъ».

Берлинъ сдѣлалъ изъ Тургенева убѣжденнаго западника. Европейская цивилизація, свободное развитіе личности и общества навсегда стали для него основными идеалами жизни.

1841 и 1842 годы Тургеневъ съ матерью проводитъ то въ Спасскомъ, родовомъ имѣніи Лутовиновыхъ, то въ Москвѣ. Здѣсь онъ попалъ въ атмосферу усиленнаго идейнаго броженія — разграниченія славянофильства и западничества, въ постоянныхъ треніяхъ съ оригинальнымъ ученіемъ Чаадаева. Его часто можно было видѣть въ тогдашнихъ московскихъ салонахъ (Елагиной, матери Кирѣевскихъ, Свербеевыхъ и др.), въ которыхъ, по словамъ Герцена, «нѣкогда царилъ А. С. Пушкинъ, гдѣ до насъ декабристы давали тонъ, гдѣ смѣялся Грибоѣдовъ, гдѣ М. Ѳ. Орловъ и А. П. Ермоловъ встрѣчали дружескій привѣтъ, потому что они были въ опалѣ; гдѣ, наконецъ, А. С. Хомяковъ спорилъ до четырехъ часовъ утра, начавши въ девять; гдѣ К. Аксаковъ съ мурмолкой въ рукѣ свирѣпствовалъ за Москву, на которую никто не нападалъ, и никогда не бралъ въ руки бокала шампанскаго, чтобъ не сотворить тайно моленіе и тостъ, который всѣ знали; гдѣ Рѣдкинъ выводилъ логически личнаго Бога, ad majorem gloriam Hegelij [1]), гдѣ Грановскій являлся съ своей тихой, но твердой рѣчью, гдѣ всѣ помнили Бакунина и Станкевича, гдѣ Чаадаевъ, тщательно одѣтый, съ нѣжнымъ, какъ изъ воска лицомъ, сердилъ оторопѣвшихъ аристократовъ и православныхъ славянъ колкими замѣчаніями, всегда отлитыми въ оригинальную форму и намѣренно замороженными; гдѣ молодой старикъ А. И. Тургеневъ мило сплетничалъ обо всѣхъ знаменитостяхъ Европы, отъ Шатобріана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгагенъ; гдѣ Боткинъ и Крюковъ пантеистически наслаждались разсказами М. С. Щепкина, и куда, наконецъ, иногда падалъ, какъ конгревова ракета, Бѣлинскій, выжигая кругомъ все, что попадало».

Тургеневъ занялъ видное мѣсто среди западниковъ. За границей онъ внимательно изучалъ «философію откровенія» Шеллинга, но это не сблизило его со славянофилами: его больше тянуло къ лѣвому гегеліанству.

Онъ думаетъ сдавать магистрскій экзаменъ по философіи при Московскомъ университетѣ, но попечитель, въ виду отсутствія особой

[1]) Для вящшей славы Гегеля.

каѳедры философіи, счелъ это неудобнымъ, и И. С. пришлось примириться съ фактомъ. Еслибы попытка и удалась, врядъ ли онъ могъ бы спеціализироваться на философіи. Позднѣе Тургеневъ вспоминалъ объ этомъ моментѣ такъ: «мы еще вѣрили тогда въ дѣйствительность и важность философическихъ и метафизическихъ выводовъ, хотя мы нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто на нѣмецкій манеръ... Впрочемъ, мы тогда въ философіи искали всего на свѣтѣ, кромѣ чистаго мышленія».

Въ кругу западниковъ онъ не замыкается, охотно сходится съ людьми самыхъ разнообразныхъ направленій. Въ немъ не было исключительности, нетерпимости, многихъ онъ поражалъ свободой и широтой пониманія. Его другъ и біографъ Анненковъ приписываетъ этому періоду большое значеніе въ личномъ развитіи Тургенева: «изъ близкихъ и дружелюбныхъ сношеній съ разнородными слоями общества, не исключая и тѣхъ, которые стояли у нашихъ круговъ на index, считались слоями отверженными и недостойными вниманія, возникла у Тургенева та, смѣю выразиться, нужда справедливости по отношенію къ людямъ и — какъ необходимая ея окраска — то благорасположеніе къ нимъ, которыя составили ему другую и уже болѣе вѣрную репутацію — чрезвычайно симпатическаго, доброжелательнаго и много понимающаго человѣка въ нашемъ русскомъ мірѣ». Тургеневъ тонко разбирался въ отрицательныхъ и положительныхъ сторонахъ московской кружковщины. Первыя нашли себѣ яркое выраженіе въ «Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда» и отчасти въ «Рудинѣ», вторыя — въ чудной картинѣ споровъ Лаврецкаго и Михалевича («Дворянское гнѣздо»), разсказахъ Каратаева о Мочаловѣ и позднѣйшихъ словахъ Лежнева о Рудинѣ. Разсказы И. С. о Москвѣ доставляли Бѣлинскому искреннее наслажденіе: «въ немъ есть злость, и желчь, и юморъ, онъ глубоко понимаетъ Москву и такъ воспроизводитъ ее, что я пьянѣю отъ наслажденія».

Въ 1842 году И. С. переѣзжаетъ въ Петербургъ на службу ,которой требовала отъ него мать. Съ нею у И. С. отношенія все болѣе и болѣе обострялись. Столкновенія происходили изъ-за крѣпостныхъ. Недовольство сына она объясняла наговорами дворовыхъ и на нихъ вымещала свой гнѣвъ. Когда другой сынъ, Николай, женился противъ ея воли на бѣдной дѣвушкѣ, она совсѣмъ перестала давать ему деньги. Къ тому же средству прибѣгала она и по отношенію къ И. С., который раздражалъ ее не только защитою крѣпостныхъ, но и своимъ «недворянскимъ поведеніемъ». Къ литературнымъ занятіямъ И. С. она относилась съ полнымъ презрѣніемъ и говорила: «писатель и писецъ

одно и то же. И тотъ и другой за деньги бумагу мараютъ... Дворянинъ долженъ служить и составить себѣ карьеру и имя службой, а не бумагомараніемъ... Опредѣлился бы ты на настоящую службу, получалъ бы чины, а потомъ и женился бы; вѣдь ты теперь одинъ можешь поддержать родъ Тургеневыхъ!...» И. С. опредѣлился въ канцелярію Министерства внутреннихъ дѣлъ, подъ начальство Даля, извѣстнаго тогда писателя, автора разсказовъ изъ народнаго быта и собирателя этнографическихъ матеріаловъ. При хорошихъ личныхъ отношеніяхъ служба все-таки не давалась Тургеневу, и онъ скоро долженъ былъ выйти въ отставку: Даль требовалъ отъ него строгаго исполненія обязанностей, къ выполненію которыхъ у его молодого подчиненнаго совсѣмъ не было призванія.

Покончивъ со службой, И. С. всецѣло отдается литературѣ. Помимо органическаго влеченія въ эту сторону его толкали и дружескія связи съ Бѣлинскимъ и Герценомъ, и прямая необходимость. Мать почти ничего ему не давала, и приходилось искать заработковъ. Въ глазахъ друзей и знакомыхъ Тургеневъ по-прежнему былъ богатымъ, болѣе чѣмъ обезпеченнымъ человѣкомъ, между тѣмъ ему приходилось сильно нуждаться. Ложность своего положенія онъ скрываетъ подъ маской байронизма, разочарованія и оригинальности. Онъ увлекался тогда Лермонтовымъ и подражалъ ему въ своихъ поэмахъ и первыхъ разсказахъ («Три портрета» и др.). Въ 1843 году появилась «Параша», отъ которой И. С. велъ начало своей настоящей литературной карьеры. Когда онъ проговорился матери, что объ его поэмѣ была написана сочувственная статья Бѣлинскаго, та пришла въ искреннее негодованіе: «дворянина» смѣетъ судить какой то поповичъ!» Литературныя занятія И. С. казались ей не меньшимъ, если не большимъ преступленіемъ, чѣмъ самовольный бракъ другого сына.

Бѣлинскій искренно и горячо любилъ Тургенева. Въ его отзывѣ о «Парашѣ» есть несомнѣнное преувеличеніе, и чуткій И. С. несомнѣнно прекрасно это понималъ. Въ поэмѣ есть прекрасныя мѣста: въ общемъ въ ней уже сказались та изящная отточенность, музыкальность рѣчи, которыя такъ отличаютъ Тургеневскій стиль. И все же въ ней мало оригинальности, слишкомъ наглядно сказывается зависимость отъ Лермонтова и Пушкина. Самъ Бѣлинскій указалъ существенные недочеты, которые въ значительной степени ограничивали его общую хвалебную оцѣнку. Одно его замѣчаніе заслуживаетъ особаго вниманія: онъ относитъ «Парашу» къ тѣмъ поэтическимъ произведеніямъ, которыя «имѣютъ своимъ источникомъ глубокое чувство дѣйствительности, сердечную симпатію ко всему живому».

Въ извѣстной степени это намѣчаетъ одну изъ основныхъ особенностей Тургеневскаго творчества. Подчеркиваетъ Бѣлинскій и психологическую цѣнность художественнаго описанія «внутренней тревоги дѣвственной души героини» — то, что такъ прославило Тургенева впослѣдствіи, сдѣлало его однимъ изъ лучшихъ пѣвцовъ русской женщины.

Слѣдующія стихотворныя попытки Тургенева все меньше и меньше удовлетворяли Бѣлинскаго; отзывы его все короче и суше. Великій критикъ никакъ не могъ помирить яркаго впечатлѣнія личности Тургенева и относительной тусклости его творчества, пробовалъ выискивать въ его произведеніяхъ сильныя стороны, и все болѣе охладѣвалъ къ Тургеневу-писателю, продолжая любить и цѣнить его, какъ человѣка. Боткину онъ писалъ объ И. С.: «это человѣкъ необыкновенно умный, да и вообще хорошій человѣкъ. Бесѣды и споры съ нимъ отводили мнѣ душу. Тяжело быть среди людей, которые или во всемъ соглашаются съ тобою, или, если противорѣчатъ, то не доказательствами, а чувствомъ и инстинктомъ, — и отрадно встрѣтить человѣка, самобытное и характерное мнѣніе котораго, сшибаясь съ твоимъ, извлекаетъ искры. У Тургенева много юмору. Я, кажется, уже писалъ тебѣ, что разъ въ спорѣ противъ меня за нѣмцевъ онъ сказалъ мнѣ: «да что вашъ русскій человѣкъ, который не только шапку, да и мозгъ-то свой носитъ набекрень!» Вообще, Русь онъ понимаетъ. Во всѣхъ его сужденіяхъ виденъ характеръ и дѣйствительность. Онъ врагъ всего неопредѣленнаго, къ чему я, по слабости характера и неопредѣленности натуры и дурного развитія, довольно падокъ». Въ свою очередь и Бѣлинскій захватывалъ Тургенева. Онъ писалъ: «искренность его дѣйствовала на меня, его огонь сообщался и мнѣ», «на меня дѣйствовали только энтузіастическія натуры».

Не полный успѣхъ поэмъ и неудача первыхъ разсказовъ охладили рвеніе Тургенева, и онъ собирался совсѣмъ оставить литературу. Только неожиданный успѣхъ «Хоря и Калиныча» вернулъ его на излюбленную дорогу, и вернулъ окончательно. Серьезные, обоснованные не на одной дружбѣ на этотъ разъ, отзывы Бѣлинскаго сильно поддержали молодого автора, хотя и въ нихъ были оговорки, и не все въ нихъ было вѣрно. Бѣлинскій писалъ ему: «мнѣ кажется, у васъ чисто-творческаго таланта или нѣтъ, или очень мало, и вашъ талантъ однороденъ съ Далемъ. Это вашъ настоящій родъ. Вотъ хотя бы «Ермолай и Мельничиха» — не Богъ знаетъ что, бездѣлка, а хорошо, потому что умно и дѣльно, съ мыслью. А въ «Бреттёрѣ» — я увѣренъ, вы творили. Найти свою дорогу, узнать свое мѣсто —

въ этомъ все для человѣка, это для него значитъ сдѣлаться самимъ собою. Если не ошибаюсь, ваше призваніе — наблюдать дѣйствительныя явленія и передавать ихъ, пропуская черезъ фантазію, но не опираться только на фантазію... Только ради Аллаха, не печатайте ничего такого, что ни то, ни сё, не то, чтобъ нехорошо, да и не то, чтобъ очень хорошо. Это страшно вредитъ тоталитету извѣстности (извините за кудрявое выраженіе — лучшаго не придумалось). А «Хорь» обѣщаетъ въ васъ замѣчательнаго писателя—въ будущемъ». Сопоставленіе съ Далемъ, послѣ «Дворянскаго гнѣзда», «Наканунѣ», «Отцовъ и дѣтей», звучитъ почти комически; «замѣчательный писатель — въ будущемъ» и «ваше призваніе — наблюдать дѣйствительныя явленія» указываютъ на большую художественную прозорливость Бѣлинскаго.

Успѣхъ «Хоря», полный и непререкаемый, окрылилъ Тургенева. Одинъ за другимъ появляются разсказы, которые потомъ составили знаменитый сборникъ «Записки Охотника».

Создавая свой первый разсказъ «на затычку», для «смѣси» перваго номера «Современника» (въ концѣ 1846 года), перешедшаго отъ Плетнева къ Некрасову, Панаеву и Бѣлинскому, сдѣлавшемуся, однако, не однимъ изъ хозяевъ журнала, а прежнимъ журнальнымъ батракомъ, — Тургеневъ не зналъ еще «Деревни» Григоровича. Сходство общаго направленія объясняется общностью вліяній — литературныхъ и жизненныхъ. Перевѣсъ же таланта сразу сказался на сторонѣ Тургенева.

Литературныя вліянія того времени очень важно учесть для пониманія самихъ «Записокъ Охотника». Это — вліянія критики Бѣлинскаго въ позднѣйшей стадіи ея развитія, французской соціальной литературы, Ауэрбаха и Даля. Отзывы самого Тургенева о послѣднихъ двухъ писателяхъ представляютъ въ этомъ отношеніи особый интересъ.

Въ предисловіи къ переводу романа Ауэрбаха «Дача на Рейнѣ» (1868) И. С. говоритъ: «до сихъ поръ не изгладилось въ Германіи впечатлѣніе, произведенное его знаменитыми разсказами изъ шварцвальдской деревенской жизни — «Schwarzwälder Dorfgeschichten», появившимися въ началѣ 40-хъ годовъ. Обращеніе литературы къ народной жизни замѣчается около того же времени во всѣхъ странахъ Европы (вспомнимъ Жоржъ-Зандъ «La Mare au Diable», «La petite Fadette» и т. д., а также и то, что совершалось у насъ, въ Россіи), но честь почина остается за Ауэрбахомъ. Попытки воспользоваться нетронутой почвой народной жизни, не разложенной еще «ядомъ рефлексіи», и тѣмъ самымъ придать ослабѣвшей литературѣ новую

внь и здоровые соки — эти попытки встрѣчаются еще раньше рбаха». Отъ нихъ его отличаетъ, однако, очень существенная та. «Возвратившись въ тихое пристанище родныхъ долинъ Шварцльда, онъ оставилъ за ихъ чертою всю свою ученость и образовансть, всякія политическія и эстетическія симпатіи и антипатіи, , что до того времени волновало и занимало его; не оставилъ онъ лько дара поэтической наблюдательности, и его любящее, чуткое рдце осталось при немъ. Ауэрбахъ не сочинялъ идиллій: онъ поузился всецѣло въ народную «суть». Не утонченно развитый челокъ, въ невольномъ сознаніи своего превосходства, снисходительно тупалъ въ сношеніе съ новымъ и интереснымъ бытомъ, посѣщалъ естьянскія семейства, изучалъ ихъ нравы, ихъ житейскія прички и странности — въ кругъ ихъ проникалъ поэтъ, который мъ былъ сыномъ этихъ долинъ, родился самъ въ крестьянскомъ мействѣ: съ сыновней нѣжностью и «піэтетомъ» возвращался онъ міръ, съ которымъ его связывали самыя кровныя узы. Онъ находилъ въ немъ то, чего не давали ему тѣ классы средняго и высшаго родского сословія, въ которыхъ онъ до тѣхъ поръ вращался: ростыя человѣческія отношенія, цѣлые, не надломленные характеры, дносторонне-твердыя нравственныя убѣжденія — и, какъ фонъ ля всей картины, ту несравненную, и величественную, и привѣтную рироду Шварцвальда, которую всю какъ бы насквозь провѣваетъ рѣшительной свѣжестью сосновыхъ лѣсовъ и горныхъ вершинъ... Ауэрбахъ, при всей силѣ своего таланта, не могъ бы такъ органически завладѣть всѣми тайнами той, до тѣхъ поръ почти замкнутой изни, еслибъ самъ онъ былъ ей чужой».

Все это вѣрно, но и Брандесъ не безъ основанія подчеркиваетъ Ауэрбаха «аффектированную наивность», которой не находитъ ь «Запискахъ охотника», а послѣдующая критика и у Тургенева, равнительно съ Толстымъ, отмѣтила недостатокъ свободы отношеній, онцентрацію положительныхъ чертъ, переходящую въ идеализацію,— тсутствіе психическаго равенства...

Въ 1846 году Даль для Тургенева — «дѣйствительно народный исатель», весь проникшійся «сущностью своего народа, его языомъ, его бытомъ». «Для того, чтобъ заслужить названіе народнаго исателя въ этомъ исключительномъ значеніи, нуженъ не столько ичный, своеобразный талантъ, сколько сочувствіе къ народу, родтвенное къ нему расположеніе, нужна наивная и добродушная аблюдательность. Въ этомъ отношеніи никто, рѣшительно никто, ъ русской литературѣ не можетъ сравниться съ г. Далемъ. Русскаго еловѣка онъ знаетъ, какъ свои пять пальцевъ». Его «разсказы»

обратили на себя всеобщее вниманіе читателей русскимъ складомъ ума и рѣчи, изумительнымъ богатствомъ чисто русскихъ поговорокъ и оборотовъ». «Нельзя было признать въ нихъ особеннаго художественнаго достоинства со стороны содержанія, но своимъ неподдѣльнымъ и свѣжимъ колоритомъ они рѣзко отличались отъ пошлаго балагурства непризнанныхъ народныхъ писателей». Но этого «балагурства» много и у Даля, и мертвая въ общемъ этнографическая мозаика его разсказовъ могла сойти за «неподдѣльный и свѣжій колоритъ» только при поверхностномъ знаніи народнаго быта, которымъ грѣшили почти всѣ сверстники Тургенева, не исключая и Бѣлинскаго: «таинственный незнакомецъ» выступилъ передъ ними больше своими внѣшними чертами, «сфинксъ» ждалъ еще своего Эдипа... Накоплялись матеріалы, изощрялась наблюдательность, ставились вопросы — чтобы прійти къ болѣе или менѣе устойчивымъ отвѣтамъ черезъ много и много лѣтъ. Положительнымъ пріобрѣтеніемъ было пока и болѣе уважительное отношеніе къ народнымъ массамъ, большее вниманіе къ нимъ — результатъ вліянія славянофиловъ на западниковъ, исканія корней въ жизни — при сознаніи своей безпочвенности, вѣяній времени, волненія, вызваннаго взглядами на народъ «Переписки» Гоголя. По авторитетному свидѣтельству Анненкова, «литература и образованные умы наши» только къ половинѣ 40-хъ годовъ «разстались съ представленіемъ народа, какъ дикой массы, не имѣющей никакой идеи и никогда ничего не думавшей про себя», давно уже откинувъ представленіе о немъ, какъ о «личности, опредѣленной существовать безъ всякихъ гражданскихъ правъ и служить только чужимъ интересамъ».

Кромѣ «Хоря и Калиныча», Тургеневъ въ 1847 г. печатаетъ очерки «Каратаевъ», «Ермолай и Мельничиха», «Мой сосѣдъ Радиловъ», «Однодворецъ Овсянниковъ», «Льговъ», «Бурмистръ», «Контора». Большинство очерковъ было написано за границей, куда онъ уѣхалъ въ томъ же году отъ тяжелыхъ впечатлѣній русской жизни и столкновеній съ матерью, вслѣдъ за знаменитой пѣвицей Віардо, съ которой «однолюбъ» Тургеневъ связалъ себя до конца жизни. Въ головѣ его роится много плановъ, но значительная часть ихъ не была выполнена. Посылая въ 1874 году «Живыя мощи» для одного сборника, И. С. писалъ: «не имѣя ничего готоваго, сталъ я рыться въ своихъ старыхъ бумагахъ и отыскалъ прилагаемый отрывокъ изъ «Записокъ охотника»... Всѣхъ ихъ напечатано было 22, но заготовлено было около 30. Иные очерки остались недоконченными изъ опасенія, что цензура ихъ не пропуститъ; другіе потому, что показались мнѣ не довольно интересными или не идущими къ дѣлу».

Въ другомъ письмѣ онъ сообщалъ: «два были начаты — «Русскій нѣмецъ и реформаторъ» и «Землеѣдъ»; два только набросаны — «Примѣты» и «Незадача». Первые два оставлены потому, что я зналъ, что никакая тогдашняя цензура ихъ бы не пропустила, вторые — потому, что были незначительны». Сюжетъ «Землеѣда» очень характеренъ: «въ этомъ разсказѣ я передаю совершившійся у насъ фактъ — какъ крестьяне уморили своего помѣщика, который ежегодно урѣзывалъ у нихъ землю, и котораго они прозвали за то «землеѣдомъ», заставивъ его скушать фунтовъ восемь отличнѣйшаго чернозема. Сюжетъ веселенькій, изволите видѣть». Въ Записки же охотника должны были войти, повидимому, «Муму», «Постоялый дворъ», «Поѣздка въ Полѣсье»[1]), но не вошли, хотя въ сборникъ были включены «Конецъ Чертопханова» (1872), «Живыя мощи» (1874) и «Стучитъ»! (1875). Незадолго до смерти онъ диктуетъ по-французски «Конецъ», который неудачно былъ переведенъ на русскій языкъ Григоровичемъ и въ сборникъ не попалъ. Анненковъ взялъ съ И. С. слово, что больше увеличивать составъ сборника онъ не будетъ, чтобы не мѣшать цѣльности его впечатлѣнія, и Тургеневъ послѣ 1875 года вставокъ больше не дѣлалъ. Къ 1880 году былъ окончательно установленъ и текстъ «Записокъ охотника», въ томъ видѣ, какъ его даютъ полныя собранія сочиненій Тургенева.

Но цѣльности не было и при отсутствіи позднѣйшихъ вставокъ. Подзаголовокъ: «изъ Записокъ Охотника» былъ приданъ «Хорю» въ редакціи «Современника», какъ бы въ видѣ извиненія за незначительность содержанія разсказа. Сознательнаго плана борьбы съ крѣпостнымъ правомъ, выполненія «Аннибаловской клятвы» Тургенева тогда не было. Записки охотника только внѣшнимъ образомъ объединяли пеструю и неоднородную серію разсказовъ. Половина ихъ не имѣла отношенія къ крѣпостному праву и только внѣшнимъ образомъ была связана съ охотничьими приключеніями. И. С. несомнѣнно ненавидѣлъ крѣпостное право, вдумчиво хотѣлъ вглядѣться въ народную душу, но не столько онъ самъ, сколько русская жизнь окрашивала его первые разсказы, написанные еще на родинѣ, оппозиціоннымъ духомъ. За границей, тоскуя о Россіи, среди тяжелыхъ матеріальныхъ условій, онъ бережно воспроизводитъ свои воспоминанія о далекой родинѣ, дорожа каждой мелкой черточкой быта, жизни, природы. Только въ «Малиновой водѣ» и «Двухъ помѣщикахъ» проглядываетъ негодованіе на крѣ-

---

[1]) Впрочемъ, этотъ разсказъ предназначался и для предполагавшагося „Охотничьяго сборника“ С. Т. Аксакова.

постничество; въ остальныхъ заграничныхъ разсказахъ 1848 и 1849 годовъ И. С. почти не касается ужасовъ русской жизни.

Когда въ 1852 году «Записки охотника» впервые были собраны въ видѣ особой книги, власти и читатели встрѣтили ихъ, какъ сознательный, систематически-разсчитанный ударъ противъ крѣпостничества, и самъ авторъ повѣрилъ этому, невольно подчинился общему голосу. Но никто не обратилъ вниманія на то, что разсказы были значительно переработаны авторомъ, сравнительно съ прежнимъ журнальнымъ текстомъ, что не могло не усилить общаго впечатлѣнія. Редакція 1852 года зрѣлѣе, послѣдовательнѣе, ровнѣе редакцій 1846—1851 годовъ, когда разсказы появились въ «Современникѣ». Въ сборникъ попалъ и характерный разсказъ «Два помѣщика», повидимому, запрещенный цензурой въ 1848 году. Въ немъ были только исключены упоминанія о томъ, что Хвалынцевъ въ полной парадной формѣ парилъ своего начальника въ банѣ и что онъ былъ «мастеръ подходить подъ благословеніе».

Передѣлки тѣмъ болѣе знаменательны, что Тургеневъ могъ бы обойтись и безъ нихъ послѣ болѣе чѣмъ сочувственныхъ отзывовъ критики: самъ писатель выросъ за эти 6 лѣтъ и не могъ уже вполнѣ удовлетворяться результатами своего молодого творчества. Бѣлинскій посвятилъ «Хорю и Калинычу» и «Каратаеву» нѣсколько страницъ въ своемъ «взглядѣ на русскую литературу въ 1847 году». «Талантъ г. Тургенева имѣетъ много аналогій съ талантомъ Луганскаго (г. Даля). Настоящій родъ того и другого — физіологическіе очерки разныхъ сторонъ русскаго быта и русскаго люда». Успѣхъ «Хоря и Калиныча» «былъ неожиданъ для автора и заставилъ его продолжать разсказы охотника. Здѣсь талантъ его обозначился вполнѣ. Очевидно, что у него нѣтъ таланта чистаго творчества, что онъ не можетъ создавать характеровъ, ставить ихъ въ такія отношенія между собою, изъ какихъ образуются сами собою романы или повѣсти[1]). Онъ можетъ изображать дѣйствительность, видѣнную и изученную имъ, если угодно — творить, но изъ готоваго, даннаго дѣйствительностью матеріала. Это не простое списываніе съ дѣйствительности, она не даетъ автору идей, но наводитъ, наталкиваетъ, такъ сказать, на нихъ. Онъ перерабатываетъ взятое имъ готовое содержаніе по своему идеалу, и отъ этого у него выходитъ картина болѣе живая, говорящая и полная мысли, нежели дѣйствительный случай, подавшій ему поводъ написать эту картину; и для этого

[1]) Бѣлинскій не предчувствовалъ, что онъ говоритъ это по адресу автора „Дворянскаго гнѣзда“ и „Наканунѣ“. Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что „изображать любовь“ „не въ талантѣ“ Тургенева...

еобходимъ, въ извѣстной мѣрѣ, поэтическій талантъ. Правда, ногда все умѣнье его заключается въ томъ, чтобы только вѣрно ередать знакомое ему лицо или событіе, котораго онъ былъ свидѣ-елемъ, потому что въ дѣйствительности бываютъ иногда явленія, оторыя стоитъ только вѣрно переложить на бумагу, чтобъ они имѣли ѣ признаки художественнаго вымысла. Но и для этого необходимъ лантъ, и таланты такого рода имѣютъ свои степени. Въ обоихъ ихъ случаяхъ г. Тургеневъ обладаетъ весьма замѣчательнымъ лантомъ. Главная характеристическая черта его таланта заклю-ется въ томъ, что ему едва ли бы удалось создать вѣрно такой рактеръ, подобнаго которому онъ не встрѣтилъ бы въ дѣйстви-льности. Онъ всегда долженъ держаться почвы дѣйствительности. ля такого рода искусства ему даны отъ природы богатыя средства: ръ наблюдательности, способность вѣрно и быстро понять и оцѣ-ть всякое явленіе, инстинктомъ разгадать его причины и слѣд-вія, и такимъ образомъ догадкою и соображеніемъ дополнить обходимый ему запасъ свѣдѣній, когда разспросы мало объясняютъ. е удивительно, что маленькая піеска «Хорь и Калинычъ» имѣла ікой успѣхъ: въ ней авторъ зашелъ къ народу съ такой стороны, ъ какой до него къ нему никто еще не заходилъ... Съ какимъ уча-іемъ и добродушіемъ авторъ описываетъ намъ своихъ героевъ, акъ умѣетъ онъ заставить читателей полюбить ихъ отъ всей души! сѣхъ разсказовъ охотника было напечатано прошлаго года въ «Со-ременникѣ» 7. Въ нихъ авторъ знакомитъ своихъ читателей съ раз-ими сторонами провинціальнаго быта, съ людьми разныхъ состояній званій. Не всѣ его разсказы одинаковаго достоинства: одни лучше, ругіе слабѣе, но между ними нѣтъ ни одного, который бы чѣмъ-ибудь не былъ интересенъ, занимателенъ и поучителенъ. «Хорь Калинычъ» до сихъ поръ остается лучшимъ изъ всѣхъ разсказовъ отника; за нимъ — «Бурмистръ», а послѣ него «Однодворецъ всянниковъ» и «Контора». Нельзя не пожелать, чтобы г. Тургеневъ писалъ еще хоть цѣлые томы такихъ разсказовъ. Хотя разсказъ Тургенева «П. П. Каратаевъ»... и не принадлежитъ къ ряду раз-азовъ охотника, но это такой же мастерской физіологическій очеркъ рактера чисто русскаго и притомъ съ московскимъ отпечаткомъ. ъ немъ талантъ автора выказался съ такою же полнотою, какъ и ъ лучшихъ изъ разсказовъ охотника. Не можемъ не упомянуть необыкновенномъ мастерствѣ г. Тургенева изображать картины усской природы. Онъ любитъ природу не какъ дилетантъ, а какъ тистъ, и потому никогда не старается изображать ее только ъ поэтическихъ ея видахъ, но беретъ ее, какъ она ему представляется.

Его картины всегда вѣрны, вы всегда узнаете въ нихъ нашу роднук русскую природу».

Подобный же отзывъ былъ данъ и представителемъ противнаг лагеря, славянофильскаго. К. Аксаковъ писалъ по поводу «Хоря: «вотъ что значитъ прикоснуться къ землѣ и къ народу: въ мигъ даетс сила! Пока г. Тургеневъ толковалъ о своихъ скучныхъ любвях да разныхъ апатіяхъ, о своемъ эгоизмѣ, все выходило вяло и бе таланно; но онъ прикоснулся къ народу, прикоснулся къ нему съ уча стіемъ и сочувствіемъ — и посмотрите, какъ хорошъ его разсказ Дай Богъ г. Тургеневу продолжать по этой дорогѣ!»

Въ «Хорѣ и Калинычѣ» Тургеневъ всецѣло еще находится н почвѣ тогдашнихъ «физіологическихъ» (бытовыхъ) очерковъ. Въ нем совсѣмъ нѣтъ дѣйствія; разсказъ сводится къ характеристикѣ от имени автора; въ него клиномъ врѣзываются бытовыя картины совсѣмъ почти не связанныя съ ходомъ повѣствованія (начало эпизодъ съ «орлами»); очевидна извѣстная зависимость отъ манер очерковъ Даля. Онъ слишкомъ охотно употребляетъ мѣстныя орлов скія слова (Бѣлинскій въ шутку называлъ его «орловцемъ, не умѣю щимъ говорить по-русски»), интересуется чисто-этнографическим изысканіями, останавливается на особенностяхъ природы и быта края Къ первой редакціи «Пѣвцовъ» онъ дѣлаетъ, напр., такое примѣ чаніе, впослѣдствіи сильно сокращенное: «Полѣсьемъ называетс длинная полоса земли, почти вся покрытая лѣсомъ, которая на гра ницѣ Болховскаго и Жиздринскаго уѣздовъ, тянется черезъ Калуж скую, Тульскую и Московскую губерніи и оканчивается Марьиной рощей подъ Москвой. Жители Полѣсья отличаются многими особен ностями въ образѣ жизни, нравахъ и языкѣ. Особенно замѣчательны обитатели южнаго Полѣсья около Плохина и Сухинича, двухъ бога тыхъ и промышленныхъ селъ, средоточій тамошней торговли. Мы когда-нибудь поговоримъ о нихъ подробнѣе». Позднѣйшая «По ѣздка въ Полѣсье», однако, такихъ этнографическихъ справок не дала.

Связь съ «физіологической» литературой и этнографическій элементъ постепенно шли на убыль. Тургеневъ принималъ къ свѣ дѣнію всѣ компетентныя указанія, и воспользовался ими позднѣе Друзья смѣялись надъ довольно неожиданнымъ сравненіемъ Хоря и Калиныча съ Гёте и Шиллеромъ, и въ 1852 году Тургеневъ его уничтожаетъ. Бѣлинскій передъ смертью проситъ Анненкова: «да воздержите вы этого милаго младенца отъ звукоподражательной поэзіи: «ррракаліонъ! Че-о-экъ!» Пока это ничего, но я боюсь, чтобы онъ не пересолилъ, какъ онъ пересаливаетъ въ употребленіи словъ

ловскаго языка, даже отъ себя употребляя слово «зеленя» [1]).

Тургеневъ во второй редакціи своихъ «Записокъ» ослабляетъ лишнюю этнографичность языка (Аксаковымъ онъ самъ признался: «что касается провинціальныхъ выраженій, то, къ несчастью, самъ ихъ незамѣтно употребляю въ разговорѣ») и «звукоподражательную поэзію». Въ «Современникѣ» онъ самъ употреблялъ такія раженія: «аржаной хлѣбъ», «титоръ», «пестюльга», «фершелъ», рапельникъ», «нагинался», «заплаканный мужикъ»; въ 1852 году галисъ изъ нихъ только «зеленя» и «золовка» вмѣсто свояченицы. акъ всѣ наши баре стараго времени, Тургеневъ учился русскому ыку у дворни и сохранялъ особенности ея говора. Такой простородный налетъ до послѣдняго времени сохранялся, напр., у стаго московскаго барства («теперича», «квартера», «кинарейка»); голоски его есть въ рѣчахъ Фамусова, въ особенности въ ранней дакціи «Горя отъ ума».

Повидимому, Тургеневъ совершенно самостоятельно пришелъ ъ поправкамъ другого рода, болѣе существеннымъ: онъ старательно ираетъ почти всѣ слѣды своего былого увлеченія хлесткостью разы, острословіемъ, не всегда идущимъ къ дѣлу,— подчеркиванія юей наблюдательности. Кое-что осталось и послѣ 1852 года[2]), о текстъ «Современника» подвергся все же коренной чисткѣ. «Взыкательный художникъ», вѣрный ученикъ Пушкина, искалъ трезвости ясности стиля, простоты и цѣломудренной сдержанности красокъ. ѣликомъ отдѣлаться отъ «старой манеры» ему, однако, не удалось.

И. Аксаковъ, перечитавъ «Записки охотника» въ 1852 году, исалъ Тургеневу, что въ нихъ «встрѣчаются очень часто такія нанутыя сравненія, такія претенціозныя остроты, такая изысканная аблюдательность, какъ будто любующаяся собой и всѣмъ говорящая: акова наблюдательность, а? — что я удивляюсь, какъ вашъ строгій разборчивый вкусъ допустилъ все это. Къ чему всѣ эти шуточки остроты, часто ни къ селу, ни къ городу, насчетъ старыхъ дѣвокъ, ислыхъ фортепьянъ (слово «кислый» у васъ въ большомъ ходу), ыхлыхъ купчихъ и пр., и пр.?» Его братъ Константинъ высказался ще рѣшительнѣе: «лѣтъ шесть тому назадъ, послѣ разныхъ стиховореній вашихъ à la Lermontoff, послѣ вашихъ стихотворныхъ раз-

---

[1]) Вопреки Бѣлинскому и благодаря Тургеневу оно, однако, вошло въ нашъ литературный языкъ.

[2]) Напр., портящія разсказъ „Смерть“ и не идущія къ дѣлу упоминанія о „Статой дѣвицѣ съ отличнымъ сердцемъ, но безъ волосъ“ и „статской совѣтницѣ Кордонъ-Татаевой, необыкновенно толстой женщинѣ, которая, даже лежа въ постели, продолжительно и жалобно кряхтѣла“, — подробности о Полутыкинѣ въ началѣ „Хоря“ и пр.

сказовъ и поэмъ, послѣ разныхъ выдумокъ и небылицъ (не въ факти ческомъ, случайномъ, а въ существенномъ, нравственномъ отношеніи меня поразилъ изящной правдой разсказъ вашъ «Хорь и Калинычъ» Тогда же, въ той же самой критикѣ, гдѣ я нападалъ на васъ, я отдал ему съ радостью должную справедливость[1]). Вы продолжали «Записки охотника», достоинство которыхъ было признано всѣми Любопытно было мнѣ теперь повторить свое впечатлѣніе и перечест «Хоря и Калиныча» и другіе разсказы. Я перечелъ. «Хорь и Калинычъ»—тотъ же и тѣ же въ немъ достоинства, но, видно, требованія выросли, видно — выросло время: только далеко не такъ понравилс мнѣ этотъ разсказъ, какъ прежде. Да и въ самомъ дѣлѣ: перва минута разсвѣта послѣ ночи свѣтла, но передъ настоящимъ днем она только полусвѣтъ, и плохо, если день не свѣтлѣе разсвѣта Ваши «Записки охотника» вообще — только одно мерцаніе какого-т свѣта, не больше. Сверхъ того, кромѣ общаго неяснаго достоинства есть общіе же, ясные недостатки. Первый недостатокъ — это постоян ное усиліе, которое сопровождаетъ всякое описаніе, всякій разговоръ, всякое изображеніе, однимъ словомъ, все сочиненіе ваш «Записокъ охотника». Видно, что авторъ неспокоенъ, несвободен и хочетъ все сказать повыразительнѣе... Вы принадлежите къ таким писателямъ, которымъ хочется сказать: впередъ!... Слѣдующее ваш произведеніе («Муму») есть рѣшительно шагъ впередъ. Вы здѣс гораздо болѣе серьезны; мелочные эффекты словъ и изображеній оставили васъ почти вовсе... До сихъ поръ у васъ въ вашихъ произведеніяхъ была какая-то авторская мелочная придирчивость къ жизни и ея явленіямъ; здѣсь ея почти нѣтъ».

Тургеневъ принялъ упреки К. Аксакова и отвѣчалъ ему: «скажу вамъ прямо, что я во многомъ раздѣляю ваше мнѣніе о моихъ «Записках» — и говорю это вовсе не изъ желанія пощеголять своей скромностью, — а потому, что чувствую это самъ — и ужъ давно Зачѣмъ же я издалъ ихъ? — спросите вы... А затѣмъ, чтобы отдѣлаться отъ нихъ, отъ этой старой манеры. Теперь обуза сброшена съ плечъ долой. Но достанетъ ли у меня силъ итти впередъ,— как

---

[1]) Это дѣлаетъ тѣмъ больше чести К. С. Аксакову, что въ первой редакціи „Хоря" была прямая вылазка противъ него: „въ десяти верстахъ отъ усадьбы находилось дотла разоренное село, принадлежавшее... ну, кому бы то ни было. Владѣлецъ этого села ходилъ, вѣроятно, потѣхи ради, въ мурмолкѣ и рубашку носил съ косымъ воротникомъ. Думаете и вы, что Хорь промолчалъ объ этой мурмолкѣ что эта мурмолка его ослѣпила? Какъ бы не такъ!.." Впослѣдствіи это мѣсто был уничтожено. Въ „Овсянниковѣ" есть болѣе ядовитая выходка противъ славянофиловъ въ томъ же стилѣ.

вы говорите, — не знаю. Простота, спокойствіе, ясность линій, добросовѣстность работы, та добросовѣстность, которая дается увѣренностью, — все это еще пока идеалы, которые мелькаютъ передо мной».

Въ новой редакціи «Записокъ охотника» очевидны слѣды внутренняго перелома автора, перехода его отъ старой къ новой манерѣ.

Изъ «Гамлета Щигровскаго уѣзда» онъ исключаетъ избитую остроту относительно «иностранца Ѳирса Клюкина», въ «Татьянѣ Борисовнѣ» «звукоподражательную поэзію», «худонжники», «худонжество», въ «Бирюкѣ» — «добрые мужички», «Пѣвцахъ» — мужичокъ, «Дороженька» вмѣсто «При долинушкѣ стояла, калину ломала»; въ «Лѣсъ и степь» вмѣсто прежняго «грузная карета, запряженная шестерикомъ рослыхъ лошадей, плыветъ вамъ навстрѣчу» была вставлена цѣлая яркая бытовая картина и пр. Отъ этихъ незначительныхъ на первый взглядъ поправокъ мѣнялся общій тонъ разсказовъ: они дѣлались гораздо проще и жизненнѣе.

Мы знаемъ теперь текстъ 1880 года «Записокъ охотника», почти цѣликомъ воспроизводящій текстъ 1852. Многія его мѣста производятъ впечатлѣніе сильныхъ нападокъ на крѣпостное право. Въ «Современникѣ» большинство ихъ было исключено цензурой, и возстановлены они были только въ изданіи 1852 года. Этимъ въ значительной степени объясняется сильное впечатлѣніе сборника на общество и административныя сферы, и то, что онъ былъ главной причиной ссылки Тургенева въ деревню. Это цензурно-административное крещеніе навсегда закрѣпило за нимъ общественное значеніе протеста[1]), преувеличивъ его размѣры и напряженность. Въ части раз-

---

[1]) Его прекрасно выяснилъ де-Вогюэ: „Когда эти отрывки были собраны въ цѣлый томъ, публика, до тѣхъ поръ находившаяся въ нерѣшимости, поняла значеніе этого произведенія: явился человѣкъ, дерзнувшій развить тайный смыслъ мрачной шутки Гоголя о „мертвыхъ душахъ“. Какъ иначе назвать эту галлерею портретовъ, собранныхъ охотникомъ: мелкомѣстные дворяне, наивно эгоистическіе и черствые, угрюмые управляющіе, алчные чиновники, слоняющіеся безъ дѣла, и подъ ихъ желѣзнымъ гнетомъ забитые илоты, рабы, утратившіе всякое (?) человѣческое достоинство, трогательные своимъ убожествомъ (?) и своей покорностью? Пріемъ автора вездѣ почти одинаковый: онъ заставляетъ двигаться передъ нами въ своемъ фонарѣ и показываетъ намъ подъ разными видами это жалкое существованіе, и трагическое, и смѣшное, безъ потребностей, безъ рессурсовъ, осужденные на прозябаніе; на ряду съ крѣпостнымъ рабомъ является его господинъ — полуцивилизованный субъектъ, въ сущности добрый малый, не сознающій сдѣланнаго имъ зла, развращенный роковой средою. Эта картина, которая должна по настоящему казаться уродливой, отталкивающей, между тѣмъ облечена авторомъ какой то особой прелестью и граціей, нѣкоторымъ образомъ помимо его воли, въ силу тайнаго свойства его поэзіи. Почему же разбита жизнь у всѣхъ героевъ этой книги? Отчего происходитъ эта

сказовъ онъ дѣйствительно звучитъ — въ нѣсколько идеализованныхъ типахъ крѣпостныхъ, въ намекахъ на ужасныя условія ихъ жизни, въ изображеніи дворни, искалѣченной нравственно своею близостью къ господамъ и ихъ сомнительной «культурѣ», въ подчеркнутыхъ картинахъ пустой и пошлой помѣщичьей жизни. Но «Уѣздный лѣкарь», «Мой сосѣдъ Радиловъ», «Лебедянь», «Татьяна Борисовна и ея племянникъ», «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда», «Чертопхановъ и Недопюскинъ», «Конецъ Чертопханова», «Стучитъ!», «Лѣсъ и степь» чужды такого протеста; не играетъ онъ особой роли и въ «Каратаевѣ», «Живыхъ мощахъ» и «Пѣвцахъ». Безъ натяжекъ подвести подъ него цѣликомъ можно было бы 11 разсказовъ изъ 25. И этого, конечно, много для тогдашнихъ цензурныхъ порядковъ, но самый фактъ этотъ показываетъ, что Тургеневъ преслѣдовалъ не одну цѣль, что замыселъ его былъ шире — захватить русскую жизнь и психологію русскаго человѣка въ наиболѣе характерныхъ ея проявленіяхъ, темныхъ и свѣтлыхъ, на фонѣ тонко вырисованнаго пейзажа, въ лучахъ мягкой поэзіи и теплаго гуманнаго чувства, въ гармоническихъ звукахъ отточеннаго языка. Замыселъ выяснялся постепенно, при работѣ, и Тургеневъ все болѣе раздвигалъ рамки своихъ «Записокъ» — отъ «физіологическихъ очерковъ» къ бытовому анекдоту (напр., «Лебедянь») и глубокому этюду по народной психологіи («Смерть», «Пѣвцы», «Живыя мощи), отъ мимолетнаго «случая жизни», фотографически схваченаго и мало разработаннаго («Уѣздный лѣкарь», «Радиловъ», «Чертопхановъ») къ одностороннему, хотя и сильному анализу московской кружковщины, которая казалась Тургеневу посягательствомъ на свободу и своеобразіе личности, и «лишнихъ людей», которыхъ создавала русская жизнь и воспитывала эта кружковщина («Гамлетъ Щигровскаго уѣзда»).

Несмотря на чистку, недочеты «старой манеры» давали себя знать и въ послѣдней редакціи сборника. Отъ нихъ Тургеневъ двинулся къ новой, второй манерѣ, къ полному, спокойному теченію романа, для котораго «Записки» были лишь подготовительными этюдами. На этотъ путь толкалъ его и наиболѣе близкій другъ, Анненковъ, который писалъ И. С. въ 1852 году: «вообще книга ваша («Зап. охотника»), по моему мнѣнію, останется въ литературѣ, какъ

болѣзнь, охватившая русскую деревню? Какое имя этой чумы? Читателю предоставлялось самому отвѣчать на этотъ вопросъ. Было бы неточно сказать, что Тургеневъ нападалъ на крѣпостничество: русскіе писатели, вслѣдствіе условій, въ которыя они, поставлены, а также вслѣдствіе особенности ихъ генія, никогда не нападаютъ открыто: они не аргументируютъ, не разсуждаютъ, они рисуютъ, не дѣлая выводовъ и взываютъ скорѣе къ состраданію, чѣмъ къ гнѣву читателей.

и имя ваше, съ почетной строкой... Но теперь, кажется, нужно бы дописать книгу и додѣлать свое имя. Нужно бы, кажется, убить въ себѣ сочинительство, которое въ послѣднее время какъ будто, наоборотъ, сильнѣе въ васъ становится («Пѣвцы», «Сцена на дорогѣ», «Три встрѣчи»)... Я рѣшительно жду отъ васъ романа съ полной властью надъ всѣми лицами и событіями и безъ наслажденія самимъ собой (т.-е. своимъ авторствомъ), безъ внезапнаго появленія оригиналовъ, которыхъ вы черезчуръ ужъ любите, — потому что и оригиналы родятся и живутъ безъ особенныхъ знаковъ на себѣ и волненія на землѣ, и, наконецъ, чтобы мизеріи, противорѣчія и нелѣпости жизненныя не выставляли себя на показъ и не кокетничали своимъ безобразіемъ, какъ это у васъ иногда выходитъ, а ложились удивительно обыкновенно, не подозрѣвая, чтобы на нихъ можно было смотрѣть... И съ такимъ романомъ «Записки охотника» дѣлаются двойнѣ замѣчательными: это — книга, и это — ступень, а безъ романа онѣ все-таки останутся канатомъ, на которомъ когда-то умный и ловкій танцоръ плясалъ до поту лица. Такіе канатики въ меньшихъ размѣрахъ были у Бенитцкихъ, Нарѣжныхъ и пр.; ихъ стащили съ нихъ замертво. Да и на что смотрѣть, когда нѣтъ развитія?»

Тургеневъ въ 1853 году принялся за романъ, отъ котораго дошелъ до насъ только отрывокъ — «Собственная господская контора». Въ немъ выступала деспотка-помѣщица, списанная съ матери, карины крѣпостного гнета. Это первая попытка въ творчествѣ новаго рода, не удавшаяся, и Тургеневъ уничтожилъ написанное, отдавъ въ печать только одну изъ обработанныхъ главъ.

Работа надъ «Записками охотника» не захватила всѣхъ творческихъ силъ Тургенева. Живя во Франціи (1847—1850 гг.), онъ пишетъ нѣсколько драматическихъ произведеній подъ вліяніемъ Віардо, увлекавшейся театромъ («Гдѣ тонко, тамъ и рвется», «Нахлѣбникъ», «Завтракъ у предводителя», «Мѣсяцъ въ деревнѣ» и пр.). Особаго драматическаго таланта у него не было, и піесы эти успѣха не имѣли. Скоро и самъ авторъ къ нимъ охладѣлъ. За границей же пишутся — «Жидъ», начатый еще въ 1846 году, «Пѣтушковъ», «Переписка», «Дневникъ лишняго человѣка» (1850), въ которомъ И. С. вторично вернулся къ типу несчастной жертвы русской общественности, «лишняго человѣка», убитаго рефлексіей, болѣзненно извращеннымъ самолюбіемъ, духотою окружающей обстановки и неприложимостью своихъ силъ, хотя бы и очень скромныхъ.

Ссора съ матерью, вознегодовавшей на дружбу И. С. съ «проклятой цыганкой» (Віардо), заставляла его усиленно работать. Въ работѣ онъ отдыхалъ и отъ тяжелыхъ впечатлѣній разгрома 1848 года.

Лѣтомъ 1850 онъ отправился въ Россію, которую, въ письмѣ къ Віардо, назвалъ «огромной и мрачной фигурой, неподвижной и туманной, какъ сфинксъ Эдипа». «Она поглотитъ меня позднѣе. Мнѣ кажется, что я вижу ея тяжелый, неподвижный взглядъ, устремленный на меня съ холоднымъ вниманіемъ, какъ и слѣдуетъ каменнымъ глазамъ. Будь спокоенъ, сфинксъ, я вернусь къ тебѣ, и тогда ты можешь поглотить меня въ свое удовольствіе, если я не разгадаю твоей загадки!»

Въ Россіи его ждали — смерть матери (въ 1850 году), освобожденіе отъ семейнаго гнета и ссылка въ деревню за невинное письмо по поводу смерти Гоголя — въ сущности за «Записки охотника» (1852—1853 гг.). Матеріальныя невзгоды окончились. Новый помѣщикъ постарался загладить всѣ грѣхи своей матери передъ крѣпостными и дворовыми: однихъ отпустилъ на волю, другихъ перевелъ на оброкъ.

Жизнь на родинѣ сопровождалась новымъ приливомъ творчества. Въ Россіи, повидимому, написаны (или докончены) «Пѣвцы», «Свиданіе», «Бѣжинъ лугъ», «Касьянъ съ Красивой Мечи»—лучшіе разсказы «Записокъ охотника»; въ квартирѣ частнаго пристава, подъ арестомъ, пишется разсказъ «Муму», который знаменитый англійскій писатель Карлейль считалъ самымъ трогательнымъ произведеніемъ, какое только ему случалось читать. Съ освобожденіемъ (въ 1853 году) Тургеневъ живетъ то въ столицахъ, то въ Спасскомъ, пишетъ «Затишье», «Фауста», «Якова Пасынкова», доканчиваетъ «Переписку» и работаетъ надъ «Рудинымъ» (1855 г.).

«Рудинъ» былъ первымъ большимъ произведеніемъ Тургенева, первымъ его соціально-психологическимъ романомъ. Въ исторіи его творчества это — переходный моментъ отъ «старой» къ «новой» манерѣ, отъ «Записокъ охотника» къ «Дворянскому Гнѣзду» и «Наканунѣ». Въ немъ нѣтъ еще полной чистоты линій, той строгой выдержанности творчества, писательской техники, къ которымъ насъ пріучилъ Тургеневъ своими послѣдующими произведеніями. Въ характеристикѣ главнаго героя нѣтъ цѣльности; въ отношеніяхъ къ нему у автора нѣтъ полнаго художественнаго спокойствія. Въ романѣ вообще много недосказаннаго, только намѣченнаго, развитаго и разработаннаго впослѣдствіи: Наталья Ласунская въ новыхъ яркихъ краскахъ воскреснетъ въ Еленѣ Стаховой, Басистовъ — въ Берсеневѣ.

Грибоѣдовъ, Пушкинъ и Лермонтовъ дали «героевъ своего времени», сгущенные образы передовой мысли и молодого идейнаго броженія 20-хъ и 30-хъ годовъ въ Чацкомъ, Онѣгинѣ и Печоринѣ.

Тургеневъ сдѣлалъ это заднимъ числомъ въ Рудинѣ и Лаврецкомъ. Тогда кристаллизовалось переживаемое или только что пережитое; теперь подводились итоги моменту, отодвинувшемуся уже далеко — не хронологически, а психологически — въ прошлое, хотя съ послѣдствіями его еще приходилось считаться. «Идеалистъ» 30 и 40-хъ годовъ былъ наканунѣ своего перерожденія въ «кающагося дворянина»; жизнь выдвигала другія задачи и требовала другихъ дѣятелей — «желчевиковъ» по терминологіи Герцена, «реалистовъ», съ дѣловитостью болѣе упрощенной психологіи, съ большимъ чутьемъ дѣйствительности. Они воспользовались идейнымъ наслѣдіемъ своихъ предшественниковъ, но только лучшіе изъ нихъ, представители «разночинческой», безсословной интеллигенціи (Чернышевскій, позднѣе Добролюбовъ), чувствовали и признавали эту идейную преемственность; другіе слишкомъ остро и рѣзко подчеркнули свою обособленность отъ барственно-изнѣженной психологіи «идеалистовъ» съ ихъ эстетикой, философіей, филантропіей и «гуманствомъ».

Переломъ прозорливо уже предчувствовалъ Бѣлинскій; въ «Современникѣ» съ Некрасовымъ во главѣ онъ намѣтился уже совершенно опредѣленно. Другъ Бѣлинскаго и близкій сотрудникъ «Современника», Тургеневъ чутко уловилъ назрѣвавшую перемѣну общественной психологіи и отразилъ ее въ «Рудинѣ», который долженъ былъ сдѣлаться отходной цѣлому поколѣнію — «лишнихъ людей». Исходной точкой творчества былъ образъ Бакунина, къ которому Тургеневъ никогда не питалъ особаго сочувствія. И Бѣлинскій отзывался о немъ, какъ о «пророкѣ и громовержцѣ, но съ румянцемъ на щекахъ (конечно, искусственнымъ) и безъ пыла въ организмѣ». Въ немъ видѣлъ Тургеневъ типическія черты эпохи, которымъ онъ хотѣлъ произнести уничтожающій приговоръ. Но изъ-за спины Бакунина выростали образы сверстниковъ, воспоминанія молодости самого Тургенева. Какъ Лермонтовъ хотѣлъ «отдѣлаться стихами» отъ преслѣдовавшаго его Демона, такъ И. С. «отдѣлывался» романомъ отъ цѣлой полосы своей личной и общественной жизни. Теперь онъ склоненъ осуждать эту полосу, казнить себя и свое поколѣніе за нее; но, моментами, его разогрѣвали воспоминанія, изъ-за фразы, позы, безтолочи выступала поэзія молодого, восторженнаго идеализма, религіозность философскихъ исканій, повышенная воспріимчивость къ интеллектуальнымъ впечатлѣніямъ. Отсюда замѣтные перебои настроеній на протяженіи всего романа. То авторъ не безъ злорадства подчеркиваетъ всѣ отрицательныя стороны Рудина: его безудержное краснобайство, грубыя противорѣчія слова и дѣла, его не всегда красивыя отношенія къ труду, деньгамъ и житью

на чужой счетъ (Бакунинъ этимъ, дѣйствительно, грѣшилъ, но, должая направо и налѣво безъ отдачи, онъ въ свою очередь былъ способенъ отдать съ себя послѣднюю рубашку), подчеркиваетъ иронически: «началъ Рудинъ мягко и ласково, какъ путешествующій принцъ»; то заставляетъ читателей (видимо, и самого себя) вмѣстѣ съ Натальей переживать «сладкія мгновенія», поддаваться ихъ не призрачному очарованію: «какія сладкія мгновенія переживала Наталья, когда, бывало, въ саду, на скамейкѣ, въ легкой сквозной тѣни ясеня, Рудинъ начнетъ читать ей Гётевскаго «Фауста», Гофмана и письма Беттины, или Новалиса, безпрестанно останавливаясь и толкуя то, что ей казалось темнымъ!... Рудинъ былъ весь погруженъ въ германскую поэзію, въ германскій романтическій и философскій міръ и увлекалъ ее за собою въ тѣ заповѣдныя страны. Невѣдомыя, прекрасныя, раскрывались онѣ передъ ея внимательнымъ взоромъ; со страницъ книги, которую Рудинъ держалъ въ рукахъ, дивные образы, новыя свѣтлыя мысли такъ и лились звенящими струями ей въ душу, и въ сердцѣ ея, потрясенномъ благородной радостью великихъ ощущеній, тихо вспыхивала и разгоралась святая искра восторга». Мы не только понимаемъ, но и сердцемъ чувствуемъ, почему Наталья и Басистовъ должны были увлечься Рудинымъ — не комическимъ «путешествующимъ принцемъ», а человѣкомъ, въ которомъ дѣйствительно горѣла «святая искра восторга», вызывавшая встрѣчный или отвѣтный токъ.

Произносить судъ надъ собой, своей молодостью и своимъ поколѣніемъ вообще нелегко. При всей антипатіи къ Бакунину чувство элементарной справедливости подсказывало Тургеневу, что не все въ его личности и дѣятельности укладывается въ формы Рудина, укачивающаго себя до самозабвенія «музыкой собственнаго краснорѣчія» «путешествующаго принца». За людьми выступала жизнь, эпоха, «среда», которая «заѣдаетъ» пуще «фразы». Къ новому поколѣнію и новымъ идеаламъ Тургеневъ тянулся умомъ, но въ сердцѣ его многое органически приросло къ старому. При смѣнѣ поколѣній, столкновеніи «отцовъ и дѣтей» онъ не могъ подавить естественнаго сочувствія къ лучшимъ изъ первыхъ, своимъ сверстникамъ, осужденнымъ исторіей, и не почувствовать извѣстнаго внутренняго недоброжелательства къ побѣдителямъ, которые безъ особой мягкости торжествовали свою минутную, до будущей смѣны побѣду. У Тургенева, вскрывавшаго душевныя противорѣчія и жизненную несостоятельность Рудина, невольно дрогнула рука, и изъ придирчиваго прокурора онъ невольно обратился въ пылкаго защитника. Оправдывающій свою фамилію Лежневъ, «среднее ариѳметическое» 40-хъ

годовъ, попалъ при этомъ въ не совсѣмъ ловкое положеніе: послѣ безжалостнаго разоблаченія Рудина онъ долженъ былъ перейти къ его апоѳеозу и наивно объяснять потомъ женѣ свои противорѣчія такъ: «лежачаго не бьютъ... а я тогда боялся, какъ бы онъ тебѣ голову не вскружилъ». И самъ авторъ размахнулся было на «лежачихъ», какими были тогда въ общественномъ отношеніи Рудины, а затѣмъ рѣшилъ: «лежачаго не бьютъ», тѣмъ болѣе, что ихъ уже начали бить жизнь и новое поколѣніе...

Рудинъ въ этомъ отношеніи не стоитъ особнякомъ въ нашей литературѣ: приблизительно то же можно сказать о Чацкомъ, Печоринѣ, Онѣгинѣ въ особенности. Они выростали изъ души писателей, на субъективной, автобіографической почвѣ и затѣмъ превращались въ «героевъ своего времени», не теряя слѣдовъ своего первоначальнаго происхожденія, часто двоясь въ представленіи читателей. Онѣгинъ — «наслѣдникъ всѣхъ своихъ родныхъ», «демонъ», разочарованный «повѣса», убійца Ленскаго, учитель и безнадежный вздыхатель Татьяны — конечно, не одно и то же, хотя и производитъ, благодаря могучему таланту автора, иллюзію цѣльности. На протяженіи романа Пушкинъ видитъ въ немъ «низкое коварство», вѣрнѣе — пошлость корыстныхъ ухаживаній за дядей, «неподражательную странность и рѣзкій, охлажденный умъ» при возможности позднѣйшаго допущенія: «ужъ не пародія ли онъ?» и «москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ», умъ, «любящій просторъ» и «тѣснящій» посредственность при всей безтолочи его жизни. Обвинитель — вначалѣ своего романа — «повѣсы», онъ дѣлается его сочувствующимъ, стойкимъ защитникомъ подъ конецъ романа, оправдывая то, чего не хотѣлъ или не могъ объяснить раньше. Не то же ли, приблизительно, произошло и съ Тургеневымъ?

Отбросивъ диссонирующія черты, мы получаемъ въ Рудинѣ цѣнный типъ нашей общественности 30—40-хъ годовъ. Его первые, неувѣренные эскизы — «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда» и Чулкатуринъ «Дневника лишняго человѣка». Слабая одаренность, почти убожество послѣдняго при непомѣрномъ самолюбіи дѣлаетъ его «лишнимъ человѣкомъ» не только субъективно, но и объективно; трагедія цѣлаго періода нашей жизни сведена на слишкомъ узкую и бѣдную почву. Въ «Гамлетѣ» вопросъ суженъ тѣмъ, что психологія «лишняго человѣка» сведена только къ чужеядности вычитанныхъ изъ книгъ идеаловъ и къ сильно раздутому вреду кружковщины и слишкомъ вообще измельчала. «Рудинъ» и «Кто виноватъ?» Герцена (1846) выясняютъ вопросъ о «лишнихъ людяхъ» во всемъ его объемѣ, дополняя другъ друга.

Прочтя «Рудина», Аксаковъ писалъ Тургеневу: «Рудинъ похожъ очень на общаго нашего знакомаго [1]), хотя, какъ сходство, онъ не очень удовлетворителенъ. Кой-гдѣ встрѣчаются неуясненности, характеръ Рудина не широко развитъ; но, тѣмъ не менѣе, повѣсть имѣетъ большое значеніе, и такое лицо, какъ Рудинъ, замѣчательно и глубоко. Лѣтъ десять тому назадъ вы бы изобразили Рудина совершеннымъ героемъ. Нужна была зрѣлость созерцанія для того, чтобы видѣть пошлость рядомъ съ необыкновенностью, дрянность рядомъ съ достоинствомъ, какъ въ Рудинѣ. Вывести Рудина было очень трудно, и вы эту трудность побѣдили, хотя и можно кой-чего еще бы прибавить. Теперь вы Печорина, конечно, выставили бы не героемъ. А замѣчательное лицо — нашъ знакомый».

Въ 1846 году Герценъ изображаетъ своего Бельтова-Рудина «совершеннымъ героемъ». Положимъ, авторъ насъ больше увѣряетъ въ исключительности, почти геніальности [2]) своего героя, чѣмъ доказываетъ и показываетъ ее; во всякомъ случаѣ, желаніе поставить его на пьедесталъ несомнѣнно. И въ то же время ставится вопросъ, «кто виноватъ» не только въ трагической исторіи любви Бельтова и Круциферской, но и въ томъ, что Бельтовъ оказался «лишнимъ человѣкомъ». Уже эпиграфъ подсказываетъ отвѣтъ: «и случай сей за неоткрытіемъ виновныхъ преданъ волѣ Божіей, дѣло же, почисливъ рѣшеннымъ, сдать въ архивъ», — т.-е. никто не виноватъ или, что почти одно и то же, всѣ виноваты и все должно нести извѣстную долю отвѣтственности. Герценъ раскрываетъ широкую картину тепличнаго, далекаго отъ дѣйствительности воспитанія, — жизненной тины, неприложимости силъ; общественный фонъ появленія и развитія «лишнихъ людей» выяснется у него даже съ большею опредѣленностью, чѣмъ въ «Рудинѣ». Онъ близко подошелъ къ основнымъ противорѣчіямъ нашей изломанной, на живую нитку сметанной изъ разныхъ кусковъ культуры, съ ея безпочвенностью, искусственностью. «Счастливъ тотъ человѣкъ, который продолжаетъ начатое, которому преемственно передано дѣло: онъ рано пріучается къ нему, онъ не тратитъ полжизни на выборъ, онъ сосредоточивается, ограничивается для того, чтобы не расплыться, — и производитъ. Мы чаще всего начинаемъ вновь, мы отъ отцовъ своихъ наслѣдуемъ только движимое и недвижимое имѣніе, да и то плохо хранимъ; оттого по большей части мы ничего не хотимъ дѣлать, а если хотимъ,

---

[1]) Имѣется въ виду Бакунинъ.

[2]) Тургеневъ хотѣлъ первоначально назвать свой романъ — „Геніальная натура": конечно, иронія.

то выходимъ на необозримую степь, иди, куда хочешь, во всѣ стороны — воля вольная, только никуда не дойдешь: это наше многостороннее бездѣйствіе, наша дѣятельная лѣнь». Грубоватый докторъ Круповъ прямо говоритъ Бельтову: «вамъ жизнь надоѣла отъ праздности, — ничего не дѣлать должно быть очень скучно; вы, какъ всѣ больные люди, не привыкли къ труду. Дай вамъ судьба опредѣленное занятіе, да отними она у васъ Бѣлое Поле, вы бы стали работать, положимъ, для себя, изъ хлѣба, а польза то вышла бы для другихъ; такъ то все на свѣтѣ и дѣлается». «Бѣлое Поле» — крѣпостное право; городъ N, который вытолкнулъ желавшаго примѣнить свои силы Бельтова, — Николаевская Русь. Иллюстраціями къ положенію Бельтова, освѣщенному съ цензурными недоговорками, могутъ быть многіе историческіе документы 30—50-хъ годовъ. Въ дневникъ 1842 года Герценъ заноситъ: «поймутъ ли, оцѣнятъ ли грядущіе люди весь ужасъ, всю трагическую сторону нашего существованія? А между тѣмъ наши страданія — почка, изъ которой разовьется ихъ счастье. Поймутъ ли они, отчего мы лѣнтяи, отчего ищемъ всякихъ наслажденій, пьемъ вино и пр.? Отчего руки не поднимаются на большой трудъ? Отчего въ минуту восторга не забываемъ тоски?... О, пусть они остановятся съ мыслью и съ грустью передъ камнями, подъ которыми мы уснемъ — мы заслужили ихъ грусть!... Насъ убиваетъ пустота и безпорядокъ въ прошедшемъ, какъ въ настоящемъ отсутствіе всякихъ общихъ интересовъ». Пушкина, Грибоѣдова, Лермонтова, Тургенева, Герцена, Грановскаго спасалъ ихъ поэтическій и научный геній, далъ исходъ ихъ силамъ, сдѣлалъ ихъ въ той или другой степени «не лишними»; для Чацкихъ, Онѣгиныхъ, Печориныхъ, Рудиныхъ, Бельтовыхъ такого исхода не было.

Въ «Рудинѣ» Тургеневъ выдвинулъ многія типическія стороны той эпохи (дѣйствіе романа совершается приблизительно въ началѣ 40-хъ годовъ). Его герой — изъ средняго, рядового, небогатаго дворянства, не аристократъ; барственность въ немъ есть, но она смягчена университетомъ, общеніемъ съ «разночинцами», жизнью кружковъ; молодость Рудина ушла на выработку общаго, широкаго философскаго міровоззрѣнія; у него настоятельная потребность рѣшенія «проклятыхъ вопросовъ», изощренныя діалектическія способности, талантъ энтузіаста-оратора и трибуна, отвращеніе къ будничной работѣ, жажда «великаго» и «высокаго». Ему противопоставленъ Покорскій, которому Тургеневъ придалъ внѣшнее положеніе Бѣлинскаго, психологію и роль Бѣлинскаго и Станкевича. Въ Покорскомъ тѣ же черты эпохи, но очищенныя отъ эгоизма, деспотизма

и фразы Рудина. Въ нравственномъ отношеніи Покорскій тоньше, чище, гармоничнѣе Рудина, и его негодованіе на жизнь, широкая постановка нравственныхъ вопросовъ имѣетъ за собою больше правъ. Неудачливость Рудина объясняется и отсутствіемъ въ немъ цѣльности, и условіями среды. Въ немъ холодность и эксцентризмъ Онѣгина, обостренное самолюбіе, игра чужими умами и сердцами Печорина; какъ Обломовъ, онъ «разсыпается» передъ «первымъ препятствіемъ», не можетъ «побѣдить свою лѣнь», безволенъ; онъ — «перекати — поле», «вѣчный странникъ», неудачникъ и горемыка, «скиталецъ тѣломъ и душой». Онъ не отстраняется брезгливо отъ жизни, а пробуетъ вмѣшаться въ ея гущу, идетъ въ нее съ своею идеалистическою проповѣдью, зажигая молодыя сердца, но въ большинствѣ случаевъ оказывается «лишнимъ», не замѣчая результатовъ своей проповѣди или наталкиваясь на внѣшнія препятствія. Окружающей средѣ въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ его проповѣди не нужны; отъ народа и народности онъ отчужденъ.

Рудинъ — не только «идеалистъ», романтикъ, но и западникъ. Отношеніе къ нему Тургенева тѣмъ болѣе знаменательно. Подобно Бѣлинскому, великій романистъ требовалъ сближенія не только съ жизнью, но и съ народностью. Оба они не признавали славянофильства, но и не были космополитами. Тургеневъ далъ позднѣе симпатичный образъ славянофила Лаврецкаго и отталкивающій — западника Паншина [1]).

Трагикомическая смерть Рудина, ненужная, вызванная минутнымъ порывомъ, дорисовываетъ его портретъ окончательно.

Психологія Натальи только намѣчена и представлена больше внѣшними чертами. Она идетъ черезъ любовь къ новой жизни, ищетъ героя — чтобы найти его въ Рудинѣ и выходитъ замужъ за Волынцева — чтобы имъ «командовать». Фонъ — жизнь въ домѣ Ласунской и сама Ласунская обрисованы ярко.

Напечатавъ свой первый романъ, Тургеневъ осенью 1856 года уѣзжаетъ за границу, не безъ труда получивъ разрѣшеніе. Его тянетъ къ Віардо, но жизнь за границей мало прельщаетъ. Теперь онъ можетъ отблагодарить семьѣ Віардо за участіе и матеріальную помощь въ самую тяжелую минуту разрыва съ матерью, но положеніе все же оставалось сложнымъ и ложнымъ. Тургеневъ долженъ вести ненавистную ему «цыганскую жизнь», жить въ чужомъ гнѣздѣ и

---

[1]) Въ эту эпоху Тургеневъ съ славянофилами сближается, на почвѣ личныхъ отношеній. Сказались въ данномъ случаѣ, кромѣ того, перерожденіе западничества и славянофильства и извѣстное „овладѣваніе западной либеральной партіи знаменемъ славянофильства“.

думать: «не свить мнѣ, видно, гнѣзда нигдѣ и никогда». Его любила семья Віардо, но все же онъ часто чувствовалъ себя въ ней чужимъ и лишнимъ. Привязать себя къ побѣдоносной колесницѣ избалованной успѣхами артистки оказалось легко, оторваться — невозможно. Моментами онъ переживаетъ острую тоску по родинѣ. Творчество призывало къ живымъ наблюденіямъ и изсякало вдали. Въ письмахъ И. С. этого періода звучатъ все болѣе и болѣе мрачныя ноты: «что ни говори, на чужбинѣ точно вывихнутый. Никому ненуженъ — и тебѣ никто не нуженъ. Надо пріѣзжать сюда молодымъ, когда еще собираешься только жить — или же старымъ, когда покончилъ жизнь»; «я въ этомъ чужомъ воздухѣ разлагаюсь, какъ мерзлая рыба при оттепели». Серьезно онъ хочетъ отказаться отъ творчества: «таланта съ особенной физіономіей и цѣлостью нѣтъ; были поэтическія струнки, да онѣ прозвучали и отзвучали — повторяться не хочется... Я хотѣлъ бросить стихи писать, какъ только убѣдился, что я не поэтъ, а по теперешнему моему убѣжденію, я такой же повѣствователь, какой былъ поэтъ».

Въ 1856 году онъ не пишетъ ничего. Въ слѣдующемъ году пробуетъ писать, но работа идетъ вяло. Всколыхнули его только вѣсти изъ Россіи, начавшійся тамъ подъемъ общественнаго настроенія. Вмѣстѣ съ другими русскими Тургеневъ въ Римѣ въ 1857 году вырабатываетъ программу «Хозяйственнаго указателя», журнала, посвященнаго разработкѣ крестьянскаго вопроса. Одновременно онъ работаетъ надъ «Дворянскимъ гнѣздомъ», оконченнымъ уже въ Россіи (1858). Въ романѣ этомъ отразились новыя вѣянія русской жизни. По мѣткому выраженію проф. В. О. Ключевскаго, «Дворянское гнѣздо» и «Обломовъ» — «двѣ части одной книги объ умирающихъ. Обѣ піесы — похоронныя пѣсни: въ одной отпѣвался извѣстный житейскій порядокъ, въ другой — общественный типъ. Съ Лизой Калитиной, уходившей въ монастырь, отрекались отъ міра чувства и отношенія извѣстной дворянской среды, жертвой которыхъ была отшельница, а въ лицѣ Обломова, кашляя и кряхтя, лѣзъ умирать на печку послѣдній наиболѣе безпомощный питомецъ и представитель этихъ же чувствъ и отношеній». Отпѣваніе было сдѣлано въ мягкихъ элегическихъ тонахъ. Въ рѣчахъ «полтавскаго Демосѳена» Михалевича, во многихъ взглядахъ и дѣйствіяхъ Лаврецкаго звучно раздался призывъ къ общественному обновленію. Лаврецкому же приписалъ Тургеневъ охватившее его самого послѣ возвращенія изъ-за границы «глубокое и сильное чувство родины».

Генеалогія Лаврецкихъ вмѣстѣ съ первыми страницами «Былого и Думъ» Герцена исключительный по своему историческому значенію

документъ. Общественный смыслъ этого документа прекрасно формулируютъ слѣдующія слова Герцена о нашихъ барахъ стараго времени: «Иностранцы дома, иностранцы въ чужихъ краяхъ, праздные зрители, испорченные для Россіи западными предразсудками, для Запада — русскими привычками, они представляли какую то умную ненужность и терялись въ искусственной жизни, въ чувственныхъ наслажденіяхъ и нестерпимомъ эгоизмѣ» — съ тою только разницею, что въ «ненужности» Ивана Лаврецкаго «ума» было мало, гораздо меньше, чѣмъ у отца Герцена, Яковлева. Безтолковое воспитаніе искалѣчило всю жизнь Ѳедора Лаврецкаго, подготовило нелѣпую трагедію его брака; благодаря ему «на женскую любовь ушла вся его жизнь». «Лишнимъ человѣкомъ» онъ можетъ быть названъ только съ извѣстными ограниченіями: онъ себя чувствуетъ имъ субъективно въ концѣ своей жизни, объективно же такимъ онъ не былъ: онъ не фразеръ, какъ Рудинъ, а все же дѣятель, хотя и въ ограниченныхъ размѣрахъ; у него больше, чѣмъ у многихъ сверстниковъ, связей съ народомъ и землей, не только потому, что его мать была крестьянка, но и въ силу позднѣйшихъ условій его развитія. Нравственнаго удовлетворенія жизнь ему не дала. Грустный итогъ ея — въ послѣднихъ словахъ Лаврецкаго новому поколѣнію дома Калитиныхъ: «Играйте, веселитесь, растите, молодыя силы! Жизнь у васъ впереди... вамъ не придется, какъ намъ отыскивать дорогу, бороться, падать... Мы хлопотали о томъ, какъ бы уцѣлѣть — и сколько изъ насъ не уцѣлѣло! — а вамъ надобно дѣло дѣлать, работать... А мнѣ... остается отдать вамъ послѣдній поклонъ — и... сказать, въ виду конца, въ виду ожидающаго Бога: здравствуй, одинокая старость! Догорай, безполезная жизнь!...» Въ этихъ словахъ прозвучала и субъективная нотка автора, которому тоже предстояла «одинокая старость» и который тоже такъ часто думалъ о безполезности своей жизни. Это мѣтко уловилъ де-Вогюэ: «Романъ заканчивается эпилогомъ въ нѣсколько страницъ; этотъ эпилогъ есть и всегда будетъ однимъ изъ образцовъ русской литературы. Прошло восемь лѣтъ. Въ одно весеннее утро Лаврецкій возвращается въ дворянское гнѣздо. Новое поколѣніе населяетъ его; существа, которыхъ мы оставили дѣтьми, стали въ свою очередь молодыми женщинами и юношами съ новыми чувствами, съ новыми интересами. Лаврецкій, какъ выходецъ съ того свѣта, попадаетъ къ нимъ, въ самый разгаръ игръ и забавъ. Точно такъ же начался разсказъ; кажется, какъ-будто мы начали читать его сызнова. Лаврецкій садится на скамью, гдѣ когда то онъ сидѣлъ рядомъ съ любимой дѣвушкой, и жалъ ту руку, которая теперь перебираетъ четки въ обители; юныя птички стараго гнѣзда

не знаютъ, что отвѣчать на вопросы этого чужого человѣка, помѣшавшаго ихъ веселью: онѣ позабыли исчезнувшую Лизу, у нихъ много своихъ дѣлъ, и онѣ снова принимаются за игры. Между тѣмъ какъ одиночество и горе изсушили это человѣческое сердце, тѣ же выраженія рисуютъ ту же неизмѣнно юную природу, новыя и всегда одинаковыя радости новаго поколѣнія дѣтей; словно слышишь повтореніе начальной мелодіи въ финалѣ Шопеновской сонаты. Никогда, быть-можетъ, никто не сумѣлъ передать такъ осязательно, живымъ примѣромъ грустный контрастъ между вѣчностью природы и бренностью человѣка; никто еще съ помощью такихъ удачно выбранныхъ примѣровъ не давалъ намъ такъ жестоко почувствовать безпощадное дѣйствіе времени».

Судьба Лизы и Лаврецкаго — элегическая отходная отживающему общественному строю: въ этомъ заключается историческое и общественное значеніе романа. Но этимъ далеко не исчерпывается его литературная цѣнность. Героиня романа, Лиза Калитина, — одинъ изъ прекраснѣйшихъ образовъ нашей литературы и представляетъ глубокій психологическій интересъ.

Передъ нами интимное зарожденіе и ростъ религіознаго чувства. Благочестивые разсказы няни падали на благодарную по природѣ почву, «и образъ Вездѣсущаго, Всезнающаго Бога съ какой то сладкой силой втѣснялся въ душу Лизы, а Христосъ становился чѣмъ то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ». Въ ней слагается мистическая любовь къ Богу, глубокая, чистая, искренняя и нѣжная: «вся проникнутая чувствомъ долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ, она любила всѣхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога восторженно, робко, нѣжно». Въ любви этой не было страха, подчиненія, порабощенія воли; въ ней много внутренней свободы, которая такъ сближаетъ Лизу съ Маріанной «Нови», при всей разницѣ ихъ психическаго содержанія: обѣ онѣ жаждутъ подвига, хотя идеалы ихъ различны; обѣ ставятъ свою идею выше любви. И Маріанна, и Лиза глубоко проникнуты альтруизмомъ, но у Лизы нравственное чувство шире, чище и выше, она не умѣетъ ненавидѣть, зато умственный міръ ея уже. Религіозные и нравственные мотивы опредѣляютъ всю ея жизнь. Они же приводятъ ее и въ монастырь, гдѣ она осуществитъ свое призваніе, исполнитъ долгъ передъ Богомъ, людьми и собой, укроется отъ грубыхъ противорѣчій жизни и окончательно подавитъ въ себѣ шевельнувшееся грѣшное чувство. Одинъ изъ критиковъ не даромъ назвалъ ее «святой».

«Дворянское гнѣздо» — апогей развитія художественнаго таланта Тургенева, вѣнецъ его «второй манеры». Романъ необыкно-

венно выдержанъ, въ немъ нѣтъ ни одного лишняго лица, ни одного лишняго слова; каждая самая мелкая подробность глубоко продумана и неуклонно ведетъ къ общей цѣли. Тургеневъ достигъ высшей концентраціи и энергіи творчества. Съ Лизой читатель знакомится постепенно. Черта за чертой складывается въ его душѣ образъ героини изъ намековъ, отдѣльныхъ движеній, соотношеній съ другими лицами, и когда онъ «съ какою то сладкой силой втѣсняется» въ душу читателя, становится ей «близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ», авторъ даетъ разсказъ о дѣтствѣ своей героини и развертываетъ передъ нами драму ея жизни. Родными дѣлаются для насъ и геніальный чудакъ-неудачникъ Леммъ, и прямая, рѣзкая, грубоватая Марѳа Тимоѳеевна, и строгая Агаѳья, и угловатый идеалистъ Михалевичъ. Всѣ они такъ ярко выступаютъ на фонѣ самоувѣренной пошлости и ограниченнаго западничества Паншина, изящной пустоты и чувственнаго бездушія Варвары Павловны, сантиментальной расплывчатости Маріи Дмитріевны. Выступаютъ, какъ яркіе, цѣльные образы, живьемъ выхваченные изъ дѣйствительности. Типомъ Лизы Тургеневъ выполнилъ задачу, о которой мечталъ Гоголь — въ живыхъ поэтическихъ образахъ «пропѣть гимнъ Красотѣ Небесной». Исторія ея любви къ Лаврецкому по тонкости и прелести психологическаго рисунка всегда будетъ однимъ изъ лучшихъ произведеній міровой литературы.

Романъ вызвалъ общій восторгъ и высоко поднялъ литературную репутацію Тургенева. По свидѣтельству Анненкова, на немъ «сошлись люди противоположныхъ партій въ одномъ общемъ приговорѣ, представители разнородныхъ системъ и воззрѣній подали другъ другу руку и выразили одно и то же мнѣніе». Послѣ всѣхъ своихъ сомнѣній авторъ могъ считать себя вполнѣ удовлетвореннымъ.

Черезъ годъ былъ готовъ третій романъ — «Наканунѣ». Образъ Елены, чуткой женской души, которою Россія просыпалась, тянулась къ новой жизни, давно уже носился въ воображеніи Тургенева. Еленѣ и ея автору нуженъ былъ герой, какихъ не давало тогдашнее русское общество, и простая случайность подсказала его Тургеневу.

О ней И. С. разсказываетъ въ предисловіи къ своимъ романамъ: попавшая къ нему въ руки бездарная рукопись натолкнула его на мысль влюбить Елену въ болгарина и указала дальнѣйшее развитіе дѣйствія, которое получило глубокій общественный смыслъ. Шубинъ формулируетъ его въ разговорѣ съ милой «почвой», оригинальной «черноземной силой» — Уваромъ Ивановичемъ: «да! да! нечего говорить о себѣ: нечего хвастаться. Нѣтъ еще у насъ никого, нѣтъ людей, куда ни посмотри. Все — либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоѣды,

либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, изъ пустого въ порожнее переливатели да палки барабанныя! А то вотъ еще какіе бываютъ: до позорной тонкости самихъ себя изучили, щупаютъ безпрестанно пульсъ каждому своему ощущенію и докладываютъ самимъ себѣ: вотъ что я, молъ, чувствую, вотъ что я думаю. Полезное, дѣльное занятіе! Нѣтъ, кабы были между нами путные люди, не ушла бы отъ насъ эта дѣвушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, какъ рыба въ воду! Что жъ это, Уваръ Ивановичъ? Когда жъ наша придетъ пора? Когда у насъ народятся люди?» — «Дай срокъ, — отвѣчалъ Уваръ Ивановичъ: — будутъ». По поводу романа и Добролюбовъ задалъ вопросъ: «когда же придетъ настоящій день?» Самая напряженность вопроса показываетъ, что русская жизнь была «наканунѣ» поворота, что «настоящій день» былъ уже близокъ...

Самая цѣнная сторона романа — образъ Елены, ея смутныя исканія свободы и дѣятельности, пробужденіе въ ней человѣческой личности, ея женскій героизмъ, ея отожествленіе любви и идейнаго общественнаго подвига. Что-то бодрящее, свѣтлое и свѣжее навѣваетъ онъ, и вводитъ насъ въ нравственную атмосферу весны русской жизни. И жутко дѣлается не одному Шубину за русскую жизнь, что она не сумѣла привязать къ себѣ такую крупную нравственную силу, давала ей въ лучшемъ случаѣ талантливыхъ повѣсъ Шубиныхъ и самоотверженный вѣчный «второй номеръ» — Берсеневыхъ, укрывающихся отъ жизни за «исторію Гогенштауфеновъ», въ худшемъ — хищныхъ карьеристовъ Курнатовскихъ и убійственную пошлость Стаховыхъ. Инсаровъ первый показалъ ей перспективы живого дѣла, хотя бы далекаго и чужого, и она оставила для него семью, родину, сразу оборвала всѣ свои прежнія связи.

«Наканунѣ» пишется то за границей, то въ Спасскомъ. Помѣщенъ былъ романъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ»: разрывъ съ «Современникомъ» уже назрѣлъ. Помимо личныхъ столкновеній и треній, въ немъ было много и принципіальнаго: въ борьбѣ поколѣній Некрасовъ опредѣленно сталъ на сторону «разночинцевъ» и «нигилистовъ», Тургеневъ же не могъ простить литературной молодежи слишкомъ пренебрежительнаго отношенія къ предшественникамъ, крайностей политическихъ, философскихъ и литературныхъ. Обостреніе отношеній между «отцами» и «дѣтьми» шло все дальше и глубже.

Подъемъ творческихъ силъ шелъ объ-руку и съ напряженной общественной дѣятельностью. И. С. принимаетъ самое оживленное участіе въ организаціи Литературнаго Фонда для помощи писателямъ и ученымъ и оказываетъ ему «чрезвычайно значительную» матеріальную помощь. Живя за границей (во Франціи и Англіи), онъ напря-

женно слѣдитъ за ходомъ крестьянской реформы и въ 1860 году на островѣ Уайтѣ вмѣстѣ съ другими русскими задумываетъ «Общество для распространенія грамотности и первоначальнаго обученія». Общественное возбужденіе влило и въ него много бодрой вѣры, отразившейся и на «Отцахъ и дѣтяхъ», начатыхъ въ концѣ 1860 года. И. С. «сгораетъ жаждой быть въ Россіи». Манифестъ растрогалъ его до глубины души. И. С. съ декабристомъ Волконскимъ и Н. И. Тургеневымъ устраиваютъ въ парижской посольской церкви благодарственный молебенъ по случаю освобожденія крестьянъ. Въ письмѣ онъ писалъ: «священникъ Васильевъ произнесъ намъ умную и трогательную рѣчь, отъ которой мы всплакнули... Передо мной стоялъ Н. И. Тургеневъ и также утиралъ слезы; для него это было вродѣ «нынѣ отпущаеши раба твоего»... «дожили мы до этого великаго дня»—было на умѣ и на устахъ у каждаго». Въ Спасскомъ онъ устраиваетъ свои дѣла съ крестьянами, уступаетъ имъ пятую часть земли, значительно больше нормы Положенія, и въ главномъ имѣніи уступаетъ даромъ крестьянамъ усадебную землю. Позднѣе для нихъ были устроены школа, богадѣльня и больница.

«Отцы и дѣти» пишутся въ теченіе 1861 года. Появился романъ въ слѣдующемъ году въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Катковъ отнесся къ нему не особенно сочувственно и говорилъ: «какъ не стыдно Тургеневу было спустить флагъ передъ радикаломъ и отдать ему честь, какъ передъ заслуженнымъ воиномъ». Редакторъ заставилъ И. С. внести въ текстъ романа рядъ смягченій, въ которыхъ потомъ Тургеневъ сильно раскаивался. Онъ предчувствовалъ грозу, то, что его любимое дѣтище не удовлетворитъ ни консерваторовъ, ни либераловъ, ни «нигилистовъ» и долго колебался печатать его. Послѣдствія оказались гораздо болѣе тяжелыми.

Тургеневъ заинтересовался новымъ теченіемъ передовой общественной мысли, какъ художникъ и мыслитель, тогда, когда оно не опредѣлилось еще окончательно. Въ рѣзкомъ столкновеніи партій онъ хотѣлъ взять средній, безпристрастный тонъ и не удовлетворилъ почти никого. Катковъ писалъ: «если и не въ апоѳеозу возведенъ Базаровъ, то нельзя не сознаться, что онъ какъ то случайно попалъ на очень высокій пьедесталъ. Онъ дѣйствительно подавляетъ все окружающее. Все передъ нимъ или ветошь, или слабо и зелено. Такого ли впечатлѣнія нужно было желать? Въ повѣсти чувствуется, что авторъ хотѣлъ характеризовать начало, ему мало сочувственное, но какъ будто колебался въ выборѣ тона и безсознательно покорился ему. Чувствуется что то несвободное въ отношеніяхъ автора къ герою повѣсти, какая-то неловкость и принужденность. Авторъ передъ нимъ какъ будто теряется, и не любитъ, а пуще боится его!».

Самъ Тургеневъ по поводу своего злополучнаго романа вспоминалъ позднѣе: «у меня, по поводу «Отцовъ и Дѣтей», составилась довольно лыбопытная коллекція писемъ и прочихъ документовъ. Сопоставленіе ихъ не лишено нѣкотораго интереса. Въ то время, какъ одни обвиняютъ меня въ оскорбленіи молодого поколѣнія, въ отсталости, въ мракобѣсіи, извѣщаютъ меня, что съ «хохотомъ презрѣнія сжигаютъ мои фотографическія карточки», — другіе, напротивъ, съ негодованіемъ упрекаютъ меня въ низкопоклонствѣ передъ самымъ этимъ молодымъ поколѣніемъ. «Вы ползаете у ногъ Базарова!» восклицаетъ одинъ корреспондентъ: «вы только притворяетесь, что осуждаете его; въ сущности, вы заискиваете передъ нимъ и ждете, какъ милости, одной его небрежной улыбки!» — Помнится, одинъ критикъ, въ сильныхъ и краснорѣчивыхъ выраженіяхъ, прямо ко мнѣ обращенныхъ, представилъ меня вмѣстѣ съ г. Катковымъ въ видѣ двухъ заговорщиковъ, въ тишинѣ уединеннаго кабинета замышляющихъ свой гнусный ковъ, свою клевету на молодыя русскія силы. Картина вышла эффектная!» Между писателемъ и обществомъ произошло коренное недоразумѣніе. Отчасти въ немъ былъ виноватъ и Тургеневъ: любя Базарова, какъ сильную, оригинальную, многообѣщающую силу, онъ, изъ безпристрастія, слишкомъ оттѣнилъ его отрицательныя стороны; противопоставленіе поколѣній вышло слишкомъ рѣзкимъ: самъ авторъ признавался, что «въ фигурѣ Павла Кирсанова даже погрѣшилъ противъ художественной правды и пересолилъ, довелъ до карикатуры его недостатки, сдѣлалъ его смѣшнымъ»; изображеніе «нигилизма» и «революціоннаго» склада натуры въ Базаровѣ вышло неполнымъ и двойственнымъ: для «нигилиста» и «революціонера» онъ обладаетъ слишкомъ большой внутренней свободой, слишкомъ индивидуалистъ, немного «самоломанный» романтикъ, съ раздвоенностью души, которою тогдашнее молодое поколѣніе все меньше отличалось. И вотъ одни изъ критиковъ и читателей хватались за обличенія дворянской культуры, возвеличеніе Базарова — и объявляли самого Тургенева «революціонеромъ» или заискивающимъ потакателемъ молодежи, другіе цѣплялись за карикатурные типы Ситниковыхъ и Кукшиныхъ, за шероховатыя, рѣзкія черты Базарова и видѣли въ немъ злостную клевету на молодое поколѣніе [1]). Только немногіе захотѣли и смогли стать на точку зрѣнія

---

[1]) Тургеневъ писалъ въ 1869 году: „въ числѣ множества доказательствъ моей „злобы противъ юношества“ одинъ критикъ привелъ и тотъ фактъ, что я заставилъ Базарова проиграть въ карты отцу Алексѣю. „Не знаетъ, молъ, чѣмъ бы только уязвить и унизить его! И въ карты, молъ, не умѣетъ играть!“ Нѣтъ никакого сомнѣнія, что если бы я заставилъ Базарова выиграть — тотъ же критикъ съ торже-

автора, вскрыть недоразумѣніе. Онъ пытался объяснить ее и въ письмахъ и въ печатной статьѣ, но все это дѣлу мало помогало. Его свидѣтельства очень цѣнны для исторіи романа, для пониманія его главной мысли.

И. С. пишетъ Герцену: «при сочиненіи Базарова я не только не сердился на него, но чувствовалъ къ нему «влеченье, родъ недуга», — такъ что Катковъ на первыхъ порахъ ужаснулся и увидалъ въ немъ апоѳеозу «Современника» и вслѣдствіе этого уговорилъ меня выбросить немало смягчающихъ чертъ, въ чемъ я раскаиваюсь. Еще бы онъ не подавилъ собою «человѣка съ душистыми усами» и другихъ! Это торжество демократизма надъ аристократіей. Положа руку на сердце, я не чувствую себя виновнымъ передъ Базаровымъ и не могъ придать ему ненужной сладости. Если его не полюбятъ, какъ онъ есть, со всѣмъ его безобразіемъ, значитъ я, виновенъ и не сумѣлъ сладить съ избраннымъ мною типомъ. Штука была бы не важная представить его идеаломъ; а сдѣлать его волкомъ и все-таки оправдать его — это было трудно; и въ этомъ я, вѣроятно, не успѣлъ: но я хочу только отклонить нареканіе въ раздраженіи противъ него. Мнѣ, напротивъ, сдается, что противное раздраженію чувство свѣтится во всемъ, въ его смерти и т. д.». На Базарова, «умницу», «героя», потрачены всѣ краски, какія были въ распоряженіи автора. Онъ хотѣлъ сдѣлать изъ своего героя «лицо трагическое». Базаровъ — «честенъ, правдивъ и демократъ до мозга костей»; «если онъ называется нигилистомъ, то надо читать: революціонеромъ». Цѣль романа объясняется такъ: «вся моя повѣсть направлена противъ дворянства, какъ передового класса»; вся семья Кирсановыхъ — «слабость, вялость или ограниченность»; дуэль освѣщаетъ «пустоту элегантно-дворянскаго рыцарства, выставленнаго почти преувеличенно-комически». Николай Кирсановъ, говоритъ И. С., «это — я, Огаревъ и тысячи другихъ». Базаровъ говорилъ Аркадію въ одномъ мѣстѣ, выброшенномъ изъ цензурныхъ соображеній: «твой отецъ — честный малый, но будь онъ расперевзяточникъ, ты все-таки дальше благороднаго стремленія или кипѣнія не пошелъ бы, потому что ты дворянинъ». Въ Базаровѣ И. С. «мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая изъ почвы, сильная, злобная, честная и все-таки обреченная на гибель, потому что она все-таки стоитъ еще въ преддверіи будущаго», «мечтался какой-то страшный pendant съ Пугачевымъ».

ствомъ бы воскликнулъ: „не явное ли дѣло? — Авторъ хочетъ дать понять, что Базаровъ шуллеръ!“

Въ печатной статьѣ объ «Отцахъ и дѣтяхъ» Тургеневъ такъ говоритъ о возникновеніи типа Базарова: «не обладая большою долею свободной изобрѣтательности, я всегда нуждался въ данной почвѣ, по которой я могъ бы твердо ступать ногами. Точно то же произошло съ «Отцами и дѣтьми»: въ основаніе главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинціальнаго врача (онъ умеръ незадолго до 1860 года). Въ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ воплотилось — на мои глаза — то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило названіе нигилизма. Впечатлѣніе, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и въ то же время не совсѣмъ ясно; я, на первыхъ порахъ, самъ не могъ хорошенько отдать себѣ въ немъ отчета — и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, какъ бы желая повѣрить правдивость собственныхъ ощущеній. Меня смущалъ слѣдующій фактъ: ни въ одномъ произведеніи нашей литературы я даже намека не встрѣчалъ на то, что мнѣ чудилось повсюду; поневолѣ возникло сомнѣніе: ужъ не за призракомъ ли я гонюсь?»

Еще интереснѣе по своей откровенности объясненіе въ письмѣ къ Салтыкову-Щедрину: «не удивляюсь, что Базаровъ остался для многихъ загадкой: я самъ не могу хорошенько себѣ представить, какъ я его написалъ. Тутъ былъ — не смѣйтесь, пожалуйста, — какой то фатумъ, что то сильнѣе самого автора, что то независимое отъ него. Знаю одно: никакой предвзятой мысли, никакой тенденціи во мнѣ тогда не было; я писалъ наивно, словно самъ дивясь тому, что у меня выходило... Скажите по совѣсти, развѣ кому-нибудь можетъ быть обидно сравненіе его съ Базаровымъ? Не сами ли вы замѣчаете, что это самая симпатичная изъ всѣхъ моихъ фигуръ?...»

Все это намѣчаетъ двѣ стороны романа: разоблаченіе дворянской культуры, представленной «сладенькимъ романтикомъ» Николаемъ Петровичемъ, утрированнымъ аристократизмомъ Павла Петровича, «ручнымъ» Аркадіемъ, хищною уравновѣшенностью Одинцовой, — «представительницы нашихъ праздныхъ, мечтающихъ, любопытныхъ и холодныхъ барынь-эпикуреекъ», — играющей чужими сердцами, сохраняя за собою полную свободу — и «наивное», стихійное созданіе новаго типа Базарова, «нигилиста», «революціонера». Въ первыхъ онъ искалъ «наслажденія... казненія самого себя, своихъ недостатковъ, въ изображенныхъ вымышленныхъ лицахъ»[1]), во второмъ случаѣ

[1]) Такую „казнь“ легко можно видѣть въ Рудинѣ, серіи слабовольныхъ людей, потратившихъ на „женскую любовь“ всю жизнь (Литвиновъ, Санинъ...) и др.

онъ писалъ такъ, какъ подсказывали ему наблюденія надъ жизнью. И. С. писалъ: «точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни — есть величайшее счастье для литератора, даже если истина не совпадаетъ съ его собственными симпатіями. Позволю себѣ привести небольшой примѣръ. Я — коренной, неисправимый западникъ, и нисколько этого не скрывалъ и не скрываю; однако я, несмотря на это, съ особеннымъ удовольствіемъ вывелъ въ лицѣ Паншина (въ «Дворянскомъ гнѣздѣ») всѣ комическія и пошлыя стороны западничества; я заставилъ славянофила Лаврецкаго «разбить его на всѣхъ пунктахъ». Почему я это сдѣлалъ — я, считающій славянофильское ученіе ложнымъ и безплоднымъ? Потому что въ данномъ случаѣ такимъ именно образомъ, по моимъ понятіямъ, сложилась жизнь, а я прежде всего хотѣлъ быть искреннимъ и правдивымъ. Рисуя фигуру Базарова, я исключилъ изъ круга его симпатій все художественное, я придалъ ему рѣзкость и безцеремонность тона—не изъ нелѣпаго желанія оскорбить молодое поколѣніе (!!!), а просто вслѣдствіе наблюденій надъ моимъ знакомцемъ, докторомъ Д. и подобными ему лицами. «Эта жизнь такъ складывалась», опять говорилъ мнѣ опытъ — можетъ быть, ошибочный, но, повторяю, добросовѣстный; мнѣ нечего было мудрить — и я долженъ былъ именно такъ нарисовать его фигуру. Личныя мои наклонности тутъ ничего не значатъ; но, вѣроятно, многіе изъ моихъ читателей удивятся, если я скажу имъ, что, за исключеніемъ воззрѣній на художество, — я раздѣляю почти всѣ его убѣжденія. А меня увѣряютъ, что я на сторонѣ «Отцовъ»...

«Неясность», при всей его силѣ, общаго впечатлѣнія отъ доктора Д., неоформленность самого движенія и недостаточность наблюденій автора надъ нимъ привели къ тому, что Базаровъ вышелъ очень интереснымъ литературнымъ типомъ, но не типичнымъ «нигилистомъ» и тѣмъ болѣе не «революціонеромъ», какихъ, кстати, тогда (въ 1859 г., къ которому пріурочивается дѣйствіе романа) совсѣмъ, собственно, не было. Чисто «нигилистическихъ» чертъ въ Базаровѣ немного, и то больше внѣшнихъ.

На смѣну дворянъ-идеалистовъ съ ихъ эстетическимъ прекраснодушіемъ и платоническими мечтами о свободѣ пришелъ въ концѣ 50-хъ годовъ разночинецъ, интеллигентный пролетарій, «желчевикъ» и «реалистъ» съ его идеаломъ «критически мыслящей личности», «разрушеніемъ эстетики» и рѣже со слѣдами активнаго политическаго радикализма.

Отрицателемъ, «нигилистомъ» его могли называть только по недоразумѣнію. При внѣшней шероховатости и жесткости онъ отличался

высокимъ идеалистическимъ строемъ души, для котораго, впрочемъ, не умѣлъ и не хотѣлъ отыскивать звучныхъ и красивыхъ формъ; догматикъ и ортодоксалистъ по натурѣ, онъ стремительно противопоставлялъ традиціонному міровоззрѣнію новое евангеліе матеріализма и эволюціонизма, за которое готовъ былъ идти на костеръ. Не даромъ одинъ изъ нихъ не безъ наивной эмфазы писалъ про свое поколѣніе: «мы были глубоко убѣждены въ томъ, что боремся за счастье всего человѣчества, и каждый изъ насъ охотно пошелъ бы на эшафотъ и сложилъ свою голову за Молешотта и Дарвина»...

Бой шелъ по всей линіи и на оба фронта. Приходилось рвать старыя путы, мѣшавшія «свободѣ мысли», «эмансипаціи женщинъ», «разумному труду» — тріединому отвѣту на тревожный вопросъ: «Что дѣлать?» Нужно было отграничивать себя и отъ идеалистовъ-эстетиковъ. Легче всего оказалось стряхнуть съ себя старую вѣру, чтобы замѣнить ее догмой матеріализма и атеизма; сложнѣе и труднѣе давалось освобожденіе женщины отъ вѣковѣчнаго рабства, чтобы сдѣлать ее изъ «кисейной барышни» «мыслящею личностью» и «разумною подругой»; менѣе всего налаживался «разумный трудъ», потому что въ поискахъ за нимъ и при его практическомъ осуществленіи то и дѣло приходилось наталкиваться на цензуру, административныя препятствія и созданные вѣками невѣжества и рабства общественные предразсудки. «Борьба за счастье всего человѣчества» во имя отвлеченныхъ идеаловъ свободы мысли и личности получаетъ все болѣе сгущенную политическую окраску и вдвигается въ русло широкаго общественнаго движенія. Освобожденіе крестьянъ, за которымъ должно было послѣдовать, — но не послѣдовало — дальнѣйшее раскрѣпощеніе всего русскаго народа, расшевелило и всколыхнуло общественное сознаніе. «Шатость» властей и ихъ заигрываніе съ крѣпостниками вызывали общее раздраженіе и въ конецъ подорвали уваженіе и довѣріе къ нимъ. Отношенія шестидесятниковъ къ народу всегда были очень сложны. Силы однихъ цѣликомъ уходили на борьбу за свободу мысли и «критически мыслящей личности», и народъ, собственно, для нихъ не существовалъ; другіе снисходили къ нему съ вершинъ послѣдняго слова европейской науки, искренно желали ему освобожденія отъ рабства, даже жалѣли его, насколько умѣли, но между тупымъ, забитымъ мужикомъ, вѣрившимъ въ трехъ китовъ, и «реалистомъ», вѣрившимъ только въ микроскопъ и всемогущество «естественныхъ наукъ», — было, конечно, слишкомъ мало общаго. Вспомнимъ крестьянскіе типы писателей-шестидесятниковъ, напр., Слѣпцова, Н. Успенскаго: не даромъ позднѣе въ нихъ видѣли сплошное издѣвательство надъ деревенскою темнотою. А вѣдь они

для своего времени очень знаменательны... Только у очень немногихъ ранныхъ шестидесятниковъ можно подмѣтить теплое и простое народолюбіе. Эмансипація, прошедшая черезъ бюрократическія тѣснины, мало улучшила положеніе крестьянъ. Болѣе прозорливые умы ждали отъ нея въ ближайшемъ будущемъ тяжелыхъ послѣдствій. При болѣе внимательномъ изученіи «таинственный незнакомецъ» потерялъ свой обликъ троглодита, и въ немъ стали разглядывать человѣка, которому мало было одного освобожденія отъ физическаго рабства. Почувствовали даже свою кровную связь съ нимъ. Когда прошелъ угаръ первыхъ побѣдъ «мысли» и «критики»,— выросло сознаніе, что онѣ въ значительной степени парализуются рабствомъ, цѣпко охватившимъ всѣ общественные слои; начала слагаться идея долга передъ народомъ и долга народу, съ такою силою формулированная Лавровымъ въ «Историческихъ письмахъ»; стало проясняться сознаніе необходимости искать для своихъ личныхъ стремленій прочнаго базиса — внизу, на землѣ. «Реалистъ» и «кающійся дворянинъ» подали другъ другу руки, чтобы сдѣлаться «народниками». Этотъ процессъ совершился на протяженіи двухъ смежныхъ поколѣній, но его можно прослѣдить и на судьбѣ отдѣльныхъ лицъ.

Въ рамки этого движенія Базаровъ мало укладывается. Его «самоломанность», подавленіе всякаго чувства, какъ чего то романтическаго, которое могло грозить «внутренней свободѣ» (любовь къ Одинцовой), и того, которое было только простымъ, естественнымъ (отношенія къ родителямъ, отчасти къ Аркадію) — во всякомъ случаѣ не типическая черта новаго поколѣнія. Съ другой стороны, у него мало «критическихъ» элементовъ тогдашняго склада, тогдашняго отношенія къ женщинѣ, народу и труду; мудрено и говорить объ его демократизмѣ «до мозга костей», потому что онъ былъ въ крови, но не въ міровоззрѣніи и на дѣятельность не оказывалъ почти никакого вліянія. Смерть Базарова, «обреченнаго на погибель» «въ преддверіи будущаго», — слѣпая случайность. Она подсказана, повидимому, судьбою знакомаго Тургенева и дорисовываетъ его личность. «Сумрачная фигура» должна была погибнуть — и случайная, безсмысленная смерть еще болѣе подчеркнула ея силу; въ смерти — апоѳеозъ личности Базарова. Картина умиранія, отношенія къ нему родителей и заключительный аккордъ романа производятъ потрясающее впечатлѣніе. По психологической глубинѣ и художественной цѣнности они стоятъ наряду съ «Дворянскимъ гнѣздомъ»; по силѣ, экономіи творческой энергіи, простотѣ и многозначительности они занимаютъ исключительное мѣсто въ исторіи всей литературной

дѣятельности Тургенева — съ ними можетъ спорить развѣ прощаніе Лизы съ Лаврецкимъ передъ уходомъ въ монастырь...

Грубыя нападки противъ романа совсѣмъ обезкуражили Тургенева. Всегда скромный, недовѣрчивый къ себѣ, онъ преклонился передъ приговоромъ подавляющаго большинства, въ особенности той его части, которою онъ больше всего дорожилъ. Въ 1862 году онъ ничего не пишетъ, въ слѣдующемъ году — «Призраки», фантастическій разсказъ, проникнутый безпросвѣтнымъ пессимизмомъ; въ «Довольно!» онъ прощается со скорбью и гнѣвомъ, какъ будто навсегда, со своей литературной дѣятельностью (1864) и дѣйствительно ничего не пишетъ въ слѣдующемъ году. Къ 1866 относится незначительный разсказъ «Собака», и только въ 1867 году появляется полный разлагающаго скептицизма романъ «Дымъ». Въ судьбѣ Россіи, которую все болѣе и болѣе охватывало «попятное движеніе», въ своей собственной судьбѣ склонный вообще къ пессимизму умъ Тургенева находилъ для себя много данныхъ. «Дымъ» — все: Россія, ея культура, консерваторы и радикалы, сановники и эмигранты, жизнь и любовь. Интрига романа типична для Тургенева: вялый, слабовольный герой, хищная, чувственная женщина, унизительная, опошляющая любовь.

Съ «Дыма» можно начинать «третью манеру» Тургенева, неспокойную, неровную, съ перевѣсомъ желчной сатиры (въ изображеніи петербургскихъ сановниковъ и революціонеровъ), съ субъективными отступленіями, вмѣшательствомъ автора въ ходъ разсказа. Потугинъ— не живое лицо, а резонеръ, иногда остроумный и интересный, устами котораго Тургеневъ разоблачаетъ «дымъ отечества» и ведетъ настойчивую западническую пропаганду. По словамъ де-Вогюэ, «Дымъ» — горькія насмѣшки и выходки обманутаго идеалиста, удивляющагося, что его завѣтныя идеи, примѣненныя къ людямъ, не сдѣлали ихъ совершенными. Раздраженіе, вызванное этимъ разочарованіемъ, доходитъ иногда до несправедливости; нѣкоторыя фигуры очерчены лишкомъ мрачными красками и менѣе правдивы, нежели образы, выведенные въ прежнихъ произведеніяхъ. Въ «Дымѣ» представленъ собый міръ — русскіе, проживающіе за границей и не всегда приносящіе съ собою на чужбину лучшія качества своего отечества: ути и вельможи, и двусмысленныя женщины, и студенты, и конспираторы. Дѣйствіе происходитъ въ Баденѣ, гдѣ авторъ могъ на досугѣ изучить это общество. Правда, въ этой комической галлереѣ «генераловъ курзала», княгинь, проводящихъ время въ пикникахъ, свастливыхъ славянофиловъ, революціонныхъ агентовъ, есть много черть, схваченныхъ живьемъ съ натуры, но общая картина нѣсколько

страдаетъ шаржемъ; отсутствіе мѣры тѣмъ болѣе чувствительно, что, по мысли автора, эти личности вовсе не исключительные типы, но именно вѣрный сколокъ съ высшаго и низшаго русскаго общества».

«Прикрѣпившись» навѣкъ къ семьѣ Віардо, Тургеневъ съ конца 60-хъ годовъ и до смерти проживаетъ за границей, только на короткое время наѣзжая въ Россію. Недостатокъ живыхъ впечатлѣній родины все сильнѣе отражался на творчествѣ. Тургеневъ жалуется, что у него «голосъ остался, да пѣть нечего». «Такъ какъ я въ теченіе моей писательской карьеры никогда не отправлялся отъ и д е й, а всегда отъ о б р а з о в ъ, то при болѣе и болѣе оказывающемся недостаткѣ о б р а з о в ъ музѣ моей не съ чего будетъ писать свои картинки. Тогда я — кисть подъ замокъ и буду смотрѣть, какъ другіе подвизаются».

Въ 1876 году онъ пишетъ свой послѣдній соціально-психологическій романъ «Новь», въ которомъ пробуетъ уловить новое движеніе среди молодежи — «народничество» и «хожденіе въ народъ». Съ движеніемъ онъ знакомъ былъ мало, на основаніи бѣглыхъ личныхъ впечатлѣній во время короткихъ пріѣздовъ на родину, — разсказовъ другихъ и печатныхъ источниковъ. «Уловленіе момента» на этотъ разъ не удалось Тургеневу: въ центрѣ онъ поставилъ «лишняго человѣка» и «самоѣда» Нежданова, всего менѣе характернаго для эпохи молодого энтузіазма, и ему противоположилъ «революціонера-постепеновца» Соломина, выдуманный образъ, раскрытый больше съ внѣшней стороны, не обоснованный фактами тогдашней жизни. Своего рода это — Штольцъ русскаго народничества. Удалась только Маріанна съ ея безпримѣснымъ героизмомъ и женскимъ самоотверженіемъ, съ ея силою и цѣльностью — одинъ изъ плѣнительнѣйшихъ женскихъ образовъ у Тургенева. Самое движеніе происходило въ 1873—4 годахъ, но И. С. почему-то пріурочиваетъ его къ 1869 году, впадая въ анахронизмъ.

Въ романѣ замѣтна и сатирическая струя — въ изображеніи революціонной тупости и пошлости Машуриныхъ, Остродумовыхъ и Голушкиныхъ, притязательнаго аристократизма и убожества Сипягиныхъ и Калломѣйцевыхъ. Эпизодъ съ Ѳомушкой и Фимушкой клиномъ врѣзался въ разсказъ, и самъ авторъ признавался потомъ въ его неудачности.

Съ конца 70-хъ годовъ Тургенева все болѣе охватываетъ холодъ одиночества, близкой старости и смерти. Пессимистическое настроеніе еще болѣе усиливаютъ болѣзни, одна изъ которыхъ (ракъ спинного хребта) оказалась смертельной. Только Пушкинскіе дни 1880 года, въ которыхъ И. С. принялъ самое оживленное участіе и во время

которыхъ онъ окончательно примирился съ молодежью, подняли нѣсколько его настроеніе. Въ душѣ великаго писателя накопилось много горечи и скорби, ужаса передъ жизнью и смертью. Тогда возникли его чудныя «стихотворенія въ прозѣ»[1]), среди которыхъ есть много перловъ истинной, высокой поэзіи. Преобладающій тонъ ихъ — пессимистическій. Въ «Пѣсни торжествующей любви» и «Кларѣ Миличъ» (1881—1882) проглядываетъ мистицизмъ, въ которомъ трезвый и ясный умъ Тургенева какъ бы искалъ спасенія отъ ужаса смерти. Скончался онъ 22 августа 1883 года. При вскрытіи былъ установленъ необыкновенный вѣсъ мозга покойнаго, превышающій 2000 граммовъ. Похороны его (въ Петербургѣ на Волковомъ кладбищѣ, гдѣ Тургеневъ хотѣлъ лежать рядомъ съ Бѣлинскимъ) обратились въ грандіозную общественную манифестацію. Во время Гоголевскихъ торжествъ въ Москвѣ въ апрѣлѣ 1909 года былъ поднятъ вопросъ о постановкѣ ему памятника по всенародной подпискѣ.

Иванъ Александровичъ ГОНЧАРОВЪ.

Въ біографіяхъ почти всѣхъ нашихъ писателей 40-хъ годовъ устойчиво повторяется нѣсколько типическихъ чертъ: органическая связь съ «дворянскими гнѣздами», ихъ традиціями и психологіей, постепенное освобожденіе, въ большей или меньшей степени, отъ этихъ традицій и психологіи въ атмосферѣ товарищескихъ идеалистическихъ кружковъ и, отчасти, университетской аудиторіи, медлительный процессъ перерожденія романтиковъ и идеалистовъ въ реалистовъ, захваченныхъ соціальнымъ духомъ эпохи. Гончаровъ въ этомъ отношеніи представляетъ исключительное явленіе. Въ немъ мирно совмѣщаются разныя, даже противоположныя классовыя вліянія — буржуазныя традиціи и черты дворянской психологіи; какъ художникъ, мыслитель и дѣятель, онъ производитъ далеко не однородное впечатлѣніе; это — переходный типъ, на которомъ лежитъ яркій отпечатокъ культурнаго перелома. Въ его творческихъ образахъ много субъективнаго, и въ синтезѣ своей оригинальной личности онъ объединяетъ черты Александра и Петра Адуевыхъ, Обломова и Штольца, Райскаго и Тушина. Самъ Гончаровъ говоритъ о своихъ произведеніяхъ: «я писалъ только то, что переживалъ, что мыслилъ, чувствовалъ, что любилъ, что близко видѣлъ и зналъ — словомъ, писалъ и

---

[1]) Напечатаны въ 1882 году, но писались въ концѣ 70-хъ годовъ и въ началѣ 80-ыхъ.

свою жизнь, и то, что къ ней прирастало». Дѣтство и юность Александра Адуева, Обломова, Райскаго въ значительной степени навѣяны личными воспоминаніями самого Гончарова, это — переработанные осколки его автобіографіи; «то, что прирастало» къ обломовской жизни, отразилось въ бюрократическихъ и буржуазныхъ идеалахъ Петра Адуева, Штольца, Тушина, «поумнѣвшаго» Александра Адуева, въ артистическомъ дилетантизмѣ Райскаго. Субъективная основа образовъ настолько искусно была затушована, что даже у такихъ проницательныхъ критиковъ, какъ Бѣлинскій, Добролюбовъ, творчество Гончарова вызывало иллюзію полной объективности. Между знаменитымъ уже авторомъ и критикой надолго установилось коренное недоразумѣніе, во всемъ своемъ объемѣ выяснившееся только за самое послѣднее время. Гончаровъ настойчиво утверждалъ: «можетъ быть, оттого, между прочимъ, мои лица не кажутся другимъ такими, какими я разумѣлъ ихъ, что всѣ эти портреты, типы — слишкомъ мѣстные, вышедшіе изъ небольшого приволжскаго угла, и потому не всѣмъ, живущимъ на разбросанныхъ пространствахъ Россіи, близко извѣстны, и, наконецъ, развѣ и потому еще, что въ нихъ сквозитъ много близкаго и родного автору, и замѣтно пробивается кровная его любовь къ нимъ. Да, можетъ быть, и такъ: дѣйствительно, много личнаго, интимнаго, т.-е. своего, и себя самого, вложено авторомъ туда!» Но ему повѣрили только тогда, когда тщательныя біографическія и историко-литературныя изысканія вполнѣ подтвердили эти автобіографическія признанія. И критика остановилась въ недоумѣніи передъ необходимостью примирить въ Гончаровѣ Адуевыхъ и Райскаго, Обломова и Штольца, великаго художника и образцоваго петербургскаго чиновника, «обломовщину», кругосвѣтное плаваніе и практицизмъ...

Ключъ къ этому даютъ признанія самого И. А., его жизнь, насколько она теперь можетъ быть возстановлена, его личность, которая съ такою полнотой отразилась въ творчествѣ. Гончаровъ писалъ: «я самъ и среда, въ которой я родился, воспитывался, жилъ — все это, помимо моего сознанія, само собою отразилось силою рефлексіи у меня въ воображеніи». «Мы такъ глубоко вросли корнями у себя дома, что куда и какъ надолго я бы ни заѣхалъ, я всюду унесу почву родной Обломовки, и никакіе океаны не смоютъ ея». Для него «среда», «родная Обломовка» свелись къ переплетавшимся вліяніямъ крѣпкой, цѣльной купеческой семьи, жившей, однако, на дворянскую ногу и въ постоянныхъ взаимо-

йствіяхъ съ провинціальными помѣщичьими кругами; на эти іянія легли потомъ впечатлѣнія коммерческаго училища, мо-ковскаго университета, петербургскихъ канцелярій, артистической мосферы семьи Майковыхъ, соціальныхъ и романтическихъ увле-ній кружка Бѣлинскаго въ позднѣйшей стадіи его развитія. Широко и глубоко одаренная, впечатлительная натура Гончарова извернула всѣ свои наслѣдственныя и созданныя средой воз-жности и дала, въ результатѣ, сложное, не легко разложимое блое, «мерцающій», иногда почти неуловимый образъ.

Его сверстники остро переживали періодъ идеалистическихъ мленій, романтическаго «прекраснодушія», байронизма; ясный, резвый, раціоналистически-настроенный умъ Гончарова свелъ ля себя эту «болѣзнь вѣка» до минимума, такъ охотно пошелъ австрѣчу развѣнчиванію критикой романтизма, ея проповѣди отъ облачныхъ мечтаній перейти къ прозѣ и практикѣ жизни, ь систематической жестокостью высмѣялъ всю «обыкновенную сторію» своего Александра Адуева, противопоставивъ ей холодный кептицизимъ и эпикурейскій карьеризмъ его дяди. Въ 1827 году Пушкинъ не безъ грусти, хотя и съ полнымъ сознаніемъ необхо-имости примиренія съ фактомъ, прощался съ «высокопарными мечтаніями своей весны»:

Какія бъ чувства ни таились
Тогда во мнѣ — теперь ихъ нѣтъ:
Они прошли иль измѣнились...
Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ лѣтъ!
Въ ту пору мнѣ казались нужны
Пустыни, волнъ края жемчужны,
И моря шумъ, и груды скалъ,
И гордой дѣвы идеалъ,
И безыменныя страданья...
Другіе дни, другіе сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарныя мечтанья,
И въ поэтическій бокалъ
Воды я много подмѣшалъ.
Иныя нужны мнѣ картины:
Люблю песчаный косогоръ,
Передъ избушкой двѣ рябины,
Калитку, сломанный заборъ,
На небѣ сѣренькія тучи,
Передъ гумномъ соломы кучи —
Да прудъ подъ сѣнью ивъ густыхъ,
Раздолье утокъ молодыхъ;

Теперь мила мнѣ балалайка,
Да пьяный топотъ трепака
Передъ порогомъ кабака.
Мой идеалъ — теперь хозяйка,
Мои желанія — покой,
Да щей горшокъ, да самъ большой.

Великій поэтъ разставался съ цѣлой большой полосой своей жизни. Слѣдующее поколѣніе отъ «тревогъ», «безыменныхъ страданій», «идеаловъ гордой дѣвы», «высокопарныхъ мечтаній» тоже двинулось къ обыденному, прозѣ дѣйствительности. Для Гончарова этотъ процессъ совершался тѣмъ легче и безболѣзненнѣе, что ему пришлось ликвидировать изъ прошлаго весьма немногое — потому что «безыменныя страданія» и «высокопарныя мечтанія» никогда не играли въ его внутренней жизни особенно крупной роли.

Къ грандіозному, фантастическому, мистическому, рѣзко-индивидуалистическому у него никогда не было внутренней тяги. Красота разыгравшихся стихій на морѣ для него — «безобразіе, безпорядокъ». «Да Богъ съ ними — этими «воплями природы», этими «спящими силами», ядовито издѣвающимися надъ гордой волей человѣка»; однообразныя, мирныя картины родного Поволожья милѣе и ближе Гончарову: «онѣ ласковѣе относятся къ человѣку, не раздражаютъ, не грозятъ ему ежеминутно гибелью, въ нихъ есть что то даже материнское». Эффектное, исключительное мало говоритъ сердцу его, простое и будничное находитъ въ немъ для себя больше отзвуковъ, и художникъ задаетъ очень характерный для себя вопросъ: «зачѣмъ оно, это дикое и грандіозное? море, напримѣръ? Богъ съ нимъ. Оно наводитъ только грусть на человѣка: глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью передъ необозримой пеленой водъ». Горы и пропасти «созданы не для увеселенія человѣка: онѣ грозны, страшны». Отъ нихъ онъ хотѣлъ бы укрыться въ тихій, простой, будничный мірокъ Обломовщины: тамъ небо «ближе жмется къ землѣ, но не съ тѣмъ, чтобы метать сильнѣе стрѣлы, а развѣ только, чтобы обнять ее покрѣпче, съ любовью: оно распростерлось такъ невысоко надъ головою, какъ родительская надежная кровля, чтобъ уберечь, кажется, избранный уголокъ отъ всякихъ невзгодъ... Сердце такъ и просится спрятаться въ этотъ забытый всѣми уголокъ и жить никому невѣдомымъ счастіемъ. Все сулитъ тамъ покойную, долговременную жизнь до сѣдины волосъ и незамѣтную, сну подобную, смерть». Дѣвственная, чуждая человѣку природа органически

непонятна ему, и пустынный японскій берегъ возбуждаетъ въ немъ чувство неудовлетворенности: «вонъ тотъ холмъ, какъ ни зеленъ, ни пріютенъ, но ему чего то недостаетъ: онъ долженъ бы быть увѣнчанъ бѣлой колоннадой съ портикомъ или виллой съ балкономъ на всѣ стороны, съ паркомъ, съ бѣгущими по отлогостямъ тропинками. А тамъ, въ рытвинѣ, хорошо бы устроить спускъ и дорогу къ морю, да пристань, у которой шипѣли бы пароходы, и гомозились люди... Здѣсь бы хорошо быть складочнымъ магазинами, передъ которыми тѣснились бы суда съ лѣсомъ мачтъ»... Онъ приросъ корнями къ землѣ, по словамъ одного критика, «видитъ въ ней свою родину», «прекрасный, уютный человѣческій міръ не согласится отдать за звѣздныя пространства неба, за чуждыя тайны природы».

Въ немъ нѣтъ внутренняго раздвоенія, даже и слѣдовъ пессимизма. Даже страшная проблема смерти, игравшая такую роль въ психологіи его поколѣнія, почти не задѣваетъ здороваго, цѣльнаго и жизнерадостнаго склада его души. Какъ художникъ, онъ не будетъ на ней и останавливаться, и отъ смерти матери Александра Адуева отдѣлается одной коротенькой фразой: «она умерла». Примирившись съ жизнью, герой его говоритъ: «не страшна и смерть: она представляется не пугаломъ, а прекраснымъ опытомъ. И теперь уже въ душу вѣетъ невидимое спокойствіе»... Все у него просто, освобождено отъ тягостнаго налета загадки и тайны тревожныхъ исканій, — жизнь, смерть, любовь, религія, природа...

Д. С. Мережковскій писалъ о Гончаровѣ: «по изумительной трезвости взгляда на міръ онъ приближается къ одному Пушкину. Тургеневъ опьяненъ красотой, Достоевскій — страданіями людей, Левъ Толстой — жаждой истины, и всѣ они созерцаютъ жизнь съ особенной точки зрѣнія. Дѣйствительность немного искажается, какъ очертанія предметовъ на взволнованной поверхности воды. У Гончарова — нѣтъ опьянѣнія. Въ его душѣ жизнь рисуется невозмутимо — ясно, какъ мельчайшія былинки и далекія звѣзды отражаются въ лѣсномъ глубокомъ родникѣ, защищенномъ отъ вѣтра. Трезвость, простота и здоровье могучаго таланта, отсутствіе пессимизма имѣютъ въ себѣ что то обаятельное, освѣжающее. Какъ бы ни были прекрасны созданія другихъ современныхъ писателей, въ нихъ почти всегда есть какой-нибудь темный уголокъ, откуда вѣетъ на читателя холодомъ и ужасомъ. Такихъ темныхъ, страшныхъ угловъ нѣтъ у Гончарова. Все огромное зданіе его эпопей озарено ровнымъ свѣтомъ теплой, разумной любви къ человѣческой жизни».

Разсудкомъ, но не сердцемъ онъ понимаетъ пессимизмъ, трагизмъ пошлости, темныя стороны жизни, но отъ нихъ его тянетъ къ идилліи «обломовщины», къ «человѣческому, слишкомъ человѣческому» во всей его простотѣ и непосредственности. И все же глубина таланта позволила ему съ рѣдкой силой вскрыть засасывающую тину русской жизни. «Пошлость, торжествующая надъ чистотой сердца, любовью, идеалами — вотъ для Гончарова основной трагизмъ жизни. Другіе поэты дѣйствуютъ на читателя смертью, муками, великими страстями героевъ, онъ потрясаетъ насъ... самодовольной улыбкой начинающаго карьериста, халатомъ Обломова, промокшими ботинками Вѣры въ ту страшную послѣднюю ночь, когда она вернулась отъ обрыва, отъ Волохова...» (Мережковскій).

Гончаровъ — одинъ изъ величайшихъ нашихъ юмористовъ, освѣтившихъ своимъ «свѣтлымъ смѣхомъ» крѣпостную Русь съ ея Захарами и Улитами, Адуевыми и Обломовыми, «слугами и господами стараго вѣка», съ ея праздниками и буднями, возведенными въ «перлъ созданія», обвѣянными высокимъ комизмомъ. Подобно своему великому предшественнику Гоголю, онъ умѣетъ ввести въ жизнь и психологію своихъ героевъ дорогими для него мелочами обстановки, микроскопическими подробностями быта, выводить характеръ людей изъ характера среды и въ типическихъ образахъ улавливать основныя теченія жизни. Какъ глубокій соціологъ, онъ выяснилъ вліяніе крѣпостничества на жизнь и психику всей дореформенной Руси; какъ несравненный жанристъ, онъ далъ документы исключительной цѣнности для исторіи нашего стараго быта. Удачнѣе всего у него кряжистые, цѣльные образы прошлаго, затѣмъ обращенная къ прошлому сторона тронутыхъ уже новыми вѣяніями жизни молодыхъ Адуевыхъ, Обломовыхъ, Райскихъ; «люди будущаго», Штольцы, Тушины, Волоховы ему не удавались, несмотря на всѣ усилія автора оживить ихъ тусклые образы своими афоризмами или кропотливымъ копированіемъ своеобразно отраженной дѣйствительности. И только «женщина будущаго» ему удалась въ Ольгѣ Ильинской и Вѣрѣ изъ «Обрыва».

Писательская техника Гончарова, какъ и все въ немъ, своеобразна. Онъ любитъ оттѣнять своихъ героевъ ихъ контрастами, выдвигать для ихъ освѣщенія, наложенія болѣе сильной свѣтотѣни, разные человѣческіе экраны; эти герои слишкомъ охотно и долго разсуждаютъ и иногда заимствуютъ у автора его отточенные афоризмы. Наружность Захара, его жены онъ выпукло набросаетъ

двумя-тремя чертами: необъятными бакенбардами, «говорящимъ носомъ», «всесметающей рукой»; но на описанія болѣе сложной наружности Адуевыхъ, Обломовыхъ, Райскихъ, Ильинскихъ онъ скупится и ограничивается бѣглыми, общими штрихами, — за то ихъ внутренняя физіономія выступаетъ тѣмъ ярче.

Поэтъ обыденщины, тонкій изслѣдователь пошлости, Гончаровъ не угасилъ въ себѣ «искры Божіей» даже въ потемкахъ канцелярій и цензурнаго комитета. Сквозь толщу осѣвшихъ въ его душѣ буржуазно-бюрократическихъ идеаловъ всегда прибавилась въ немъ грусть, результатъ общей неудовлетворенности прозаическимъ ходомъ жизни, и если Гончаровъ-Штольцъ объяснялъ тревоги Ольги «расплатой за Прометеевъ огонь», то Гончаровъ-Райскій, Гончаровъ-художникъ безбоязненно вскрылъ семейную трагедію Петра Адуева, какъ расплату за «Адуевщину», — соединивъ Ольгу со Штольцемъ и Вѣру съ Тушинымъ, самъ же подорвалъ у насъ вѣру въ прочность этой связи...

Художникъ, мыслитель и дѣятель всегда спорили въ Гончаровѣ, и въ творческомъ процессѣ они достигали только кажущагося равновѣсія. И въ душѣ его при общемъ стремленіи къ обломовскому «покою» часто подымались спиравшіяся и сталкивавшіяся волны разныхъ, иногда противоположныхъ настроеній. Это — обычная судьба писателей и дѣятелей эпохи культурнаго перелома, стоящихъ прочно одной ногою въ прошломъ, а другую, неувѣренно, заносящихъ къ мерцающему еще будущему...

Біографія Ивана Александровича Гончарова не богата внѣшними фактами. Его предки — купеческаго происхожденія и сыздавна были связаны съ Симбирскомъ. Дѣдъ писателя служилъ при оренбургскомъ губернаторѣ и дослужился до чина капитана. Этимъ объясняются, главнымъ образомъ, связи семьи И. А. съ административными и помѣщичьими кругами Симбирска.

Отецъ И. А. пользовался большимъ почетомъ въ городѣ за умъ и много разъ былъ выбираемъ городскимъ головой. Онъ умеръ, когда сыну минуло семь лѣтъ, и особенной роли въ его жизни не сыгралъ. Важнѣе было вліяніе матери. И. А. позднѣе вспоминалъ: «мать наша любила насъ не той сантиментальной, животной любовью, которая горячими ласками, баловствомъ, потворствомъ, угодливостію дѣтскимъ капризамъ портитъ дѣтей. Она умно любила, неослабно слѣдила за каждымъ нашимъ шагомъ и со строгой справедливостью раздѣляла свою материнскую любовь на всѣхъ четырехъ. Она была взыскательна и не пропускала безъ наказанія или замѣчанія ни одной шалости, особенно, если видѣла, что

въ шалости кроется будущій порокъ, — тогда она была неумолима». Послѣ смерти матери (въ 1851 году) онъ пишетъ сестрѣ: «жизнь ея, за исключеніемъ неизбѣжныхъ человѣческихъ слабостей, такъ была прекрасна, дѣло ея такъ было строго выполнено, какъ она умѣла и могла, что я, послѣ первыхъ невольныхъ слезъ, смотрю покойно, съ нѣкоторой отрадой на тихій конецъ ея жизни, горжусь, благодарю Бога за то, что имѣлъ подобную мать. Ни о чемъ и ни о комъ у меня мысль такъ не свѣтла, воспоминаніе такъ не свято, какъ о ней».

И. А. родился 6 іюня 1812 года. Обстановка его дѣтства намъ достаточно извѣстна: въ нее прекрасно вводятъ какъ воспоминанія самого писателя, такъ и яркія картины дѣтства и юности Александра Адуева и Обломова, въ которыя авторъ вложилъ много личныхъ воспоминаній. Домъ Гончаровыхъ, на окраинѣ Симбирска, походилъ больше на помѣщичью усадьбу, съ многочисленными хозяйственными стройками, обиліемъ дворни, скотомъ, домашней птицей, «неувядаемымъ аппетитомъ», «беззаботнымъ житьемъ-бытьемъ, бездѣльемъ и лежаньемъ», «картиной сна и застоя».

Воспитаніемъ дѣтей завѣдывалъ ихъ крестный, пріятель и жилецъ отца Трегубовъ, отставной морякъ и богатый помѣщикъ. Человѣкъ умный и образованный, въ молодые годы сблизившійся съ будущими декабристами, esprit fort Симбирска, онъ послѣ 14 декабря 1825 года, обысковъ и арестовъ близкихъ лицъ, сильно опустился, отдалился отъ людей и всецѣло отдался «обломовщинѣ», зародыши которой всегда были въ его натурѣ. Онъ баловалъ И. А. и разжигалъ его воображеніе разсказами о своихъ путешествіяхъ. Въ старозавѣтную нѣсколько купеческую среду Гончаровскаго дома онъ вносилъ струю интелигентности и «дворянскаго романтизма». Его вліянію, конечно, былъ обязанъ И. А. своимъ кругосвѣтнымъ плаваніемъ и «Фрегатомъ Палладой»

О своемъ образованіи И. А. въ автобіографіи говоритъ такъ: «первоначальное образованіе получилъ въ дѣтствѣ въ небольшихъ частныхъ пансіонахъ и, между прочимъ, у одного священника за Волгой, въ помѣщичьемъ селѣ. Здѣсь, у жены священника, нѣмки, принявшей православіе, онъ положилъ основаніе изученію французскаго и нѣмецкаго языковъ, а найденныя въ библіотекѣ священника сочиненія Ломоносова, Державина и другихъ, также описанія нѣкоторыхъ путешествій заронили въ немъ первыя — охоту къ чтенію, и послѣднія — желаніе, конечно, тогда еще неясное и безсознательное, видѣть описанныя въ путешествіяхъ дальнія страны».

Въ 1822 году его отвезли въ Москву въ Коммерческое училище на Остоженкѣ. Объ этомъ періодѣ жизни писателя мы пока знаемъ очень мало. Онъ увлекается французской романтикой, особенно Сю и Дюма, повидимому, въ слабой формѣ переживаетъ періодъ идеалистическихъ увлеченій, высмѣянныхъ позднѣе въ «Обыкновенной исторіи». Неизвѣстно, долго ли пробылъ И. А. въ училищѣ и кончилъ ли его; въ 1831 году мы застаемъ ужъ его на словесномъ отдѣленіи Московскаго университета (1831—1834) на рѣдкость исполнительнымъ и аккуратнымъ студентомъ, не пропускавшимъ почти ни одной лекціи самыхъ сухихъ и мертвенныхъ профессоровъ, отъ которыхъ такъ страдалъ Бѣлинскій, Станкевичъ, Герценъ.

Отъ будущихъ «идеалистовъ 30-хъ годовъ» онъ стоитъ особнякомъ, и «ein кружокъ in der stadt Mockau» не сыгралъ въ его жизни никакой роли. О внутреннемъ развитіи будущаго писателя за этотъ періодъ мы знаемъ очень мало — то, что даютъ «Воспоминанія» и слѣдующія слова «автобіографіи»: «до поступленія въ Московскій университетъ, не руководимый почти никѣмъ въ выборѣ чтенія, онъ читалъ все, что попадалось подъ руку, между прочимъ произведенія французскихъ беллетристовъ господствовавшей тогда школы, и переводилъ на русскій языкъ романъ «Атаргюль» [1]), отрывокъ изъ котораго былъ помѣщенъ въ журналѣ «Телескопъ» за 1832 годъ. Но скоро, однако, онъ отрезвился отъ вліянія современной французской литературы, какъ чтеніемъ образцовъ англійской и нѣмецкой литературъ, такъ и знакомствомъ съ древними историками и поэтами въ университетѣ, въ словесномъ отдѣленіи, слушая съ жадностью увлекательныя лекціи исторіи иностранныхъ литературъ, исторіи изящныхъ искусствъ и археологіи — профессоровъ Шевырева и Надеждина, римскихъ и греческихъ древностей Снѣгирева и Ивашковскаго, исторіи всеобщей и русской Каченовскаго и Погодина, русской словесности — профессора Давыдова [2]). Продолжая изучать новѣйшіе языки, между прочимъ, англійскій, а также древній латинскій и отчасти греческій, и руководствуясь лекціями ученыхъ и даровитыхъ профессоровъ, Гончаровъ, систематически, съ помощью критическаго анализа, изучилъ образцовыя произведенія иностранныхъ и отечественныхъ писателей. Между тѣмъ, съ другой стороны, живое непосредственное вліяніе на общество Карамзина и Пушкина, бывшаго тогда въ зенитѣ своей славы,

---

[1]) Романъ представителя французскаго спекулятивнаго псевдо-романтизма Сю

[2]) Изъ нихъ Шевыревъ, Снѣгиревъ, Ивашковскій, Каченовскій и Давыдовъ имѣли у сверстниковъ Гончарова устойчивую и небезосновательную репутацію педантовъ и схоластовъ.

не могло не подѣйствовать благотворно и на кругъ молодыхъ студентовъ Московскаго университета, въ томъ числѣ и на него».

Послѣ окончанія курса И. А. отправился на родину и поступилъ въ канцелярію губернатора. Двѣнадцатилѣтнее отсутствіе изъ Симбирска и жизнь въ Москвѣ сдѣлали его чуждымъ прежней обстановкѣ, и Гончаровъ рвется всѣми силами изъ тоскливой, сонной провинціальной тины. Вмѣстѣ съ губернаторомъ онъ переводится въ 1835 году въ Петербургъ, на должность «переводчика иностранной переписки», позднѣе столоначальника канцеляріи Министерства Финансовъ. Петербургъ скоро сдѣлалъ изъ образцоваго студента образцоваго чиновника. По выраженію одного симбирскаго знакомаго, «въ эти годы онъ такъ въѣлся въ службу, что даже рѣдко писалъ къ своимъ», «погрузился въ чиновный петербургскій омутъ на пять лѣтъ». «Ему точно на роду было написано служить, служить до самозабвенія, по-адуевски, служить, совершенно забывая, что писателю, какъ и философу, мыслителю, нужна свобода, а не канцелярскій рабскій трудъ. А Гончаровы оба брата были влюблены въ службу, какъ въ красавицу. И доходило у нихъ до того, что младшій братъ въ послѣднюю минуту жизни едва выговорилъ шопотомъ: «не забудьте сказать, чтобъ меня въ мундирѣ положили въ гробъ: я съ мундиромъ въ отставкѣ». Такъ же мучилъ себя службой и И. А.»

Но канцелярія не убила живой души въ Гончаровѣ: по собственному свидѣтельству, онъ, въ антрактахъ между служебными занятіями, «продолжалъ заниматься литературою, т.-е. читать, переводить, дѣлать извлеченія, преимущественно изъ нѣмецкихъ и англійскихъ писателей, для себя, въ видѣ упражненій, пока безъ намѣренія печатать». Еще важнѣе въ этомъ отношеніи было сближеніе съ семьей художника Майкова, сыну котораго Аполлону, будущему знаменитому поэту, Гончаровъ давалъ уроки исторіи литературы. Къ кругу Майковыхъ и къ его главѣ И. А. всегда относился съ сочувствіемъ и благодарностью. Въ своемъ некрологѣ Н. А. Майкова онъ писалъ: «какъ человѣкъ, онъ былъ необыкновенно доброй, кроткой души, мягкаго характера, любимый въ семьѣ, друзьями и всѣми, кто только его зналъ. Онъ жилъ, какъ живутъ или, если теперь уже не живутъ такъ, то какъ живали артисты, думая больше всего объ искусствѣ, любя его, занимаясь имъ, и почти ничѣмъ другимъ. Домъ его... кипѣлъ жизнію, людьми, приносившими сюда неистощимое содержаніе изъ сферы мысли, науки, искусствъ. Молодые ученые, музыканты, живописцы, многіе литераторы изъ круга 30-хъ и 40-хъ

годовъ, всѣ толились въ не обширныхъ, не блестящихъ, но пріютныхъ залахъ его квартиры, и всѣ, вмѣстѣ съ хозяевами, составляли какую то братскую семью или школу, гдѣ всѣ учились другъ у друга, размѣниваясь занимавшими тогда русское общество мыслями, новостями науки, искусствъ. Старикъ Майковъ радовался до слезъ всякому успѣху и всѣхъ, не говоря уже о друзьяхъ, въ сферѣ интеллектуальнаго или артистическаго труда, всякому движенію впередъ во всемъ, что доступно было его уму и образованію. Трудно полнѣе и безупречнѣе, чище прожить жизнь, какъ прожилъ ее Майковъ, сначала въ качествѣ воина, потомъ артиста, наконецъ, просто человѣка». Здѣсь нашелъ Гончаровъ противовѣсъ растлѣвающему вліянію канцеляріи, точку опоры для художественныхъ запросовъ своей души. Здѣсь же началась и его литературная дѣятельность. Воспитаніемъ А. Н. Майкова завѣдывалъ Солоницынъ, одинъ изъ редакторовъ «Библіотеки для чтенія», беллетристъ и переводчикъ. Для пріученія своихъ питомцевъ къ литературнымъ занятіямъ онъ придумалъ издавать рукописные иллюстрированные журналъ «Подснѣжникъ» и альманахъ «Лунныя ночи». Въ нихъ принимали участіе и знакомые семьи Майковыхъ — Бенедиктовъ, Гончаровъ, написавшій юмористическій (довольно слабый) разсказъ «Иванъ Саввичъ Поджабринъ», позднѣе, послѣ «Обыкновенной исторіи», напечатанный въ «Современникѣ» (въ 1848 году). Повидимому, черезъ Майковыхъ же И. А. знакомится и сближается съ кружкомъ Бѣлинскаго, къ которому былъ близокъ Валеріанъ Майковъ, братъ поэта, даровитый критикъ, очень рано скончавшійся.

Въ 1847 году въ «Современникѣ» появляется «Обыкновенная исторія», надѣлавшая шуму въ обществѣ и критикѣ и произведшая цѣлую сенсацію на родинѣ автора. Общій смыслъ своего романа Гончаровъ позднѣе формулировалъ такъ: «Адуевъ кончилъ тѣмъ, какъ кончали многіе тогда: послушался практической чиновной мудрости дяди, принялся усердно работать по службѣ, и хотя пописывалъ въ журналахъ, но ужъ не стишки; словомъ, проживши эпоху юношескихъ волненій, онъ, какъ большинство въ Петербургѣ, достигъ положительныхъ чиновныхъ благъ, т.-е. заняль по службѣ прочное положеніе, получилъ видное мѣсто, выгодно женился, словомъ, ловко обдѣлалъ свои дѣла». Что было въ сознаніи автора за этимъ заглавіемъ? Грусть, иронія или объективное констатированіе факта безъ его оцѣнки? Чувствовалъ ли самъ Гончаровъ трагизмъ пошлости своего героя? На чьей сторонѣ его симпатіи въ романѣ — на сторонѣ дяди или племянника? Такіе вопросы возникали

и при появленіи романа, возникаютъ и теперь, вызывая самые противорѣчивые отвѣты. Развѣнчиванье дешоваго романтизма Александра очевидно; происшедшій въ немъ переломъ — «обыкновенная исторія» нашей жизни, но она мало разработана психологически, оборвана.

Адуевщина чиновная и практическая (знаменитые «заводы» Петра Адуева и проч.), внѣ всякаго сомнѣнія, вызывала симпатіи Гончарова, и онъ открыто бьетъ все время племянника дядею, всячески возводя его на пьедесталъ — до послѣдняго момента, когда добросовѣстность вдумчиваго наблюдателя жизни и художника подсказала безпощадный анализъ всей лжи семейной жизни преуспѣвающаго превосходительнаго заводчика. Картина опошленія была подсказана жизнью, но авторъ сдѣлалъ изъ нея иные, оптимистическіе выводы: къ Александру — начинающему карьеристу онъ относится не только мягче, но и сочувственнѣе, чѣмъ къ Александру — романтику, и стиль, характеръ заключительнаго діалога бросаетъ на это особый отсвѣтъ: «Ты, кажется, идешь по моимъ слѣдамъ?» — «Пріятно бы, дядюшка!» — Дядя, скрестивъ руки на груди, смотрѣлъ нѣсколько минутъ съ уваженіемъ на племянника. — «И карьера, и фортуна!» говорилъ онъ почти про себя, любуясь имъ: «... Александръ», гордо, торжественно прибавилъ онъ: «ты — моя кровь, ты — Адуевъ! Такъ и быть, обними меня!» Вмѣстѣ съ Петромъ Адуевымъ Гончаровъ — умомъ — «громко, торжественно» привѣтствовалъ крушеніе наивнаго юношескаго романтизма, сложившагося на болотѣ крѣпостного права и въ тинѣ семейнаго баловства, и переходъ къ прозѣ и суровой практикѣ жизни; вмѣстѣ съ его женой — сердцемъ — онъ вздохнулъ по поводу ранней плѣши, почтеннаго брюшка, колотья въ поясницѣ, прекраснаго жалованья, богатой невѣсты и открывающейся блестящей карьеры Александра Адуева. Въ своей сложной душѣ писатель объединилъ и воинствующій, активный практицизмъ, и пассивную грусть, которую такъ часто навѣваютъ наши «обыкновенныя исторіи», — и холодную гордость преуспѣяній въ жизни, и тоску одинокой любящей души... Для прообраза всѣхъ нашихъ романтиковъ идеалистовъ, Ленскаго, Пушкинъ допустилъ два одинаково возможныхъ варіанта его будущей судьбы:

Быть можетъ, онъ для блага міра,
Иль хоть для славы былъ рожденъ;
Его умолкнувшая лира
Гремучій, непрерывный звонъ
Въ вѣкахъ поднять могла. Поэта,
Быть можетъ, на ступеняхъ свѣта
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тѣнь,

Быть можетъ, унесла съ собою
Святую тайну, и для насъ
Погибъ животворящій гласъ,
И за могильною чертою
Къ ней не домчится гимнъ временъ,
Благословенія племенъ.
А, можетъ быть, и то: поэта
Обыкновенный ждалъ удѣлъ.
Прошли бы юношества лѣта;
Въ немъ пылъ души бы охладѣлъ.
Во многомъ онъ бы измѣнился.
Разстался бъ съ музами, женился;
Въ деревнѣ, счастливъ и рогатъ,
Носилъ бы стеганный халатъ;
Узналъ бы жизнь на самомъ дѣлѣ,
Подагру бъ въ сорокъ лѣтъ имѣлъ,
Пилъ, ѣлъ, скучалъ, толстѣлъ, хирѣлъ,
И, наконецъ, въ своей постелѣ
Скончался бъ посреди дѣтей,
Плаксивыхъ бабъ и лѣкарей.

Второй варіантъ, прискорбный для поэта, и есть «обыкновенная исторія» Адуевыхъ и Обломовыхъ. Пушкинъ только намѣчаетъ вопросъ, не разрабатывая его при свѣтѣ быта и общественной психологіи. Гончаровъ представилъ всѣ данныя для него, но сузилъ напрашивавшійся выводъ.

Бѣлинскій при всей своей проницательности не замѣтилъ этихъ внутреннихъ колебаній и далъ о романѣ самый восторженный отзывъ въ своемъ «Взглядѣ на русскую литературу въ 1847 году».

«Авторъ «Обыкновенной исторіи» — поэтъ, художникъ, и больше ничего. У него нѣтъ ни любви, ни вражды къ создаваемымъ имъ типамъ, они его ни веселятъ, ни сердятъ, онъ не даетъ никакихъ нравственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю; онъ какъ будто думаетъ: кто въ бѣдѣ, тотъ и въ отвѣтѣ, а мое дѣло — сторона. Изъ всѣхъ нынѣшнихъ писателей онъ одинъ, только онъ одинъ приближается къ идеалу чистаго искусства». «Къ особенностямъ его таланта принадлежитъ необыкновенное мастерство рисовать женскіе характеры. Онъ никогда не повторяетъ себя, ни одна его женщина не напоминаетъ собою другой, и всѣ, какъ портреты, превосходны».

«Петръ Ивановичъ выдержанъ отъ начала до конца съ удивительною вѣрностію; но героя романа мы не узнаемъ въ эпилогѣ: это лицо вовсе фальшивое, неестественное... Придуманная авторомъ развязка романа портитъ впечатлѣніе всего этого прекраснаго про-

изведенія, потому что она неестественна и ложна... Какъ такой сильный талантъ могъ впасть въ такую странную ошибку?» — хотя эта ошибка вытекала изъ самой сути дѣла...

«Главная сила таланта Гончарова — всегда въ изящности и тонкости кости, вѣрности рисунка; онъ неожиданно впадаетъ въ поэзію даже въ изображеніи мелочныхъ и постороннихъ обстоятельствъ какъ напримѣръ, въ поэтическомъ описаніи процесса горѣнія въ каминѣ сочиненій молодого Адуева. Въ талантѣ Гончарова поэзія — агентъ первый, главный и единственный».

Въ ореолѣ литературной знаменитости ѣдетъ И. А. въ 1849 году въ Симбирскъ повидаться съ родными. Здѣсь онъ былъ предметомъ общаго вниманія и набиралъ краски для «Обломова» и «Обрыва», тогда уже задуманныхъ. Жизнь на дачѣ подъ Симбирскомъ въ Киндяковкѣ дала ему и обрывъ, и образъ Вѣры. Позднѣе онъ вспоминалъ: «Тутъ хлынули на меня старыя, знакомыя лица, я увидѣлъ еще не отжившій патріархальный бытъ, а вмѣстѣ новые побѣги, смѣсь молодого со старымъ. Сады, Волга, обрывы Поволожья, родной воздухъ, воспоминанія дѣтства — все это залегало мнѣ въ голову и почти мѣшало кончить «Обломова»[1]). «Какъ будто сонъ, слетѣлъ на него весь планъ» новаго романа — «Обрывъ». На первомъ планѣ явилась во весь ростъ бабушка, потомъ Вѣра, Райскій, послѣ Марѳинька, Козловъ съ женой[2])... дворня, садъ съ обрывомъ». Лица первой части романа вышли блѣдными, потому что, изображая ихъ, авторъ «торопился и смотрѣлъ дальше въ глубину романа». «Меня влекли уже близкія мнѣ лица и мѣста, гдѣ я родился и выросъ: и тѣ лица — бабушки и внучекъ, всего провинціальнаго люда и дворни — и вся обстановка, по отзывамъ всѣхъ, вышли у меня живѣе». Но «Обломовъ» былъ оконченъ только въ 1859 году, отрывки изъ «Обрыва» (первоначально — «Райскій» или «Художникъ») появились въ печати только въ началѣ 60-хъ годовъ, цѣликомъ же романъ былъ напечатанъ только въ 1869 году. Такъ медленно шла творческая работа Гончарова.

Въ 1852 году И. А. было предложено «мѣсто секретаря при начальникѣ экспедиціи, снаряженной правительствомъ для обозрѣнія россійскихъ колоній въ Сѣверной Америкѣ и для заключенія торговаго трактата съ Японіей». Сбылись его дѣтскія мечты

---

[1]) Отрывокъ изъ него „Сонъ Обломова“ появился въ „Литературномъ сборникѣ“ „Современника“ 1849 года.

[2]) Въ лицѣ ихъ И. А. изобразилъ своего брата—учителя и его жену.

кругосвѣтномъ плаваніи. Результатомъ этого путешествія были черки, печатавшіеся въ 1855—1856 годахъ и въ 1857 году вы-ледшіе подъ названіемъ «Фрегатъ Паллада» — драгоцѣннѣйшій атеріалъ для характеристики личности и особенностей таланта ончарова. Въ 1856 году онъ переходитъ на службу въ Мини-ерство Народнаго Просвѣщенія, въ цензурный комитетъ. Какъ ензоръ, онъ отличался мягкостью (современники подчеркивали, о онъ пропустилъ карикатуру извѣстнаго карикатуриста Сте-анова на себя, какъ цензора) и исключительною добросовѣст-остью. По словамъ автобіографіи, «усидчивая работа вмѣстѣ петербургскимъ климатомъ вредно подѣйствовали на его здоровье принудили прибѣгнуть къ пособію минеральныхъ водъ» за гра-ицей въ 1858 году, гдѣ онъ кончилъ своего «Обломова».

Въ 1862 году его назначили главнымъ редакторомъ газеты инистерства Внутреннихъ Дѣлъ «Сѣверная Почта», въ слѣдую-емъ — членомъ совѣта того же министерства по дѣламъ печати. олько въ началѣ 70-хъ годовъ кончилась его «Адуевская» ужба, и онъ могъ прибавить къ своему небольшому литературному аслѣдію еще нѣсколько очерковъ, въ томъ числѣ превосходные Милліонъ терзаній» и «Слуги стараго вѣка». Въ послѣдніе годы ъ Гончаровѣ съ особенною силою сказались боязнь жизни, замк-утость, недовѣріе къ людямъ, къ чему у него были задатки и аньше. Онъ отдалился отъ родныхъ и знакомыхъ, закупорился ъ своей привычной квартирѣ на Моховой подъ охраной нѣмки омоправительницы и ея близкихъ. Проникнуть къ И. А. было очти невозможно. Когда одинъ изъ симбирскихъ знакомыхъ почти асильно проникъ къ нему, ему пришлось пережить тягостныя печатлѣнія: «Нѣмка — барыня и нѣмка — служанка вели его одъ руки; отъ изнеможенія онъ упалъ въ кресло. Передо мной ылъ страшный Гончаровъ! Бѣлый, бумазейный халатъ, подпоясан-ый бѣлой тесемкой; лицо — мертвецъ, волосы вылѣзли, зрячій лазъ выцвѣлъ, щеки ввалились, ротъ отъ изнеможенія открытъ; особенно страшна была багровая яма, изъ которой вытекъ больной лазъ; изъ ямы этой, точно изъ черепа, смотрѣла на меня черная ьма. «Что вамъ отъ меня нужно?» едва шопотомъ выговорилъ ольной и послѣ моего вопроса о племянникахъ отчаянно мах-нулъ рукой. «15 лѣтъ, какъ не знаю, гдѣ мои племянники! Ко мнѣ не пишетъ никто!» Глубокая тоска и скорбь послышалась въ его голосѣ. Я заговорилъ какое то утѣшеніе, но въ то же время чувствовалъ, что этого покойника не утѣшить ужъ ничѣмъ. Мнѣ было страшно и больно на него смотрѣть». Такъ трагически,

но въ обломовскихъ тонахъ заканчивалась жизнь великаго художника. Скончался онъ 15 сентября 1891 года.

Главныя произведенія Гончарова — «Обломовъ» и «Обрывъ». Въ «Обломовѣ», кульминаціонномъ пунктѣ развитія своего таланта, вызвавшемъ знаменитую статью Добролюбова «Что такое Обломовщина», И. А. далъ одно изъ лучшихъ художественныхъ обобщеній нашей жизни. Стремленіе къ широкимъ обобщеніямъ — одна изъ яркихъ особенностей его дарованія, слишкомъ, впрочемъ, выдвинутая и преувеличенная въ очеркѣ — комментаріи ко всѣмъ романамъ: «Лучше поздно, чѣмъ никогда». Въ «Обломовѣ» оно сказалось съ особою силою, правдою и красотою.

Романъ подводилъ итоги крѣпостничеству, дореформенной Руси и въ конкретномъ, ярко типичномъ образѣ Обломова далъ не только всесторонній анализъ всѣхъ послѣдствій крѣпостничества, но и широкое психологическое обобщеніе нашего національнаго характера съ его слабоволіемъ, вялостью, боязнью жизни, труда и борьбы. Уже Гоголь въ своихъ Тентетниковѣ и Платоновѣ подошелъ къ этому типу, но только Гончаровъ выяснилъ вполнѣ всѣ его корни.

Обломовъ — человѣкъ 50-хъ годовъ. Отъ 40-хъ годовъ онъ унаслѣдовалъ «наслажденіе высокихъ помысловъ», «внутреннюю волканическую работу пылкой головы, гуманнаго сердца», которымъ «не чужды были всеобщія человѣческія скорби».

Противорѣчія слова и дѣла, мечты и дѣйствительности были свойственны и его предшественникамъ, но въ Ильѣ Ильичѣ они сказались съ особенною силою. Онъ не только не можетъ и не умѣетъ, но и не хочетъ дѣйствовать, перестаетъ читать, отдаваясь необузданной мечтательности; онъ — убѣжденный крѣпостникъ, и въ этомъ заключается его главное отличіе отъ «людей 40-хъ годовъ». По словамъ одного критика, «въ Обломовѣ, въ его психологіи и его судьбѣ представленъ процессъ, такъ сказать, самопроизвольнаго вымиранія крѣпостнической Руси — процессъ ея «естественной смерти», исключавшій необходимость насильственнаго переворота. Нужно только къ этой картинѣ присоединить поясненіе, что 1) далеко не вся крѣпостническая Русь была обезвружена обломовщиной и 2) что сама обломовщина, ускоряя естественную смерть старой Руси, была безсильна создать новую Русь. Не Обломовы подготовляли реформу, не они проводили ее въ жизнь. Они даже не были въ числѣ тѣхъ, которые искренно обрадовались реформѣ и поддержали дѣло эмансипаціи сочувствіемъ, хотя бы пассивнымъ». Параличъ воли сдѣлалъ безплодной «хрустальную

прозрачную душу» Обломова, этотъ «перлъ въ толпѣ». И все это такъ типично для нашей жизни. По словамъ Добролюбова, «Обломовка есть прямая наша родина, ея владѣльцы — наши воспитатели, ея триста Захаровъ всегда готовы къ нашимъ услугамъ. Въ каждомъ изъ насъ сидитъ значительная часть Обломова, и еще рано писать намъ надгробное слово». И Добролюбовъ увидѣлъ предковъ Обломова въ Онѣгинѣ, Печоринѣ, Рудинѣ, его потомковъ — въ тѣхъ современникахъ, которые говорятъ, но ничего не дѣлаютъ, даже не знаютъ, какъ приняться за дѣло, и на тревожный вопросъ: «Что дѣлать?» отвѣчаютъ, какъ Рудинъ Натальѣ: «разумѣется, покориться судьбѣ».

Гончаровъ устами Штольца простился со «старой Обломовкой». Имъ обоимъ казалось, что отмѣна крѣпостного права и насущныя элементарныя реформы переродятъ потомковъ Обломова и вдохнутъ въ ихъ апатическую душу новую жизнь. Исторія не оправдала этой наивной оптимистической мечты.

Русскій нѣмецъ Штольцъ сродни русскому греку Костанжогло, съ которымъ Гончаровъ могъ познакомиться въ 1856 году, когда появился въ печати второй томъ «Мертвыхъ Душъ». Ихъ полурусское, полу-иностранное происхожденіе должно было оттѣнить специфическія русскія особенности Тентетниковыхъ, Платоновыхъ, Хлобуевыхъ, Обломовыхъ, — сблизить съ русскою жизнью и поставить внѣ ея растлѣвающаго вліянія. Гоголь и Гончаровъ пытались уловить въ нихъ новыя, еще не опредѣлившіяся вліянія жизни и испортили ихъ тенденціей: первый — консервативной, доходившей до идеализаціи «загребистой лапы», второй — буржуазно-либеральной съ неизбѣжными «заводами», эпикурействомъ и «разумнымъ эгоизмомъ». Но вмѣсто этихъ суррогатовъ «новыхъ людей» пришли другіе, «дѣти», суровое, кристально-чистое и дѣловое поколѣніе «нигилистовъ», карикатуру на которыхъ далъ Гончаровъ въ своемъ Волоховѣ. Въ Штольцѣ не безъ основанія позднѣйшая критика подмѣтила нѣкоторыя обломовскія черты, во всякомъ случаѣ «болѣе чѣмъ добродушное отношеніе къ обломовщинѣ». Для «нигилистовъ» она была смертельнымъ врагомъ.

«Обломовъ» далъ и рядъ прекрасныхъ женскихъ типовъ — цѣльный образъ матери Ильи Ильича, кроткій и «смирный», проникнутый любовью и поэзіей житейской прозы — Агаѳьи Матвѣевны, Ольги Ильинской, въ которой по словамъ Добролюбова, «болѣе, нежели въ Штольцѣ, можно видѣть намекъ на новую русскую жизнь; отъ нея можно ожидать слова, которое сожжетъ и развѣетъ обломовщину». Ольга — сродни Еленѣ изъ «Наканунѣ».

У нея сильный, ясный, почти мужской умъ, цѣльная натура, органическое влеченіе къ разумной общественной работѣ. Но Елена пошла за Инсаровымъ, къ живому дѣлу, а Гончаровъ выдалъ свою Ольгу за Штольца, отъ котораго она уйдетъ для живого дѣла...

«Обрывъ» писался 20 лѣтъ, и это не могло не отразиться на его архитектоникѣ. Онъ не даетъ цѣльнаго впечатлѣнія. Резонеръ Тушинъ, вторая, русская редакція Штольца, «нигилистъ» Волоховъ — фигуры неживыя, надуманныя, рѣзко отдающія тенденціей. Удачнѣе вышли «Венера Невы, окруженная крещенскимъ холодомъ» Бѣловодова, вся «здѣшняя», земная Марѳинька, и Райскій съ его «трагедіей дилетантизма» и внутреннимъ раздвоеніемъ, чертами «лишняго человѣка». Безплодная артистичность его натуры нашла себѣ лучшее воплощеніе въ Шубинѣ Тургенева. Только образы бабушки и Вѣры подняли романъ на большую художественную высоту. Въ первой Гончаровъ далъ символъ, обобщеніе цѣльной старины со всѣмъ ея свѣтомъ и тѣнями, законченный типъ, обвѣянный «поэзіей прошлаго», къ которой Гончаровъ, какъ и Вальтеръ-Скоттъ, имѣлъ особое влеченіе. Въ Вѣрѣ — поэзія будущаго и вѣчнаго. Райскій такъ противополагаетъ Вѣру Марѳинькѣ: «что за нѣжное, неуловимое созданіе! Какая противоположность съ сестрой: та — лучъ, тепло и свѣтъ, эта вся — мерцаніе и тайна, какъ ночь, полная мглы и искръ, прелести и чудесъ». Роковой для нея «обрывъ» не только въ ея трагическомъ романѣ съ Волоховымъ, но и въ столкновеніи въ ея душѣ старой и новой правды, вѣчнаго и временнаго. Она хочетъ слить, примирить правду бабушки и правду Волохова, она хочетъ спасти Волохова, какъ Ольга — Обломова, и сама гибнетъ отъ своего самоотверженнаго порыва, въ остромъ столкновеніи двухъ правдъ, потому что бракъ съ Тушинымъ — не жизнь, не спасеніе и не дѣло, о которомъ она мечтала, а тенденціозная выдумка автора. На такихъ людяхъ, какъ она, требовательныхъ и сильныхъ, любящихъ и одинокихъ, органически неспособныхъ къ компромиссу, всегда лежитъ печать проклятія и трагизма.

Въ изображеніи «Обрыва», гибели Вѣры и покаянія бабушки, Гончаровъ достигъ потрясающей правды и силы.

«Обрывъ» былъ встрѣченъ холодно критикой и читателями. Волоховъ многихъ оттолкнулъ рѣзкою тенденціозностью своего замысла, Райскій показался многословнымъ повтореніемъ давно уже сказаннаго, Вѣра и бабушка — плохо поняты. Положительныя стороны романа были выяснены значительно позднѣе, когда оскорбленнаго автора уже давно не было на свѣтѣ. Гончаровъ на нѣ-

сколько лѣтъ замолчалъ и навсегда уже отказался отъ романовъ, написалъ послѣ «Обрыва» только нѣсколько небольшихъ очерковъ, изъ которыхъ цѣнны только «Воспоминанія», «Замѣтки о Бѣлинскомъ», «Слуги стараго вѣка» и особенно «Милліонъ терзаній», доказавшій большое критическое чутье И. А. и составившій эпоху въ изученіи «Горя отъ ума».

Графъ Левъ Николаевичъ ТОЛСТОЙ.

(Общая характеристика. Біографія. Ранній періодъ литературной дѣятельности).

Умирающій Тургеневъ продиктовалъ такое письмо Л. Н. Толстому, отрекавшемуся отъ литературной дѣятельности и прежнихъ своихъ произведеній: «Милый и дорогой Левъ Николаевичъ! Долго вамъ не писалъ, ибо былъ и есмь, говоря прямо, на смертномъ одрѣ. Выздоровѣть я не могу, и думать объ этомъ нечего. Пишу же я вамъ собственно, чтобы сказать вамъ, какъ я былъ радъ быть вашимъ современникомъ, и чтобы выразить вамъ мою послѣднюю, искреннюю просьбу. Другъ мой, вернитесь къ литературной дѣятельности! Вѣдь этотъ даръ вашъ оттуда, откуда все другое. Ахъ, какъ я былъ бы счастливъ, еслибъ могъ подумать, что просьба моя такъ на васъ подѣйствуетъ! Я же человѣкъ конченый—доктора даже не знаютъ, какъ назвать мой недугъ... Ни ходить, ни ѣсть, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это! Другъ, великій писатель русской земли, — внемлите моей просьбѣ! Дайте мнѣ знать, если вы получите эту бумажку, и позвольте еще разъ крѣпко, крѣпко обнять васъ, вашу жену, всѣхъ вашихъ. Не могу больше... Усталъ!»

Съ тѣхъ поръ «великій писатель русской земли», «слонъ русской литературы» (выраженіе Тургенева), сталъ міровымъ писателемъ, «совѣстью міра», расширилъ и углубилъ свою проповѣдь соціальной морали, но и далъ такіе шедёвры, какъ «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы», «Крейцерова соната», «Хозяинъ и работникъ», «Воскресеніе». У другихъ, даже очень крупныхъ писателей, бывалъ періодъ «ученичества», подражательности, неопредѣленности, попытокъ выйти на свою дорогу: какъ Паллада изъ головы Зевса, Толстой явился въ литературѣ совершенно законченнымъ, сказалъ свое слово, — сильное, яркое, не поблекшее и до сихъ поръ, черезъ 50 слишкомъ лѣтъ. Могучій талантъ его развивался правильно, послѣдовательно, и уже въ авторѣ «Дѣтства, отрочества и юности» — всѣ задатки автора «Войны и Мира», «Анны Карениной», «Воскресенія».

Типичный шестидесятникъ по нравственному ригоризму, подчиненію эстетическаго моральному и утилитарному, по обостренности соціальнаго чувства, по откровенной тенденціозности, онъ далъ вѣчные образы красоты и правды, глубоко отразилъ въ своемъ творчествѣ кризисъ вѣры и всей культуры XIX вѣка. Литературная «выдумка», культъ формы ему органически чужды. Онъ беретъ живьемъ обыденную, будничную жизнь, захватываетъ ее не столько вширь, сколько вглубь, и такъ просто находитъ въ ней высокое, прекрасное, поучительное, типическое, какъ будто оно напрашивалось само собою, безъ какого бы то ни было авторскаго посредничества. «Сочинительство» до такой степени ему чуждо, что онъ не будетъ придумывать или выискивать фамиліи для своихъ героевъ: Левина, передающаго одинъ изъ моментовъ его духовнаго развитія, назоветъ по своему имени, Волконскаго—Болконскимъ, Куракина — Курагинымъ, Трубецкого — Друбецкимъ и пр. И когда ему указали на это, онъ отвѣтилъ [1]): «имена дѣйствующихъ лицъ, «Болконскій», Друбецкой», «Билибинъ», «Курагинъ» и др., напоминаютъ извѣстныя русскія имена. Сопоставляя дѣйствующія не-историческія лица съ другими историческими лицами, я чувствовалъ неловкость для уха заставлять говорить графа Ростопчина съ кн. Пронскимъ, съ Стрѣльскимъ или съ какими-нибудь другими князьями или графами вымышленной, двойной или одинокой фамиліи. Болконскій или Друбецкой хотя не суть ни Волконскій, ни Трубецкой, звучатъ чѣмъ то знакомымъ и естественнымъ въ русскомъ аристократическомъ кругу. Я не умѣлъ придумать для всѣхъ лицъ именъ, которыя мнѣ показались бы не фальшивыми для уха, какъ Безухій и Ростовъ [2]), и не умѣлъ обойти эту трудность иначе, какъ взявъ на удачу самыя знакомыя русскому уху фамиліи и перемѣнивъ въ нихъ нѣкоторыя буквы».

Для выраженія своей мысли онъ беретъ первыя попавшіяся слова, только бы они передавали всѣ нужные оттѣнки, — не думая о правильности и гармоничности общаго потока рѣчи, часто выковывая новыя слова, путаясь въ «который» и «онъ». И такова сила внутренней правды и красоты его рѣчи, что мы часто совсѣмъ не замѣчаемъ всѣхъ этихъ стилистическихъ недочетовъ, не чувствуемъ формы, впитывая въ себя одно содержаніе, такое простое и глубокое. Эпи-

---

[1]) Въ статьѣ: „Нѣсколько словъ по поводу книги „Война и миръ“ („Русскій Архивъ“, 1868, III), не вошедшей въ полное собраніе сочиненій Л. Н. Толстого, и потому мало извѣстной.

[2]) „Безухій“ образованъ по типу „Безбородко“, Ростовъ — Толстой.

графомъ ко всему его творчеству могутъ послужить прекрасныя слова въ концѣ разсказа «Севастополь въ маѣ 1855 года»: «герой моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его, и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ, — правда». Въ высокомъ съ обыкновенной человѣческой точки зрѣнія онъ откроетъ пошлое и ужасное, въ жизни Ивана Ильича, такой нормальной съ перваго взгляда, — смерть, въ умираніи его и смерти — воскресеніе, въ низкомъ и презрѣнномъ — умилительное; онъ не боится самыхъ рискованныхъ темъ и будетъ разрабатывать ихъ, не оскорбляя самаго чуткаго цѣломудрія: въ немъ — эпическая простота жизни, вернувшейся къ матери-природѣ, вѣрнѣе — вернувшей въ себя природу и совлекшей съ себя весь опошляющій налетъ «культуры». Онъ отличается исключительною чуткостью и памятливостью ко всѣмъ вѣяніямъ, мельчайшимъ деталямъ дѣйствительности, задерживаетъ жизнь во всей ея полнотѣ и свѣжести — и въ своемъ творчествѣ даетъ всю полноту и свѣжесть жизни, не скупясь на мелочи и углубляя ими общее впечатлѣніе.

Демократизмъ и натурализмъ у него не принципіальный, а стихійный, органическій, и онъ подойдетъ къ мужику, къ природѣ, къ женщинѣ не съ сочувствіемъ барина-филантропа, ищущаго временнаго отдыха отъ терній культуры, не съ идеализаціей поэта, а съ сознаніемъ или ощущеніемъ кровной связи брата и сына, которая на многое даетъ свои особыя права. И оттого Руссо поставитъ Толстой выше всѣхъ другихъ писателей и мыслителей, хотя онъ проще, непосредственнѣе, шире и глубже своего великаго предшественника. И оттого онъ найдетъ чистую и высокую поэзію въ материнствѣ и семейной любви, въ самой мелкой жизни и въ самой отталкивающей смерти, вскроетъ глубокій смыслъ въ безсвязныхъ рѣчахъ Каратаевыхъ и Акимовъ, заставитъ повѣрить въ знаменательное «воскресеніе» своихъ Неклюдовыхъ, Ивановъ Ильичей, Василіевъ Брехуновыхъ и скажетъ всѣмъ: то, что вы считаете жизнью, есть ложь и обманъ, смерть хуже смерти; настоящая человѣческая жизнь не втискивается въ ея узкія, калѣчащія рамки.

Толстой сказалъ о себѣ въ «Дѣтствѣ и отрочествѣ»: «я начинаю понемногу исцѣляться отъ моихъ отроческихъ недостатковъ, исключая, впрочемъ, главнаго, которому суждено надѣлать мнѣ еще много вреда въ жизни — склонности къ умствованію». Эта «склонность» осталась у него навсегда, можетъ быть, «надѣлала ему много вреда», но она никогда не понижала его способности къ чувству, глубокому, яркому, колоритному, составляя вмѣстѣ съ нею исключительную полноту духовной жизни, дополняя и направляя ее. Она же рано

разбудила его нравственное чувство и намѣтила тотъ путь самосовершенствованія, который помогъ Толстому освободиться отъ вліянія окружавшей его среды и сдѣлаться учителемъ человѣчества, «совѣстью міра». Иртеньевъ-Толстой заканчиваетъ «Отрочество» знаменательными для него, какъ писателя и мыслителя, словами: «подъ вліяніемъ Неклюдова я невольно усвоилъ и его направленіе, сущность котораго составляло восторженное обожаніе идеала добродѣтели и убѣжденіе въ назначеніи человѣка совершенствоваться. Тогда исправить все человѣчество, уничтожить всѣ пороки и несчастья людскія казалось удобоисполнимою вещью — очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить всѣ добродѣтели и быть счастливымъ». И Толстой, медленнымъ, затяжнымъ и часто кружнымъ путемъ, поборетъ въ себѣ психологію своего круга, освободитъ свою мятежную и страстную душу отъ всѣхъ традицій и больно ударитъ по всѣмъ слабымъ сторонамъ нашей жизни, будетъ «противиться злу» не «насиліемъ», а творческимъ проникновеннымъ словомъ, безтрепетно вскроетъ всѣ противорѣчія нашего національнаго, соціальнаго и религіознаго уклада, будетъ звать съ пламенной убѣжденностью въ царство правды, къ соціальному миру.

Въ началѣ своей литературной карьеры онъ былъ больше занятъ «дѣломъ своей души», по терминологіи Гоголя, своими психическими переживаніями. Разные моменты душевной своей жизни онъ воплотилъ въ неувядаемыхъ образахъ Иртеньева, отчасти Неклюдова, Оленина, Безухова, отчасти Андрея Болконскаго. Его раннее творчество, субъективное въ своихъ корняхъ, даетъ лѣтопись его души, психологическій документъ первостепенной важности на фонѣ широкихъ картинъ природы и болѣе узкихъ — жизни. Оно рисуетъ жизнь великосвѣтскую, столь близко знакомую писателю, и народную, въ которой онъ ищетъ иной, высшей правды, иныхъ идеаловъ, столь далекихъ отъ нашей роковой «культурности». Найдя миръ въ своей душѣ, онъ перестанетъ развертывать передъ нами свою движущуюся художественную автобіографію и примется за проповѣдь — образами, упреками, сатирой, любящимъ убѣжденіемъ. Въ періоды утомленія самоанализомъ и душевнаго мира онъ создастъ рядъ геніальныхъ объективныхъ образовъ, къ которымъ онъ рвался изъ круга привычныхъ впечатлѣній. И все это приведетъ къ той полнотѣ и глубинѣ творчества, которыя заставили Лѣскова сказать: «Толстой — это океанъ».

По сказаніямъ старинныхъ родословій, графы Толстые происходятъ «отъ мужа честна Индриса, выѣхавшаго изъ нѣмецъ, изъ Цесарскія земли», въ Черниговъ въ 1353 году. Сказанія эти привели къ мало вѣроятной легендѣ, будто бы Толстой — переводъ нѣмецкаго Dick, толстый. Возможно, что они — поздняго происхожденія, и считать предковъ Толстыхъ нѣмцами только на основаніи ихъ не имѣетъ достаточныхъ основаній.

Первый вполнѣ историческій предокъ Л. Н. — Петръ Андреевичъ Толстой, стольникъ, одинъ изъ главныхъ зачинщиковъ стрѣлецкаго бунта, позднѣе — типическій «птенецъ Петровъ», сыгравшій крупную роль въ трагической исторіи царевича Алексѣя, авторъ очень интереснаго дневника заграничнаго путешествія (въ 1699 году). По преданіямъ, Петръ нерѣдко сдергивалъ парикъ со своего любимца и, ударяя по головѣ, приговаривалъ: «головушка, головушка, еслибы ты не была такъ умна, то давно бы съ тѣломъ разлучена была».

Объ отцѣ и матери писателя мы знаемъ не много, кромѣ того, что онъ самъ даетъ въ образахъ Иртеньевыхъ [1]), Болконскихъ и Ростовыхъ, главнымъ образомъ по разсказамъ другихъ, такъ какъ мать онъ потерялъ, когда ему не минуло еще двухъ лѣтъ, а отца — девяти лѣтъ.

Его мать, Марія Николаевна, была дочь князя Волконскаго, отличавшагося независимымъ характеромъ и впавшаго благодаря этому въ опалу при Екатеринѣ II. Для своего времени она была исключительно образованнымъ человѣкомъ, знала нѣсколько иностранныхъ языковъ, хорошо играла на фортепіано, тонко и глубоко понимала искусство, была мастерица разсказывать, прекрасно владѣла перомъ. Она отличалась добротой, правдивостью, скромностью, сдержанностью, мягкимъ юморомъ и нѣкоторою вспыльчивостью. Дѣтство ея проходило въ Ясной Полянѣ подъ надзоромъ строгаго и придирчиваго отца, учившаго ее математикѣ, чтобы она «не была похожа на нашихъ барынь». Одиночество развиваетъ въ ней мечтательную экзальтированность, которая направляется то на отца, то на компаньонку-французинку, то на жениха, умершаго передъ свадьбой, то на мужа, отца Л. Н., который женился на ней, некрасивой и немолодой, по разсчету. Л. Н. говоритъ о ней: «ей необходимо было любить не себя, и одна любовь смѣнялась другой».

Отецъ, Николай Ильичъ, по словамъ Л. Н., былъ «средняго роста, хорошо сложенъ, живой сангвиникъ, съ пріятнымъ лицомъ

---

[1]) Впрочемъ, образъ Иртеньева-отца основанъ главнымъ образомъ на характерѣ сосѣда Толстыхъ, Исленева.

и съ всегда грустными глазами». Характерно для него отношеніе къ войнѣ: увлеченный общимъ подъемомъ 1812 года, онъ поступилъ, «несмотря на ужасъ и страхъ и отговоры родителей», въ дѣйствующую армію и затѣмъ «видѣлъ все, что война имѣетъ ужасное» — «мѣста, верстъ на десять застланныя тѣлами». Ему хочется во что бы то ни стало оставить «военное ремесло», что и удалось исполнить въ 1819 году. Въ Ясной Полянѣ онъ занимается хозяйствомъ, безсистемнымъ чтеніемъ и хлопотами по запутаннымъ дѣламъ своимъ и жениным.

«Человѣкъ мечтательнаго размаха», онъ былъ неустойчивъ, мечтателенъ, хватался за литературу, исторію, естественныя науки, но ничего не доводилъ до конца, не выносилъ фальши и искусственности въ общественныхъ отношеніяхъ, питалъ органическую нелюбовь «ко всему чиновному, холодному и узкому».

Л. Н. замѣнила мать, а затѣмъ и отца, дальняя родственница Ергольская, «добрая, нѣжная, жалостливая», съ сильной волей и глубокимъ нравственнымъ чувствомъ. Ожидая смерти, она сказала Л. Н., тогда уже женатому: «комната моя хорошая и вамъ понадобится, а если я умру въ ней, вамъ будетъ непріятно воспоминаніе, такъ вы меня переведите, чтобы я умерла не здѣсь». Л. Н. она научила «духовному наслажденію любви» и «прелести неторопливой, одинокой жизни», и онъ позднѣе вспоминалъ о ней такъ: «никогда она не учила тому, какъ надо жить, словами, никогда не читала нравоученій. Вся нравственная работа была переработана въ ней внутри, а наружу выходили только ея дѣла, и не дѣла, дѣлъ не было, а вся ея жизнь, спокойная, кроткая, покорная и любящая не тревожной, любующейся на себя, а тихой, незамѣтной любовью. Она дѣлала внутреннее дѣло любви, и потому ей не нужно было никуда торопиться. И эти два свойства — любовность и неторопливость — незамѣтно влекли въ общество къ ней и давали особенную прелесть въ этой близости». «Вліяніе Татьяны Александровны было въ томъ, что еще въ дѣтствѣ она научила меня духовному наслажденію любви. Она не словами учила меня этому, а всѣмъ своимъ существомъ заражала меня любовью. Я видѣлъ, чувствовалъ, какъ хорошо было любить, и понялъ счастье любви. Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни».

Левъ Николаевичъ родился 28 августа 1828 года въ Ясной Полянѣ (Тульской губерніи). Дѣтство и юность его окружали впечатлѣнія стараго русскаго барства, которое презирало выслуживаніе, слегка фрондировало, ближе сходилось со своимъ соціальнымъ полюсомъ — крѣпостнымъ мужикомъ, чѣмъ съ чиновничествомъ, купечествомъ и разночинцами.

12 лѣтъ прожилъ Л. Н. въ атмосферѣ семейной любви и ласки, затѣмъ до 19 лѣтъ жилъ въ Казани у своей тетки Юшковой; въ домѣ которой готовился къ поступленію въ университетъ. Университетскія занятія у него не наладились, и его даже не допустили къ переводнымъ испытаніямъ на второй курсъ. Изъ Казани онъ пробуетъ перейти въ Петербургскій университетъ, но неудачно, затѣмъ поселяется на четыре года въ деревнѣ (1847—1851), гдѣ занимается хозяйствомъ, близко приглядывается къ крестьянской жизни, накопляя матеріалы для будущаго «Утра помѣщика» (1852).

Его тогдашнее настроеніе лучше всего передаетъ письмо князя Неклюдова этой повѣсти теткѣ: «я выхожу изъ университета, чтобъ посвятить себя жизни въ деревнѣ, потому что чувствую, что рожденъ для нея... Можетъ быть, точно, я еще ребенокъ, но это не мѣшаетъ мнѣ чувствовать мое призваніе, желать дѣлать добро и любить его... Главное зло заключается въ самомъ жалкомъ, бѣдственномъ положеніи мужиковъ, и зло такое, которое можно исправить только трудомъ и терпѣніемъ... Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастіи этихъ семисотъ человѣкъ, за которыхъ я долженъ буду отвѣчать Богу? Не грѣхъ ли покидать ихъ на произволъ грубыхъ старостъ и управляющихъ, изъ-за плановъ наслажденія или честолюбія? И зачѣмъ искать въ другой сферѣ случаевъ быть полезнымъ и дѣлать добро, когда мнѣ открывается такая благородная, настоящая и ближайшая обязанность? Я чувствую себя способнымъ быть хорошимъ хозяиномъ; а для того, чтобъ быть имъ, какъ я разумѣю это слово, не нужно ни кандидатскаго диплома, ни чиновъ, которыхъ вы такъ желаете для меня». И Неклюдовъ-Толстой повторяетъ петербургскія мечты и деревенскія разочарованія Гоголевскаго сентетникова на собственномъ опытѣ, не имѣя еще возможности дать свой литературный прототипъ, и придетъ къ выводу, который дѣлается одной изъ основъ его міровоззрѣнія — о коренной разницѣ барской и мужицкой психологіи.

Неудачи и разочарованія не затемняютъ общаго свѣтлаго фона начала жизни Л. Н. Она не заключала въ себѣ тягостныхъ впечатлѣній, строилась на любви, тѣсныхъ семейныхъ отношеніяхъ, близости къ природѣ и мужицкому труду, давала полный просторъ пытливому уму и яркой индивидуальности, которые уходили во внутреннюю заботу самоопредѣленія, постановки и рѣшенія «проклятыхъ вопросовъ». Во всемъ этомъ были и свои отрицательныя стороны: узость, тѣснота семейнаго круга приводила къ однообразію впечатлѣній, «пустынѣ отрочества», отсутствію поддержки при усиленной и не всегда нормальной духовной работѣ. Окружающая среда усвоивала

юношѣ свои аристократическіе предразсудки, свой принципъ «comme il faut», съ которыми потомъ пришлось такъ сильно бороться могуче личности великаго писателя. Въ его душѣ борются гордость и само уничиженіе, тщеславіе и безкорыстная любовь къ добру и правдѣ натянутость и искренность, и самому себѣ главнымъ образомъ он былъ обязанъ тѣмъ, что вышелъ на свободную дорогу, стряхнув съ себя пыль и грязь прошлаго.

Въ 1851 году онъ ѣдетъ послѣ большого проигрыша на Кавказ къ брату, гдѣ и поступаетъ на военную службу. Новыя впечатлѣнія расширеніе умственнаго кругозора съ особенною силою отразились въ «Набѣгѣ» и «Казакахъ» (1852). Толстой изобразилъ себя въ Оленинѣ и пластически выразилъ въ немъ новый моментъ своего духовнаго развитія: Неклюдовъ далекъ еще отъ настоящаго пониманія жизни, и крестьянскій міръ представляется ему замкнутымъ, чуждымъ, загадочнымъ; подобно ему и Оленинъ еще не видитъ въ мужикѣ настоящаго человѣка, представителя моральной закономѣрной цѣльности, но своеобразная жизнь «казаковъ» захватила его своеобразіем своей красоты и свободы, вскрыла богатство и силу личности, близкой къ природѣ, — и немощь «культурнаго» человѣка. Здѣсь уж опредѣлился въ Толстомъ поворотъ отъ цивилизаціи — къ культур и освобожденію.

Съ Кавказа же онъ посылаетъ въ 1852 году въ редакцію «Современника» свою первую вещь — «Дѣтство». Литературная карьер была начата увѣренно и блистательно — безъ исканій, колебаній «ученичества», которыми начинаютъ даже очень крупные писатели Некрасова и редакцію журнала, читателей самыхъ разнообразных оттѣнковъ захватили глубокая искренность повѣсти, тонкость психологическаго анализа, ароматъ своеобразной дѣтской души, съ поразительною силою и правдою возсозданной взрослымъ геніальным художникомъ, — яркая картина барской жизни. Не зная имени автора, Некрасовъ писалъ Толстому: «во всякомъ случаѣ направленіе автора, простота и дѣйствительность содержанія составляют неотъемлемыя достоинства произведенія... И романъ вашъ, и талант меня заинтересовали».

За «Дѣтствомъ» (1852, «Отрочество» — 1854, «Юность» — 1855—1857) послѣдовали «Утро помѣщика», «Набѣгъ», «Казаки» севастопольскіе разсказы 1854—1856 гг. Некрасовъ весь отдался обаянію новаго, могучаго таланта и очень остро относился къ цен зурнымъ урѣзкамъ повѣстей Л. Н. Въ 1855 году онъ писалъ Толстому: «возмутительное безобразіе, въ которое приведена ваша статья испортило во мнѣ послѣднюю кровь. До сей поры не могу думат

объ этомъ безъ тоски бѣшенства. Трудъ то вашъ, конечно, не пропадетъ... Онъ всегда будетъ свидѣтельствовать о силѣ, сохранившей способность къ такой глубокой и трезвой правдѣ, среди обстоятельствъ, въ которыхъ не всякій бы сохранилъ ее. Не хочу говорить, какъ высоко я ставлю эту статью [1]) и вообще направленіе вашего таланта и то, чѣмъ онъ вообще силенъ и новъ. Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда,— правда, которой со смерти Гоголя такъ мало осталось въ русской литературѣ. Вы правы, дорожа всего болѣе этою стороною въ вашемъ дарованіи. Эта правда въ томъ видѣ, въ какомъ вносите вы ее въ нашу литературу, есть нѣчто у насъ совершенно новое. Я не знаю писателя теперь, который бы такъ заставлялъ любить себя и такъ горячо себѣ сочувствовать, какъ тотъ, къ которому пишу, и боюсь одного, чтобы время и гадость дѣйствительности, глухота и нѣмота окружающаго не сдѣлали съ вами того, что съ большею частью изъ насъ: не убили въ васъ энергіи, безъ которой нѣтъ писателя, по крайней мѣрѣ такого, какіе теперь нужны Россіи. Вы молоды; идутъ какія то перемѣны, которыя — будемъ надѣяться — кончатся добромъ, и, можетъ быть, вамъ предстоитъ широкое поприще. Вы начинаете такъ, что заставляете самыхъ осмотрительныхъ людей заноситься въ надеждахъ очень далеко... «Рубка лѣса» прошла порядочно, хотя и изъ нея вылетѣло нѣсколько драгоцѣнныхъ чертъ. Мое мнѣніе объ этой вещи такое: формою она точно напоминаетъ Тургенева, но этимъ и оканчивается сходство; все остальное принадлежитъ вамъ и никѣмъ, кромѣ васъ, не могло быть написано. Въ этомъ очеркѣ множество удивительно мѣткихъ замѣтокъ, и весь онъ новъ, интересенъ и дѣленъ. Не пренебрегайте подобными очерками; о солдатѣ вѣдь наша литература донынѣ ничего не сказала, кромѣ пошлости. Вы только начинаете, и въ какой бы формѣ ни высказали вы все, что знаете объ этомъ предметѣ, — все это будетъ въ высшей степени интересно и полезно».

А вотъ отзывы соперника — Тургенева, который потомъ такъ радостно уступилъ Толстому первое мѣсто въ литературѣ. Въ «Утрѣ помѣщика» онъ видитъ глубокое «нравственное впечатлѣніе»: «пока будетъ существовать крѣпостное право, нѣтъ возможности сближенія и пониманія обѣихъ сторонъ, несмотря на самую безкорыстную и честную готовность сближенія». «Статья Толстого о Севастополѣ — чудо! Я прослезился, читая ее, и кричалъ: ура!» По поводу «Отрочества»: «дай только Богъ Толстому пожить, и онъ, надѣюсь еще, удивитъ насъ всѣхъ — это талантъ первостепенный».

[1]) „Севастополь".

Желчный и грубый Писемскій ту же мысль выразилъ по-своему: «этотъ офицеришка всѣхъ насъ заклюетъ, хоть перо бросай...»

То, что волновало восторгомъ и надеждами Некрасова и Тургенева, завистью — Писемскаго, превосходно выразилъ французскій критикъ Эннекенъ въ своей характеристикѣ генія Толстого: «освободясь отъ заранѣе обдуманнаго развитія дѣйствія, отъ стремленія къ постепенному усиленію и прямолинейности разсказа, такъ обязательныхъ для англійскихъ и французскихъ писателей, пренебрегая удобствами читателя, русскій писатель допускаетъ длинноты и отступленія, ненужные на первый взглядъ эпизоды и повторенія, перемѣшиваетъ главы различнаго содержанія, даетъ не только множество страницъ съ описаніемъ главныхъ героевъ, но посвящаетъ вводнымъ лицамъ обширные очерки и такимъ образомъ наполняетъ свое произведеніе толпою людей, вполнѣ описанныхъ и показанныхъ со всѣхъ сторонъ ихъ дѣятельности... Онъ одинаково естественно рисуетъ и городскую толпу, и молчаливое, полное рѣшимости воодушевленіе войска наканунѣ битвы, душевное настроеніе батарейной прислуги и офицеровъ подъ огнемъ или полка во время смотра, такъ же какъ и нравственную атмосферу административнаго кабинета, военнаго совѣта, дипломатическаго или свѣтскаго салона, болтовню отряда плѣнныхъ или толпы ребятъ... Но геніальность Толстого отличается не только этимъ непосредственнымъ творчествомъ и широтой изображенія. Другіе и до него очерчивали разныя сферы жизни и рисовали картины одинаково захватывающія, но у него нѣтъ соперника въ искусствѣ изображать цѣлыя жизни, въ искусствѣ, мало-по-малу накопляя сцены, разсказы, замѣтки, воспроизводить цѣльнаго человѣка со всѣми его порываніями, отступленіями, разнообразіемъ, со всѣми ему одному присущими особенностями на пути всей его жизни... Толстой понялъ и сумѣлъ показать, что полное описаніе человѣка нельзя дѣлать въ ограниченныхъ рамкахъ нѣсколькихъ связныхъ драматическихъ моментовъ, въ границахъ одного дѣйствія, потому что человѣкъ — одинъ менѣе, другой болѣе — но всегда есть полный, всесторонній микрокосмъ безконечныхъ измѣненій. Поэтому и романъ, если въ немъ хотятъ дать изображеніе жизни со всѣмъ, что въ ней есть увлекательнаго и важнаго, долженъ быть, подобно жизни, сложнымъ, обильнымъ, пространнымъ. Произведеніе, построенное по этому глубокому принципу, потеряетъ во внѣшней отдѣлкѣ, въ искусственномъ сосредоточеніи эффектовъ, въ кажущемся единствѣ характеровъ; зато можетъ возвыситься до потрясающей правдивости, до разнообразія оттѣнковъ, присущихъ самимъ реальнымъ событіямъ и реальнымъ людямъ, въ такой степени,

что выкажетъ то же богатство контрастовъ и оттѣнковъ развитія, какъ сама природа».

«Дѣтство», «Отрочество», «Юность», «Утро помѣщика», «Казаки — моменты самоопредѣленія Толстого, разныя страницы его психологической лѣтописи. Но уже въ двухъ послѣднихъ произведеніяхъ въ извѣстной мѣрѣ сказались властно вѣянія времени, которымъ не могла не поддаться даже упругая личность Толстого — распадъ дореформеннаго режима и исканія новыхъ путей. Пока онъ ищетъ ихъ для себя, изъ узкаго круга привычныхъ отношеній и впечатлѣній. Въ Севастопольскихъ разсказахъ субъективный элементъ глубоко уходитъ подъ спудъ, и Толстой живетъ общею жизнью со всѣмъ обществомъ, отодвигаетъ на задній планъ исторію своего внутренняго развитія, всю мощь своего таланта направляетъ на грозную правду дѣйствительности. Героевъ въ нихъ нѣтъ, а если и есть, то «правда», жизнь. Великосвѣтскій кругъ раздвинулся передъ нимъ, и за севастопольскимъ солдатомъ выступила вся сермяжная, простая и великая духомъ Русь.

Л. Н. съ началомъ Восточной войны въ 1853 году переводится въ дѣйствующую армію и вдумчиво, глубоко переживаетъ всѣ моменты и перипетіи роковой для стараго режима борьбы. Онъ пробылъ въ Севастополѣ до взятія Малахова кургана и затѣмъ былъ отправленъ курьеромъ въ Петербургъ въ концѣ 1855 года. Военная карьера была закончена.

Петербургъ его встрѣтилъ, какъ героя и знаменитаго уже писателя. Въ редакціи «Современника» его встрѣтили съ распростертыми объятіями. Но Толстой мало увлекся вѣяніями тогдашней «весны» и ко многимъ изъ нихъ относился съ нескрываемой ироніей, которая особенно сильно отразилась въ «Декабристахъ» (1863). Петербуржцы слишкомъ мало подходили къ тому идеалу, который выработалъ Толстой на Кавказѣ и подъ Севастополемъ, мучительными исканіями и душевной тревогой; въ обличительномъ потокѣ, повышенномъ либерализмѣ ему слышались не безъ основанія фраза и поза; политическія мечтанія ему чужды. Уже въ «Люцернѣ» (1857) онъ опредѣленно формулируетъ идею основной лжи цивилизаціи, «разумной, себялюбивой ассоціаціи», проблему общественнаго строя сводитъ къ морали и рѣшаетъ ее не исторически, относительно, а абсолютно, непосредственнымъ чувствомъ. Это была не случайная, а коренная черта его міровоззрѣнія, и сговориться съ петербуржцами ему было мудрено. Отъ него требовали «гражданскаго» отношенія и освѣщенія, а онъ ко всему подходилъ съ общечеловѣческой и общепсихологической точки зрѣнія. Въ 1856 году онъ уѣзжаетъ въ Ясную

Поляну, заниматься хозяйствомъ, творчествомъ, завершеніемъ слагавшагося міровоззрѣнія, и окончательно сближается съ крестьянскимъ міромъ, находя въ немъ сильную точку опоры для борьбы съ «цивилизаціей». Время, однако, отъ общихъ задачъ сводило его на почву дѣйствительности: жизнь въ деревнѣ при выдвинутыхъ на очередь реформахъ сама заставляла вмѣшиваться, и Толстой въ 1861 году дѣлается мировымъ посредникомъ, много силъ отдаетъ яснополянской школѣ.

На этомъ моментѣ жизни великаго писателя, очень для него характерномъ, стоитъ остановиться.

Великій сердцевѣдъ и міровой геній былъ начальнымъ учителемъ, издавалъ педагогическій журналъ, написалъ рядъ глубокихъ статей по вопросамъ обученія и воспитанія[1]) и незамѣнимыхъ разсказовъ для чтенія дѣтей. Какъ всегда и во всемъ, онъ шелъ по своимъ, непроторенным тропамъ; съ пытливою вдумчивостью и жаждою простой, живой правды подходилъ онъ къ тому, что уже давно считалось порѣшеннымъ и «яснымъ, какъ день», и отъ него не всегда ладно скроенныхъ, но крѣпко сшитыхъ «парадоксовъ» валились авторитеты, падали въ грязь фетиши, новою жизнью загоралась мысль, открывались неожиданные горизонты. Не соглашались съ нимъ многіе и часто; считались съ нимъ, — не всегда, положимъ, откровенно и честно, — всѣ. И послѣ его критики установленнаго и общепринятаго долго приходилось задѣлывать бреши въ общепринятомъ и установленномъ, — если не хватало мужества уйти черезъ нихъ совсѣмъ, на волю.

Его педагогическія статьи вырастали изъ почвы, изъ свѣжаго, любовнаго и живого опыта; любовью и свѣжестью вѣетъ отъ нихъ и теперь, почти черезъ 50 лѣтъ. За ними — искренняя, смѣлая, свободная мысль; передъ ними — широкій просторъ будущаго съ искренною, смѣлою, свободною школою.

Толстой-педагогъ затертъ Толстымъ-писателемъ, Толстымъ-мыслителемъ. Его теперь мало знаютъ, рѣдко вспоминаютъ. Но помнить о немъ нужно уже потому, что Л. Н. самъ всегда высоко цѣнилъ и до сихъ поръ цѣнитъ эту сторону своей жизни и дѣятельности, и имѣетъ на это полное нравственное право. Его мысль часто заключена въ плотную скорлупу парадокса и полемики; но въ ней — здоровое, жизнеспособное и плодовитое зерно.

Яснополянская школа была открыта въ 1849 г. и усиленно функціонировала въ 60—70-хъ годахъ. Въ началѣ 60-хъ годовъ Л. Н. вни-

[1]) Онѣ занимаютъ весь четвертый томъ „сочиненій", въ который, однако, не вошло иного статей изъ „Ясной Поляны".

іательно изучаетъ педагогическую литературу, положеніе школы въ Россіи и за границей, для чего прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Германіи, Швейцаріи, Франціи, Италіи и Бельгіи; въ 1862 году издается «Ясная Поляна» съ рядомъ теоретическихъ и полемическихъ статей. Послѣдняя статья «О народномъ образованіи» помѣщена 1885 г. Къ этимъ хронологическимъ рамкамъ пріурочивается развитіе педагогической мысли Толстого.

Она исходитъ изъ глубокаго уваженія къ личности ребенка-человѣка. Ребенокъ у насъ — игрушка, объектъ экспериментовъ, жертва насилія «деспотическаго» или «дипломатическаго», скрытаго. Учить и воспитывать его «по образу своему и подобію» считается дѣломъ простымъ и легкимъ. Возникаетъ множество исключающихъ другъ друга педагогическихъ теорій, методовъ, опытовъ, проникнутыхъ въ большинствѣ случаевъ «квази-философскимъ» самоувѣреннымъ догматизмомъ, мертвеннымъ формализмомъ, самодовольной канцелярской рутиной. Надъ дѣтьми хитрятъ и мудрятъ, коверкаютъ ихъ жизнь, ломаютъ ихъ душу — на основаніи мнимой «абсолютной истины» педагоговъ. Но воспитывать нельзя: можно только учить. Воспитываетъ среда, жизнь; школа учитъ, если она умѣетъ учить. «Стоитъ взглянуть на одного и того же ребенка дома, на улицѣ или въ школѣ: то вы видите жизнерадостное, любознательное существо, съ улыбкой въ глазахъ и на устахъ, во всемъ ищущее поученія, какъ радости, ясно и часто сильно выражающее свои мысли своимъ языкомъ, то вы видите измученное, сжавшееся существо, съ выраженіемъ усталости, страха и скуки, повторяющее однѣми губами чужія слова на чужомъ языкѣ, — существо, котораго душа, какъ улитка, спряталась въ свой домикъ» Школьная жизнь будетъ нормальна тогда только, когда она будетъ основана на началахъ полной свободы, здороваго опыта, безъ умничанья и недостойнаго натаскиванья. «Есть отношенія людей, не могущія быть опредѣленными закономъ: это отношенія семейныя и отношенія образовывающаго къ образовывающемуся и т. п.». Въ школѣ «пускай учатъ, насколько умѣютъ, пускай учатся, насколько хотятъ». Учащемуся должна быть предоставлена «полная свобода воспринимать то ученіе, которое согласно съ его требованіемъ, которое онъ хочетъ и воспринимаетъ настолько, насколько ему нужно, насколько онъ хочетъ, и уклоняться отъ того ученія, которое ему не нужно и котораго онъ не хочетъ». При этой «полной свободѣ» будетъ, конечно, «внѣшній безпорядокъ», но его не слѣдуетъ бояться. Знаніе вообще не пострадаетъ, потому что «всякое серьезное образованіе пріобрѣтается только изъ жизни, а не изъ школы». Порядокъ установится самъ собою,

гораздо лучше введеннаго насиліемъ, если учитель — человѣкъ знающій, талантливый, любящій дѣтей и любимый ими, непрестанно учащійся самъ и живо реагирующій на все. «Безпорядокъ этотъ, или свободный порядокъ, страшенъ намъ только потому, что мы привыкли къ совсѣмъ другому, въ которомъ сами воспитаны... Въ этомъ, какъ и во многихъ подобныхъ случаяхъ, насиліе употребляется только вслѣдствіе поспѣшности и недостатка уваженія къ человѣческой природѣ. Намъ кажется, безпорядокъ растетъ, дѣлается все больше и больше, и нѣтъ ему предѣловъ, — кажется, что нѣтъ другого средства прекратить его, какъ употребить силу, а стоило только подождать, — и безпорядокъ (или оживленіе) самъ естественно улегся бы, и улегся бы въ порядокъ, гораздо лучшій и прочнѣйшій, чѣмъ тотъ, который мы выдумаемъ. Школьники — люди хотя и маленькіе, но люди, имѣющіе тѣ же потребности, какія и мы, и тѣми же путями мыслящіе; они всѣ хотятъ учиться, затѣмъ только и ходятъ въ школу, и потому имъ весьма легко будетъ дойти до заключенія, что нужно подчиняться извѣстнымъ условіямъ для того, чтобы учиться». И Толстой рисуетъ прелестную, поучительную картину «свободнаго порядка» своей школы.

«Учитель приходитъ въ комнату, а на полу лежатъ и пищатъ ребята, кричащіе: «Мала куча!» или «Задавили, ребята!» или «Будетъ, брось виски-то!» и т. д. «Петръ Михайловичъ! — кричитъ снизу кучи голосъ входящему учителю, — вели имъ бросить». «Здравствуй, Петръ Михайловичъ!» — кричатъ другіе, продолжая возню. Учитель беретъ книжки, раздаетъ тѣмъ, которые съ нимъ пошли къ шкапу; изъ кучи на полу верхніе, лежа, требуютъ книжку. Куча понемногу уменьшается. Какъ только большинство взяло книжки, всѣ остальные уже бѣгутъ къ шкапу и кричатъ: «И мнѣ, и мнѣ! Дай мнѣ вчерашнюю!» «А мнѣ кольцовую!» и т. д. Ежели останутся еще какіе-нибудь два разгоряченные борьбой, продолжающіе валяться на полу, то сидящіе съ книгами кричатъ на нихъ: «Что вы тутъ замѣшались?... Ничего не слышно. Будетъ». Увлеченные покоряются и, запыхавшись, берутся за книги, и только въ первое время, сидя за книгой, поматываютъ ногой отъ неулегшагося волненія».

Это — не наша обычная школа, юдоль плача и скрежета зубовнаго, а «домъ веселья», который провидѣла педагогическая мысль гуманистовъ...

Преподаваніе должно быть живымъ, любовнымъ творчествомъ, эластично приспособляющимся ко всѣмъ колебаніямъ дѣтской психологіи. «Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай

ее, и ученики полюбятъ и тебя, и науку, и ты воспитаешь ихъ». «Любовь можетъ быть только при свободѣ». «Нѣтъ ни одной методы дурной и ни одной хорошей; недостатокъ методы состоитъ только въ исключительномъ слѣдованіи одной методѣ, а лучшая метода есть отсутствіе всякой методы... знаніе и употребленіе всѣхъ методъ и изобрѣтеніе новыхъ, по мѣрѣ встрѣчающихся трудностей».

Школа хороша, если она растетъ изъ почвы, изъ жизненнаго опыта, изъ народнаго сознанія, при полной «внутренней свободѣ» учащихъ и учащихся, удовлетворяя уже назрѣвшимъ, своимъ потребностямъ. Всякое насиліе, самое тонкое, — ея гибель. Оно — безнравственно, потому что нарушаетъ «право свободнаго развитія каждой личности». «Люди, вовсе не воспитанные, т.-е. подлежавшіе однимъ свободно-образовательнымъ вліяніямъ, люди народа — свѣжѣе, сильнѣе, могучѣе, самостоятельнѣе, справедливѣе, человѣчнѣе и, главное, нужнѣе людей, какъ бы то ни было воспитанныхъ», т.-е. всегда воспитанныхъ насильственно.

«Единственный методъ образованія есть опытъ, а единственный критеріумъ его есть свобода», — вотъ ключъ педагогической теоріи Л. Н.

Какъ всегда у Толстого, во всемъ этомъ, при стремительной прямолинейности мысли, много живого, свѣжаго, глубоко справедливаго.

Женившись въ 1862 г. на Софіи Андреевнѣ Берсъ, Л. Н. живетъ то въ Ясной Полянѣ, то въ Москвѣ, переживаетъ душевные кризисы, которые отразились въ образахъ Пьера Безухова и Андрея Болконскаго «Войны и Мира» (1864—1869) и Левина «Анны Карениной» (1873—1876). Раньше онъ рисовалъ стихійный, не вполнѣ сознанный протестъ сильной натуры, жаждущей широкаго человѣческаго развитія и высшихъ нравственныхъ идеаловъ, противъ узкой и исключительной классовой психологіи, противъ предразсудковъ традицій и условной морали воспитавшей его барской и великосвѣтской среды, — рисовалъ съ изумительнымъ богатствомъ художественныхъ красокъ, мастерствомъ психологическаго рисунка, пластичностью изображенія. Въ «Войнѣ и Мирѣ» на широкомъ фонѣ историческихъ событій онъ далъ «семейную хронику», соціально-психологическій романъ, въ которомъ частная жизнь, бытъ, душевное развитіе автобіографическихъ героевъ отодвинуло на второй планъ элементъ чисто историческій, при всей его выпуклости и многознаменательности. Передъ нами, въ центрѣ разсказа, возрожденіе молодого Болконскаго и Безухова отъ традиціонныхъ великосвѣтскихъ и барскихъ взглядовъ къ новой жизни

(для Безухова—къ участію въ декабрьскомъ движеніи 1825 года) и своеобразному народничеству и новымъ идеаламъ.

Въ своей замѣткѣ по поводу романа Толстой самъ ставитъ вопросъ и отвѣчаетъ на него: «что такое «Война и Миръ»? Это не романъ, еще менѣе поэма, еще менѣе историческая хроника. «Война и Миръ» есть то, что хотѣлъ и могъ выразить авторъ въ той формѣ, въ которой оно выразилось». Не исторія влекла его къ себѣ, даже не отрицаніе роли личности въ исторіи, которое такъ занимало его тогда, а «человѣческое», душа въ ея творческомъ развитіи, перипетіи любви и смерти, семейной жизни.

Толстой писалъ: «характеръ времени, какъ мнѣ выражали нѣкоторые читатели при появленіи въ печати первой части, недостаточно опредѣленъ въ моемъ сочиненіи. На этотъ упрекъ я имѣю возразить слѣдующее. Я знаю, въ чемъ состоитъ тотъ характеръ, котораго не находятъ въ моемъ романѣ,—это ужасы крѣпостного права, закладываніе женъ въ стѣны, сѣченіе взрослыхъ сыновей, Салтычиха и т. п.; и этотъ характеръ того времени, который живетъ въ нашемъ представленіи,—я не считаю вѣрнымъ и не желалъ выразить. Изучая письма, дневники, преданія, я не находилъ всѣхъ ужасовъ этого буйства въ бо̀льшей степени, чѣмъ нахожу ихъ теперь, или когда-либо. Въ тѣ времена такъ же любили, завидовали, искали истины, добродѣтели, увлекались страстями; та же была сложная умственно-нравственная жизнь, даже иногда болѣе утонченная, чѣмъ теперь въ высшемъ сословіи. Ежели въ понятіи нашемъ составилось мнѣніе о характерѣ своевольства и грубой силы того времени, то только отъ того, что въ преданіяхъ, запискахъ, повѣстяхъ и романахъ до насъ наиболѣе доходили выступающіе случаи насилія и буйства. Заключать о томъ, что преобладающій характеръ того времени было буйство, такъ же несправедливо, какъ несправедливо заключилъ бы человѣкъ, изъ-за горы видящій однѣ макушки деревъ, что въ мѣстности ничего нѣтъ, кромѣ деревьевъ. Есть характеръ того времени (какъ и характеръ каждой эпохи), вытекающій изъ большей отчужденности высшаго круга отъ другихъ сословій, изъ царствовавшей философіи, изъ особенностей воспитанія, изъ привычки употреблять французскій языкъ и т. п. И этотъ характеръ я старался, сколько умѣлъ, выразить... Для историка, въ смыслѣ содѣйствія, оказаннаго лицомъ какой-нибудь одной цѣли, есть герои; для художника, въ смыслѣ соотвѣтственности этого лица всѣмъ сторонамъ жизни, не можетъ и не должно быть героевъ, а должны быть люди. Историкъ обязанъ иногда,

пригибая истину, подводить всѣ дѣйствія историческаго лица подъ одну идею, которую онъ вложилъ въ это лицо. Художникъ, напротивъ, въ самой одиночности этой идеи видитъ несообразность съ своей задачей и старается только понять и показать не извѣстнаго дѣятеля, а человѣка». И Толстой въ своемъ знаменитомъ романѣ прежде всего «старался понять и показать человѣка» вообще, себя, свой духовный ростъ въ частности. Такъ общій субъективизмъ творчества пронизалъ широкую эпическую картину прошлаго, одного изъ крупнѣйшихъ моментовъ нашей исторіи.

Въ «Аннѣ Карениной»—распадъ, вырожденіе великосвѣтской психологической формы, трагедія бюрократизма, проникшаго въ жизнь и душу, какъ фонъ, и возрожденіе Левина—Толстого, его исканія и нахожденіе правды въ народѣ, какъ одна изъ главныхъ цѣлей. И надъ всѣмъ носится духъ возвышенной морали, которую подсказываетъ уже эпиграфъ къ роману: «Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ». Достоевскій видѣлъ исключительный нравственный интересъ этого произведенія въ особомъ взглядѣ на «виновность и преступность человѣческую». «Графъ Толстой огромной психической разработкой души доказываетъ, что зло таится въ человѣчествѣ гораздо глубже, чѣмъ предполагаютъ лѣкари и соціалисты, что корень его лежитъ не въ томъ или другомъ устройствѣ общества, а въ душѣ человѣка, въ его «я», и что исходъ нужно искать не въ переустройствѣ общества или государства, но въ обновленіи самого человѣчества, во введеніи въ сердце человѣческое принципа любви и всепрощенія». «Анна Каренина» есть совершенство, какъ художественное произведеніе, съ которымъ ничто подобное изъ европейскихъ литературъ въ настоящую эпоху не можетъ сравниться. А, во-вторыхъ, и по идеѣ своей это уже нѣчто наше, нѣчто свое, родное, и именно то самое, что составляетъ нашу особенность передъ европейскимъ міромъ».

Изъ разговора съ Ѳедоромъ Левинъ-Толстой понялъ, что «можно жить по-человѣчески, и можно жить по-Божески» и послѣ остраго духовнаго кризиса, доводившаго до настойчивой идеи самоубійства, будетъ искать личнаго и общечеловѣческаго спасенія въ вѣрѣ—въ вѣрѣ сначала традиціонной, затѣмъ своей, новой.

Найдя себя и точку опоры въ себѣ, онъ перестаетъ рисовать субъективные, автобіографическіе типы и переходитъ къ проповѣди новаго ученія—художественными образами, словомъ публициста, мыслителя. Такъ возникли перлы глубоко-тенденціознаго и въ то же время глубоко-художественнаго, органически выросшаго изъ души

и жизни творчества: «Чѣмъ люди живы» (1881), «Смерть Ивана Ильича» (1884—1886), «Власть тьмы» (1886), «Плоды просвѣщенія» (1889), «Крейцерова соната» (1890), «Что такое искусство?» (1897), «Воскресеніе» (1899). Всѣ они объединяются призывомъ къ новой, человѣческой жизни и отрицаніемъ того, что мы обычно считаемъ жизнью. Ко всѣмъ намъ Толстой готовъ примѣнить то, что говоритъ Митричъ «Власти тьмы» о деревенскихъ бабахъ: «Слякоть одна... кроты слѣпые... такъ, какъ щенята слѣпые ползаютъ, головами въ навозъ тычутся». И если не всегда можно согласиться съ его положительной программой, то всегда останется въ силѣ его страшная критика современной жизни со всѣми ея устоями, всегда будутъ цѣнны и памятны его исканія выхода...

28 августа 1908 года весь міръ торжественно отпраздновалъ 80-лѣтіе жизни великаго художника и мыслителя, удѣльнымъ вѣсомъ своей многогранной личности создавшаго для себя абсолютную свободу слова, неприкосновенность въ Россіи и міровое положеніе. Не только для Россіи и Европы, но и для Азіи, Америки, Австраліи Ясная Поляна съ ея «великимъ старцемъ» сдѣлалась притягательнымъ центромъ, его жизнь, творчество, болѣзни и выздоровленіе — предметомъ повышеннаго общаго интереса.

Въ Историческомъ музеѣ въ Москвѣ гр. С. А. Толстая основала музей имени своего мужа для его автографовъ, портретовъ, богатой литературы о немъ и пр. Со временемъ этотъ музей будетъ неисчерпаемымъ источникомъ для изученія жизни и творчества величайшаго изъ писателей міра, единственной теперь гордости Россіи, заставившаго Флобера кричать громовымъ голосомъ, топая ногами: «это — Шекспиръ, Шекспиръ!...» и писать Тургеневу: «благодарю васъ, что вы дали мнѣ возможность прочесть романъ Толстого («Война и Миръ»). Это нѣчто перворазрядное. Какой живописецъ и какой психологъ! Я вскрикивалъ отъ восторга во время чтенія. Да, это сильно, очень сильно»...

БИБЛІОГРАФІЯ.

Венгеровъ, С. А. Очерки по исторіи русской литературы. С.-Пб., 1907 г. (Бѣлинскій. Основныя черты исторіи новѣйшей русской литературы. Общій очеркъ исторіи новѣйшей русской литературы.)

Пыпинъ. Характеристики литературныхъ мнѣній. С.-Пб., 1906 г. (Офиціальная народность, Чаадаевъ, Славянофильство, Бѣлинскій.)

Овсянико-Куликовскій, Д. Н. Исторія русской интеллигенціи, т. I. М., 1907 г. (Рудинъ, Лаврецкій, Обломовъ, Штольцъ, Некрасовъ); т. II. М., 1907 г. («Дымъ», Базаровъ, Достоевскій, Чаадаевъ).

Бороздинъ. Литер. характеристики, I. С.-Пб., 1903 г. (Рылѣевъ, Н. Полевой, Дельвигъ, Языковъ, Баратынскій).

Ивановъ-Разумникъ. Исторія русской общественной мысли, т. I. С.-Пб., 1908 г. (Гончаровъ, «Лишніе люди»); т. II. С.-Пб., 1908 г. (Толстой, Достоевскій).

Авдѣевъ. Наше общество (1820—1870) въ герояхъ и героиняхъ литературы. С.-Пб., 1874 г.

Философскія теченія русской поэзіи. С.-Пб., 1896 г. (Баратынскій, Тютчевъ, А. Толстой, Фетъ, Полонскій, Майковъ).

Исторія русской лит. XIX в., подъ ред. Овсянико-Куликовскаго. М., 1908—1909 гг.

Десять чтеній по литературѣ. М., 1903 г. (Аксаковъ, Григоровичъ, Бѣлинскій).

Мельшинъ-Якубовичъ. Очерки русской поэзіи. С.-Пб., 1904 г. (Некрасовъ, Фетъ, Тютчевъ).

Ивановъ, И. Исторія русской критики. С.-Пб., 1898 т. I. (Надеждинъ, Веневитиновъ, Н. Полевой); т. II. С.-Пб., 1900 г. (Бѣлинскій).

Чернышевскій. Очерки Гоголевскаго періода русской литературы, С.-Пб., 1892 г. (Н. Полевой, кн. Вяземскій, Надеждинъ, Бѣлинскій).

Бороздинъ. Сто лѣтъ литературнаго развитія. С.-Пб., 1900 г.

Исторія Россіи въ XIX в., изд. Гранатъ. М.

Михайловскій. Соч. V. С.-Пб. 1894 г. (Достоевскій, Тургеневъ).

Михайловскій. Литер. воспом. и современная смута. С.-Пб., 1900 г., т. I (Некрасовъ, Л. Толстой), т. II (Тургеневъ, Л. Толстой).

Ивановъ, И. Новая культурная сила. Русскіе писатели XIX в. С.-Пб., 1901 (Бѣлинскій, Тургеневъ, Некрасовъ, Никитинъ).

Мережковскій, Д. С. Вѣчные спутники. С.-Пб., 1897 г. (Достоевскій, Гончаровъ, Майковъ).

Милюковъ, П. Н. Изъ исторіи русской интеллигенціи. С.-Пб., 1902 г. (С. Т. Аксаковъ, Бѣлинскій, Славянофильство).

Андреевскій, С. А. Литературные очерки. С.-Пб., 1902 г. (Баратынскій, Достоевскій, Некрасовъ, Л. Н. Толстой, Тургеневъ).

Анненскій. Книга отраженій С.-Пб., 1906 г. (Достоевскій, Тургеневъ).

М. де Вогюэ. Л. Толстой, Тургеневъ, Достоевскій. М., 1887 г.

Леметръ, Ж. Достоевскій, Островскій. Одесса, 1893 г.

Стороженко, Н. И. Изъ области литературы. М., 1902 г. (Баратынскій, Бѣлинскій).

Котляревскій, Н. А. Старинные портреты. С.-Пб., 1907 г. (Баратынскій, Веневитиновъ, Бѣлинскій, Тургеневъ, гр. А. К. Толстой).

Грузинскій, А. Е. Литературные очерки. М., 1908 г. (Тургеневъ, Л. Н. Толстой).

Айхенвальдъ, Ю. И. Силуэты русскихъ писателей, I. М., 1908 г. (Рылѣевъ, Баратынскій, Тютчевъ, С. Т. Аксаковъ, Гончаровъ), II. М., 1908 г. (Некрасовъ, Майковъ, Фетъ, Полонскій, гр. А. К. Толстой, Достоевскій).

Морозовъ. Минувшій вѣкъ. С.-Пб., 1902 г. (Русская литература XIX в., Островскій).

Золотаревъ. Историко-литер. очерки. С.-Пб. 1909 г. (Тургеневъ, Л. Н. Толстой).

Протопоповъ. Литер. крит. характеристики. С.-Пб., 1898 г. (Бѣлинскій, Л. Н. Толстой, С. Т. Аксаковъ).

Чернышевскій. Критическія статьи. С.-П., 1893 г. (Тургеневъ, Островскій, Л. Н. Толстой).

Головинъ. Русскій романъ и русское общество. С.-Пб., 1897 г.

Добролюбовъ. Сочиненія, т. I (Языковъ), т. II (Гончаровъ), т. III (Островскій, Полонскій, Тургеневъ, Достоевскій).

Григорьевъ, А. Сочиненія. С.-Пб., 1876 г. I (Островскій, Тургеневъ).

Майковъ, В. Критическіе опыты. С.-Пб. 1889 г. (Тургеневъ, Н. Полевой).

Писаревъ. Сочиненія, т. I (Тургеневъ, Гончаровъ), т. II (Базаровъ), т. III (Островскій).

Скабичевскій. Соч. С.-Пб., 1890 г. I (Л. Н. Толстой, Бѣлинскій), т. II (гр. А. К. Толстой, Некрасовъ, Л. Н. Толстой, Островскій, Лажечниковъ, Н. А. Полевой, Кукольникъ).

Миллеръ, О. Русскіе писатели послѣ Гоголя. С.-Пб., 1886 г., т. I (Тургеневъ, Достоевскій), т. II. (Гончаровъ, Л. Н. Толстой), (т. III. (Аксаковъ, Островскій).

Скабичевскій. Исторія новѣйшей русской литературы. С.-Пб., 1897 г.

Коробка. Опытъ обзора исторіи русской литературы. III. Эпоха реалистическаго романа. С.-Пб., 1907 г.

Саводникъ, В. Ѳ. Очерки по исторіи русской литературы XIX в., ч. II. М., 1907 г.

Александровскій. Чтенія по новѣйшей русской литературѣ, ч. I. Кіевъ, 1904 г. (Бѣлинскій, Тургеневъ, Гончаровъ, Островскій, Некрасовъ), ч. II. Кіевъ, 1908 г. (Л. Н. Толстой, гр. А. К. Толстой).

Коганъ, П. С. Очерки по исторіи новѣйшей русской литературы, ч. I. М., 1908 г. и ч. II, М., 1909 г. Очерки по исторіи запад. европ. лит., II.

Нелидовъ, Ѳ. Ѳ. Очерки по исторіи новѣйшей русской литературы, ч. I. М., 1907 г.

Мендельсонъ, Н. М. Очерки по исторіи русской литературы. М., 1908 г.

Шаховъ. Гёте и его время; Очерки литер. движенія въ первую половину XIX в. М., 1907 г.

Страховъ. Замѣтки о Пушкинѣ и др. поэтахъ. С.-Пб., 1888 г. (Некрасовъ, Полонскій, Майковъ, Фетъ, А. Толстой, Тютчевъ).

Нарѣжный, В. Т. Бѣлозерская, В. Т. Н—ый. С.-Пб., 1896 г.; Даниловъ. Землякъ и предтеча Гоголя, Кіевъ, 1906 г., Соч. 1) изд. Смирдина 1835 — 1836 (библ. рѣдкость); 2) «Россійскій Жилблазъ» (большая библ. рѣдкость); 3) «Бурсакъ» («Дешовая Библ.» Суворинъ); 4) «Два Ивана» («Семейная Библіотека»).

Вяземскій, П. А., кн. «Остафьевскій Архивъ», т. I—V; Языковъ, кн. П. А. В—ій, его жизнь и литер. общ. дѣятельность. М., 1904 г.; «Родные поэты» — кн. П. А. Вяземскій. М., 1091 г.; Соч., изд. гр. Шереметева.

Веневитиновъ, Д. В. Пятковскій, кн. Одоевскій и В — овъ, С.-Пб., 1901 г.; Фелонинъ, В—въ. С.-Пб., 1902 г.; «Родные поэты» — В—въ. М., 1901 г. Соч. подъ ред. Пятковскаго.

Давыдовъ, Д. В. «Родные поэты». Д. В. Д—въ. М., 1901 г. Сочиненія изд. «Сѣверъ» (подъ ред. Круглаго).

Дельвигъ, А. А., баронъ. «Родные поэты». Бар. А. А. Дельвигъ. М., 1901 г. Соч. изд. «Сѣвера» (подъ ред. Майкова).

Козловъ, И. И. «Родные поэты». И. И. К—овъ. М., 1901 г.; Трушъ. Очеркъ лит. дѣятельности И. И. К—ва. Соч., изд. Маркса (подъ ред. Введенскаго); дневникъ — «Старина и Новизна», XI; Акад. «Извѣстія» 1904, II.

Языковъ, Н. М. Смирновъ. Жизнь и поэзія Я—ва. Пермь, 1900 г.; Лирическая поэзія послѣдователей Пушкина — Н. М. Языковъ. М., 1859 г.; «Родные поэты», Н. Я—въ. М., 1901 г.; Шенрокъ. Н. М. Я—въ. «Вѣстникъ Европы», 1897 г., XI и XII. Соч., «Дешовая Библіотека» Суворина.

Тютчевъ, Ѳ. И. Вл. Соловьевъ. «Вѣст. Евр.» 1895 г., 4; И. Аксаковъ, Ѳ. И. Т—въ. М., 1874 г.; Бородкинъ. Славянофильство Т—ва и Герцена. С.-Пб., 1902 г.; Языковъ. Т—въ, его жизнь и поэзія. М., 1904 г.; Филевскій. Религ. философ. воззрѣнія Т—ва. Харьковъ. Ѳ. Т., Т-въ «Истор. Вѣстникъ» 1903, VII. Сочиненія. С.-Пб., 1900 г.

Баратынскій, Е. А. Языковъ, Е. А. Б—ій. М., 1904 г.; «Родные поэты». Б—скій. М., 1901 г.; И. Бунинъ, Б—скій. М., 1900 г.; Саводникъ, Б—скій. М., 1900 г., Соч. 1) изд. наслѣдниковъ, 2) «Дешовая Библіотека» Суворина.

Рылѣевъ, К. Ѳ. Н. А. Котляревскій, Р—въ. С.-Пб., 1908 г. Соч. «Библіотека декабристовъ».

Лажечниковъ, И. И. Языковъ, И. И. Л—въ. М., 1894 г.; Памяти И. И. Л—ва, Тверь, 1895; Празднованіе юбилея И. И. Л—ва. М., 1869 г. Соч. С.-Пб., 1899 г.; Гаршинъ, Л—въ, какъ истор. романистъ, С.-Пб., 1895 г.

Кукольникъ, Н. В. Скабичевскій, соч.; Бѣлинскій, V. Сочиненія. С.-Пб., 1851—1853 гг. Повѣсти и разсказы Н. К—а. С.-Пб., 1871 г.

Полевой, Н. А. Козминъ. Очерки изъ исторіи русскаго романтизма (Н. А. Полевой). С.-Пб., 1903 г.; Бороздинъ. Журналистъ 20-хъ годовъ. «Истор. Вѣст.», 1896 г., III; Сухомлиновъ. Изслѣдованія и статьи, II. С.-Пб., 1889 г. Очерки русской литературы. Соч. Н. Полевого. С.-Петербургъ, 1839 г.

Надеждинъ, Н. И., Лобовъ. Н—нъ въ русской критикѣ, «Журналъ Мин. Нар. Просв.», 1903 г., IX. Нѣкоторыя критическія статьи перепечатаны въ I т. соч. Бѣлинскаго подъ ред. С. А. Венгерова.

Чаадаевъ, П. Я. Гершензонъ, П. Я. Ч—въ. М., 1908 г. Философскія письма, Апологія сумасшедшаго. Казань, 1906 г.

Аксаковъ, С. Т. Венгеровъ, Крит. біогр. Словарь, т. I. С.-Пб., 1886 г.; Соч. Ѳ. М. Дмитріева, т. II. М., 1900 г.; Острогорскій, А—въ. С.-Пб. 1891 г.; Н. Г—въ. «Семейная хроника» и «Воспоминанія» А—ва. М., 1856 г.; Соч. 1) изд. Карцова (полное), 2) изд. Поповой (избраныя, подъ ред. Вѣтринскаго). 3) «Просвѣщенія» (подъ ред. Горнфельда) — коммент.

Бѣлинскій, В. Г. Пыпинъ. Бѣлинскій, его жизнь и переписка. С.-Пб., 1908 г.; Ждановъ. Памяти Б—го. С.-Пб., 1899 г.; Александровскій. Памяти Б—скаго, Кіевъ, 1899 г.; Александровскій. Къ 50-лѣтію смерти Б—скаго, Кіевъ, 1897 г.; Венгеровъ. Эпоха Б—скаго. С.-Пб., 1903 г.; Ч. Вѣтринскій. Учитель русскаго общества В. Г. Б—скій. М., 1907 г.; Линниченко. Б—скій въ борьбѣ западниковъ и славянофиловъ, Одесса, 1901 г.; Соловьевъ. Б—скій въ его письмахъ и сочиненіяхъ. С.-Пб., 1898 г.; Покровскій. Б—скій, какъ критикъ и создатель новой русской литературы. М., 1899 г.; Памяти Б—скаго (Сборникъ). М., 1899 г.; Ч. Вѣт-

ринскій. Въ сороковыхъ годахъ. М., 1899 г. Соч.: 1) Полное собраніе подъ ред. С. А. Венгерова (пока вышло 8 томовъ; 2) изд. Павленкова (съ перепиской); 3) изд. Поповой (избраныя, подъ ред. Н. А. Котляревскаго); 4) Семь статей Б—скаго (по рукописямъ). М., 1898 г.; 5) Письмо къ Гоголю (подъ ред. С. А. Венгерова). С.-Пб., 1905 г.

Григоровичъ, Д. В. Дроздовъ. Памяти Г—ча. Воронежъ, 1900 г. Соч., изд. Маркса.

Некрасовъ, Н. А. Пыпинъ. Н—въ. С.-Пб., 1905 г.; Мельшинъ-Якубовичъ. Н—въ, его жизнь и литер. дѣятельность. С.-Пб., 1907 г.; Ч. Вѣтринскій. Очеркъ жизни и дѣятельности Н—ва. С.-Пб., 1899 г.; Барро. Забытое («Мечты и звуки» Н—ва). С.-Пб., 1892 г.; Заболотскій. Н—въ, Нѣжинъ, 1908 г.; Нелидовъ. Н—въ. М., 1904 г.; Сакулинъ. Творчество Н—ва. М., 1903 г.; Александровскій. Н—въ и его поэзія, Кіевъ, 1903 г.; Чернышевъ. Н—въ въ жизни и по смерти. С.-Пб., 1908 г. Бородкинъ. Поэзія и реализмъ Н—ва. Харьковъ, 1905 г.; Сѣдовъ. Воспитательныя среда по стихотвореніямъ Н—ва. М., 1898 г.; Бальмонтъ. Горныя вершины. М., 1904 г. Соч. С.-Пб., 1902 г.

Фетъ-Шеншинъ, А. А. Вл. С. Соловьевъ. «Рус. Обозр.», 1890 г., XII; Дистерло, «Рус. Обозр.», 1893 г., IV. Фетъ. Ранніе годы моей жизни и Воспоминанія. Соч., изд. Маркса (въ 3 томахъ).

Толстой, гр. А. К. Пактовскій. Гр. А. К. Т—ой и его поэт. творчество, Казань, 1900 г.; Соколовъ. Илюзіи поэт. творчества (эпосъ и лирика гр. А. К. Т—ого). С.-Пб. 1890 г.; Языковъ. Гр. А. К. Т—ой. М., 1901 г.; Соколовъ. «Князь Серебряный», Воронежъ, 1897 г. Соч., изд. Маркса (подъ ред. Венгерова).

Островскій, А. Н. Незеленовъ. О—скій въ его произведеніяхъ. С.-П., 1888 г.; Нелидовъ. О—скій въ кружкѣ «Молодого Москвитянина», «Русская Мысль», 1901, г. III; Нелидовъ. О—скій и его дореформенные типы. М., 1901 г.; И. Ивановъ. О—скій, его жизнь и литературная дѣятельность. С.-Пб., 1900 г.; Селинъ. «Бригадиръ» Фонвизина и «Свои люди сочтемся» О—скаго, Кіевъ, 1858 г.; Кашинъ. Къ исторіи текста произведеній О—скаго. С.-Пб., 1908 г.; Кропачевъ. О—скій на службѣ при императорскихъ театрахъ. М., 1901 г.; Коробицынъ. Опытъ коментарія къ «Грозѣ» О—скаго. Кострома, 1901 г.; Ѳоминъ. Положеніе русской женщины въ семьѣ и обществѣ по произведеніямъ О—скаго. М., 1899 г.; Сѣдовъ. Воспитательная среда и ея продукты по произведеніямъ О—скаго. М., 1898 г. Соч., изд. «Просвѣщенія» (полное и отдѣльныя піесы).

Тургеневъ, И. С. Овсянико-Куликовскій. Этюды о творчествѣ Т—ва. С.-Пб. 1904 г.; И. Ивановъ. Т—въ. С.-Пб., 1896 г.; Гутьяръ. Т—въ, Юрьевъ, 1907 г.; Чернышевъ. Лишніе люди и женскіе типы въ ро-

манахъ и повѣстяхъ Т—ва. С.-Пб., 1896 г.; Соловьевъ, Т—въ, его жизнь и литер. дѣятельность. С.-Пб. 1894 г.; Незеленовъ. Т—въ въ его произведеніяхъ. С.-Пб., 1885 г.; Сухомлиновъ. Т—въ. С.-Пб., 1884 г.; Иностранная критика о Т—вѣ. С.-Пб., 1908 г.; Первое собраніе писемъ Т—ва. С.-Пб., 1885 г.; Т—въ, неизданныя письма къ Віардо и его французскимъ друзьямъ. М., 1900 г.; Письма Т—ва къ Віардо. М., 1900 г.; Чижъ. Т—въ, какъ психопатологъ. М., 1899 г.; Пѣтуховъ. О пессимизмѣ Т—ва, Юрьевъ, 1897 г.; Смирновъ. Т—въ и его «Записки охотника». М., 1897 г. Покровскій. Т—въ въ его значеніи худож., истор. и обществ. М., 1905 г. Соч., изд. Маркса.

Гончаровъ, И. А. Ляцкій. Г—въ. С.-Пб., 1904 г.; Ляцкій. Г—въ въ его произведеніяхъ, «Вѣстникъ Европы», 1903 г. III, IV; Соловьевъ. Г—въ, его жизнь и литер. дѣятельность. С.-Пб., 1895 г.; Острогорскій. Этюды о русскихъ писателяхъ, Г—въ. М., 1888 г. Суперанскій, Г—въ, «Вѣст. Евр.», 1907 г., II и 1908 г., XI, XII; Потанинъ, «Истор. Вѣстн.», 1903 г., IV. Соч., изд. Маркса.

Толстой, Л. Н. Овсянико-Куликовскій. Т—ой, какъ художникъ. С.-Пб., 1905 г.; Овсянико-Куликовскій. Т—ой, къ 80-лѣтію великаго писателя. С.-Пб., 1908 г.; Бирюковъ, Т—ой, Біографія, т. I и II. М., 1908 г.; Мережковскій, Толстой и Достоевскій. С.-Пб., т. I, 1901 г., т. II. 1902 г.; Левенфельдъ. Т—ой, его жизнь, произведенія и міросозерцаніе; Булгаковъ. Т—ой. Критика его произведеній русская и иностранная. С.-Пб., 1899 г.; Страховъ. Критическія статьи о Тургеневѣ и Толстомъ. С.-Пб., 1895 г.; Андреевичъ (Соловьевъ). Т—ой. С.-Пб., 1905 г.; Бирюковъ. Т—ой. Къ 80-лѣтнему юбилею. М. 1908 г.; Скабичевскій. Т—ой, какъ художникъ и мыслитель. С.-Пб., 1887 г.; Оболенскій. Т—ой, его философ. и нрав. идеи. С.-Пб., 1887 г.; Вогюэ и Геннекенъ. Т—ой. М., 1892 г.; кн. Цертелевъ. Нравственная философія Т—ого. С.-Пб., 1898 г.; Драгомировъ, Разборъ романа «Война и миръ». Кіевъ, 1895 г.; Михайловскій. Критическіе опыты, I, Т—ой. С.-Пб., 1887 г.; Громека о Т—омъ. М., 1894 г.; Соловьевъ. Т—ой, его жизнь и литер. дѣятельность. С.-Пб., 1894 г.; баронъ Дистерло. Т—ой, какъ художникъ и моралистъ. С.-Пб., 1887 г.; Бобровъ. Этическія воззрѣнія Т—ого. Юрьевъ, 1897 г.; Кульманъ. Т—ой. С.-Пб., 1903 г.; Грузинскій. Т—ой. С.-Пб., 1901 г.; Котляревскій. Т—ой, «Космополисъ» 1898 г.; Щегловъ. Т—ой и Нитцше. Ярославъ, 1898 г.; Козловъ. Религія. Т—ого. С.-Пб., 1888 г.; Сергѣенко. Какъ живетъ и работаетъ Т—ой. М., 1898 г.; О Т—мъ (сборникъ). М., 1909 г. Л. Н. Толстой, Жизнь и творчество, Молоствова и Сергѣенко, С.-Пб., 1909 г. Сочиненія, изданіе гр. С. А. Толстой.

Достоевскій, Ѳ. М. Соловьевъ. Д—скій, его жизнь и литературная дѣятельность. С.-Пб., 1891 г.; Буличъ. Д—скій и его соч., Казань, 1881 г.;

Кирпичниковъ, Д—скій и Писемскій, Одесса, 1894 г.; Чижъ. Д—скій, какъ психопатологъ. М., 1885 г.; Волжскій. Д—скій, Жизнь и проповѣдь. М., 1906 г.; Мережковскій. Пророкъ русской революціи. С.-Пб., 1905 г.; Волынскій. Д—скій. С.-Пб., 1906 г.; Біографія, письма и замѣтки Д—скаго. С.-Пб., 1883 г. Петрашевцы, М., 1907 г. Соч., изд. Маркса.

Майковъ, А. Н. Златковскій. Майковъ. С.-Пб., 1898 г.; Языковъ. Жизнь и труды М—ва, М., 1898 г.; Бородкинъ. Поэтическое творчество М—ва. С.-Пб. 1900 г.; Черниковъ. М—въ, Тифлисъ, 1898 г.; Нечаевъ. Поэзія М—ва. С.-Пб., 1898 г.; Даниловъ. Къ характеристикѣ литер. дѣятельности М—ва, Варшава, 1907 г. Соч., изд. Маркса (въ 4 т.)

Полонскій, Я. П. Халанскій. П—скій въ его поэзіи, Харьковъ, 1990 г.; Будде. П—скій, какъ поэтъ, Воронежъ, 1899 г.; Е. Гаршинъ. Поэзія П—скаго. С.-П., 1887 г.; Михайловъ. Поэзія П—скаго. С.-Пб. 1900 г.; Витбергъ. П—скій. С.-Пб., 1899 г.; Соколовъ. Лирика П—скаго. С.-Пб., 1898 г. Соч., изд. Маркса (въ 5 т.). Воспом. П—скаго въ «Сборникѣ «Нивы», 1898 г., т. III.

Никитинъ, И. С. Бѣльскій. И. С. Никитинъ. М., 1902 г.; Путинцевъ. Н—нъ, Юрьевъ, 1905 г. Соч., изд. Шамова (обезображенное опечатками, лучше изданіе Михайлова, Воронежъ, 1869 г.).

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

Предисловіе III

З. Т. Нарѣжный . . . . . 1— 10

Пушкинская «Плеяда» . . . . . 11— 36

Кн. П. А. Вяземскій . . . . . 11— 14
Д. В. Веневитиновъ . . . . . 14— 19
Д. В. Давыдовъ . . . . . 19— 22
Бар. А. А. Дельвигъ . . . . . 23— 24
И. И. Козловъ . . . . . 24— 26
Н. М. Языковъ . . . . . 26— 28
Ѳ. И. Тютчевъ . . . . . 28— 30
Е. А. Баратынскій . . . . . 31— 33
К. Ѳ. Рылѣевъ . . . . . 34— 36

И. И. Лажечниковъ . . . . . 36— 43
П. В. Кукольникъ . . . . . 43— 45
Н. А. Полевой . . . . . 45— 50
Н. И. Надеждинъ . . . . . 50— 55
П. Я. Чаадаевъ . . . . . 55— 60
С. Т. Аксаковъ . . . . . 60— 67

Новѣйшая русская литература . . . . . 67—130

В. Г. Бѣлинскій . . . . . 130—166
Д. В. Григоровичъ . . . . . 166—177
Н. А. Некрасовъ . . . . . 177—188
А. А. Фетъ-Шеншинъ . . . . . 188—198
Гр. А. К. Толстой . . . . . 198—208
А. Н. Островскій . . . . . 208—227
Ѳ. М. Достоевскій . . . . . 227—237
А. Н. Майковъ . . . . . 237—244
Я. П. Полонскій . . . . . 244—250
И. С. Никитинъ . . . . . 250—263
И. С. Тургеневъ . . . . . 263—311
И. А. Гончаровъ . . . . . 311—329
Л. Н. Толстой . . . . . 329—346
Библіографія . . . . . 347—353

Опечатки.

Стран.	*Строка.*	*Напечатано:*	*Слѣдуетъ:*
4	1 св.	мѣха	мѣхи
5	22 св.	1972	1792
13	28 св.	тепмераментъ	темпераментъ
14	2 св.	полемикомъ	полемистомъ
15	22 св.	развивали	разливали
38	12 св.	Мячнова	Мячкова
44	7 св.	1843	1834
—	5 сн.	Тоссѣ	Тассо
50	3 сн.	откября	октября
71	5 св.	умъ и сердце	Умъ съ сердцемъ
76	2 св.	сверхъ —опытныхъ	Познанія сверхъ-опытныхъ
—	11 св.	независмое	независимое
77	4 сн.	въ	съ
80	4 св.	Совокупностъ	Совокупность отраженій
83	16 св.	Эта	Это
98	1 сн.	Зинада	Зенеида
99	4 сн.	$^5/_3$	$^1/_3$
103	13 сн.	бодущаго	будущаго
109	7 св.	романизма	романтизма
126	10 св.	точкѣ	тоскѣ
132	13 св.	привела	привели
143	10 св.	накопилось	накопилась
226	11 св.	1885	1886
296	5 св.	эксцентризмъ	эгоцентризмъ
336	20 св.	культурѣ	природѣ

ИК-242 4/1-5
(4-)

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

В. В. ДУМНОВА,

ПОДЪ ФИРМОЮ

„НАСЛѢДНИКИ БР. САЛАЕВЫХЪ"

ВЪ МОСКВѢ,

на Мясницкой, противъ Златоустинскаго пер., домъ Обидин бывш. княгини Гагариной, и въ отдѣленіи книжнаго скла въ С.-Петербургѣ, Большая Конюшенная, домъ № 1-й, пр даются слѣдующія книги:

Бѣлорусовъ, П. Учебникъ теоріи словесности. Изданіе 26 М. 1911 г., ц. 50 коп.

Бѣлявскій, быв. преподаватель 5-й Московской гимназіи.

— Теорія словесности. Руководство при разборѣ образцо словесности и при письменныхъ упражненіяхъ учен ковъ. Изд. 13-е, вновь пересмотрѣнное и дополненно М. 1908 г., ц. 65 коп.

Галаховъ. Исторія русской словесности, учебникъ для средни учебн. зав. Изд. 18-е. М. 1910 г., ц. 1 руб.

Кирпичниковъ. Теорія словесности, съ приложеніемъ стил стическихъ задачъ и перев. изъ Лессинга и Шиллер Изд. 2-е М. 1879 г., ц. 75 коп.

Преображенскій, А. Теорія словесности. Начала эстетики, р торики и піитики. Учебное пособіе для ученико VIII кл. гимназій. Изд. 4-е. М. 1905 г., ц. 75 коп.

Случевскій. Руководство къ изученію теоріи словесности по лу шимъ образцамъ. Изд. 9-е, вновь исправленное. Ставр поль. 1907 г., ц. 1 руб.

Сосницкій, А. Теорія словесности. Курсъ среднихъ учебны заведеній. Изд. 2-е. М. 1890 г., ц. 75 коп.

C119528